В. Шапошников

Ефимов кордон

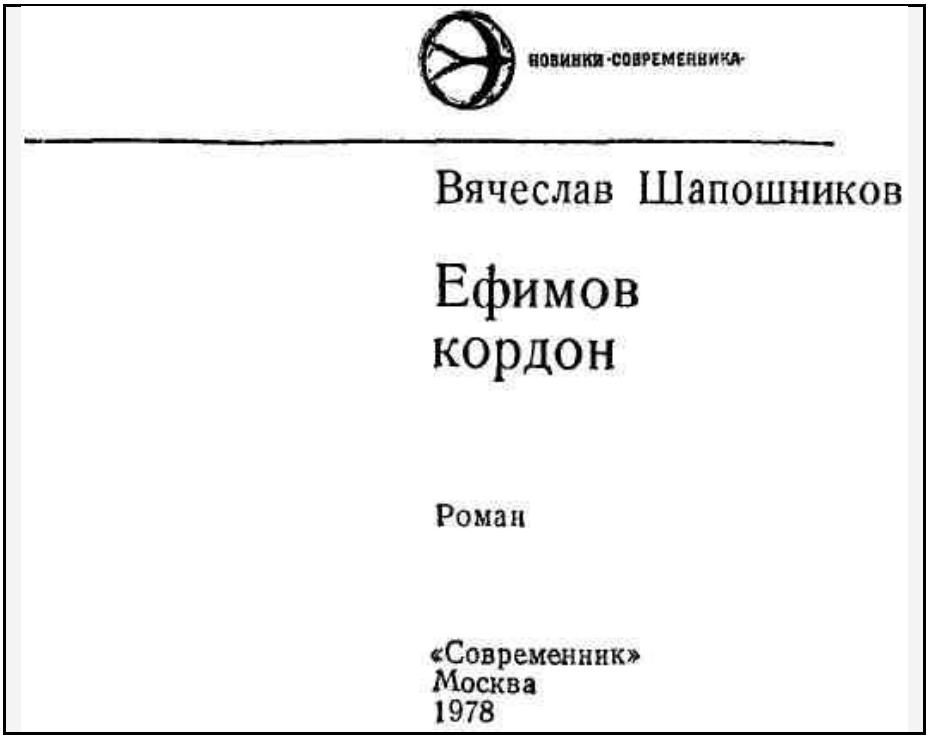

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В романе повествуется о жизни и творчестве оригинального художника-самородка Ефима Васильевича Честнякова, чья судьба оказалась необычной и сложной.

- Ефимов кордон
  -
  - Вместо предисловия
  - Часть первая
  - Часть вторая
  - Часть третья
  - Часть четвертая
  - Часть пятая
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14

Ефимов кордон



Вместо предисловия

Ефим Васильевич Честняков… Это имя человека, прожившего большую необыкновенную жизнь и умершего в самом начале шестидесятых годов. Сравнительно недавно в Москве и Костроме прошли выставки его картин.

На афишах, извещавших о тех выставках, было напечатано: «Ефим Честняков — художник сказочных чудес». Именно таким художником он и был. Почти любая из его картин — диковинный, чудесный мир, созданный фантазией совершенно исключительной.

Впрочем, художник в нем не равнозначен лишь живописцу. Был он не только живописцем и ваятелем, в нем проявился сказочник и поэт, драматург и философ, артист и педагог… И со всем этим многообразием уже не в сказочном, не в фантастическом своем мире, а в реальной деревенской жизни был он — и швец, и жнец, и на дуде игрец!..

Его жизнь можно рассказать, как притчу, можно — как легенду, можно — так вот, как сам он в одной из своих сказок:

> «Кроме разных работ, любил он рисовать, играть на музыке и при своих занятиях временами пел. Занятия его — не ремесло, а вроде как изобретательство. Он и для себя все делал сам: и одежку, и обувку, и прочее, мол, удобнее так и красивее, как ему надо было, как считал правильней. А иным его одежда была забавна и смешна даже. Ему же то и по мысли, что не с завистью глядят, а с весельем!
>
> Жил он в отдельной хибаре. Фантазия несла его впереди практического дела. «В грядущем наши помышления воплотятся!» — так говорил.
>
> У него были художественно понастроены всевозможные шалашки, избушки, дворцы и палаты из обожженной глины. В смешанном виде получалась неожиданная сказкина красота. И думалось ему: «Что, если бы все это осуществить в больших размерах! Для всего мира!..»

Можно просто прибегнуть к помощи его же стихов, в которых, явно подтрунивая над собой, Ефим Честняков писал:

> Он трудился многи годы,
> Окруженный хором муз,

И носился по народу
С грузом созданных искусств.
Ах, проказ же наш Ефимко —
Рыцарь сказочных чудес:
Умудрился невидимкой
В сказке жить всегда и весь!..

Такого человека как будто не надо домысливать: он сам о себе сказал достаточно. Но для многих, даже близко знавших Ефима Честнякова, а не просто слышавших о нем, его судьба осталась либо загадочной, либо криво истолкованной.

Когда мне впервые довелось услышать о Ефиме Честнякове, спустя десятилетие после его смерти увидеть несколько его картин, совершенно необыкновенных и по содержанию, и по манере исполнения, я остановился перед глухой стеной загадочности.

Человек ушел непознанным и свои творения оставил непознанными. Долгая, явно богатая жизнь словно бы растворилась необратимо. Срок этой жизни — между временем, породившим фантазии Жюля Верна, и временем первых реальных полетов наших соотечественников в космос. Человек этот поколения Бунина, Куприна, Шаляпина, Чюрлениса, Кустодиева…

Совсем немного удалось узнать о нем вначале: ученик Репина, из костромских крестьян. После трагических событий 1905 года навсегда покинул Петербург, поселился в родной деревушке Шаблово, под Кологривом, там и прожил до самой смерти, до 1961 года…

Сложную личность не объяснить коротко и окончательно. Ей тесно быть и притчей, и жизнеописанием, ибо она состоит более из мотивов, чем из фактов. Факт — ограничен, мотив — богат и свободен, в нем «дышит почва и судьба».

Взяв на себя задачу — рассказать по возможности более полно о таком исключительном человеке, я чаще всего исходил именно из мотива. Этого требовала внутренняя логика судьбы моего реально существовавшего героя. Как автор я при необходимости использовал свое право и подходил к иным моментам повествования с той степенью свободы, которая позволила бы мне попытку создать нечто большее, чем просто документальную вещь. Вместе с тем необходимо отметить, что в романе мной используются действительно существующие письма, даются стихи и проза самого Честнякова, упоминаются лица отнюдь не вымышленные.

Не по моему замыслу, а по сути самой судьбы героя, роман

должен обнажить его глубокую человеческую драму, объяснять которую в предисловии я считаю совершенно излишним: человек ведь — не ходячий тип, не просто носитель положительного или отрицательного, надо видеть до дна всю его судьбу, воспринять его во всей сложности и противоречивости.

Вчитываешься в написанное Ефимом Честняковым, вглядываешься в созданное им и начинаешь понимать даже отдельно существующее (главы, этюды…), как часть единого, чувствуешь цельную, прекрасную душу этого человека.

Ефим Честняков жил как будто в двуедином мире — среди реальной деревни и среди деревни, порожденной его воображением…

Мечта овладевает душой русского художника из крестьян, художника такого народного толка!.. Сам крестьянин возмечтал о своем, заветном, душа его доросла, поднялась до потребности в идеальном и гармоничном.

Сложный живописный мир Ефима Честнякова перепутан потаенными звучаниями, и в этом мире он жил, как ребенок, обладающий всей полнотой созидательной веры.

> «Я — увлекающийся и, кажется, нередко называю вещи их, так сказать, желательными именами, подобно тому, как дети свои постройки из песка и глины, палочек и дощечек называют причудливо. Им кажется: предметы эти уже соответствуют именам, образцы будто уже воплощены, но посторонний человек, особенно «взрослый», не увидит ничего такого в детском творчестве, если дитя не напишет, не скажет, что именно построено…»

Ефим Честняков именно в детях прежде всего видел своих истинных зрителей и слушателей:

> Не надо ни славы, ни мненья людей,
> Мила мне одна лишь улыбка детей…

Необыкновенна его привязанность к детям, к «малолеткам». Отсюда — все его импровизированные спектакли на деревенских улицах, «коляда» с участием ряженой детворы, наконец — сказки, картины, чаще всего населенные все теми же «малолетками».

На улицах его фантастического полугорода-полудеревни, по-лесному названного Кордоном, живет сама народная добрая мысль, здесь осуществилась простая народная мечта об изобилии: всюду тут — огромные пироги, караваи, калачи, крендели…

Атмосфера Кордона — атмосфера хлебного изобилия!

Когда вглядываешься в живописные и лепные работы Ефима Честнякова, думаешь о том, как богата фантазия их создателя, еще раз вспоминаешь, что народ наш — обладатель великого образного богатства. В этот совершенно уникальный, никого не повторяющий, никого не напоминающий мир, в это искусство уходишь, как в далекий заповедный лес, туда, где начинается волнующая ночь тайн и преданий, рожденных фантазией народа, ибо этот художник, этот сказочник весь оттуда, где живет меткое, простое и яркое слово, где свободно живут затейливость и выдумка, ясные мысли.

Да, искусство Ефима Честнякова — искусство народного корня, и, несмотря на то что его идеи всецело владели им, любое его произведение — не трактат, облеченный в одежды искусства, а чистое и ясное откровение, в любом из них именно народный ход мысли всему задает тон.

По образу и подобию народной мудрости, в которой он видел источник высших культурных национальных ценностей, строились Ефимом Честняковым и картины, и сказки; во многих его живописных и лепных вещах, в литературных сочинениях легко и естественно живет стихия простонародности. В его импровизированных спектаклях жили единой жизнью и слова, и музыка, и живопись, и скульптура. Он все искусство понимал именно как единое целое, чувствовал и древнюю родственную связь.

В этом художнике удивляет восприятие жизни как искусства и восприятие искусства как жизни. Именно так складывалась структура произведений этого самобытнейшего художника.

Все его творчество пронизано тревогой за духовно-нравственные богатства народной жизни, так ярко проявившиеся во всей истории России, за те завоеванные и выстраданные на протяжении многих веков моральные, этические ценности, которые составляют основу национального характера и культуры.

Созданное Ефимом Честняковым дает волнующее осязание неразрывности давно минувшего с днем сегодняшним, и это осязание вырастает в образ вечно живого Времени, хранящего в народной памяти, языке и традициях нечто бесконечно обогащающее духовные силы новых поколений.

Всякий свет, порожденный бескорыстным желанием осветить дорогу людям, есть свет истинный. Сама судьба Ефима Честнякова является источником такого света.

Автор

Часть первая

1

В Петербурге Ефим остановился на время, пока не подыщется квартира, на Песках, у Василия Львовича Виноградова, родственника своих кинешемских знакомых, тоже Виноградовых. Не без посредничества Василия Львовича рисунки и акварели Ефима попали на суд к самому Репину. Виноградов потом и письмо в Кинешму прислал, в котором упоминались многообещающие репинские слова: «Несомненные способности… Согласен принять его в свою частную мастерскую…»

Кроме Василия Львовича, здесь, в столице, у Ефима было еще два доброхота, хлопотавших за него перед Репиным. О них Ефиму довелось слышать в Кинешме от Дмитрия Матвеевича Кирпичникова и тамошних Виноградовых. Поминали Никиту Логиновича Линева, лично знакомого с Репиным, человека весьма популярного в столичных культурных кругах, и его племянницу — Анну Конрадовну Погосскую, занимающуюся в студии княгини Тенишевой, в той самой «частной мастерской», в которой теперь и Ефиму, может быть, предстояло заниматься.

Ему не терпелось побывать в студии, однако Василий Львович посоветовал не торопиться, как следует отдохнуть с дороги, дождаться вечера, а там обещал сводить его к Линевым, познакомить и с Никитой Логиновичем, и с Анной (он называл племянницу Линева просто по имени). Анна могла бы руководить Ефимом на первых порах — ввести его в студию, познакомить со студийцами, многое подсказать, посоветовать…

Вечером, уже при огнях, Василий Львович привел Ефима к Линевым. Как оказалось, жили они совсем неподалеку, тут же — на Песках.

Сам Линев, дородный пышноусый человек средних лет, встретил их в прихожей. Днем Василий Львович заходил к нему, договорился о вечернем визите. Тут же появилась и Анна. Она остановилась позади Никиты Логиновича, из-за его плеча Ефиму было видно только ее лицо: белый высокий лоб, на который косо пала темная прядь, легкие полудужия черных бровей, мягкие, по-детски припухлые губы, тронутые полуулыбкой, чуть вздернутый тонкий нос, глаза… глаза — быстрые, живые, с насмешливым прищуром, должно быть мгновенно схватывающие самое главное во всем, глаза художницы. Ефим потупился под ее изучающим взглядом, замешкался возле вешалки, ему хотелось пропустить

вперед Василия Львовича, чтоб на того переключилось внимание хозяина и Анны, главным образом — Анны: была в ее взгляде какая-то смущающая сила… Виноградов же, едва дав Ефиму раздеться, взял его за локоть, подвел к Линеву и Анне, представил.

— Землякам мы всегда особенно рады! — сказал Никита Логинович и улыбнулся при этом с таким простодушием, что и Ефим заулыбался ответно. Никита Логинович полуобернулся к стоявшей за ним племяннице: — А это — Аня…

— Анна, — сказала та, поправляя дядю, и кивнула Ефиму. Опустив глаза, Ефим поклонился. Потом он был представлен жене Никиты Логиновича.

После короткой церемонии знакомства все прошли в гостиную. Никита Логинович принялся расспрашивать Ефима о своих кинешемских знакомых. Почти все они были земцами, людьми деятельными, весьма широко известными и в самой Кинешме, и во многих местах уезда: Петин, Кирпичниковы, Каменские, Пазухин, Ратьков… С каждым из них Ефим тоже был хорошо знаком, каждый так или иначе был причастен к тому, что теперь вот он оказался здесь, в Петербурге.

— Сами-то вы — кинешемец по рождению?.. — полюбопытствовал Никита Логинович.

— Нет, я из Кологривского уезда. Есть такая деревушка Шаблово, на верхней Унже… Родители мои там… — ответил Ефим.

— А как в Кинешме оказались?..

— Окончил Новинскую учительскую семинарию. Сначала получил место в Здемировском народном училище, в Костромском уезде, потом был переведен в саму Кострому, а из Костромы — в село Углец Кинешемского уезда, там учительствовал, три года с лишним, вот до самого последнего времени, до средины ноября…

— Вы рисунку, живописи где-нибудь учились?.. — спросила Анна.

— Почти нигде. В Иваново-Вознесенске открылся год назад филиал училища технического рисования барона Штиглица, выкраивал время, ездил туда раз в неделю из своего Углеца поездом… А так… не было других возможностей…

— Вот как! Любопытно! — улыбнулась Анна. — Я ведь как раз в этом училище проучилась целых два года перед тем, как перейти в Тенишевскую студию — к Репину…

— Ну вот видите, какое совпадение! Остается пожелать вам обоим, чтоб вы из Тенишевской студии побыстрее перебрались в Академию! — Никита Логинович дружески подмигнул Ефиму.

Тот почувствовал, как в нем мгновенно поднялась и прихлынула к лицу жаркая волна. И так кстати жена Никиты Логиновича пригласила тут всех к вечернему чаю!..

За столом, вокруг пошумливающего самовара, разговор оживился, и скованность Ефима прошла как-то сама собой. Да и люди рядом были такие добросердечные и приветливые, что он с затаенной улыбкой вспомнил вдруг, как перед его отъездом в столицу Дмитрий Матвеевич Кирпичников, к которому он зашел проститься, не больно лестно говорил ему о Петербурге и петербуржцах:

«Ох, уж этот Петербург! Ох, уж эти петербуржцы!.. Провинциалу, деревенскому жителю, среди петербургской спешки скоро делается на особый лад тоскливо и нудно. Это, уж поверьте мне, так! Сам испытал не единожды!.. Даже слова-то там, хоть и говорятся вроде бы в привычном порядке, а лишь угнетают тебя, изнуряют…»

Нет, слова сидевших с Ефимом за одним столом петербуржцев не угнетали его. Даже Анна теперь, за чаем, казалась ему по-домашнему простой и милой, доброприветной. Сидели они рядышком, и Анна сама заговорила с ним о студии. Она посоветовала ему прийти туда через день, не раньше: конец месяца подошел, как раз через день просмотр месячных эскизов в студии, так что Репин обязательно там будет, а без него приходить — что толку…

Ефим огорчился, ему не терпелось побывать в студии. Он теперь же был готов отправиться туда, хотя бы только затем, чтоб увидеть ее окна, узнать дорогу к ней… Об этом, стесняясь своего нетерпения, он сказал Анне, та улыбнулась понимающе:

— Ну, что ж… Давайте дойдем до нее… И вечер сегодня вон какой прелестный!..

После чая она подошла к дяде, сказала ему, что хочет показать кинешемскому гостю вечерний Петербург.

2

Миновав Знаменскую площадь, они вышли на Невский проспект. У Ефима кругом пошла голова: потоки пешеходов, которым не было конца, грохот лихачей, конок, пестрота витрин… Он шел за Анной, испытывая желание ухватиться за ее руку, словно эта девушка вела его по какому-то незнакомому каменному лесу, и Невский проспект был огромной просекой, залитой таким непривычным, таким ярким электрическим светом.

Анна повернула к нему улыбающееся лицо:

— А знаете, как Невский первоначально именовался?.. Нет?.. «Большой першпективной дорогой»! Вот и для вас пускай он будет «большой першпективной дорогой»!..

Ефим пожал плечами, мол, посмотрим, как оно все обернется здесь для меня…

— Я понимаю: вы сюда с надеждами приехали… Мне же видно, какой огонь-то в вас полыхает!.. — усмехнулась Анна. — Вот и хочется сразу же дать вам реальное представление обо всем, чтоб не было потом для вас неожиданностей…

Ефим озадаченно посмотрел на свою спутницу: о чем это она — так вдруг?!

— А может, и не надо?.. — словно бы сама с собой размышляла на ходу Анна. — Нет уж, лучше сказать…

— Да говорите, ради бога!.. Не такой уж я и хрустальный… — нахмурился Ефим. Анна осторожно взяла его за локоть:

— Тут дела вот какие… Вы, пожалуй, опоздали приехать сюда… Не тот стал сам Репин, да и княгиня Тенишева теперь другими глазами смотрит и на него, и на нашу студию… Я немного посвящу вас в события…

Пять лет тому назад Тенишева, уезжая из Петербурга в свое смоленское имение, предоставила Репину для занятий с молодежью свою мастерскую. Мария Клавдиевна ведь и сама занимается живописью. И вот Репин стал принимать туда способных провинциалов, приезжавших поступать в Академию, но не попадавших в нее по конкурсу. В общем-то не было почти никакой разницы в направленности обеих репинских мастерских: и нашу, на Галерной, и мастерскую при Академии он считал специальными.

Тенишевцев Репин даже больше любил. В первые годы, рассказывают, он частенько устраивал в нашей студии вечера-беседы, делился со студийцами своими творческими планами, воспоминаниями, обсуждал вместе с ними текущие выставки, новые работы известных художников, водил их в Эрмитаж…

Но… вот беда: теперь круто изменилось отношение княгини к репинской школе… Увы, Мария Клавдиевна увлеклась новым направлением в искусстве! Вот в этом году на ее деньги стал издаваться журнал «Мир искусства». В общем, она с головой ушла в новое искусство! И теперь ей не до репинской студии… Ходят слухи, что она готова закрыть и нашу студию, и художественную школу, которую открыла у себя, в Смоленске. К тому же и энтузиазм Репина уже на исходе… Дело явно идет к концу… Прежде он частенько устраивал в студии показательные сеансы. Теперь такое бывает редко, чтоб Репин брал в руки кисти и

работал вместе со своими подопечными…

— Вот я и говорю, — Анна вздохнула, — что не очень-то вовремя вы тут оказались… Пораньше бы!.. Хоть и печально об этом говорить, но… уж лучше правда!.. Я и сама, наверное, недолго продержусь в студии… В общем, вам надо ясно видеть свою цель…

— То есть?.. — не понял Ефим.

— Вам надо использовать хотя бы и последнюю возможность, я говорю о подготовке к поступлению в Высшее художественное училище! Я видела ваши работы, которые вы присылали для Репина. Думаю, у вас должно получиться с Академией-то! Только надо как следует потрудиться! Вот студия тут вам и сослужит службу! Лишь бы она не закрылась…

Ефим какое-то время шел, удрученно-притихший, с опущенной головой. Потом поинтересовался, что необходимо для поступления с Высшее художественное училище.

Анна рассказала. Учеником училища мог быть только имеющий аттестат об окончании среднего учебного заведения — классической гимназии, реального училища… Поступающий должен выдержать вступительные экзамены по рисованию. Особо талантливых зачисляют без аттестата — вольнослушателями, и они проходят весь курс наравне с учениками училища. Для получения диплома им необходимо сдать экзамены экстерном по наукам за курс среднего учебного заведения. Правда, очень уж одаренные вольнослушатели этих экзаменов не сдавали, им прощался «недостаток общеобразовательного ценза» и выдавался диплом…

Выслушав Анну, Ефим вздохнул: не так тут все просто, как представлялось… Он-то не только без ценза необходимого, но и без настоящей художественной подготовки приехал сюда…

Анна легонько похлопала его по плечу:

— Только без уныний! Слышите?! Я все это вам не затем сказала, чтоб вы растерялись! Просто надо сразу же знать все обстоятельства и, имея их в виду, выбрать для себя реальный план…

Она вывела его на Сенатскую площадь, к памятнику Петру.

— Ну, мы почти пришли… — сказала, вдруг остановившись. — Правда, несложно сюда добраться от нас? Почти вся дорога — по Невскому.

Ефим машинально кивнул, в тревожной растерянности покусывая губы. За разговором, забравшим все его внимание, Невский со своими огнями, со своим шумом словно бы просеялся сквозь сознание…

— А вон и Академия! — Анна махнула рукой в сторону правого берега Невы. — Вон то здание под куполом со статуей Минервы!.. Тут есть какая-то неслучайность… Студия-то как раз напротив, так что и всей-то заботы у многих из нашей Братии — перелететь с одного берега Большой Невы на другой… Коротенькая дорожка, а преодолеть ее — непросто…

Ефим смотрел на силуэт Академии, полуразмытый уже ночными желто-серыми городскими сумерками, в сознании было: вот она — цель!.. Голос Анны не сразу дошел до него, он только понял вдруг, что она уже повторила: «Пойдемте же!..»

Анна, обернувшись, улыбнулась ему:

— Да! Чуть не забыла… Вы завтра вот чем займитесь пока что… При Академии есть касса взаимопомощи учащихся. У этой кассы своя лавка художественных принадлежностей. Там все можно купить, что необходимо для занятий в студии: краски, кисти, бумагу, холст, даже для фотографирования в ней все есть. И все весьма дешево и хорошего качества. Советую завтра обзавестись на первый-то случай…

Ефим опять только молча кивнул. Ему не хотелось теперь ни говорить, ни думать о чем-либо, кроме студии…

Они вошли под арку, соединяющую здания Сената и Синода. Открылась неширокая улица, тесно застроенная трех-, четырехэтажными домами.

— Вот и Галерная вам! — голос Анны под аркой прозвучал слишком громко, как-то возвещающе-торжественно. Ефим даже вздрогнул. Что это почудилось ему в этом голосе?.. Уж не сама ли судьба могла вот так же привести его сюда и объявить: «Вот и Галерная вам!»?

Миновав несколько домов, теснящихся вдоль правой стороны улицы, Анна остановилась.

— А это — наша боттега! — Она подняла лицо навстречу редким падающим снежинкам и, улыбаясь, посмотрела на окна верхнего, четвертого, этажа темно-серого здания, стиснутого с боков двумя почти такими же.

Ефим не знал, что такое «боттега». Впрочем, нетрудно было догадаться, что так Анна назвала студию. Света в окнах верхнего этажа не было. Глядя на те окна, он с замиранием подумал, что вот через день он придет сюда, встретится здесь с самим Репиным… Ему хотелось представить эту встречу. Какой она будет?..

На обратном пути он расспросил Анну о студии в подробностях, особенно же интересовал его Репин.

Рассказывая ему о том, что Репин придает большое значение эскизам на темы, взятые из жизни, Анна усмехнулась:

— Тут я не совпадаю с его требованиями… Ему подай социальное развитие темы, а я в студию пришла из училища технического рисования… Вы-то, судя по вашим работам, — жанрист, вы к Репину куда ближе будете, чем я… Моя стихия совсем иная. Живопись не мое призвание! Я в вещи влюблена, во всякое рукоделье. Это от мамы. Вообще-то, мама у меня из дворян. Ее папа был довольно состоятельным помещиком, землю в Костромской губернии имел… Потом разорился… Так что маме и трем ее братьям пришлось хлебнуть всякого…

Ефим не сразу сообразил, что они остановились возле дома Анны. Надо было прощаться, а хотелось еще кружить по Петербургу, слушать голос этой благожелательной, умной, откровенной девушки, с которой почувствовал себя так хорошо, будто уже давно был знаком с ней. Куда девалась вся удрученность, которую он испытал по дороге к студии, наслушавшись предупреждений Анны?! Он видел студию, он видел Академию, только одно это уже могло теперь поддерживать и питать в нем веру в то, что он — на верном пути, что путь этот, как бы там ни было, приведет его куда надо…

— Уже огни гасят. Поздно… — Анна тронула его за плечо едва-едва, будто боясь разбудить. Посмотрела куда-то в сторону, махнула рукой: — Вон там, на углу Седьмой Рождественской живет Стасов…

— Это художественный критик?.. — спросил Ефим.

— Он самый, — улыбнулась Анна. — Тут у нас, на Песках, и Репин — частый гость, и Горький, и Шаляпин, и Римский-Корсаков… Здесь много интересных людей живет…

— Да-а… Петербург… — Ефим покосился на дальние светящиеся окна. — Не думал, не гадал, что окажусь здесь… — и посмотрел на Анну, словно какой-нибудь деревенский подросток, нежданно-негаданно оказавшийся в самом центре огромной столицы.

— Ну, идите, идите! У Виноградовых, должно быть, ждут! Еще будет время поговорить!.. — Анна легонько подтолкнула его.

Возвращаясь на свою временную квартиру, Ефим улыбался: как все-таки прекрасно, что вот на первых же порах в Петербурге он встретился с такими добрыми людьми! И все слышался ему голос Анны, и не проходило, не могло пройти щекочущее, будоражащее ощущение: как бы там ни было, он уже ступил на тот путь, о котором столько лет лишь мечтал!..

3

К рисованию Ефим потянулся рано. Когда немного подрос, каждое воскресенье вместе с шабловскими богомольцами отправлялся к приходу в Илешево, за четыре версты. В храме можно было вволю наглядеться на иконы и росписи, а после обедни, с крепко зажатым в кулачонке медяком, сбереженным для него матерью, он направлялся к илешевскому мелочному торговцу Титку — покупать очередную стопку серой курительной бумаги. На ней он приспособился рисовать.

У Титка тоже было на что посмотреть: крышка сундука, в котором тот хранил свои небогатые товары, вся была оклеена картинками, на которых красовались прусские короли и гусары.

Когда дома кто-либо из старших собирался в уездный городишко Кологрив, Ефим, чуть ли не с плачем, упрашивал купить там карандаш.

«Ну-ко те! — обычно ворчал отец. — Прямо дело — «купите!». Он, карандашишко-то, пятачок стоит! А тебе его надолго ль?! Токо привезешь, ты тут же его весь изресуешь!..»

Карандаш в Кологриве, однако, покупался, и Ефим готов был даже и ночи напролет сидеть перед лучиной за рисованьем. В Кологрив ездили нечасто, карандаша же и впрямь хватало до обидного ненадолго. И сколько раз бродил Ефим по берегу Унжи, пристально вглядывался в камушки, искал те, которые могут оставлять след на бумаге. В дело у него шли и обожженные на огне прутья, и осколки кирпича.

Дома отец хранил несколько литографий, доставшихся ему в подарок от мирового посредника, который научил его грамоте. Одна из тех литографий называлась «Мудрец и юноша на берегу моря», была она нравоучительного толка. Та литография всякий раз оставляла в душе Ефима странное чувство, грезились ему какие-то чудесные страны, где никогда не бывает зимы, где стоят великие голубые горы, у подножья которых плещется теплое зеленоватое море… Мечтал Ефим над теми пожелтевшими листами увидеть все воображаемое когда-нибудь въяве… Литографии тайком от отца он показывал своим лучшим дружкам — Николке Скобелеву, Мишке Якунину, Сашке Семенову, Ванюшке Травину.

Приходили к Ефиму и другие шабловские ребятишки. Приносили с собой бумагу, и Ефим «работал исполу»: им доставалась половина его рисунков, ему — половина их бумаги.

Позже появились у него и взрослые «заказчики»: девки и бабы, увидев его рисунки, наперебой стали просить нарисовать каких-либо петушков или финтифлюшек на сарафаны, для вышивки.

Впервые настоящий рисунок Ефим увидел в комнате своей

первой учительницы в соседней деревне Крутец. На листке толстой бумаги был нарисован легкий контур дерева. Простенький карандашный набросок, а как впился тогда в него Ефим взглядом, как мучился потом, пытаясь понять, отчего у него-то так не получается?..

Потом, по дороге домой, он долго всматривался в деревья, сламывал ветки ольхи, прикладывал их к снегу, пристально разглядывал отпечатки: не обнаружится ли что-нибудь такое, что помогло бы ему разгадать тайну тех веток, тайну, жившую в каждом дереве, в любом кустике…

Дед Ефима Самойло был часовенным старостой, потому в памяти у Ефима немало осталось всего, связанного с шабловской деревянной часовенкой, стоявшей неизвестно с какой поры от деревни на усторонье, за оврагом, на рёлке.

Давно когда-то, в прежней черночадной избе, дедушка и бабушка обшивали парчой и бахромой хоругви. Его тогда так поразило вторжение в их прокопченную избу чего-то блещущего, сверкающего, яркого. Грубые темные бревна стен, низкой тесовой тучей нависшие полати, огромная печь, дающие скупой свет оконца, а в переднем, красном, углу, у стола, под закопченной черной иконой, бабушка Прасковья, одетая во все домотканое, обшивала сияющую позолотой и яркими красками хоругвь. Дед Самойло в тот день вернулся из Кологрива, где купил парчи и бахромы, сходил в часовню, принес две хоругви на длинных древках. Тогда, должно быть, украшали часовню к престольному празднику — афанасьеву дню.

Ефиму все не терпелось потрогать хоругви, золотую парчу и бахрому, но дед отстранял его: «Не замай, робёнчик, боженьку руками. Лучше погляди: какой Спаситель-то умный написан! Взгляд-то как живой! «Нерукотворный Спас» — это! А вот это матерь божья со младенцем! Наш, шабловский, художник писал — Сила Иванов!..»

О Силе Иванове дедушка Самойло рассказал Ефиму однажды осенью что-то вроде сказки… Ефим запомнил никлый теплый день, в котором услышал ту полусказку-полубывальщину.

Вились тогда над деревней осенние дымы, курились еще овины, вовсю золотел октябрь. Шаблово, словно бы сгрудившись перед недальними холодами, притихло на своем возвышении над Унжей. И все вокруг него на много верст было какое-то легкое, золотое, дымчатое, И высокий седобородый дедушка Самойло, в новых лаптях и онучах, с двумя холщовыми котомами по бокам, казался Ефиму чуть ли не олицетворением того дымчатого соломенного дня.

У старых деревень хорошая память, много в ней всяких сказок-фантазий — не перескажешь. Да и сама здешняя природа насоздавала в душах человеческих тьму всяких образов непередаваемых чувств.

Для Ефима явь и сказка были тесными соседями, для него и само время дробилось не на дни и годы, оно рассыпалось, распадалось на впечатления. Ему тогда казалось, что у времени есть свой хозяин-распорядитель — дедушка Самойло. Какая бы работа ни подошла по порядку круглогодовых крестьянских дел, вся она не без приказа деда начиналась семьей. Так и осталось в самом раннем сознании Ефима: дед знал что-то такое обо всем вокруг, чего другие не знали…

И в самом Шаблове дедушка Самойло был из тех, к чьему голосу прислушивались. Именно он дважды ходил в Петербург пешком с прошениями от деревенского общества к последнему владельцу Шаблова вице-адмиралу Михаилу Николаевичу Лермонтову. Было это еще при «крепости».

Родителем того последнего владельца было заведено правило — способных к ремеслам и искусствам шабловских мальчиков отправлять в столицы для обучения.

Одним из таких способных мальчиков был Сила Иванов, учившийся живописи в Петербурге. Обстоятельства его жизни деду Самойлу были мало известны, он рассказал Ефиму что-то, больше похожее на легенду, на сказку…

В тот день они вдвоем ходили по деревне, собирали новь на украшение и поддержание часовни. По осеням, пока Ефим был мал, они не один год так ходили вдвоем. Год выдался неплохой, всего уродилось, потому в избах их встречали приветливо, потому и складные слова дедушка Самойло легко рассыпал в каждой избе.

Вот больше из-за тех складен Ефим и ходил с дедом Самойлом по деревне, не уставая удивляться, как легко и укладно тот умеет сочинять на ходу…

К вечеру они зашли в часовню. Посуетившись там, поделав какие-то работы, дед собрался было запирать дверь, но Ефим стоял посреди часовни, задрав голову, смотрел на Саваофа — седовласого грозного бога, написанного все тем же Силой Ивановым на большом холсте, изумлялся, как это живописец сумел написать такой взгляд: столько суровой пронзающей силы было в нем… В часовне по стенам были развешаны в два ряда другие иконы, но всякий раз, едва переступив порог, Ефим торопился встретиться взглядом с необъяснимой силой божьего взгляда, не замечая ничего другого.

Он стоял так, смотрел, почти не мигая, в глаза парящего под

самым потолком грозного и печального бога, пока дед Самойло не окликнул его во второй или в третий раз:

— Ну, чего ты?! Запирать, говорю, надо!..

На воле, стоя за спиной у деда, возившегося с тугим замком, Ефим спросил:

— А ты помнишь Силу-то Иванова?.. Какой он был?..

— Да какой?.. Как не помнить-то!.. Важный был человек! Как барин! Да-а… — И дед Самойло махнул рукой в сторону горы Шаболы. — Вон там его хоромы были заместо барского терема!..

Дед был в добром расположении духа, словоохотлив, потому не заторопился домой, принялся тут же, на рёлке, рассказывать:

— Он, Сила-то, долго жил в Питере, художеством там занимался, храмы все больше расписывал. А потом, сказывают, с большими деньгами приехал в Шаблово. Вот и построился на отшибе от деревни, чтоб Унжу было видно из окошек-то. Никто тут таких теремов и не видывал дотоле! А над теремом-то он башенку воздвигнул, навроде каланчи, чтоб с нее всю округу ему далеко было видно. А над башней-то он поставил высоченный шпиль, и на нем долго красовался такой большой цветок золоченый, он его еще «репьем» называл. Этот «репей» из Кологрива за пятнадцать верст было видно! Так и сиял! Особливо вон когда на закате или на восходе! Потом уж кологривский полицмейстер приказал Силе тот «репей» убрать… Зачем?.. Да ведь оно какое дело-то?.. Бывший крепостной… и — на-поди — с таким дворянским размахом жить захотел! Этот «репей», может, кологривской знати глаза колол… Вот и было приказано… Ну, Сила-то осерчал, обиделся и опять укатил в Петербург, там потом и умер… Тут, в Шаблове, у него никакой родни не осталось, хоромы его долго стояли заколоченные, а потом молния в них ударила и спалила, а может, кто и поджег… А человек был хороший, Сила-то! Важный барин! Да-а, курево-марево, хороший был человек! И еще жил в те поры, в Крутце, живописец Лука! Вот они вдвоем тут с ним и водились. Тот тоже большой мастер, но, понятно, не то что наш Сила! Они вот и для часовни постарались, и вон — в Илешевской церкви есть их живопись.

И словно бы в согласии со словами деда Самойлы, в Илешеве, у Николы, отчалил от колокола гуд вечернего благовеста и доплыл до их слуха. Дед закрестился, спускаясь в овраг по тропе.

Колокольный звон бился о дальние лесные увалы Заунжья, чуть подбагренные низким осенним закатом. Возвращающиеся из-за реки отгулы словно бы спорили слабо с каждым новым ударом… Этот приглушенный сдвоенный звон доходил до очарованного услышанным Ефима, как из далекого прошлого. Он не пошел за дедом, ему надо было побыть одному: перед глазами

все вставал диковинный терем Силы Иванова, сиял Ефиму над горой Шаболой в лучах закатного солнца золоченый цветок «репей». И сам загадочный Сила Иванов являлся ему в воображении, и незнакомая, недетская засела в голове мысль: оказывается, вот из этой обыкновенной лесной жизни можно выйти в какую-то другую, как вышел когда-то художник Сила Иванов…

Он не умел думать вскользь, с самых ранних лет внимание его останавливалось на всем, ему надо было искать какие-то неясные связи, темное пугливое сознание, как зверек из норки, совершало вылазки в окружающий мир, чтоб обознать его не только зрением и слухом…

Ефим имел еще короткую память, но память его становилась огромной, когда он думал о том, что его окружало, когда прикасался к самым обыкновенным вещам, все для него с самого начала имело глубокие корни, уходящие в загадочное прошлое. Сам свет окружавшей его жизни был светом щемящей памяти о чем-то давно минувшем…

Светом той памяти светилось лицо бабушки Прасковьи, когда они вдвоем, перед осенью, возвращались из соседней деревни Бурдово. Солнышко тогда закатилось чисто, ни одна тучка не помешала ему на виду у окрестных деревень и лесов спокойно сесть за дальними ельничками. «К вёдру! — улыбалась бабушка Прасковья. — Воробышки вон в лужах полощутся, ворон весь день молчал… К вёдру!..»

— Баушк! А что это вон там за бугор, ровно как насыпал кто?.. — спросил Ефим.

Бабушка пожмурилась, помолчала и, словно в самой тишине того золотого вечера расслышав начало своей лесной сказки, начала:

— В стародавние времена, сказывают, жил здесь царь Фестифиль. И вот на том самом месте был у него распрекрасный дворец. И ровно бы на том самом месте зарыты его заветные клады. Только их просто не откопать, надо слово знать!..

— А какое бы слово-то?..

— Да какое?.. Кабы кто знал, так давно бы уж и раскопали!.. Ну, дак вот… Сказывают, были тогда в небе два солнышка и три месяца, и ходили они друг за дружкой по небу. А еще появлялась большая звезда. Люди на нее глядели — наглядеться не могли: вот какая была краса! И когда та звезда появлялась, начинался тут годовой праздник!.. Ох, много, Ефимко, рассказывают стары люди про те времена, де было тепло, а не жарко, светло, да не ярко, и не холодно, и не оводно! Вот как!.. А солнышки-то были разных цветов! И месяцы-то подходили близко к земле, на них и

горы были видны, и всякие камни драгоценные… А потом опять отходили далеко…

Слушал Ефим по-вечернему ясный голос бабушки, глубоко западало в него каждое слово, и вечернее поле ржи, залегшее среди хвойной рамени, обдавало его тайным шепотом. Каждый день у него в родной округе — встреча с необъяснимым и таинственным, и от взрослых только и слышит он о пугающих встречах в лесу, то с водяным у болота иль у ручья, то — с лешим…

Бабушка умолкла. Близко уж было и Шаблово. Избы, показавшиеся впереди, померещились Ефиму, после услышанного в дороге, какими-то незнакомыми, только послышалось, как проскрипел колодец очепом, как кто-то кашлянул громко, да еще дрозды что-то вдруг растрещались в елошниках в овраге, да донесся со стороны леса какой-то страшный утробный рев коровы, видно, отстала, отбилась от других… И сразу вспомнилось: третьего дня отец с дедом с Илейна вернулись перепуганные, медведь к ним на кулигу вышел…

Молча подошли к деревне. Бабушка нараспев заговорила:

— Вот и солнышко уже укоротило ход! И не заметишь, как подкатится осень! Застонет под ветром-непогодой земля-кормилица, застелют небо вороны… — и вдруг спросила: — А ты чего ж это, Ефимко, попритих?..

Не ответил Ефим. Перед тем как спуститься в овраг около деревни, оглянулся: желтым пологом облегло деревню ржаное поле, в загустевшем над ельничком воздухе померещились ему два разноцветных солнышка, три наплывающих месяца… Да и не ели увидел он позади — многобашенный дворец царя Фестифиля!..

Это уже потом, осенью, дедушка Самойло рассказал ему о Силе Иванове, о его диковинных хоромах, и Ефим тогда долго жил мыслью, что, может быть, неизвестный ему шабловский живописец уже нашел здесь клад царя Фестифиля… «А может быть, и тот золотой цветок «репей» был из открытого Силой клада?.. — думалось Ефиму. — Откуда тот мог взять такой большой золотой цветок, что его аж из Кологрива, за столько верст, было видно?! А может, и тот цветок, и весь клад Сила никуда не увез из Шаблова, а зарыл где-нибудь тут?.. Может, под своими хоромами, может, в горе Шаболе?.. Уж Сила-то наверняка знал то заветное слово: вон он как умел рисовать!.. Мне бы узнать такое слово!..»

В Шаблове взялся обучать ребятишек грамоте по буквослагательному способу дядюшка Фрол Матвеев. Ефим запросился к Фролу в обучение. Родители отпускать его не хотели, но дело дошло до слез. Семилетнего Ефима отпустили к Фролу, шутя, ничего-де — пройдет это с ним!.. Ефим, однако, остался у дядюшки Фрола учеником да так прилежно учился до самой весны, что по окончании обучения получил от своего учителя рукописный похвальный лист!

На следующий год в версте от Шаблова, в деревне Крутец, открылась земская школа. Ефим стал ходить туда. После окончания школы учительница посоветовала ему учебы не бросать, а поступить в уездное училище. Ефимовы родители тут уж обеспокоились всерьез: единственный сын, будущая опора в крестьянствовании и… вдруг… Они и слышать ни о чем не желали. Пришлось Ефиму остаться дома…

Как-то, уже среди отгоравшего октября второй его свободной от ученья осени, он стоял на горе Шаболе. День был — дымчатое растворение лесов и увалов, мглистое свечение Унжи. Несколько кустов рябины красно горело в той дымке, тихо пересвистывались за оврагом в Пихтином логу какие-то предзимние тоскующие пичуги. Вслушавшись, вглядевшись в тот день, Ефим вдруг почувствовал до острой тоски: он замкнут тут, в своей деревне, со всей своей будущей судьбой, со всеми своими мечтами, он — всего лишь малая, живая частичка здешней глухомани, сам он — все та же глухомань, нечеткая, размытая…

Остаться в ней или как-то выбраться к свету другой манящей жизни, найти в ней свое, что едва лишь приоткрылось перед ним впереди?..

На другой день, еще при темне, он улепетнул из родительского дома с горбушкой хлеба за пазухой. Уже прошел месяц от начала занятий в уездном училище, но смотритель, добрый человек, принял Ефима без экзаменов.

Через два дня пришел в Кологрив и отец — с провизией для беглеца. «Ну, чего же, этта… учись, коли…» — опечаленно развел он руками.

В Кологриве Ефим до того бывал всего несколько раз: дважды родители брали с собой на ярмарку (один раз — в ануфриев день, среди лета, второй раз — глубокой осенью, на федосьин день), а то еще раньше ездил он с дедом Самойлом на моленье в Пустынь — дальнее заунженское село, останавливаясь в Кологриве проездом.

Уездный городишко, со своими тремя церквями, базарной площадью над Унжей, с товарными складами и лавками, с каменными двухэтажными домами купцов и господ, с

темнохвойными островами обступивших его сосновых лесов, каждый раз казался Ефиму каким-то особенным, иным миром, в который он лишь заглядывал мельком, так и не разглядев, не обознав как следует, только растравив свое любопытство.

Однако, попав в него надолго, Ефим вначале тяготился своей новой жизнью, тосковал по родному Шаблову, по знакомому деревенскому миру, голосами которого была переполнена вся его память.

Трудно далась Ефиму его настойчивость: до прихода отца как следует набедовался. Сколько раз в те два дня он поглядывал в сторону родного Шаблова, уходя на берег Унжи, с какой тоской смотрел даже на осеннюю воду, думая о том, что она пробегала мимо его родной деревни, мимо его мест… И поднимал взгляд от воды, а снова смотрел на север, и сиял ему там, над далекими увалами, невидимый никому другому, золотой цветок «репей» Силы Иванова, сиял словно бы из навсегда затонувшего, потерянного для него мира…

На первом году учебы Ефима в уездном училище семья в Шаблове пополнилась: родилась сестрица Александра. Через год вновь крик новорожденной раздался в родительской избе. Девочку нарекли Татьяной. Так и суждено было Ефиму остаться единственным сыном у родителей — честненком, честняком, как называли таких по кологривским деревням. Единственным сыном у родителей был и его отец. Того по-уличному в Шаблове с малых лет называли Васькой-честненком.

О ту пору многие деревенские жители, обезличенные «крепостью», и тридцать лет спустя после ее отмены не имели еще устоявшихся фамилий, их меняли легко и по разным случаям, они не переходили от отца к сыну, а до того их вообще заменяли прозвища да отчества. Прадед Ефима прозывался Федором Осиповым, дед — Самойлом Федоровым, Самохой Федоровым, отец стал прозываться Василием Самойловым, Василием Самохичевым, а чаще — Василием Честняковым, либо Василием Честненковым. Он-то и стал основником фамилии, Ефим был Честняковым уже по отцу, хотя мог выбрать себе какую угодно фамилию. Так эта фамилия и пошла с ним в Кологрив, где она потребовалась ему впервые, и когда надо было записать ее на казенной бумаге, так и записали: «Ефим Честняков».

Уездное училище Ефим успешно окончил в 1891 году, ему опять было предложено учиться дальше — поступить в учительскую семинарию. Смотритель училища объяснил ему, что способные семинаристы содержатся в семинарии на благотворительные стипендии, так что он мог обойтись без

родительской помощи. Ефим решил учиться дальше.

Но решить было просто, заговорить о решенном с родителями — куда труднее. Ефиму шел пятнадцатый год, он вытянулся, ростом стал почти с отца. Шабловские его ровесники уже во всех работах помогали своим родителям, отец с матерью и от него ждали того же… Было ясно, как они встретят его решение… Только дождались наконец-то помощника, а он — опять учиться!..

В уездном училище Ефим слышал о том, что за Унжей, почти под самым Кологривом, на том же берегу, что и Шаблово, в усадьбе Екимцево на средства какого-то Чижова строится низшее сельскохозяйственное училище с опытной фермой, в следующем году его должны были открыть, и тогда, на худой конец, можно было бы поступить туда, выучиться на агронома или ветеринара… Но Ефим чувствовал, понимал: это — не его путь. Тянуло совсем к другому. В уездном училище он еще больше пристрастился к рисованию, к чтению, появилось и еще одно увлечение… Он завел тетрадь, в которой пробовал выразить приходящие к нему невесть откуда мотивы, ложившиеся на язык склада и лада. От Деда Самойла перешло к нему это?.. Чудилось все глубже. Мотивы прилетали из такой бесконечности, в которой таилось начало той самой памяти, угаданной им однажды, еще в раннем детстве, среди ясного вечера на краю лета, когда он услышал от бабушки Прасковьи о царе Фестифиле, о его дворце и кладах… Потому, наверное, и написалось на первой страничке той заветной тетради:

> «Литературные опыты Ефима Васильева и Василисина, внука Самойлова и баушки Прасковьи и правнука Федорова и прабаушки Марфы, и прадедушки Ивана, и прабаушки Одарьи — родителей баушки Прасковьи…»

Тут были упомянуты имена всех, кто составил два крестьянских рода, давших Ефиму жизнь. Чувство связи с целыми поколениями родных ему людей, словно бы накопивших для него все сокровенное, жило в его душе. Весь родной крестьянский мир захотел Ефим поселить на страницах своей тетради. Из конца в конец Шаблова прошлась его отроческая муза, всех домохозяев родной деревни складно упомянул он, а затем — и названия деревень, известных ему в своем приходе. Вся округа была для него единым родным миром.

И все же звал, звал Ефима к себе другой, далекий мир, на пути к которому всегда стояло родительское несогласие…

Тот год выдался на редкость засушливым. Уже среди лета

было ясно: надо готовиться к тяжелой голодной зиме. Хлеба повыгорели, на полоски тяжело было смотреть, тощие колоски друг другу издалека кланялись… Отец с матерью и дедушка с бабушкой ходили тихие, будто перед неминучей страшной грозой, глаза прятали друг от друга. Как было заговорить с ними о продолжении учебы?.. Только тяжести добавил бы в семье такой разговор…

И опять выдался у Ефима какой-то переломный день, вроде того, осеннего, перед побегом в уездное училище. Видно, задуманное всегда ждет своего особого дня…

Запомнился Ефиму тот день в конце июня…

5

Ветер скулил в волоковом окошке, как будто все звучали чьи-то далекие призывные голоса, размытые летними сияющими пространствами. Ефим сидел за выскобленным добела столом, слушая ветер, и жизнь за стенами родной избы, на воле, казалась ему печальной и полной смутных, неразрешимых загадок.

Потом он долго стоял у крыльца, понимая лишь одно: этим сияющим днем ему дано какое-то новое зрение… Словно впервые перед ним открывались родные увалистые места, и он не просто видел их, а легко и свободно перелетал с увала на увал, а то вдруг замирал, вглядываясь в иззубренную черноту борового горизонта, в знойную глубину, где сомкнулся бело-голубой небесный свет с дымно-сизым краем земли. И вновь летал его взгляд, и расступались перед ним лесные чащобы, обнажая по угорьям избы самых дальних деревень, живущих так же тихо, как и Шаблово. И понималась, угадывалась взбугренная скрытая сила земли, ее упорный суровый характер.

Незнакомо узились глаза. А перед ними — напряженные, пружинистые, лукообразные контуры, острые стрелы елей, нацеленные в блеклое, выцветшее небо.

За огородцами разбрелись по гуменникам темные овины, соломенники, мякинницы, обкуренные дымом не одной осени, щетинились серой соломой крыш, и словно бы слышал Ефим, как увивался вокруг них южный упорный ветер…

Уйти, убежать, улететь в такой день, куда душа поманит!.. Какие дали вон там заступлены хвойными гривами?.. По небесному сиянию в той стороне, не потому, что наслышан, догадывался: дальше, еще за многими увалами, — бесчисленные реки, спокойные светловодные озера, там вечным сном спят болота, где-то там, к северо-западу — равнина Белозерского

края… И на всем вокруг одна печать — бесконечность, немая бесконечность…

Память порождала печального светлоликого всадника, скачущего по холмам, виденного на донце старинной расписной прялки бабушки Прасковьи, вспоминались печальные слова, оставленные на том донце рукой неведомого Ефиму деревенского живописца:

> «Сижу я на борзом коне и тот не обуздан по горам по холмам везде конь стрекает ум мой разбивает. Юность моя юность беспечальное время куда ты стремишься куда летишь? Скоро придет твоя старость будь поумнее живи поскромнее».

Ефим снова вглядывался в задебренные заунженские увалы, и светлоликий тот всадник, опечаленный, кроткий, хоть и «на борзом коне», замирал над дымно-сизым краем земли и не вдруг исчезал, растворялся… Оставались на пересохших губах живые слова: «Юность моя, юность, беспечальное время, куда ты стремишься, куда летишь?..»

К глухой забывчивости звал сухой широкий ветер, будто нашептывал: «Вон, смотри, — сама здешняя земля попробовала только пошевелиться когда-то, да лишь все сосборила, взбугрила на сотни верст и чутко задремала навсегда… Покой и безмолвие — над ней! Не в этом ли всё?!»

Направился Ефим в сторону горы Шаболы, чтоб с нее посмотреть на Унжу, а день все длил свое колдовство: так дохнуло в лицо из-за оврага Савашовское поле, тонко-тонко провеяло его дыхание… Наверное, есть в таких днях какой-то непостижимый закон: все неразрывно связано, переплетено…

Дохнувшее теплое поле заставило взглянуть в его сторону, в самый конец деревни, увидел; навстречу бредет спотыкливо старичок Флавушко — славный, кроткий, всегда и всему приветливо улыбающийся, словно он про все на свете знал только доброе и светлое. Постукивает Флавушко батожком перед собой, верно тропу боится потерять. Ветхий старичок, в чем душа держится, весь какой-то холщовый, портяной, лыковый, льняной. Не человек — тень от облачка или само облачко, спустившееся на землю. И откуда такие старички берутся?.. Сколько помнил себя Ефим, все этот Флавушко был как будто одним и тем же… И померещилось через этого старичка ответно заулыбавшемуся Ефиму древнее родство жаркого июньского дня с самыми далекими светлыми днями северной русской старины, и, странно, в самом себе, подростке, он вдруг ощутил ту же сокровенную, мгновенно угаданную древнюю связь…

Наверное, не мог не повстречаться Ефиму в такой день этот светлый старик. Флавушко явился, возник перед ним, как само благословение того полдня, благословение, которое вскоре Ефим увез с собой в далекое село Новое, где предстояло ему учиться в учительской семинарии.

Флавушко совсем немного сказал в ответ на Ефимов поклон и приветствие, руку поднес козырьком к белым кустистым бровям, поднял на Ефима ясные, не тронутые дымком старости глаза:

— Ты это, что ль, Ефимко?! Вон какой у Василья Самохичева сынок растет!.. Этта… училище, я слышал, закончил?.. Ну, давай тебе бог! Иди светлой дорожкой! Иди, не сбивайся!.. — и опять застучал батожок по тропе, побрел Флавушко дальше, улыбаясь чему-то далекому, радостному.

Все было в том полдне одно к одному. Побывав на горе Шаболе, Ефим спустился к Унже. Там, у воды, он и столкнулся с Марькой Веселовой. Весь день тот вдруг выпал из сознания, и только Марькино лицо, тронутое загаром, Марькины настороженные глаза видел он перед собой. То была необъяснимо-странная минута. Марька как будто не стояла на месте в замешательстве, а вроде бы отделилась от самой себя, незримым, но ощутимым существом из воздуха, из духоты, обтекла его всего, опахнула, как тот низинный сквознячок, неподалеку от них посеребривший вдруг елошины и оставшийся в успокоившихся вновь кронах.

Ефим покосился на деревню, словно она могла подглядеть эту встречу. Но наверху, над Шаболой, ни единого голоса не было слышно, только виднелись коньки выкрытых соломой и дранью крыш.

Эту встречу он ощутил так, словно где-то далеко-далеко носил душноватый ветер июня его и Марькину души, носил, пока они не одичали вовсе, и вдруг столкнул, свел их на береговой тропе, под родной деревней. Губы его были непослушны, он слова не мог сказать. Все было в необъяснимой связи и по какому-то замыслу, может быть, втайне созревавшему в здешних лесах, под здешним небом, только и ждало такого дня, чтоб вольно и свято войти в него…

Мягко блещущая рядом Унжа, окрестные молчаливые леса, ошпаренные зноем, пристальное солнце, чуть смутное то ли от того, что оно и не должно было в такой день сиять слишком ярко, то ли от того, что в округе курились пыльцой ельники, — все свелось для Ефима в один короткий миг в этой девочке-подростке. И он опустил взгляд, обошел ее, сел неподалеку, свесив босые ноги с обрывистого берега.

Марька не ушла, не убежала. О чем они тогда могли

говорить?.. Ни о чем и не говорили, дичились, а что-то держало их друг возле друга. Иногда он украдкой косо взглядывал на нее. Она стояла на хоречке[1], густо обросшем травой, и перебирала в горсти какую-то мелочь. Белый головной платок, загорелые лицо и руки, линялый голубой сарафан, светлые мягкие прядки выбились из-под платка… Даже высокое июньское солнце словно навсегда замерло над ее головой: так сосредоточилась она на чем-то невидимом Ефиму. Неожиданно подошла, протянула руку: «Погляди…» Пять маленьких грязно-серых горошин с белыми черточками кучкой лежали на ее ладони, ковшиком поднесенной почти к самому подбородку Ефима. Ладошка распрямилась, горошины одна за другой скатились по желобку меж сжатых пальцев, пали в траву, и в этом было для Ефима что-то чароносное, или все в том полдне казалось ему таким?..

И мгновенно увиделось давнее… Афанасьев день, У шабловских — престольный праздник. С утра была жара. Через овражек к часовне шли нарядные люди, свои деревенские и гости. Под открытым небом вставали вокруг часовни, широко крестились на нее… Вот тогда-то Ефим и увидел Марьку словно бы впервые. Она молилась рядом со своей матерью и меньшими сестрами, не озираясь по сторонам, как другие девчонки, и в ее побледневшем лице, в больших темных глазах было что-то недетское, какая-то большая печаль… Ефим невольно прикрыл глаза, будто ему побыстрее надо было спрятать в себе, в своей памяти, облик той светлой, чистой девочки, печально молившейся среди летнего раннего дня. Он попробовал так же поднять глаза к небу и так же, как она, шептать одними губами… И навсегда осталось в нем небо того светлого дня. Сияла высоко над ним тонкая скорлупа облачка, на малое время прикрывшего солнце, так что солнце в том облачке было, как желток, и облако было круглое, облако напоминало яйцо.

Тогда Ефим еще раз хотел посмотреть на Марьку, увидеть ее еще раз такой же, но из часовни стали выносить иконы и хоругви, все смешалось, люди с пением потянулись за овраг, в деревню, вместе со всеми ушла и Марька. Он остался один, как бы разъединенный тем мгновеньем, в котором такой необычной увидел Марьку, разъединенный со всей деревней, со всем вокруг. Он тогда вошел в часовню и долго стоял посреди нее. Пение крестного хода слышалось уже со стороны поля, а он все стоял, глядя в огромные глаза Саваофа, словно силясь найти в них то же, что неожиданно увидел в глазах Марьки…

Может, тогда пробудилось в нем впервые то, что потом стало любовью, или это случилось на берегу Унжи?..

После ужина, когда вся семья была в сборе, Ефим решился — сказал об учительской семинарии…

Отец и мать сначала оторопело молчали, потом заговорили наперебой. Все, что они могли сказать ему, Ефим знал заранее. Он упрямо стоял на своем. Начав чуть ли не с крика, родители сошли на тихий увещевательно-просительный тон, мать даже несколько раз принималась плакать. Закончил же весь спор дедушка Самойло: «Чего уж… Видно: кого чем бог поищет… Вон оно — как крестьянствовать-то! Все горит на корню… Как хошь ты тут… А — учитель?! Ему жалованье подай!.. Пусть едет, учится…»

6

В дорогу Ефим собрался среди августа. Ехать на этот раз надо было далеко — за сотни верст.

Бабушка Прасковья усердно шептала перед темной иконой богородицы: вымаливала для внука счастливой судьбы. Богородица, будто отстраняясь от ее горячего шепота, держала узкие ладошки перед собой, смотрела на нее укорно.

Отец, покряхтывая, подошел к Ефиму, достал из кармана несколько засаленных билетиков, пробормотал:

— На вот… Поберегай, смотри! Денежка — не бог, а полбога есть! После бога денежки — первые! Трудно они даются нашему брату! Дал бы и поболе, да нечего…

Пришло время прощаться.

— Ну, присядем… — сказал дедушка Самойло.

Все присели, чтоб крепко помолчать какое-то время перед тем, как Ефиму выйти за порог.

— С богом!.. — перекрестился, вставая, дедушка.

Ефим поднялся с лавки, тоже быстро перекрестился, надел было картуз, снова сдернул его, повертел в руках, словно что-то пристально разглядывая на его подкладке: не так-то просто было на этот раз переступить порожек родной избы…

И уже за порогом почувствовал: все привычное так вдруг изменилось, стало отчужденно-неузнаваемым. Какая-то ранящая острота поселилась во всем, о каждую пожелтевшую травинку можно было уколоться взглядом, каждое оконце родной деревни нацелило в него острые иглы незнакомой всепронзающей пристальности. В самом воздухе словно бы затаился, готовый мгновенно поразить, ослепить среди бела дня, молнийный высверк… Все показалось Ефиму отчужденно-замкнувшимся…

Накануне отец сходил в Илешево, принес оттуда выписку из

метрических книг, которая должна была служить Ефиму документом:

> «В метрических книгах Костромской Епархии Кологривского уезда Ильинской церкви села Илешева тысяча восемьсот семьдесят четвертого года в первой части о родившихся под № 47 записано так: «Декабря девятнадцатого родился Евфимий. Крещен двадцать второго числа. Родители его временнообязанный крестьянин г. Лермонтова деревни Шаблова Василий Самуилов и законная жена его Васса Федорова, оба православного вероисповедания. Восприемниками были: бывший дворовый г. Баранова сельца Лучкина Ефим Артемьев и крестьянка деревни Суховерхово Екатерина Никитина. Таинство крещения совершил священник Иоанн Кондорский с пономарем Федором Кирилловым Ильинской церкви села Илешева».

Приняв эту выписку из рук отца и прочитав ее, Ефим ощутил в своих руках не просто четвертушку бумаги, а обрывок связи со всем родным, здешним…

Он оглянулся на родную избу, на своих домашних, остановившихся у крыльца. Дедушка с бабушкой смотрели на него из-под ладоней, будто он был уже далеко от них, отец с матерью стояли с почужевшими лицами. Они-то на него глядели, как на потерянную надежду…

Ефим махнул рукой, поправил холщовую котому за плечами и пошагал прочь. Он уже не мальчик, он — человек, выбравший сам свою дорогу. И потому даже мать не кинулась к нему с прощальным причитанием, а так и осталась стоять, надвинув косынку на глаза, и бабушка Прасковья не сошла даже с места.

С утра гуляли по земле мелкие смерчи, вихревые скулящие воронки, будто оброненные с пепельного неба. Он видел, еще сидя в избе, как одна такая воронка косо пронеслась возле самых окон, заставив его содрогнуться от короткого жуткого воя, от шелеста песка и пыли, хлестнувших по старым бревнам избы, по стеклышкам окна… Дух бездомности скитался в тот день с утра по лесному захолустью, выманивая из-под отчего крова таких, как он…

С тяжелым сердцем Ефим шел вдоль деревни. Что-то случилось вокруг него. Помрачнели, потускнели листья на деревьях. Белесое небо все было в меловых разводах. Только одних ворон и было слышно… Перед спуском в овраг Ефим украдкой оглянулся на избу Веселовых. Померещилось ему: в боковом окне, будто мелькнуло Марькино лицо?..

За Савашовским полем Ефим еще раз оглянулся, увидел лишь крыши крайних изб и овинов, вспомнил, как накануне, вечером, ходил прощаться со своим овином, как бродил по родному гумну… Словно бы само собой вышептывалось:

Учиться завтра отправляюсь
Я на чужую сторону,
Со всем родным я здесь прощаюсь,
Хожу уныло по гумну,
Как бы в деревне я — один…
Прощай, прощай, родной овин!..

В полдень Ефим был в Кологриве. Там ему повезло: он нанялся гребцом на товарную лодку, тем же днем и отплыл на ней книзу.

Триста верст до Юрьевца-Польско́го по кривулям, по хабинам Унжи показались бесконечными. В Юрьевце-Польском Ефим перебрался на плывущий до Ярославля пароход. Только спустя две недели после отплытия из Кологрива он оказался в селе Новом.

Вступительные экзамены сдал успешно и стал стипендиатом Константина Абрамовича Попова, московского купца первой гильдии, выходца из костромского села Большие Соли, пожертвовавшего немалую часть своих капиталов на благотворительность.

Новинская учительская семинария, как и все подобные семинарии, готовила учителей для начальных народных училищ. После трех лет обучения в ней Ефима ожидало какое-нибудь сельцо или какая-нибудь деревушка в своей же губернии: семинария не давала ценза для другого пути. Кроме учительского служения в захолустье нечего было и помышлять о чем-то более высоком… Семинаристов, в большинстве своем вышедших из крестьянского сословия, готовили к маленькой незаметной работе в деревне.

Друг детства, двоюродник, Николка Скобелев годом позже, после окончания все того же уездного училища, тоже поступил в Новинскую семинарию. Они еще в Кологриве были неразлучны, хоть и учились в разных группах. Николка всегда был — само добродушие. Он и улыбался, как улыбаются наедине с собой очень добрые люди. С ним всегда было хорошо, он как будто уравновешивал Ефима, то вспыльчивого, то замкнутого.

У них была общая память, которая крепче прежнего связала их на чужой стороне. На первом году обучения в семинарии Ефим страдал от одиночества и от тоски по родному Шаблову. В своей

заветной тетрадке он писал, обращаясь не к кому-нибудь, а именно к Николке, с которым были связаны все дни далекого деревенского детства:

Ах, другу ясных вешних дней
Сказать не знаю как привет
Тоскующей души моей!
Ах, дивен был нам белый свет,
Прекрасны были годы детства,
А мы с тобою с малолетства
Играли вместе и росли,
И по полям коров пасли…

Любая малость, уводившая в далекое шабловское детство, на чужбине согревала.

Часто посвящал Ефим свои складены отцу с матерью и бабушке Прасковье с дедушкой Самойлом. Все четверо с ранних пор погружали его память в самые животворные древние глубины деревенского лесного мирка, знакомили его детскую душу с душой деревни…

7

Бабушке Прасковье в том знакомстве — первая роль: от нее — притчи и поверья, сказки и присказки, песни и заклинания… С самой землей она разговаривала! Запомнилось Ефиму:

«Мати сыра-земля! Уйми ты всякую гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела, поглоти ты нечистую силу в бездны кипучие, в смолу горячую, угони ты ветры полуденные со ненастью; уйми пески сыпучие со метелью, уйми ты ветры полуночные со тучами, содержи морозы со метелями!..»

От нее же — и первые заповеди внуку, древние крестьянские тайны:

«Нельзя тревожить спящую землю! Весной, перед пахотой, не бей, не ударяй по земле! Нельзя тогда ни колья вбивать, ни городьбы городить! В духов день и на успенье тоже нельзя копать, рыть ямы, нельзя пахать…»

На Фёклу-заревницу овин празднует именины! Бабушка выставляет в боковую деревянную трубу плошку с овсяным киселем, приговаривает:

— Медвидь, медвидь! Иди кисель исть! Не ешь наш овес! Сегодня — овин именинник!..

Бабушка и домашних духов знает всех наперечет: и суседушко, и кикимору, и лизуна… Они незримо всегда живут где-то рядом — в подполице, на понебье, в голбце, в сеннике, во дворе, при скотине…

Духи древнего мужичьего мира: духи хлебного поля, дремучего леса, тайной воды… Много их еще в самых ранних своих годах запомнил Ефим: светлоносы, лесунки, людки, русалки, гречуницы, гарцуки, полудницы, овинники, сусечники, запечники, конюшники, полевики… В реке, запомнилось, живет чертушко, в лесу — он, в теплой баненке — проказливый баннушко, на гумне — огуменники… Каждый уголок окружавшего мира потому казался Ефиму незримо населенным, отовсюду в родном Шаблове и вокруг него на Ефима смотрело что-то живое, изначальное, что живет в каждом малом прутышке, в каждом ручейке, как вечные загадки, как некие первообразы всего родного, северного, русского…

По осеням, когда прогорят овины и девки затевают по избам супрядки, много Ефим переслушал бабушкиных рассказов про избяных да дворовых незримых, но вездесущих приживал…

Тихо в избе. Только и слышен гул ветровой. Дед в Кологрив уехал, отец с матерью — к родне, в Денюгино. Только бабушка да внук никуда не уехали, не ушли. Бабушка лучину зажгла. Ушла к себе, в закут, кринками там стучит, сметану для пахтанья снимает. Внук возле светца ломает лутошечки, складывает в клетку: избушку мастерит. Широколобый кот-домовит трется об его локоть, мешает строительству. Ефим гонит его прочь. Бабушка из-за тесовой загородки говорит:

— Полезай-ко, Ефимко, на печь вон! Вишь, как витер-то развоевался! Полежи в тепле, батюшко! Полно на полу-то холодном сидеть! Для мужичка печь в таку непогодь — крепость! Завалится на нее — ничем там его не возьмешь! Полезай-ко, мой мужичок! Погрейся до ужина-то!..

— И то! — по-взрослому отозвался Ефим, поднимаясь с коленей. — Полезу! А сказку потом скажешь?..

— Дай вот управлюсь! — обещает бабушка.

Ефим лезет на печь, затихает там, повозившись. Долго, не мигая, смотрит на трепещущий огонек над светцом. Лучина горит ясно, чуть потрескивает да стрекает угольками в лоханку с водой. Оранжевым переменчивым светом словно бы расширено вдвое пространство избы. Знакомый с рождения мирок… Рядом с накатной печью из глины — тесовая переборка. Кругом всей избы вдоль стен пристроены лавки, в переднем углу — чисто выскобленный стол, над столом, в красном углу — тябло с иконой. Над кутом надстроены полати. Вот и вся изба…

Ветер хлещет песком по бревнам стен, подвывает. Под такую «музыку» и думать можно только заторможенно, незаметно для самого себя засыпая. Но не заснет Ефим. Прислушивается к бабушкиной возне. Та ворчит сама с собой:

— Накрыть надо б кринки-то, а то лизун придет, слижет сливки-то!

— А где он живет — лизун?.. — спрашивает Ефим с печи.

— Да где?.. То — в овине, то — в трубе, то — за квасницей прячется, то в голбце!.. А язык-от у лизуна бо-о-ольшой! Как терка! И суседушко с кикиморой тоже с ним живут…

— А кикимора-то какая, баушк?..

— Седая!

— А суседушко?..

— Домоведушко-то, кикиморин муж?.. Тоже — старóй! Весь оброс! Махонькой, ровно кужель отрепей! Он все больше во дворе любит жить! При скотине! Везде по двору ходит! К лошадям, ежели которых любит, сена подкладывает, расчесывает их, холит… Кикимора тоже везде ходит. На наседалах куриц ощупывает. Когда вон ночью куры керкают, это их кикимора будит!.. Их много, чудал!..

Бабушка выходит на свет, берет прялку, садится у светца прясть. Приплевывая на персты, прядет куделю, словно распутывая и вытягивая в нить какую-то серую свалявшуюся бороду, может быть принадлежавшую совсем недавно какому-нибудь чудалу…

— Вот кикимора-то, ежели какая хозяйка оставит пряжи, не благословясь, по ночам куделю еще прядет, когда все уснут, только шорготок стоит! Шур-шур-шур!.. — продолжает рассказывать бабушка, коротко прислушавшись к ветру.

— А сама-то ты ее видела?.. — спрашивает замирающий внук.

— Видела раз! — откликается бабушка. — И суседушко видела! Ночью было. Все спали. Тихо было. И вот слышу: на голбце, коло печи, шорготит что-то… «Благослови, Христос!..» — думаю. Я на полатях лежала. Как повернула голову-то, а с брусу, ровно комок серый на пол-то — скок!..

А вот когда давит суседушко, спрашивают: к добру или худу?.. Я, так-то было, насилу спросила! Язык-то не ворочался, выдохнуть не могла! «К добру…» — только кое-как и прошептала…

— Ох-хо, кисанька! На-ка, пойдем, дам молочка, дурачок! Где ноне бегал-то?! Взлохматился весь! — бабушка идет опять к себе в закут, наливает в плошку молока для кота. Возвращается на прежнее место, прислушавшись к ветру, вздыхает.

— Да-а… вот уж и михайлов день подкатил! На михайлов-то

день завсегда так: первый мороз обожжет лицо! Все ватаги по избам сидят, бабам приспела пора затевать супрядки, зашумели веретена и прялки, затянулись долгие песни… Охо-хо…

— Баушк! А что это в трубе-то? У-у-у!..

— А витер-то!

— А где он живет, баушк?..

— Витер-от?.. Да в лесу! Это — там! — бабушка махнула рукой в сторону двери.

— А он какой, баушк?..

— Да кто его видел?! Вот, правда, вихорь-то видели! Сказывают: вон мужик из Бурдова бросил ножом в вихорь-то, а тот и унеси нож-от! Да… Мужик в тот же день пошел в лес по лыки, да в лесу-то и заблудись… И вот видит: избушка старая-расстарая. Вошел в нее, а там сидит кто-то, весь серый с лица и стонет, нож из пяты вынает! И говорит мужику: «Кто-то в меня ноньча в деревне ножом бросил… Вот — в пяту попал!..» Мужик-то глядит, узнал свой нож… Испугался!..

— А что он мужику-то сделал — вихорь-то?..

— Да ничего. Отпустил с миром. «Только, говорит, никогда боле так не балуйся!..»

Помолчав, бабушка снова возвратилась к своим домашним духам:

— А суседушко любит хорошего хозяина! Плохого хозяина он не почитает! Бормочет во дворе: «Труху-труху сенную труху! Вот хозяин-то у меня — табак курит! Не люблю трубокуров! Как дух этот учую, сразу со двора ухожу! Неохота у таких и за лошадьми ходить!..»

Бабушка долго рассказывает и про суседушко, и про то, как тот встречается с лизуном и кикиморой, как и о чем они разговаривают, какие похождения бывают у этой троицы. И каждого из них она и голосом представит, и в лицах изобразит. И нет в самой бабушке знания: быль или небыль она рассказывает внуку…

— Хорошо больно ты рассказываешь, баушк!.. — похвалит Ефим, которому так бы хотелось, чтоб этот осенний вечер не имел конца.

— Я — што?! Вот мой дедушко был! Вот тот мастер был сказывать! И песни пел все такие, что и не слыхать тут у нас ни от кого таких было, и сказку, бывало, смастерит — хоть на смех, хоть на горе, хоть потешну, хоть смешну! А я — што?!

На другой день Ефим ходит как околдованный. Все прислушивается к каким-то неясным шорохам-шепотам. Под лестницей, ведущей с моста на понебье, постоит. Дверь тут в

сенной чулан, в вечный сумрак, в особую тишину, которую только подпольная мышь точит… Всегда закрыта эта дверь. После бабушкиных рассказов страшновато что-то Ефиму подходить к этому месту… Вдруг потянет его на понебье. Там много всякого серого от пыли и сумерек хламу: корзины с худыми днищами, разодранные лукошки, ворох старых разбитых лаптей, расколотые корчаги, отрепи кудели, ступа, песты, большие губки сухой чаги… Уж наверняка где-нибудь тут, в пыльном углу, схоронился либо лизун, либо суседушко… Какие-то неясные выступы, темнота, чуть шевельнутся вдруг мизгирёвы тенета, почудится Ефиму: кто-то там завозился, поднимаясь… Заспешит он вниз, перепуганный влетит в избу: так вдруг станет не по себе!..

Избяная труба сбоку. Заберется он на голбец, приоткроет волоковую задвижку, с опаской заглянет в трубу. А там сажа светится, как лаковая, слышно тонкое завывание: у-у-у…

Потом Ефим долго сидит у окна, смотрит на осенний засыпающий мир, заждавшийся снега. И вдруг — промельк, прочерк снежинки перед глазами… Оставит он в Ефиме странную тревогу и зоркость, неясную догадку об этом таинственном мире…

Бывают по осени дни, когда все предметы вокруг словно бы лишены названий и ждут своего опознавателя, который придет откуда-то и вернет всему утраченные, забытые имена, а если и не вернет, так раздаст новые…

Детство у всякого — из чего-то как будто случайного, из каких-то черточек, вспышек, из того, что у слишком взрослых людей по их заблуждению, по их слепоте почитается за безделицу.

Тянутся дни — один мутный холодный настой, то смиряющийся, то вновь взбаламученный ветром… И вдруг однажды, поутру, кто-то в него подольет забелки, словно вся земля вдруг наизнанку вывернется, и останется в памяти то белое холодное утро…

Ефим проснулся. Едва брезжит свет. В избе тихо. Никого. Только тараканы шуршат по щелям. У лавки — светец. Холодные уголья от сгоревших лучин плавают в лохани под светцом.

Хлоп-хлоп-хлоп… — хлопают мялки в деревне. Лён мнут. Тут-тук-тук… — слышно… молотят на гумнах.

Свету в избе — чуть. Хватает только на стол в переднем углу, все прочее — как на понебье. Все вещи принакрыты сумраком, вещи какие-то спящие, неприкасаемые, чуждые. Ефиму даже чуть страшно в избе одному. Но страх побеждают запахи. Пахнет протопленной печью, овчинами, оттаявшими дровами,

внесенными на вечер… Добрые, знакомые запахи… Осмелев, Ефим выбирается из-под вороха одеял и одежды, подходит к окну. На улице бело, снег наконец-то выпал!..

В одной рубашке, без шапки, босой, Ефим бежит по снегу на гумно. Дедушка Самойло встречает его у входа в овин:

— Ай, курево-марево! Озяб, чай! Грейся скорея вон у теплины-то! Смотрю: ровно заяц белый бежит! Давай-давай — в овин! Галань там, поди, испеклась! Мешалкой там пошабори в теплине-то, потрогай!..

В овине темно. Только красные уголья в теплине тлеются. Затих Ефим у тепла. На пазушины поглядывает, побаивается лизуна… Под пеледом, на пересовцах, возле стены, у самой крыши, виднеются еле-еле пеха, мешалки, метлы… Ефиму всегда нравились страшноватые, словно бы чуть продырявленные кое-где, по щелям, овинные сумерки. Он взял обугленный крюк-мешалку, пошаборил в теплине с краю. Выкатил себе под ноги галанину. Она чуть обгорела. Потрогал пальцами: мягка, хорошо испеклась. Тут же скрипнула дверца. Дедушка втиснулся в дверной проем:

— Ну, как — испеклась ли?..

— Испеклась!

Приходилось Ефиму не раз ночевать с дедом вдвоем в этом овине, у теплины. Много всякого из своей жизни рассказал тут ему дедушка. Но не одни бывальщины слышал от него Ефим. Умел дедушка Самойло и сказки сказывать!..

От матери Ефим тоже немало услышал сказок, но больше — заунывных долгих песен.

Отец сказок не рассказывал, не пел песни. Перед каждым праздником он садился за стол в красный угол, раскрывал вдвое разбухшее от долгой жизни Евангелие, начинал читать приятным ровным голосом, чуть нараспев. Домашние сидели, слушали. Приходили послушать и соседи. И то, что читал отец вечера напролет, тоже казалось Ефиму одной долгой, хоть и малопонятной, сказкой…

8

Два засушливых тяжелых года кряду превозмогло Шаблово, пока Ефим учился в семинарии. На втором году его учебы не стало сначала дедушки Самойла, потом — бабушки Прасковьи. Дорогие его сердцу старики немного не дожили до конца Шаблова, того старого Шаблова, в котором столько успели передать своему внуку, от которого столько перешло в него…

Летом 1894 года Ефим окончил семинарию, получил звание учителя начальных училищ и был направлен в сельцо Здемирово Костромского уезда, в тамошнее училище. До начала занятий в училище было около трех месяцев, он приехал домой.

В прошлые два приезда на каникулы Ефим несколько раз виделся с Марькой Веселовой. Первые свидания в его жизни. Недолгие и немногословные встречи… Те слова, которые он не умел сказать Марьке при встречах, превращались в стихи, оставались в его заветной тетради:

Ах, нет! Вовеки не забуду
Я первый цвет любви своей!
И вечно всей душой моей
Всегда стремиться к ней лишь буду!
Не спрашиваю: кто она,
Явившаяся столь чудесно…
Она из ясных сфер небесных
За мною вскоре рождена!..

Свидания он назначал Марьке обычно через ее среднюю сестру Евлампию. Место их свидания всегда было одно и то же — на берегу Унжи, напротив Шаблова, там, где они встретились в тот необыкновенный памятный день.

И вот на третье лето в Шаблово приехал уже не семинарист, а молодой учитель, в нехитрых житейских планах которого на самое ближайшее будущее была женитьба на любимой девушке. Об этом ему не терпелось поговорить с ней наедине.

Встретились перед вечером, на другой день после его приезда. Говорил Ефим сбивчиво, будто по слову отыскивал в памяти. Унжа рядом бугрилась под закатным солнцем, вспыхивала россыпями огней. За день ее так прогрело, что к вечеру от нее явно пахло ухой. Ефиму все казалось, что Марька просто глядит на эту горящую воду и не слышит его слов. Она стояла, покусывая сорванную былинку. Лицо ее было каким-то замкнутым, и это еще больше путало Ефимовы слова и без того путаные…

Он умолк. Слышно было, как под берегом, вжатым рекой, буравили глубину виры, плыли там, где затин, медлительные светящиеся точки. В деревне наверху простучала по кочкам, поигрывая в дрожанку, телега…

Наконец Марька посмотрела на него невесело, покачала головой, словно только что в пляске речных бессчетных светлячков выглядела причину своей печали.

— Нет, Ефим… — сказала она. — Ты сам подумай: какая мы

теперь пара?.. Ты — учитель, образованный, а я — простая девка деревенская. Разве ж тетка Василиса возьмет меня в снохи?! Я бы всей душой согласна, только этому не бывать…

Ефим загорячился, заговорил опять сбивчиво и торопливо, мол, он теперь при своем уме, при своей воле, мол, ни о ком другом, кроме нее, он никогда и подумать не сможет…

Марька в ответ говорила:

— Нет! Тетка Василиса и слышать не захочет!.. Я и так, когда мимо вашей избы прохожу, глаз не подымаю: боюсь твоей матери, она худо на меня смотрит… Не захочет она…

В тот же вечер был у Ефима разговор с родителями о женитьбе. Выслушав его, мать так и всплеснулась:

— Ай да Ефим! Ай да сынок! Нашел себе невестушку! Нашел ровню!.. Учился, учился, от дому отбился, да, видно, и заучился!.. Нет уж! Выбирай невесту по себе! Не нами сказало: «Садись в дровни да поезжай к ровне!» Много ты поупрямствовал со своим ученьем, ну, дак не в деревне и ищи себе жену!..

— А ты, Василий, чего молчишь?! — перекинулась она на отца, сидевшего тут же за столом. — Скажи ему! Как же это?!

— А чего и говорить-то?! — отец тяжело положил перед собой изработанные, словно бы глиняные руки. — Тут говорить нечего… Ты, парь, этта… не в Шаблове жить собрался?! Нет?.. Вот!.. А там… — тяжелая рука махнула куда-то в сторону бокового окна, глядящего на полдень, — там тебе, паря, жена другая нужна, не темная, не деревенская!..

— И подумай-ка вот об чем… — торопилась вставить свое слово мать. — У тебя пока — ни угла своего, ничего! Жалованье еще только по осени начнешь получать! На нас надежа какая?! Какие года тяжелые пережили! Сами-то от тебя помоги ждем, у самих вон — во всем неуправно, без излишков живем… Сестры, посмотри, — одна другой меньше… Их надо на ноги ставить! Об этом ты подумал ли?!

Много слов опять было сказано отцом и матерью. Только все их слова не поколебали Ефима в его бесповоротном решении: он представить не мог такого, что Марька не будет его женой…

Наконец пришли к одному решению: ему надо поучительствовать с годик, немного пообжиться, скопить деньжонок, а там уж — его и божья воля…

Та отсрочка обернулась для Ефима утратой… Не одна, две утраты ждали его в следующем году на родине…

Пароходик ткнулся в глинистый берег под Бурдовским городищем, не причаливая: и сходящих пассажиров было немного (кроме Ефима — три мужика из Глебова), и весна поторапливала, выстаивала она пока без дождей, Унжа мелела. Едва спрыгнули на берег, «Николай» сразу же взбурлил колесами, попятился, побежал дальше — до села Архангельского, последней своей пристани на верхней Унже. Глебовские мужики, громко переговариваясь, тут же скрылись в прибрежном ельничке. Ефим помешкал у воды.

Унжа парила по-утреннему. Ее правый берег, на котором Ефим высадился, из темного, холодного стал теплым, золотисто-розовым, солнце весело полыхнуло меж хвойной густоты за рекой. От его нестерпимого света Ефим словно бы очнулся, вскинул на плечо тяжелый баул, пошагал, запинаясь о неровности тропы, вдоль берега: ему надо было пройти еще около версты, подняться Пихтиным логом на гору Скатерки, а там Шаблово — как на ладони…

Остро прорубились сквозь утренний покой, сквозь легкую глухоту, оставленную пароходным шумом, постуки топоров. Напомнили: сейчас он придет не в прежнюю родную деревню, где ему знаком каждый закоулок, — объявится на пепелище… Прежнего Шаблова больше нет…

Еще по письму, полученному среди осени не из родительского дома, а из Денюгина, куда отец с матерью перебрались зимовать после пожара, Ефим знал: от Шаблова осталось всего четыре избы, уцелела часовня за оврагом, не тронул огонь овины, бани, мякинницы, стоявшие на усторонье…

Взгретый под своей неудобной ношей подъемом и солнцем, Ефим еще раз остановился наверху, расстегнул ворот рубахи. Новое Шаблово сияло за оврагом постройками яростной желтизны, смотрело на него пустыми глазницами оконных и дверных проемов. За одну зиму однодеревенцы успели столько понастроить заново!.. По старинке уже не строили, окна прорубали широкие, по три, а то и по четыре окна с уличной стороны. Хоть брякали топоры, шумыркали пилы, сияли раздетые бревна срубов за оврагом, для Ефима вживе были избы прежнего Шаблова — темноликие, с небольшими окошками, прорубленными высоко от земли. Взгляд его обежал уходящие к северу порядки изб. Все было одинаково новое, какое-то отчужденно-незнакомое. Главная же, отчуждающая и его самого, невидимая перемена была в другом: в той возрождающейся деревне больше не было Марьки… Это ошеломившее его известие пришло к нему тоже не из Шаблова: Николка Скобелев написал ему об этом из Новинской семинарии, где он продолжал пока

учиться, Николке же написали об этом родители, сообщая о шабловских новостях.

Ефим пошагал было к деревне, но снова остановился: прямо перед ним возникла, словно только что выбежала ему навстречу из прошлого и замерла, не совсем показавшись из-за горы, уцелевшая от пожара часовня, будто какой-нибудь полуреальный первообраз исчезнувшего прежнего Шаблова. Так мягко сияли под невысоким и нежарким еще майским утренним солнцем уступчатые осиновые плахи-чешуи на главке часовни, осененной старым деревянным крестом!.. Тем же дымчатым серебряным сиянием посвечивали бревенчатые стены часовни. Рядом с часовней стояла порыжевшая снизу от древности, знакомая Ефиму с самых ранних лет ель. Ель и часовня словно посланы были деревней за овраг — встречать идущих со стороны Кологрива и провожать уходящих в сторону Кологрива… Сколько раз они вдвоем провожали и встречали самого Ефима…

Он, как добрым старым знакомым, кивнул им, и тут же в памяти — давний афанасьев день, Марька, еще девочка, молящаяся рядом с часовней…

Ниже часовни, на дне оврага, протяжно прокричал какой-то мальчишка, со стороны елошниковых зарослей, на вершину горы взлетел отзывной крик другого. Здесь как ни в чем не бывало перекликалось чье-то новое детство…

За Унжей торопливо, сбивчиво прокуковала кукушка, напомнила Ефиму, как Марька позапрошлым летом сказала ему: «Когда кукушка накукует в лицо, — заплачешь, когда — в затылок, — умрешь, в левое ухо накукует, — потеряешь, в правое, — найдешь». Тогда тоже за Унжей куковала кукушка. Та кукушка накуковала, видно, в левое…

В новой, не совсем еще отстроенной избе отец с матерью рассказали Ефиму в подробностях, как сгорело Шаблово.

Случился пожар осенью, на самый покров. Многие из шабловских в то утро отправились в Илешево к обедне. По избам остались почти одни старые да малые. Было ветрено. И угораздило Серегу Хромого постолярничать в то утро в недавно отстроенной избе… Постолярничав, собрал с полу ворох стружек, затискал их в топившуюся печь, а сам вышел во двор — к скотине. Видно, когда хлопнул дверью, часть запылавших стружек выметнуло на пол, обратно в избу, а часть — сильной тягой выбросила через трубу на крышу, та была выкрыта соломой, изба занялась сразу изнутри и снаружи. От нее загорелись соседние…

Мать рассказывала Ефиму, как старуха Сизиха с криком, в безумстве побежала вдоль деревни с двумя иконами в руках, а

пожар, обогнав ее, будто на крыльях, перекинулся на другой конец деревни и пошел палить избы с двух сторон. Когда из Илешева прибежали богомольцы, вся деревня была одним большим костром…

Мать рассказывала ему об этом, а он и слышал, и не слышал ее… Наконец решился, спросил:

— А как же Марька-то?.. Как это случилось?..

Рука матери погладила чистую столешницу нового стола, стряхнула с нее что-то незримое…

— Марьку перед великим постом выдали за Петьку Смирнова из Ложкова… Она после пожара шибко хворала. Когда бежала на пожар, запалилась, потом еще тушила, спасала добро, ее продуло. Трудно хворала, долго мучилась кашлем… А тут, чуть пооклемалась, ее и посватали… Момент такой был: некуда ей было деваться, все одно к одному пришлось… Ведь они тоже всей семьей после пожару-то у своей родни спасались… А семья-то у них, сам знаешь, — почти одни девки… Вот и…

Помолчав, мать перевела разговор опять на свое:

— Нам еще повезло! Пожар-от с концов пошел! Мы, когда прибежали с отцом из Илешева, еще кое-чего спасли, изба только еще занялась. А вон у которых по деревне-то и скотина сгорела во дворах! Уж как бедовали! Чуть не вся деревня разбрелась по приходу! Кто куда… Да ладно погода в эту зиму завсе была хорошая: пурги-вьюги были, а больших наметов не нанесло, и морозов страшных не было…

Отец кивнул:

— Дал бог возможность людям: почитай, все еще до весны и лесу наготовили, и срубы срубили… Через лесничество вон в Казенной выкортомили хорошего сосняку. А у нас, опять же, как будто все кстати было: лесу-то я наготовил еще летось, наново строиться и без пожару собирались. Вот великим постом устраивали помочь, все наши были — с Урмы, из Денюгина… Из шабловских — никого: свои у всех горя… Окурат коло Евдокеи, среди марта, и зачали строиться… Тихо было, снег уж на кулигах сошел. За недельку избу поставили! Считай — первые! Так вот остались мелочи. Ты вот приехал: вдвоем поуправней будет…

— Охо-хо… — вздохнула мать. — Эко торопленье тут у нас теперь! Всю деревню наново строют! Всем не терпится под свою крышу поскорея влезти!.. А все же прежнего Шаблова жаль! Красота-то какая была! Кто, бывало, ни пройдет, только и говорили: «Что уж это за деревня! Батюшки! Шаблово-то! Ой! Да над рекой! На таком месте!..»

Хоть и намучился Ефим в долгой дороге, и сказывался день, проведенный среди неустроенности и развала, а заснуть в ту ночь

не мог. Будоражно было в мыслях, не лежалось спокойно. Мысли были, будто птицы, разбуженные в неурочный час.

Мать постелила ему по его просьбе на понебье. Скрипел, покряхтывал под ним тесовый настил, на который еще не натаскано было для утепления опилок и глины.

Уже по-летнему мягкая ночь была светла. К тому же свету добавляла луна. Ефиму из сиреневой небесной глубины сияла какая-то бессонная звезда, словно просилась в его неспокойные мысли. Шаблово спало крепко, люди устали за день, не слышно было ни скрипа, ни шороха. Только со стороны оврага доносились соловьиные чоканья и трели.

Память своевольничала, выхватывала из прошлого то одно, то другое, и все возвращенное было связано с Марькой… В минувшем дне работой, суетливыми тараторливыми сестренками, разговорами с отцом, матерью память как будто была приглушена. А тут, в одиночестве, она заставляла Ефима вздыхать и ворочаться. Обостренность воображения, с которой он жил все последнее время, отыскала его, лежавшего под тулупом на понебье, высветлила сумерки перед ним. Он чувствовал себя так, будто был вознесен над землей, вознесен не избой, а странным, разрастающимся вокруг светом. Нет, еще не светало, ночь еще силилась собрать за Унжей голубичную мглу. Этот свет творила бессонница. Роились под крышей бессчетные самородные образы, одна за другой возникали перед Ефимом картины, хоть закрывай он глаза, хоть лежи с открытыми…

Марька… Марька… Нет, не уснуть ему было. Стараясь не скрипнуть, на цыпочках спустился по лестнице на мост, прислушиваясь, открыл дверь, вышел на крыльцо. Постоял, подставив лицо еле ощутимому полуночному ветру, неяркому лунному свету.

Деревня спала. В стороне темнелась, словно какая-нибудь обугленная руина, старая липа. Два-три листика там не могли уснуть, тоже, видно, и среди них были такие, которым не спалось… Кроме тех неспокойных листочков, ничто не имело голоса в теплой мгле, как будто в них поселилось живое дыхание всей деревни.

Ефим сошел с крыльца и, почти крадучись, направился в сторону оврага. Еще не доходя до последних изб, увидел: овраг до краев налился белым спокойным туманом, и ниже вся пойма была принакрыта приникшим к воде и земле облаком, повторяющим изгибы Унжи…

Взгляд остановился на часовне, возвышающейся на релке, за оврагом. Туман, озаренный сверху луной, стлался, клубясь и чуть пошатываясь, у самых нижних венцов часовни, его отдельные

лохмы, вздымаясь, вились вокруг нее, будто некие духи водили там хоровод. Казалось: часовня и ель рядом с ней приподняты туманом и парят в воздухе…

Стояла дремная заря, и в решетчатом окне часовни, обращенном в сторону деревни, стыли розоватые холодные отсветы. И опять мгновенно увиделось давнее: афанасьев день, молящаяся Марька…

Марька, Марька… Он и не знал до случившегося, что ею так переполнена память…

В деревне прокричал первый петух. Ефим словно бы только и ждал этого крика, как сигнала: он стал спускаться в овраг, погружаясь в белое клубление по колени, по пояс, по плечи… Весь утонул, как и не бывало его…

Если бы рядом в ту минуту оказался такой же полуночник, он увидел бы, как из тумана, залившего овраг, выбрался к рёлке человек, как он подошел к часовне, постоял рядом с ней, потом приник к ее окну…

Ефим вглядывался в сумерки часовни, сгущенные почти до непроглядности под ее потолком, как раз там, где всегда горел неукротимым огнем взгляд парящего Саваофа. В эту ночь ему так надо было ощутить на себе силу того взгляда! И, почти ничего не различая за окном, он почувствовал близость той силы, будто какое-нибудь невидимое пламя, запертое в часовне, вдруг метнулось в его сторону…

Может быть, от этого пламени, зажженного тут, в Шаблове, кистью художника Силы Иванова, оторвалась когда-то невидимая искра и впилась, внедрилась в Ефима — негасимая, каждодневно жгущая…

То пламя пока что лишь дразнило его, обладающего всего одной искрой, языки того пламени плясали, возносились перед ним еще на самых ранних порах его жизни. Они были то теремами царя Фестифиля, то самим, столько раз воображаемым, Силой Ивановым, то принимали облик Марьки… Сама жизнь была для него щедро рассыпанным, дразнящим вдали богатством, сказочным богатством… И вот вдруг… даже то, что успело разгореться так ярко и так близко, оказалось навсегда потерянным…

Ефим отлип, отделился от окна часовни, остановился с глухо бьющимся сердцем у самого края широкого молочного разлива.

Толща тумана, озаренная сверху луной и кое-где приоткрывшая мрачные жуткие провалы, лежала у ног Ефима. Она словно бы дышала, местами щетинясь вершинником елей, приподнятых береговыми всхолмьями…

Ефим ощутил себя стоящим не перед этой белой никуда не

текущей дремной рекой полночи, а перед собственным будущим, в котором все представлялось ему в те минуты каким-то неверным, запутанным, без надежных опор и без твердой почвы, шагни — и полетишь в пустоту!..

Кто он, кто перед этой ночной, одновременно и мрачной, и сияющей бездной?.. Что он успел в свои двадцать-то лет?.. Тетрадочка юношеских стихов, робкие опыты в живописи и рисунке?.. Всего лишь… Суждено ли всему, что он чувствовал в себе, развиться, или оно так и останется только стремлением?.. Что эта необыкновенная ночь пророчила ему?..

И опять вздыхал Ефим над туманным разливом: Марька, Марька… Даже то заветное место, где они столько раз встречались, было завалено ворохами тумана, будто сама ночь была в сговоре с роком, темную силу которого Ефим начал испытывать на себе…

10

До конца июля следующего года Ефим проучительствовал в начальном училище для малолетних преступников при Костромском обществе земледельческих колоний и ремесленных приютов.

С нового учебного года он должен был занять место учителя в Углецком начальном училище Кинешемского уезда. В Углец он выбрался из Костромы только в августе.

Еще с ранней весны Кострома жила слухами о предполагавшейся в Нижнем Новгороде Всероссийской выставке. К августу, когда она уже работала, открылась и ежегодная нижегородская ярмарка. Ефим решил перед Углецом побывать в Нижнем. Он еще в Костроме слышал, что на выставку привезено много картин, что существует там даже целый художественный отдел, которому отведен специальный павильон, что и в других местах выставки есть какие-то огромные картины…

Среди пассажиров, плывущих на пароходе санкт-петербургской компании «Надежда», только и разговоров было, что о выставке да об ярмарке. Ефим жадно ловил каждое слово. Говорили, что площадь, занимаемая выставкой, намного больше площади прошлой Всероссийской московской выставки, будто она даже больше и полней нашумевшей Чикагской выставки. Только одних павильонов для нее было понастроено более двухсот!..

Все эти слухи будоражили Ефима. Он плыл на первое свидание с большим искусством…

Нижний поразил его воображение. Ефим столько слышал об этой ярмарке, но как-то не умел представить ее действительного размаха, а тут еще была и Всероссийская выставка!..

Он стоял среди ярмарочного шума и гама, растерянно озираясь. Даже ироническая улыбочка появилась вдруг на лице: один он, наверное, здесь такой… Трудно было представить кого-то другого, так же оказавшегося в этой толчее ради того, чтоб отыскать тут выставку картин…

С замиранием подошел он к павильону художественного отдела. Остановился, оглядел ионические колонны, гипсовые статуи в нишах у входа… Вся остальная выставка с ее шумом для него больше не существовала… Его тянуло поскорее увидеть живопись. И она началась: Поленов, Шишкин, Левитан, Айвазовский, Ярошенко, Маковский…

Сначала он метался от картины к картине, хотелось увидеть все сразу, впитать в себя все это обилие целиком, без исключений… И только потом он стал задерживаться подолгу перед полотнами, казавшимися ему особенно значительными.

Долго рассматривал он экспозицию финских художников. Тут было много жанровых картин. Одна из них, кисти Эрнефельта, названная финским словом «пожога», заставила Ефима в мыслях перенестись в погорелое Шаблово позапрошлой осени. На картине были изображены деревенские люди, роющиеся на пожарище. На переднем плане художник изобразил бледную большеглазую девочку, перепуганную, со следами копоти на лице, исполненном недетского горя. Так похожа была та девочка на Марьку, которую Ефим встретил после окончания уездного училища на берегу Унжи…

Ефим покинул павильон далеко за полдень. Около тысячи картин было выставлено в художественном отделе! Сколько часов он провел перед ними?.. Времени не было, оно отсутствовало, не текло, не шло, было только ненасытимое созерцание, жадное вглядывание, он жил в удивительном мире, в котором не надо мчаться за сотни и тысячи верст, чтоб видеть новое и новое, в котором можно, никуда не уносясь из данного мгновенья, переселяться в иные времена и эпохи, быть и отсутствовать одновременно…

Он вышел опять в ярмарочный шум, не слыша его. Солнце остро било в глаза после долгого напряженного вглядывания, после только что пережитого, когда Ефиму казалось, будто он просто выпал из круга реальности… В сознании осталось одно: он увидел, почувствовал, как свою судьбу, то, о чем столько мечтал и думал еще в раннем детстве…

Потом еще несколько дней Ефим ходил от павильона к павильону. На ярмарке и выставке он впервые услышал и настоящие оркестры. Музыка звучала там повсюду, это был какой-то, почти фантастический, спор оркестров, мелодий, музыкальных жанров и ритмов. В одном месте исполняли творения Вагнера, и там всесокрушающе ревели трубы, в другом — стонал и мурлыкал оркестр «убежища нищих детей», в третьем — густо обволакивающе гудел оркестр «Эрмитажа»…

Выставке сопутствовала обширнейшая театрально-зрелищная музыкальная программа. Тут все перемешалось: спектакли Малого театра соседствовали с народными балаганами, концерты оперной и симфонической классики — с выступлениями русских «вопленицы», гастроли заезжих «этуалей» кабаре — с первыми опытами синематографа, кустарное народное искусство — с профессиональным.

Блуждая по выставке, Ефим зашел в павильон Крайнего Севера. Здесь он увидел «северное панно» Константина Коровина: под нависшей почти над самой землей таинственно мерцающей бахромой северного сияния медленно бредут олени, человек едет на высоких нартах… Все озарено холодным светом, все словно бы замерло в движении на ослепительно пылающем снегу…

Это колдовство, доступное только одной живописи… Ефим снова испытал его силу, его власть над собой, стоя перед огромным панно, как перед миражем, манящим свернуть на иной путь, давным-давно зовущий его…

До Углеца он добирался, перегруженный впечатлениями, чувствуя перед собой начало того пути…

11

Углец оказался небольшим сельцом, вроде Илешева. Сельцо рассыпалось вдоль тракта, соединяющего Кинешму с Нижним. Не какое-нибудь крайнее захолустье, а живое, бойкое место. К западу от Углеца, всего верстах в четырех от него, пролегала другая дорога — железная (на Иваново-Вознесенск, на Москву). В той стороне сплошь были большие промышленные села и деревни: Вичуга, Бонячки, Гольчиха, Тезино, Чертовиши… Все это называлось Вичугским углом. Здесь не то что в Кологривском уезде, где на десятки верст окрест дымит одна-единственная труба над заводиком в вотчине поручика Левашова. Кинешемский краешек огромной Костромской губернии — самый промышленный, тут в иных местах что ни селенье, то — фабрика.

Весьма обильные сведения об этой стороне Ефим получил в

первый же вечер по приезде в Углец. Едва он расположился в своей комнатке при училище, кто-то постучался. Вошел высокий священник в темно-малиновой рясе, пышноволосый, с аккуратно подстриженной бородкой, на вид ему можно было дать лет пятьдесят. Поклонился от порога:

— Медиакритский. Настоятель здешней церкви и законоучитель здешнего училища. Отец Николай, ежели угодно… Вот зашел познакомиться… Я прямо от вечерни…

— «Ефим Васильевич Честняков»… — повторил он за отрекомендовавшимся приезжим. Оглядел Ефима пристально, словно желая удостовериться: соответствует ли звучание его имени, отчества и фамилии самому облику. — Евфимий… Коль с греческого — на российский, так, стало быть, — «простодушный»?! Простодушный да еще — Честняков! Неплохо, хорошее сочетание!.. Мы с вашим предшественником ладили! Думаю, и с вами поладим!.. Вот не соблаговолите ли откушать чайку в моем доме? С дорожки-то неплохо!..

Ефим согласился. За чаем отец Николай рассказал ему об этом промышленном уголке.

Упомянув сельцо Бонячки, заметил не без гордости:

— Между прочим, Иван Александрович Коновалов, тамошний фабрикант, — попечитель нашего училища, вот уже четыре года! Н-да-с!.. Не приходилось ли читывать «В лесах» Мельникова-Печерского? Нет?.. Ну, так обязательно прочитайте! Там о дедушке-то Ивана Александровича, о Петре Кузьмиче, хорошо написано! Большой был человек! Из крестьян в такие люди выбился! Внук вон уже миллионами ворочает!.. Вот, пока есть свободное время, сходите-ка в Бонячки, прогуляйтесь как-нибудь на днях! Широко там дело поставлено! Увидите — удивитесь! Да и в Вичуге интересно побывать, и в Родниках!..

Занятия в Углецком училище начинались с октября. Ефим успел до того дня исходить всю округу. Сначала обошел деревни своей волости, начав с деревень, лежащих вдоль тракта, северней Углеца, — с Шичковки, Клыгинской, Куркуновой… Переходя от деревни к деревне, Ефим записал в училище более пятидесяти ребятишек.

Потом уже он начал ходить и за пределы своей волости. В Вичуге познакомился с двумя тамошними учительницами — Анной Ивановной Остроумовой, служившей в Вичугском старейшем училище четвертый год, и с Софьей Ивановной Воскресенской, только-только собиравшейся начинать службу в звании домашней учительницы.

В селе Тезине Ефим заглянул к Надежде Михайловне

Синайской, прослужившей в тамошнем начальном училище много лет. Она рассказала Ефиму об учителях почти всего уезда.

В Бонячках, упомянутых Медиакритским, Ефим близко познакомился с Николаем Александровичем Благовещенским, учителем фабричной школы. Они оказались почти ровесниками. Узнав, что Ефим в Бонячках впервые, Благовещенский вызвался показать ему свое село.

Бонячки удивили. Ефим увидел роскошные особняки местных фабрикантов, позади тех особняков громоздились краснокирпичные корпуса фабрик, в стороне виднелись большие белокаменные здания с колоннами. По правую сторону дороги, ведущей к тем зданиям, раскинулся неоглядный сад, в том саду были видны широкие песчаные дорожки, зеленые газоны, клумбы, цветники, аллеи с изящными садовыми скамейками… Не раз Ефим прошелся вдоль целого белокаменного ансамбля, словно бы не поверив Благовещенскому, что центральное здание этого ансамбля, увенчанное куполом, — просто больница. С обеих сторон больницу обтекали мощеные въезды, над которыми замерли две пары мраморных львов… Яркая лазурь прохладного дня так легко сочеталась с легкостью ионических колонн!..

Уйдя в созерцание всей этой красоты, Ефим невольно размечтался: он увидел вдруг такой же белокаменный ансамбль в своей деревне, над горой Шаболой, словно бы парящий высоко над Унжей, на фоне заунженских лесов и марев…

В Бонячки к Благовещенскому Ефим стал наведываться часто. Каждый раз они вдвоем подолгу прогуливались по селу, и Ефим все удивлялся: столько тут было всего понастроено!..

— А ведь если разобраться, так все это создано трудом местных мужиков… — как-то заметил Благовещенский. — Коноваловы только использовали их труд… А почему тем же людям невозможно объединить свои силы добровольно, чтоб самим так же поставить дело, — построить фабрики, разбить сады и парки, возвести такие же дома-дворцы? Чтоб для себя, не для дяди чужого!.. Что за дьявольская сила стоит на пути у людей к этому?! Почему находится среди них только кто-то один, цепкий и сильный, кто исподволь берет все в свои руки, все подминает под себя и общую силу людей делает своей собственностью?.. Ведь именно так тут начал дед нынешнего хозяина… Я об этом, Ефим Васильевич, много думал!.. Почему не рождаются столь же сильные люди, которые с той же энергией, с той же волей брались бы организовывать общую стихийную силу не ради своей корысти, а ради того, чтобы все становилось общим, одинаково принадлежащим любому-всякому?.. Неужели это невозможно на земле?! А ведь кажется, как все просто-то —

взять и сложить в одну хотя бы силы одной деревни, для самой же деревни!..

Ефим подхватил эту мысль Благовещенского:

— Да, я об этом тоже задумывался… Ведь вон в наших местах собираются же мужики в артели, когда барки, скажем, строят… Я мальчишкой еще смотрел, восхищался: какая дружная, веселая работа!.. И ведь это и вправду так просто — деревня-артель! Чтоб в ней все — как один человек, с одной волей, чтоб все — в полном согласии! Деревня-семья — вот какой должна быть деревня!.. Вот же вблизи тихонького Углеца простые люди успели столько сделать! И ведь все это сделано руками темных людей! А если бы им дать свет больших знаний, если бы в каждом из них разбудить творца?! Что бы из этого вышло?! — и Ефим улыбнулся Благовещенскому, как человек, счастливо нашедший вдруг главную истину для себя, против которой некому и нечего возразить.

— Ах, Ефим Васильевич!.. — вздохнул Благовещенский. — Видения-то земного рая во все века добрых людей посещали…

— Да разве ж напрасно?! — в раздумье спросил Ефим. — А вам не приходило в голову вот такое?.. Мы ведь с вами детей учим… Что, если именно детям прививать эту мечту о земном-то рае?! Ведь дети так восприимчивы! Каких бы всходов можно тогда ожидать!.. Только вот… ведь и сам-то еще не больно просвещен… — он, словно бы извиняясь, улыбнулся Благовещенскому. — Еще самому-то столько непонятно и неведомо!..

У него до этой поры не было в жизни ни многознающего, многопонимающего руководителя, ни просто глубоко и остро мыслящего собеседника, в разговоре с которым он мог бы прояснить для себя то, в чем путался. До чего-то добирался и сам через чтение. Сколько было прочитано им только прошлой зимой в Костроме, где он имел счастливую возможность перечитать все книги из домашней библиотеки вдовы священника Панова, бывшего законоучителя приютского училища! Но чтение его не имело ни системы, ни направления, он читал то, что посылал ему счастливый случай. Учительская семинария собирала в своих стенах молодежь с зачаточным образованием, зеленых деревенских юнцов. Год работы в Здемирове, служба при училище для малолетних преступников — что это могло дать ему?..

Благовещенский пообещал Ефиму помочь в смысле самообразования. Из Бонячек Ефим в тот раз ушел, нагруженный подшивками журнала «Русское богатство», ставшего центром нового народничества, и книгами Герцена и Михайловского.

Еще и в эти годы большое влияние в Кинешемском уезде

имели народники. Нелегальными кружками самообразования, возникающими тут, руководила народнически настроенная интеллигенция — врачи, учителя, агрономы. Идеи Энгельгардта переплетались с идеями Льва Толстого, идеи Герцена — с идеями Михайловского…

Читая Герцена и Михайловского, Ефим метался в мыслях, стараясь понять из книг, каким же путем пойдет Россия.

«А может быть, этот путь вот в чем, — думал Ефим, — почему бы не породнить общину и фабрику? Одно благо слить с другим, отмести и от того и от другого все худшее… Достичь того, чтоб фабрики принадлежали общинам!.. Не в этом ли тот особый путь России, о котором писали и Герцен, и Михайловский?..»

12

Незадолго до масленицы Ефим съездил в дальнее село Родники. Село это входило не в Кинешемский, а в Юрьевецкий уезд, но с соседними вичугскими селениями создавало единый промышленный массив. О Родниках Ефиму довелось слышать много. Поехал он в воскресенье, чтоб побывать на воскресных чтениях, которые устраивались там не в училище, как всюду, а в огромной рабочей столовой и собирали иной раз до тысячи слушателей. Запас картин для волшебного фонаря в Родниковском училище был таким богатым, что ими бесплатно снабжались училища и школы Кинешемского, Нерехтского и Юрьевецкого уездов. Ефим надеялся привезти для своего училища несколько новых картин.

Поездка оказалась полезной. Он познакомился там с заведующим училища — Михаилом Алексеевичем Волковым и учителем Павлином Магновичем Крыловым. В рабочей столовой, после чтений, Михаил Алексеевич представил Ефима двум Василиям Александровичам — Частухину и Халезову, здешним фабричным служащим, о которых Ефиму рассказал Благовещенский, как о местных просветителях. Тут же он был представлен Виктору Дмитриевичу Кирпичникову, кинешемцу, приехавшему в Родники накануне.

С Кирпичниковым, вечером того же дня, он возвращался поездом назад. Правда, дорога от родниковской ветки до станцийки Новая Вичуга — слишком коротка, но о себе друг другу главное сообщить они успели. Виктор Дмитриевич оказался студентом Московского университета, «по некоторым обстоятельствам пока оторванный от родной альма-матер…» Так он сказал, подмигнув Ефиму. Перед прощанием он достал

карандаш и листок бумаги, написал несколько слов, протянул листок Ефиму:

— Тут я написал, как нас найти… Это — несложно. В Кинешме любой покажет дорогу в Вандышку. Приезжайте-ка к нам на второй день масленой недели, у нас должна компания интересная собраться, познакомитесь кое с кем. Семейка наша — ничего! Неплохие люди! — он рассмеялся. — У моего отца — небольшое дело свое, вроде заводика химического, всего пять-шесть рабочих, уксусную кислоту вырабатывают, древесный спирт… Отец у меня — инженер, Технологический в Петербурге окончил. Этот заводик — чтоб просто быть независимым! Мы при заводе и живем, так что заходите — поближе познакомимся, поговорим!..

Ефим пообещал обязательно прийти.

На второй день масленой недели он приехал в Кинешму, в которой не бывал с самого лета, потолкался по ее лавчонкам и магазинам (надо было сделать кое-какие покупки) и во второй половине дня, ближе к вечеру, отправился пешком в Вандышку.

Компания у Кирпичниковых собралась довольно пестрая. Тут был почти весь музыкально-драматический кружок Кинешмы: Калачов, Петин, Зевакин, Веселовский, Попов, Колеников… Об этом кружке Ефим много слышал в своем Вичугском углу. Среди толпящегося, переходящего с места на место люда можно было найти и статиста, и служащего в Кинешемском страховом обществе, и учителя гимназии, и врача… Преобладали «земцы», инженеры, студенты. В гостиной стоял почти ярмарочный гуд.

Сюрпризом этой вечеринки были двое заезжих: трагический актер — тучный человек в несколько поношенном и тесноватом для него фраке, и певичка. При появлении Ефима в передней актер декламировал, подняв к потолку руку со стаканом крепкого чая, над которым курился пар:

Богиня строгая! Ей нужен идеал!
И храм, и жертвенник,
и мирра, и кимвал,
И песни сладкие,
и волны благовоний!..

Прочитав стихотворение до конца, актер широко повел свободной рукой, осанисто поклонился, кивком откинул со лба свалившуюся при поклоне прядь. Ему громко аплодировали.

— Ну вот, как видите, — весь наш либеральный бомонд в сборе! — под шум рукоплесканий пошутил Кирпичников,

встретивший Ефима еще в прихожей. — Подойдемте-ка к моему родителю, познакомлю вас! Да вот что… — Он дружески улыбнулся Ефиму. — Давайте договоримся с вами называть друг друга просто по именам, мы ведь почти ровесники! Хорошо?..

— Я всегда за простые отношения!.. — ответно улыбнулся Ефим.

Они подошли к стоявшему в сторонке пожилому солидному человеку, Виктор взял Ефима за локоть:

— Вот, папа, познакомься — Ефим Васильевич Честняков, о котором я тебе говорил!..

— Дмитрий Матвеевич! — старший Кирпичников с легким поклоном пожал протянутую Ефимом руку. — Весьма рад! Будьте у нас как дома! Люди тут свои, естественные, простые! Так что без излишнего стеснения прошу…

Ефиму сразу понравилось лицо Дмитрия Матвеевича, умное, живое. В крупных чертах этого лица запечатлелась и отрезвленность опытом, и наблюдательная насмешливость, и практическая складка человека деятельного. Была в нем еще и подкупающая мягкость, словно бы извиняющаяся за все более резкое в нем, нажитое…

— А вон и наши Сережа с Верой! — вдруг обрадованно воскликнул Дмитрий Матвеевич. Ефим быстро оглянулся. В распахнутых дверях гостиной стояли разрумяненные, только что со свежего воздуха, стройный щеголеватый студент и тоненькая девушка-гимназистка, почти подросток. Улыбаясь, они оглядывали гостей.

— Это — мои братец с сестрицей! — Виктор кивнул Ефиму, приглашая следовать за собой, ловко лавируя среди гостей, направился к вошедшим. Ефим поотстал от него, остановился, растерянно улыбаясь.

Неожиданно его привлекло громкое восклицание заезжего актера:

— Да бросьте все эти умствования! Нет литературы для всех! Нет идей, нет духа, которые бы в равной мере владели всеми!..

Актер стоял в кругу таких же солидных, как и он, людей, незнакомых Ефиму. Он продолжал:

— Нельзя, нельзя Чернышевского напяливать на каждого, нельзя выдавать его высказывания за некие духовные каноны! Есть люди, духовно выраженные Чернышевским, есть люди, духовно выраженные Достоевским… Надо просто видеть, что же ценней! Только такая есть мера! Иной — нет! Наши вкусы, наши воззрения настолько разнообразны, что с каким-либо общим законом просто смешно и подходить к людям! Одному вон подавай философскую поэзию Тютчева, Фета, другому — подай

Гофмана, третьему — Некрасова, Курочкина…

— Ну, это вы, любезный, хотите расслоить человечество на одни лишь характеры, изъять из общества идеи, объединяющие, всеохватные, так сказать… — перебил актера некто в пенсне.

Ефим подошел поближе: не хотелось пропустить ни слова. Ему еще ни разу не приходилось бывать в таком обществе.

— Эх, господа! — вмешался низенький крепкий человек, до сих пор лишь насмешливым выражением лица обнаруживавший свой интерес к заведенному спору. — Эх, господа! — повторил он. — Я вам так скажу… Общество, так или иначе, устроено по-индусски, пусть у нас все это названо делением на сословия, это дела не меняет. Люди живут кастами. Это ж и доказывать не надо! Так им удобнее! Так они и будут всегда жить. Только иногда карьера, фортуна, удача вырывают кого-то из его привычной среды, из его касты и перемещает в более высокую, или… наоборот! Это как кому повезет! А в конце-то концов все определяет сумма дохода! Даже люди искусства сходятся на этом принципе! Каждому известно: с кем он должен сближаться! А идеи, взгляды — все это устанавливается в зависимости от толщины кошелька-с…

— Ну, это вы, Захар Ефимович, проповедуйте где-нибудь еще! — сухо сказал стоявший к Ефиму спиной человек. — Кошелек — не здешний бог!..

Низенький расхохотался в ответ.

— А я так все-таки понимаю… — снова заговорил актер, — все определяет в каждом отдельном случае аристократизм духа! И когда он есть, настоящий, впитанный с молоком матери, тогда есть в человеке истинная мера всему, мера — вне идей и кошельков! Только аристократическая среда порождает сей дух! Только она дает истинную любовь к высокому и его истинное понимание!..

Стоявший к Ефиму спиной человек усмехнулся:

— Аристократизм духа, впитанный с молоком матери?.. А вот вам — Шекспир! Родился не в аристократической семье, а между тем его духовный аристократизм это такая вышина! А возьмите наших крепостных художников: Ивана Аргунова, Михаила Шибанова, Василия Тропинина, Ореста Кипренского! Возьмите крепостную актрису Парашу Жемчугову, крепостных зодчих, построивших Кусково, Останкино, Архангельское!.. Вот где он — ваш аристократизм духа! И какой!..

Ефим слушал говорившего, затаив дыхание. Этот спокойный, уверенный в себе человек все больше нравился ему. Чувствовалось: и для его собеседников он — фигура значительная, с решающим мнением. Последние его слова Ефим

ловил, согласно кивая, будто произносились они только для него…

— Кто это? — потихоньку спросил он подошедшего Виктора.

— Как?! Ты не знаешь?! — удивился тот. — Это же сам Петин! Петин Николай Петрович! Самая интересная фигура в Кинешме! А вот тот, низенький, — наш сосед Захар Ефимович Ячменев. В соседней деревне Матвеевой у него тоже — химический заводик, покрупнее нашего…

Ячменев Ефима не интересовал. Ему в ту минуту интересен был только Петин. Об этом человеке он слышал от Благовещенского. Тот рассказывал, что за участие в студенческих демонстрациях Петин был выслан из Петербурга в Кинешму под надзор полиции около пятнадцати лет назад. В Кинешме Петин устроился инженером на заводе Философова. Вскоре он стал заметной фигурой среди кинешемской интеллигенции. Какое бы новое дело ни затевалось кинешемским обществом — возглавлял его Петин.

— Вы хотите познакомиться с ним? — спросил Виктор, и не успел Ефим ответить, как уже был подхвачен Виктором под руку и подведен к Петину, представлен. Он смутился под острым, испытующим взглядом Николая Петровича, заговорившего с ним:

— А я как раз собирался съездить в ваш Вичугский угол! Что-то вичужане плоховато поддерживают подписку на библиотечные абонементы! Вот жаль Пазухина тут нет! Это заведующий нашей земской публичной библиотекой… У нас подписчики — одни кинешемцы, а по уезду — совсем мало. Там у вас, в Вичуге, нужен бодрый, болеющий за дело человек, который сумел бы все организовать! Не возьметесь ли за это?! А?!

— Что ж… Я согласен… — кивнул Ефим.

— Вот и превосходно! — улыбнулся Петин. — Вы тут у нас задержитесь до завтрашнего дня?..

— Да, он у нас заночует, а завтра, к поезду, — в Кинешму! — ответил за Ефима Виктор.

— Так вы уж, будьте добры, зайдите в земскую публичную библиотеку к Пазухину. Сошлитесь на меня и объясните, что готовы служить верой и правдой! — Петин рассмеялся, положив руку Ефиму на плечо. — В общем, возьмите там у него каталогов печатных, сколько он даст, и дальнейшая ваша роль — распространить их там у вас среди образованной и состоятельной публики! Пазухин вам все объяснит!..

— Ну, поняли теперь, как с Петиным знакомиться?! — усмехнулся Виктор, когда они отошли от Николая Петровича. — Вот сразу вам и занятие нашел! Он такой! Любит, чтоб люди вокруг него дело делали! Ничего! Вам это полезно!..

Он тут же познакомил Ефима с братом и сестрой, после чего они держались весь вечер вчетвером, и дальнейшие знакомства, а их было у Ефима в тот вечер немало, завязывались более непринужденно, словно бы сами собой.

В Кинешме, на обратном пути, Ефим побывал в земской публичной библиотеке, познакомился с Пазухиным. Тот снабдил его пачкой каталогов и пожелал успеха, посоветовав привлечь в помощники учителей Тезинской и Вичугской волостей, соседствующих с Углецкой волостью.

Новое дело дало Ефиму новые знакомства. В Вичуге он решил действовать через Остроумову и Воскресенскую, те свели его со студентом-медиком Доброхотовым, административно высланным из Москвы, и с братьями Разореновыми, один из которых был студентом Императорского московского технического училища. Через Доброхотова и Разореновых Ефим вскоре познакомился со многими служащими вичугских предприятий.

В Тезине помочь его делу взялась Синайская, в Бонячках — Благовещенский.

Не догадываясь, не предвидя, как это будет для него важно в самом недалеком будущем, Ефим стал известен многим в своей округе. Случайная встреча с Виктором Кирпичниковым в Родниках незаметно вела к большой перемене в его судьбе…

В Углеце Ефим много рисовал и писал акварелью. Особенно он любил рисовать своих учеников. Не раз бывало: в перерывы между уроками он не покидал их, а просто отсаживался к окну с карандашом и альбомом в руках, делал наброски, зарисовки. Частенько кто-нибудь из учеников позировал ему. Ефим любил такие минуты. Он сидел, занятый своим любимым делом, окруженный детьми, погруженный в облачко их шушуканий, затаенных вздохов, восхищенных восклицаний… Это столько давало его душе!

Еще осенью, при хорошей погоде, он частенько уводил своих учеников в примыкающий к Углецу лес на прогулки, читал им стихи своих любимых поэтов, сочинял на ходу для них сказки, загадывал загадки… Третьеклассникам он давал после тех прогулок задания — попытаться выразить свои впечатления и наблюдения в слове, первоклассники и второклассники выражали свое в рисунках. Детям нравилось это, как увлекательная живая игра. Через эту игру, верил Ефим, их можно было увести к творческому, более тонкому пониманию всего вокруг…

Среди зимы следующего года в Кинешме открылся любительский театр. Создавался он долго и трудно. Душой этого дела был все тот же Петин. Ему первому пришла в голову идея — подать прошение в городскую думу об организации в Кинешме народного театра. Был в том прошении выдвинут за главный такой мотив: «театр отвлечет фабричных рабочих от кабаков, положительно повлияет на смягчение грубых нравов».

Костромской губернатор долго не давал разрешения. Петин с друзьями не отступал, и разрешение наконец пришло. Однако из одного разрешения театра не создашь: нужны были средства, нужно было подходящее помещение. Надежда же — на пожертвователей, на сочувствующих и энтузиастов. Деньги были собраны, куплен был пустующий соляной амбар, рядом с реальным училищем, началось его переоборудование под театр. Собранных денег не хватило. Снова обратились к пожертвователям. Ефим у себя в Вичугском углу тоже участвовал в сборе средств. Наконец театр был готов. О его открытии объявили столичные, московские и поволжские журналы и газеты.

В мае Виктор Кирпичников прислал Ефиму письмо, в котором сообщал, что в конце месяца в Кинешму приедут на гастроли по приглашению общества любителей драматического искусства артисты Малого театра во главе со знаменитой актерской семьей Садовских. Виктор приглашал Ефима погостить в Вандышке, а заодно и посмотреть игру прославленных актеров.

В училищах и школах уезда занятия к этой поре закончились. Перед тем как отправиться на все лето в Шаблово, Ефим решил побывать в Вандышке. Кинешмы так или иначе было не миновать.

Двадцать шестого мая в кинешемском театре ставили «Лес» Островского с участием Садовских. Накануне Ефим приехал к Кирпичниковым. Бывал он у них редко, хотя встречали его тут всегда приветливо: учительские обязанности не давали свободного времени, в минувшем учебном году Углецкое училище посещало почти восемьдесят детей, куда больше, чем полагалось по нормам для таких училищ.

Виктор обрадовал: билеты были куплены на все три спектакля, в которых участвовали Садовские. К вечеру следующего дня Ефим со всей семьей Кирпичниковых отправился в Кинешму. Дорогой много шутили, смеялись. Вечер выдался теплый, по-майски мягкий. Дмитрий Матвеевич, уже побывавший в тот день в Кинешме и повидавший самого Михаила Провыча Садовского, даже поговоривший с ним, рассказывал об этой встрече со знаменитостью. Встреча случилась в самом театре, куда Дмитрия Матвеевича «затащил Петин». Садовский как раз осматривал театр. Услыхав, что под театр кинешемцы

приспособили бывший соляной амбар, Михаил Провыч расхохотался:

— Ну, господа! Это же превосходно: был соляной амбар, а теперь, стало быть, — соляной театр! Вы уж, господа, пожалуйста, делайте все возможное, чтоб «соль» в вашем театре не переводилась! Под этим зданьицем, я чаю, земля на десяток саженей вглубь просолилась! Хороша, господа, почва для доброго-то дела! Ах, хороша! Соляной театр! Это ж надо — как удачно!..

Дмитрий Матвеевич передал это весьма живо, так что все смеялись и самой шутке Садовского и тому, как она была передана.

Ефим чувствовал себя тоже легко и просто, смеялся каждой шутке и сам рассказал несколько потешных историек из своей учительской практики.

Уже на окраине Кинешмы Дмитрий Матвеевич спохватился:

— Батюшки, Ефим Васильевич! Совсем забыл, а ведь все думал об этом… Я тут на днях по делам был в Иваново-Вознесенске. Там одно дельце задумали, я слышал… Должно быть, оно вас заинтересует… С осени там хотят открыть рисовальную школу — филиал Петербургского центрального училища технического рисования барона Штиглица… Я, как услышал об этом, сразу же о вас и подумал! Виктор показывал мне ваши работы. У вас — талант! А тут все-таки какая-то возможность учебы… В общем, я буду интересоваться этой школой и, как только ее откроют, сообщу вам! Давайте-ка ухватитесь за эту возможность! А там посмотрим… Есть у меня в Петербурге кое-какие знакомства… А пока у вас будет возможность пройти какую-то штудию! Думаю, что раз или даже два раза в неделю вы смогли бы выбираться туда поездом, это не так и далеко по железной-то дороге!..

Сказанное Дмитрием Матвеевичем заинтересовало Ефима, перед ним словно бы вдруг приоткрылось то, что манило его к себе с самых ранних лет…

Игру настоящих актеров Ефим видел всего один раз — на Всероссийской выставке в Нижнем. Но тогда он был перегружен многими впечатлениями, и потому тот, первый в его жизни, спектакль почти не остался в его памяти. И вот он увидел, что такое игра больших актеров, что такое театр, какие возможности кроются в этом искусстве, столь свободно увлекающем сразу многих.

На волю он вышел как онемевший. Над Кинешмой в чистом, ясном небе стояла полная луна. Со всех сторон были слышны возбужденные голоса расходившихся после спектакля людей.

— Ну, как оно — великое-то искусство? Потрясает, говорите?.. — Виктор взял Ефима под руку. Ефим только улыбнулся в ответ.

— Ефим Васильевич перезабыл все слова! — лукаво улыбнулась Верочка, выглянув из-за плеча своего отца, тоже молчаливо шедшего рядом с Ефимом. Шутки ее не поддержали.

Они вышли на волжскую набережную, неторопливо пошли по бульвару. Белые громады Успенского и Троицкого соборов почти фосфоресцировали под луной. Нацеленная шпилем в мреющее теплое небо, старая пятиярусная звонница, казалось, улетала и не могла улететь…

Старшие Кирпичниковы с дочерью ушли вперед, Сергей отстал, завязав разговор с каким-то студен-том…

— Да-а… Виктор… театр… Как это прекрасно… — наконец заговорил Ефим. — Вот она — самая живая и настоящая работа!.. Как было бы хорошо, если бы деревня обзавелась своим театром, пусть обыкновенной избой, приспособленной под театр!.. И свои, деревенские, спектакли бы ставила!..

Виктор добродушно усмехнулся:

— Как посмотрю, вы, что только ни увидите хорошего, сразу готовы перенести в свою деревню!..

— Так куда же еще?! Если это — мое?! — воскликнул Ефим. — Я себя вот на чем все ловлю… Мне кажется, что все вокруг меня случается, происходит не просто так: за всем есть какая-то главная причина или идея… И я пока только чувствую, что все и во мне самом и вокруг меня почти невольно подчинено этому… Как будто идет, ведется какая-то подготовка… Вот я попадаю в театр, вижу игру настоящих больших актеров, а оно, о чем вот теперь говорю с вами, тут же начинает во мне жить, и я вижу свой деревенский театр… Попадаю в Бонячки, вижу это необыкновенное село и опять увиденное переношу в свое Шаблово… Ведь деревне веками никто ничего не давал, от нее только брали и брали…

У кинешемской окраины их догнал Сергей. Втроем шли назад — в Вандышку, братья — по краям дороги. Ефим — между ними.

— А все же как этот Истомин слеп! — заговорил Сергей, обращаясь к брату. — Сейчас с ним схватился! Все туда же его тянет! Воронцовскую библию[2] мне начал цитировать!..

— Ну, а ты что?.. — усмехнулся Виктор.

— Я его спросил: читал ли он Скворцова[3] в «Юридическом вестнике»?.. Само собой — не читал! Ну, я ему изложил в общих чертах… Умолк и больше не сопротивлялся! — Сергей от удовольствия рассмеялся.

Ефим шел молча, он не мог поддержать этого разговора, не был подготовлен к нему. Находясь меж братьев, он с досадой осознавал себя каким-то бесполезным звеном в их беседе. Братья были куда образованней его!..

— Народничество — чушь! А как еще сильна эта чушь у нас в уезде! — горячился Сергей. — Ведь вот же тут, у нас, как нигде, видно: в Россию давным-давно пришел капитализм, год от году он все сильней, а они, видите ли, изволят его отрицать! Нет, господа, капитализм — реальность!..

Виктор подтолкнул Ефима локтем:

— Вам в своем Вичугском углу кое в чем надо разобраться! Там у вас эта народническая сила еще весьма крепка, как ни странно… Уж вот где капиталист-то, кажется, размахнулся! Ан, при каждой фабрике этих народников — тьма! А вы со своей крестьянской натурой весьма просто можете попасть к ним в объятья!..

Сергей хмыкнул с другого боку:

— Уж это — как пить дать!..

— Н-да, народнички… Тут, Ефим, понимать все надо! Поначалу их дело было хоть и пусто, да свято! С чего все началось?.. Со святого искреннего порыва! — продолжал Виктор. — Молодые горячие люди, воспламененные идеей общественного переустройства, думали, будто стоит им надеть мужицкую одежду, научиться малость физическому труду, и вот перед ними открыт путь в крестьянскую среду, к самому сердцу народа!.. Дальше — только сей идеи и жди всходов!.. Как будто достаточно сбросить с себя барскую оболочку и идти под простецким видом с пропагандой этих самых идей… Определяйся либо в лавристы, либо в бакунисты и готовь всеобщее восстание мужиков! А на деле получалась какая-то бродячая пропаганда, работали без организации, без общего плана действий, вот все и кончилось провалом… Нет, Ефим, не с того было начато! Не с мужика надо начинать! С рабочего!..

При последних словах Виктора Ефим нахмурился.

— А крестьянство что же, стомиллионное?.. На второе место?.. — спросил он. — Разве не оно — главная-то сила?..

— Главная сила, Ефим, — рабочий! Поймите! — заговорил Сергей. — Вы же сами — свидетель: при вас вон по уезду-то сколько забастовок было! Рабочие бастовали-то, фабричный народ! А деревню не вдруг расшевелишь!

— Не соглашусь! — Ефим упрямо мотнул головой. — Вы забыли Разина, Пугачева, Болотникова!.. Ведь это все деревня поднималась! Из края в край!.. Вот я и думаю: все же с деревни в России у нас надо начинать, с настоящей работы в ней! Ошибка

народников, по-моему, в том, что они с самого начала были посторонними в деревне, вроде как ряжеными… Деревня на них и смотрела, как на что-то ненастоящее. А дело-то надо повести изнутри! Понимаете?! Чтоб за дело взялся не кто-нибудь, а образованный крестьянин! Ведь вот еще до нашего поколения за такую работу там некому было браться. Взять хоть мое Шаблово: вот я — первый на учителя выучился, за мной другие пошли! И я теперь могу судить, как даже и небольшая учеба открывает глаза! И ведь это в каждой деревне пошло! То есть у деревни понемногу растет своя культурная сила. И эта сила не должна уходить из деревни, из своей деревни! Я вот должен не в чужой Углец ехать, а в своей родной деревне вести культурную работу! Да не один! В общем — быть своим, не пришлым просветителем! Быть не просто школьным учителем, но и вести свое хозяйство на глазах у деревни, используя все новейшие достижения науки. Мне деревня поверит лучше, чем кому-нибудь чужому! Меня-то она знает, знает и моего отца, и деда! Тут, может быть, — путь?.. Да если бы вот так — по всей России, по всем деревням!..

— Красивая картина! — усмехнулся Виктор. — Только вот в этих ваших словах последних — опять же загвоздочка… Ведь это же снова работа врассыпную! Ни организаций, ни общего плана!.. Как вы сделаете, чтоб — «по всей России, по всем деревням»?!

— Я пока твердо не знаю, как все должно быть, только мне кажется, что именно тут истинный путь… — Ефим пожал плечами. — Мне ведь и самому надо многому научиться, многое понять… Маловат образовательный ценз, ведь семинария учительская — не университет!..

В ту ночь он долго не мог уснуть, мысленно продолжая разговор с братьями Кирпичниковыми. «Да, они ясно видят и судят… — думал он. — Но говорят о моем, не зная моего… Они не знают деревни так, как я ее знаю! Для меня она — что-то со мной единое! Это — глубже любых мудрствований о ней, и в этом все дело! А они этого в расчет даже не захотят брать… Для них важна идея!..»

Из Шаблова в Углец Ефим вернулся не один. С ним приехала сестра Саша…

Еще в конце зимы отец написал ему в Углец, что Саша сильно ушибла ногу. Ефим тогда значения этому сообщению не придал: мало ли в детстве случается всяких ушибов!..

Так же, видно, отнеслись к этому и сами родители, К земскому врачу в Кологрив выбрались не скоро, пока собирались, подошла водополь, а за ней — пахота, а за пахотой — сев… В конце концов съездили, но было уже поздно, Саша осталась с

хромотой…

Ефим по скупым на слова письмам отца всей беды увидеть не смог, а в Шаблове наказнился, глядя, как, заметно прихрамывая, вся какая-то печальная и молчаливая, будто подмененная, ходит Саша…

В Крутецкой начальной школе ей осталось учиться всего один год, но хоть и не далека соседняя деревня Крутец, а ходить ежедневно туда и обратно Саше было бы тяжело. Ефим решил взять ее с собой в Углец. В селе Батманы у него появился хороший знакомый — фабричный врач Петр Александрович Ратьков, Ефим хотел показать Сашу ему. Да и учиться сестра могла бы в Углецком училище. Родители согласились отпустить ее.

В долгой маетной дороге, пока добирались до Углеца, Ефим не раз с мукой останавливал взгляд на молчаливой, замкнуто-сосредоточенной Саше. Невыносима была ее грустная улыбка, с какой она встречала его взгляд…

До начала занятий Ефим опять побывал у Кирпичниковых в Вандышке. Виктора и Сергея он не застал, оба уехали в Москву, зато Дмитрий Матвеевич был дома. Ефиму он обрадовался, пригласил к себе в кабинет и там за разговорами о том, о сем вдруг спохватился: «А помните: я говорил весной о художественной школе, которую должны открыть в Иваново-Вознесенске?!»

Ефим помнил.

— Ну, так вот — она уже открылась! Так что воспользуйтесь такой возможностью! Я даже адресок вот узнал специально для вас… — Дмитрий Матвеевич порылся в записной книжке, нашел адрес, протянул листок с этим адресом Ефиму.

По этому адресу Ефим на другой же день (откладывать не мог) отыскал в Иваново-Вознесенске рисовальную школу, даже побывал там на занятиях.

Цели у этой школы были весьма скромны: подготовка рисовальщиков для ткацких и ситценабивных фабрик. Школа целиком ориентировалась на производство, курс ее был ограничен чисто практическими задачами, и все же обучение в ней предполагало довольно широкое развитие художника-прикладника. Тут читали лекции по истории искусств, по анатомии, знакомили с основами перспективы…

Рядом с людьми, мечтавшими о профессии художника, в школе занимались и те, кто совсем не мечтал связывать свою судьбу с искусством. Большинство же относились к категории людей, просто стремящихся к художественному образованию. Но были и такие, кто хотел бы видеть в ней чуть ли не

подготовительные курсы перед поступлением в Академию художеств, школа давала начальные разделы академической программы обучения. Занимались в ней люди самых разных кругов: рабочие, дворяне, офицеры, мелкие служащие, учащаяся молодежь, учителя начальных училищ…

Ефим вернулся в Углец окрыленным: теперь он мог хотя бы раз в неделю посещать эту школу, поскольку занятия в ней проводились по вечерам, к тому же все хорошо получалось и с дорогой туда и обратно: кинешемский пассажирский поезд в сторону Иваново-Вознесенска проходил через Новую Вичугу к вечеру, в начале четвертого часа, к тому времени Ефим обычно уже освобождался от занятий в училище. Езды до Иваново-Вознесенска не так уж и много, он успевал к началу занятий, а после занятий — к обратному поезду.

Иногда один, иногда два раза в неделю Ефиму удавалось съездить на занятия в рисовальную школу. Он жил какой-то новой жизнью, словно для него потекло совсем иное время, и в этом новом времени не было пустопорожних ненаполненных минут, каждая была необыкновенно дорога. На стенах его комнаты появились новые рисунки и живописные опыты.

В рисовальной школе на него обратили внимание, как на явное дарование. Где-то далеко, в каком-то неведомом завтра судьба как будто обещающе улыбнулась ему, хотя на деле-то он видел почти полную невозможность ступить на путь, мерещившийся впереди… У него не было никаких средств даже на начало того пути…

Весной Саша успешно окончила училище. Ефим отвез ее в Шаблово. Ему было ясно, что с увечной ногой сестре невозможно будет жить в крестьянском быту, для нее виделся один исход — окончить Кологривскую женскую прогимназию, стать сельской учительницей. Родители в том были с ним согласны.

В Шаблове Ефим прогостил больше месяца, после сенокоса уехал к себе — в Углец. Не терпелось с головой уйти в рисование, в живопись, этим он теперь жил постоянно.

14

В августе Ефим навестил Кирпичниковых. Он привез с собой в Вандышку пухлую папку своих летних рисунков и акварелей. Кирпичниковы все были в сборе. Мнение их было единодушным: Ефиму надо ехать в Петербург! Откладывать нельзя!..

Заговорили о практической стороне этого «надо», Ехать по собственному почину, уволившись со службы, на авось? Рискованно. Все-таки — Академия! Единственная на всю Россию! Имелась в виду только она!..

— А мы вот как поступим! — предложил Дмитрий Матвеевич. — Мы все это, и рисунки, и акварели, сегодня же отправим посылкой Виноградовым в Петербург, есть там у них знакомства в разных кругах… Пускай они обратятся к какой-нибудь величине, к большому художнику, покажут ему, ну, а уж там — как он определит… Я думаю: это — около дела?!

Так и было сделано.

Ефим жил ожиданием: как-то откликнутся из Петербурга?!

Среди октября наконец пришло письмо от Дмитрия Матвеевича с ожидаемым из Петербурга ответом. Неведомый Ефиму петербургский Виноградов писал, что рисунки его одобрены самим Репиным, что сказаны при этом были такие слова:

> «Несомненные способности! Хорошо, если бы нашлись люди, могущие оказать ему поддержку! Со своей стороны согласен принять его в свою студию на Галерной…»

Ефим ликовал! Он взялся было писать письмо Дмитрию Матвеевичу, но передумал: слишком много вопросов надо было решить с ним совместно, да и ответы на них нужны были безотлагательные, так что Ефим решил ехать к Кирпичникову сам. Кое-как дождавшись субботы, он отправился в Кинешму, в Вандышку.

Дмитрий Матвеевич встретил его поздравлениями, пригласил в свой кабинет, где сразу преобразился в делового человека.

— Я понимаю, — сказал он, — вас теперь беспокоит материальная сторона… Кое-что я уже предпринял, кое с кем договорился. В общем, будем немедленно создавать фонд добровольных пожертвований. Выход только таков. И вы уж, пожалуйста, — без излишней щепетильности! Так что давайте теперь же хлопочите об увольнении, дело это, я знаю, не скорое, пока вам найдут замену, пройдет не меньше месяца. Ну, а мы тут тем временем развернем свою деятельность. Сочувствующие есть и еще найдутся. Один Петин чего стоит! Вичужан ваших расшевелим. Теперь вы там — свой, широко известный человек! Думаю, все получится!

Ободренный Дмитрием Матвеевичем, Ефим тут же, в кабинете, написал прошение на имя Кинешемского инспектора народных училищ, в котором просил об увольнении от службы.

Дмитрий Матвеевич сам взялся вручить это прошение инспектору и даже повлиять на него ради скорейшего завершения дела.

Шаг был сделан. Об отступлении Ефим не помышлял, хотя и испытывал некоторую робость перед неизвестной новой жизнью.

— Ну, что же… — завершил тот разговор Дмитрий Матвеевич. — Я — человек, духовно рожденный в семидесятых годах. Исповедовал до недавних пор Михайловского… Как это у него сказано?.. «Личность никогда не должна быть принесена в жертву, она свята и неприкосновенна!..» Личность должна развить себя! У вас, Ефим Васильевич, — талант! Развивайте его! У каждой души в этом мире — свой неизвестный путь, только чувствовать его можно, наверняка знать — нет… Чувствуйте и ищите!

«Да… — про себя соглашался Ефим со словами Дмитрия Матвеевича, — «у каждой души в этом мире — свой неизвестный путь…» — Думал ли он, что перед ним впереди появится такая возможность — стать учеником самого великого Репина?! Тот был для него неким олицетворением громадной творческой силы, необъятного таланта, казался ему почти легендой, как-то даже не воображалась сама встреча с таким человеком, и вдруг — так просто: пожалуйте к Репину в ученики!

Ефим чувствовал за собой недостаток основательных и широких знаний, чувствовал, как необходима серьезная учеба, которая не только бы привела его к мастерству, но и укрепила бы умственную дисциплину, обогатила бы новыми представлениями об искусстве и жизни. Его жаждущая знаний и красоты душа все последнее время жила предощущениями такой возможности…

Письмо из Петербурга окрылило его. Ефим словно бы вдруг понял, что судьба вела его не в том направлении, что уже много пройдено не по главной, не по своей дороге, и теперь он торопил такое неподатливое, нерасторопное время. Дни, серые дни ноября, эти тягучие, кажущиеся ему нескончаемыми «сумерки года»… Надо было ждать замены. Учителей и без того в уезде не хватало, а тут еще, словно бы по сговору с этим медлительным осенним временем, все тянулась волынка с новыми назначениями и перемещениями учителей соседних училищ. Из Тезинского училища только-только с большим трудом уволился Николай Петрович Голубков, из Вичугского училища с таким же трудом уволилась Александра Остроумова…

Правда, эта вынужденная задержка была и необходима: собирались средства. Кирничниковы, Абрамовы, Разореновы, Ратьков были заняты сбором пожертвований на обучение Ефима в Петербурге. Роль добровольного казначея взял на себя Дмитрий Матвеевич. Он поддерживал с Ефимом постоянную переписку,

держал его в курсе всех дел. К средине ноября было собрано более трехсот рублей, этого при скромных расходах могло хватить на первый год. Были виды на пожертвования в будущем, на сборы от благотворительных вечеров, на всевозможные домашние лотереи, где будут разыгрываться рисунки и этюды, которые Ефим станет присылать и привозить из Петербурга.

По совету знакомых вичужан он устроил в Вичугском училище выставку своих рисунков и акварелей: надо было, чтоб его тут знали как художника…

Наконец замена ему была найдена. В Углец приехала совсем молоденькая учительница Александра Тихоновна Смирнова.

На следующий же день Ефим поехал в Вандышку, к Дмитрию Матвеевичу, надо было заехать и к инспектору народных училищ в Кинешме. Вечером того же дня он уже ехал в вагоне третьего класса — на Москву. Проезжая мимо Вичуги, приник к окну, вглядываясь в знакомые места, уже слегка полуразмытые ранними ноябрьскими сумерками. В заваленном тучами небе видна была растянутая на версту воронья стая. В глубине тех настуженных низких туч светился один-единственный просвет, будто окно или какое-нибудь жутко горящее око, освещая зеленоватым неверным светом выпавшие накануне снега. Вода-снежура, скопленная за день в ложбинах, темнелась во многих местах, поблескивая маслянисто и густо, будто жир. От всего там, за вагонным окном, веяло отчуждением, будто все там оказалось в каком-то ином времени…

Потом была глубокая осенняя ночь, и Ефим все сидел у окна. Паровоз, рассыпая золотые рои искр в клубящейся за окном тьме, протяжно кричал по временам, крик его дробился среди холодных пространств, и Ефиму казалось: паровоз, так четко слышимый в ночи, живет его стремлением вперед — к новой многообещающей жизни. Ему даже чудилось порой, что во всем поезде едет только он один, бессонный и весь устремленный вперед, и само усердие машины подчинено его нетерпению оказаться в конце пути…

Часть вторая

1

Хотя Анна и не советовала Ефиму приходить в студию на следующий день, не пойти туда он не мог. Наконец-то приехать в Петербург и потратить сразу два дня на пустое ожидание?! Не терпелось просто опять оказаться рядом со студией, еще раз посмотреть на нее уже при дневном свете, снова увидеть Академию…

В рассветных сумерках Ефим уже шел по Невскому проспекту, озираясь по сторонам. В это утро ему хотелось бы почувствовать столицу до пробуждения ее суеты, но та уже поднялась и гремела сотнями колес, горохом рассыпала по плитам панелей шаги бессчетных пешеходов, заставляла и его самого двигаться в заданном ею темпе. Он и не заметил, как оказался в начале проспекта. Свернув направо, вышел на Дворцовую площадь, ощутив ее в этот ранний час как нечто тоскливо-прекрасное, как какое-то обособленное от всего города место, над которым оцепенело замер сам дух северных диких пространств, загипнотизированный загадочными каменными громадами. По звонкой брусчатке площади минувшая ночь рассыпала мелкую снежную зернь, от которой тоже исходил какой-то диковатый лиловый свет…

У Невы, у гранитного парапета, Ефим остановился.

Эта холодная, еще не замершая река… Наверное, она вдохновила зодчих на создание совершенно особенного города, наверное, сам холод этой быстрой, светло летящей, а не текущей к морю реки был подлинным духом их замыслов… Все тут — какое-то разъединенное, неуютное. Нагроможденный фантазией зодчих камень так и не победил дикости этого просторного места. Оно позволило выстроить тут что угодно и как угодно, размахнуться городу со всеми его ансамблями, парадизами, с пригородными монплезирами, но остался дух необжитости, непобежденный дух северной природы. Этот дух оказался выше торжественной сановитости города! Тусклый свет зари, павший на холодные чопорные фасады, — это вот истинно сила, безраздельно владеющая утренним Санкт-Петербургом!

Ефим, как своего тайного союзника, ощутил этот невыветрившийся дух. Пусть надменна и холодна столица, ей также не подавить, не развеять то, что принес сюда в себе он — безвестный учитель из Кинешемского уезда. Он пришел сюда не

искать, не заимствовать, здесь ему хотелось бы получить возможность настоящей большой работы по усовершенствованию и развитию того, чем уже обладал, чтоб затем создавать свое, уже давно живущее в душе, в мыслях. Он пришел сюда со своей, глубоко осознанной темой, с целой поэмой о природе родных и дорогих мотивов, здесь ему предстояло овладеть мастерством, напиться более высоким знанием…

Направившись в сторону Сенатской площади, Ефим остановился перед зданием Адмиралтейства: полюбовался на мраморные статуи Геркулеса и Флоры. Да, в этом великом холодном городе, с самого его зарождения, поселилось большое искусство, о котором задолго до приезда сюда так много довелось слышать!.. И ощутилась какая-то ознобная утренняя радость: завтра он поступит в ученики к самому Репину — одному из самых беззаветных служителей этого искусства!..

С юношеской робостью, с замиранием робеющего неофита ступил Ефим на мостовую Галерной улицы. Чувствовал себя так, словно сердце в это утро кто-то вручил ему другое, новенькое, зато своих ног почти не ощущал… В эти минуты он жил как будто на облачке, ненадежно причалившем к некой желанной поднебесной пристани: дунет ветер — унесет его прочь… И все-таки в студию зайти решился…

В ней он застал самых ранних учеников. Заговорил с одним из них. Тот назвался Сергеем Чехониным, спросил, откуда Ефим приехал, каким образом «пробился в Тенишевку», тут же и объяснил:

— У Репина учиться желающих — пруд пруди! Ценз теперь знаете какой в Академии?! Подготовленные и даровитые по три-четыре раза экзамены держат! Во как! Вообще-то я не репинского толка, но скажу, что Тенишевка наша — рай! — добавил он. — Так что, если уж вам удастся сюда попасть, держитесь изо всех сил! У нас тут в иные дни яблоку негде упасть! До пятидесяти человек работают!..

Чехонин тоже сказал Ефиму, что назавтра в мастерской обычный месячный экзамен, со вздохом добавил, что из-за этого экзамена придется вставать до семи часов утра… Посоветовал: «А вы вот что… Попробуйте сходить к Репину на его квартиру при Академии, если он вам сегодня же нужен, а если до завтрашнего дня можете ждать, так завтра он здесь обязательно будет!..»

— Попробую сходить… — пробормотал Ефим.

У входа в студию он заметил рамочку с каким-то текстом под стеклом. Подошел поближе, принялся читать:

Правила

для учащихся в студии княгини Тенишевой:

1. Студия имеет целью подготовить учеников к поступлению в Высшее художественное училище при императорской Академии художеств.

2. Поступающие должны уметь правильно рисовать с гипсовых фигур, по осмотре преподавателем их рисунков выдерживают установленное испытание в продолжение двух недель рисованием с живой натуры.

3. Учащиеся платят 5 рублей в месяц для покрытия расходов по найму моделей и вознаграждения помощника руководителя студии.

4. Ученики выбирают из своей среды распорядителя, который наблюдает за порядком в студии в отсутствие руководителя и его помощника.

5. Занятие производится ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней, от 9 часов утра до 2 часов пополудни (с 9 часов до 12 часов — живопись, с 1 часа до 2 часов — рисование).

6. Один раз в неделю ученики собираются вечером для разъяснения некоторых художественных вопросов по композиции.

7. В начале каждого месяца ученикам задается тема для эскиза.

8. В конце каждого месяца производится экзамен ученических работ по пятибалльной системе. Эскизы, кроме того, распределяются по достоинству — номерами, которые служат порядком при занятии мест, всякий раз при постановке новой модели. Получивший «два» по всем предметам: живописи, рисунку, композиции — исключается.

9. Ученик, не явившийся в течение трех дней в студию и не заявивший причину своего отсутствия, лишается места.

10. Поправить натурщика ученики могут только с согласия большинства.

11. Во время занятий не допускается никакой разговор: не подчиняющийся правилам студии исключается.

Проф. И. Е. Репин.

Поодиночке входили все новые студийцы. Ефим огляделся. Мастерская была довольно просторной. Паркетный пол, лепной высокий потолок с двумя круглыми застекленными проемами для верхнего света, кафельная печь, ряды мольбертов и стульев вдоль стен, стопы планшетов, несколько гипсов: головы, анатомические фигуры, бюсты… В студии было даже что-то вроде сцены…

Ефим спохватился: вот-вот сюда могла войти Анна!.. Он не хотел встретиться с ней тут, ведь она же говорила: прийти надо только через день…

Вскоре он уже шагал по Николаевскому мосту. Рядом звенели конки, покрикивали кучера пароконных выездов, а он шел, будто и не было этого многообразного шума и движения: перед ним была Академия художеств! Ничего другого он просто не замечал…

Свернув с моста, потоптался у широкого гранитною спуска к Неве, поразглядывал сфинксов, спокойно возлежавших у холодно блещущей невской воды, помешкал и только потом направился к входу в Академию.

С замиранием ступил он на каменные плиты круглого вестибюля. Помедлил перед двумя плавно изгибающимися лестницами, поднялся наверх — в парадный вестибюль. Остановился… Простор, свет, широко расставленные ионические колонны, огромные окна… Прошел вдоль анфилады парадных залов, обращенных окнами к Неве. В каждый заглянул. В круглом конференц-зале задержался подольше. Этот купол над ним, подобный небесному своду… Ефим стоял, запрокинув голову, глядя на его роспись: по лазурному небу мчится квадрига Аполлона — бога Солнца, покровителя искусств, сонм гениев и муз окружает его, лазурь, сияние, блеск и слава…

Вспомнился немой и грозный полет другого бога — на холсте Силы Иванова в шабловской часовне, померещилась, почудилась какая-то неслучайная связь: не зря так томил чем-то необъяснимым взгляд Саваофа!.. Еще на самых первых порах жизни как будто уже чувствовалась эта неслучайность, чувствовалось что-то зовущее, затягивающее в бездонную желанную глубину… Вот она, эта глубина, — вдруг раскрылась над головой посреди серого, зимнего уже Петербурга — сияющая, зовущая, близкая и как будто возможная… Вот она: по лазурному небу мчится квадрига Аполлона!.. Сонм гениев и муз окружает ее!.. И казалось запрокинувшему голову Ефиму, будто он и сам летит вослед этому небесному неисчезающему видению…

Он медленно ходил по Академии, во все вглядываясь, вслушивался в голоса и шаги, раздававшиеся то тут, то там, словно все здесь и в самом деле имело уже неземную природу, и

дышал, надышаться не мог воздухом высоких залов и переходов! Где-то здесь, в этом здании находился Репин… Чехонин посоветовал найти его, поговорить… Как будто это так просто — явиться перед самим Репиным, заговорить с ним!..

Ефим отыскал лавку художественных принадлежностей, купил набор масляных красок, кистей, бумаги, карандашей, этюдник. На глаза попалась книжка какого-то Фридриха Иённика «Руководство к живописи масляными красками, акварелью и пастелью», купил и ее. С покупками отправился на свою квартиру. Начало было положено.

2

На другое утро Ефим зашел за Анной, чтоб вместе с ней отправиться в студию. Анна обрадовалась его появлению, и уже от этого Ефиму стало легче: предстоящая встреча с Репиным всю ночь, даже во сне, беспокоила его…

— Вы меня никому пока не представляйте! — попросил он Анну, когда они поднимались в студию. — Я просто побуду там в сторонке… Неизвестно еще, как Репин на меня посмотрит…

— Ладно!.. — усмехнулась Анна.

В студии многие уже работали. Холсты и кисти, как заметил Ефим, здесь любили большие. Студийцы завершали этюды. Натурщик — тяжелорукий мастеровой с усталым лицом — сидел в окружении тенишевцев, словно бы задумавшись о не ведомых никому из писавших его молодых людей превратностях своей судьбы. Он напомнил Ефиму отца.

Среди торопливо дописывавших свои этюды студийцев не все были заняты только работой… Последний пункт здешних «правил» явно нарушался: слышались и разговоры, и смех… Некто с длинными прямыми волосами и с бородкой, чуть насмешливо глянув на Ефима, замурлыкал веселый мотивчик…

— Ну, наш Билибон опять распелся! — послышалось из дальнего угла. — Не иначе, как в ресторане «Палкин» вчера побывал!..

— Н-не! В к-кондитерской Г-гурме! — находчиво ответил, чуть заикаясь, Билибон.

Анна шепнула Ефиму:

— Это наш староста — Иван Яковлевич Билибин — главный застрельщик по части острот и веселых разговорчиков!..

Ефим присмотрелся к этому весельчаку. Казалось, живопись для того — дело десятое, он уже снова что-то напевал, но писал между тем, прилежно…

Анна поставила мольберт, установила свой холст, пошушукалась с девушками, работавшими отдельной группкой, Ефим заметил их любопытные взгляды, покраснел.

Ему неудобно было находиться здесь ничем не занятым человеком. Для первого раза он прихватил с собой только папку с акварелями и рисунками, на случай, если Репин попросит что-то показать…

«Когда же сам Репин появится?..» — думал Ефим, разглядывая из-за спин и голов студийцев их этюды. Приглядывался он украдкой и к самим студийцам. Все молодые люди, даже самые молодые, были либо с усиками, либо с настоящими усами, иные солидно поглаживали за работой бородки. Ефим невольно провел ладонью по своему гладкому лицу, почувствовав себя так, словно он явился на некий ритуальный сход, нарушив какое-то главное условие ритуала… Сам он отращивать либо бородку, либо усы и не пытался ни разу: негуста растительность появлялась на его лице…

Открылась входная дверь, и вошел, поглаживая рыжеватую бородку и пышные усы, Репин. Ефим сразу понял, что это именно он. Вошел Репин как-то буднично, словно лишь выходил из студии на минутку. И студийцы не обнаружили никакого волнения, как работали, так и работали, только напряженное покашливание прошлось по их рядам. Раздевшись, Репин сразу же начал обход своих учеников. Ефим во все глаза глядел, как великий художник подходил к очередному этюду, подавал ученику руку, затем каким-то изящным жестом отстранял его, чтоб лучше был виден этюд.

Возле одного этюда Репин только немного задержался, молча ткнул пальцем в низ этюда, видимо показав ученику его ошибку, тут же отошел. Возле другого этюда было сказано одобрительное: «Так, так!.. Явные успехи!..» Возле следующего послышалось горячее порицание: «Красками увлекаетесь! Формальным! А вы заинтересуйтесь-ка лучше самой натурой! За рисунком следите!..» Ученик что-то возразил. Репин покачал головой: «Ах, мудрецы! Скажите пожалуйста! Краски для него чрезвычайно важны! А вы не краски все-таки покажите! Саму натуру покажите! Не красками пишите, не пятнышками!.. Ах, мудрецы!.. Простота — вот верная примета истинно художественного произведения! Меньше художественного сору! Весь этот мусор тогда появляется, когда исчезает душа искусства! Нет главного, нет и цельного!..»

И, уже ступив на заранее освобожденное место перед следующим этюдом, не говорил, а как будто кипятком поплескивал: «Шире, шире смотрите! Не вдавайтесь в детализацию! Общее, общее! И свободней! Скованность

преодолевайте!..»

Своих учеников Репин обходил довольно долго, задерживаясь то возле одного, то возле другого, каждому подавая руку. Наконец из-под нависших бровей его острый пронизывающий взгляд метнулся в сторону Ефима. Подошел, протянул руку:

— Вы ко мне?..

— Да… Я — Честняков… Ефим Васильевич, из Кинешмы… По вашему отзыву… — сбивчиво заговорил Ефим, от волнения слишком торопливо пожав протянутую руку.

— Так… так… — Репин снова остро, прищурив один глаз, посмотрел на него. — Помню, помню!.. С собой что-нибудь принесли?..

— Рисунки, акварели взял… Немного… — Ефим качнул рукой, в которой держал небольшую папку со своими работами.

— Что ж… Покажите! Вот тут прямо, на полу и разложите!..

Ефим заторопился, стал раскладывать принесенное, присев на корточки. Раскладывая, приговаривал, пояснял:

— Вот это — «Грибовик», а это — «На ярмарку», вот — «Наряжонки-девки», а вот — «С гармонью», это — «Овин», это — «Амбарушка», а вот — «Таратайка с лошадью»…

— Так, так… Любопытно… Неплохо!.. Это же все — из жизни, подлинное!.. Очень приятно! Очень!.. Вы, должно быть, из северной деревни?..

— Да, из Кологривского уезда… — кивнул Ефим.

— Очень хорошо!.. — еще раз повторил Репин и добавил: — Ну, давайте приживайтесь тут! Вы кстати приехали: у нас с завтрашнего дня — новая постановка, а сегодня — новые задания для месячных эскизов. Вот вместе с другими и приступайте! Приобретите пока все необходимое. Товарищи вам подскажут, что и где…

Ефим поднял лицо от своих работ. Репин смотрел на него, улыбаясь. Тут же полукругом толпились студийцы. Слышались отдельные реплики: «А что… любопытно!.. Да, тут что-то есть!..»

Понимал же Ефим только одно: «Принят! Принят! Принят!..» Молча складывал свои работы.

Анна подошла к нему, улыбнулась, кивнув, мол, все в порядке!..

— Ну, давайте готовьтесь к экзамену! — сказал Репин и посмотрел на входную дверь. — Что-то Мясоедов у нас задерживается…

Ефим со слов Анны уже знал: Мясоедов — помощник Репина в мастерской по занятиям рисунком. Тот вошел почти тут же, словно стоял за дверью и ждал, когда Репин о нем вспомнит.

Началось шумное приготовление к экзамену, который прошел

довольно спокойно. Ефим стоял в сторонке, смотрел, слушал. Он заметил: к отметкам в студии относятся довольно хладнокровно.

Когда Репин и Мясоедов подошли к работам Анны, Ефим почувствовал, как весь вдруг напрягся…

— Так… — негромко сказал Репин, посмотрев на Анну. — У вас — прежний недостаток: вы чересчур тщательны, слишком копируете натуру… Освобождаться как-то надо от этого! Освобождаться!..

После экзамена и объяснения новых заданий к Ефиму подошел Сергей Чехонин, с которым он познакомился накануне.

— Стало быть — все в порядке?! — весело спросил он.

— Как будто… — кивнул Ефим.

— Как устроились с жильем?..

— Да пока — у знакомых… Надо искать что-то постоянное…

— Если не возражаете, сходим на Седьмую линию, я там один адресок знаю…

— Давайте сходим!

К ним подошла Анна. Узнав, о чем они говорят, вызвалась сходить вместе с ними. Втроем и отправились на Васильевский остров.

Квартира оказалась совсем неподалеку от Академии. В глаза бросилась чистенькая нищета хозяйки, вдовы мелкого чиновника.

Все у нее было выстирано, отутюжено, заштопано, во всем угадывалось усилие держаться на уровне нищеты благообразной, прячущейся за опрятностью.

Хозяйка показала Ефиму тесный уголок за оклеенной линялыми обоями переборкой, где постоялицей жила необыкновенная, какая-то вовсе не городская тишина, в которой не то что муху пролетевшую услышишь, слышно, как каждая вещь изо всех сил сопротивляется этой тишине! Вещей же было: шаткий столик, приткнувшийся в углу, железная кровать с плоской постелью, табурет.

Комнатушка имела окно, из которого был виден лишь угол каменного двора-колодца.

Плату хозяйка запросила довольно умеренную — семь рублей в месяц. «Дешевле не найдете!» — подсказал Чехонин. Сам он жил где-то тут же, на Васильевском острове, как и большинство тенишевцев. Ефим решил, не откладывая, перебраться на эту квартиру.

3

На Пески Ефим возвращался с Анной. Чувствовал себя

именинником: две удачи в один день — и в студию принят, и квартиру нашел подходящую! Анна же выглядела невеселой.

— Расстраиваетесь из-за экзамена?.. — тихо спросил Ефим.

Анна неопределенно пожала плечами:

— Как сказать?.. Я ведь уже говорила вам, что не очень-то уверенно чувствую себя в студии. Да и вообще, если угодно…

Ефим непонимающе посмотрел на нее: ему казалось, что у нее-то все благополучно и прочно…

— Увы, увы!.. — Анна усмехнулась. — В вас как раз я чувствую куда больше прочности, чем в себе… Вы моей жизни не знаете… Тут переплетение целой семейной истории… Я, пожалуй, расскажу… Ведь меня же покидало по белу свету… Какая-то непрочность во мне… Нетвердость… Будто мне только еще предстоит найти себя…

Анна была моложе Ефима, но ее жизнь сложилась так, что еще в отрочестве ей пришлось немало повидать и пережить. Мать Анны одна воспитывала троих детей, из которых Анна была самой старшей. Правда, помогали матери ее братья. Старший — Линев Александр Логинович, крупный инженер, но до недавних пор его жизнь никак не напоминала жизнь преуспевающего специалиста, спокойно занимающегося своим делом…

В начале 70-х годов Александр Логинович, как и его средний брат Иван, был весьма активным участником русского революционного движения. Он входил в народническую группу Лаврова, сотрудничал в русском издании «Вперед», выходившем в Лондоне, был приговорен к тюремному заключению в одиночной камере Петропавловской крепости.

Выйдя из заключения, он женился на оперной певице Евгении Паприц, и свадебным их путешествием оказалось долгое время политической эмиграции.

Своего дядю Ивана Логиновича Анна не помнила, он погиб около пятнадцати лет назад, возвращаясь из ссылки, умер на этапе, между Иркутском и Красноярском, в Кимельтее. Десять лет назад мать Анны ездила туда, но найти его могилу не смогла. Необыкновенная, удивительная жизнь оборвалась, ушла, как вода в песок — без следа…[4]

Рассказала она и о младшем Линеве — Никите Логиновиче, у которого вот уже несколько лет жила на Песках. Ефим узнал, что Никита Логинович служит в Песенной комиссии Русского географического общества, что в столице он организовал уже несколько самодеятельных рабочих хоров, мечтает о выступлении перед широкой аудиторией Петербурга и других городов с общедоступными концертами русской классической и народной музыки.

Мать Анны тоже уехала из России, поселилась вместе с братом и его женой в Лондоне, открыла там небольшой магазин русских кустарных изделий.

Жена дяди Евгения Эдуардовна за короткое время собрала в Лондоне хор русских студентов, политических эмигрантов и любителей-иностранцев, владевших русским языком.

Анна, еще подросток, попала в тот хор. Вскоре хор стал выступать с программой из произведений русских классиков и народных песен. Певцы выходили на сцену в национальных костюмах, которые раздобыла для хора мать Анны. Вид хора производил большое впечатление даже на сдержанных холодноватых лондонцев. Удивляла англичан и сама Линева — женщина-дирижер, явление не берегах Темзы — невиданное…

Рассказывая, Анна все больше оживлялась:

— Знаете, меня сразу поразило исполнение Евгении Эдуардовны! Мы привыкли к вычурной искусственной манере вокалистов парижской школы, старательно подражавших итальянцам, а тут сразу — просто, душевно, по-человечески, безо всякой игры! И голос — очень красивый, грудное мягкое контральто…

Ну, а через, два года мы с тетей поплыли за океан — в Америку! Там опять же был организован русский народный хор. Помню, первый концерт нашего хора был в январе в Нью-Йорке, в громадном зале Карнеги-Холл. Знаете, как это было здорово! В этом зале за полтора года до нас дирижировал сам Чайковский! Тетя включила в программу концерта хоры из его оперы «Евгений Онегин», из «Хованщины» Мусоргского, вокальные сочинения Бортнянского, русские и украинские песни. Зала ломилась от публики!

Тетя некоторые программы своих концертов строила как народные музыкально-игровые действа. Просто брала русскую крестьянскую свадьбу и разыгрывала ее на эстраде. Тут и народные костюмы, и плач, и пляски с играми, приговорочки дружек!.. Она сама принимала участие в таких представлениях, была обычно запевалой. Ах, как она поет! Она и в Вене пела, и в оперных театрах Парижа и Лондона!..

— А ведь в самом деле! — восклицал Ефим. — Наша свадьба — это же целое представление! Я еще маленьким был так увлечен этим обрядом! Это же — настоящий спектакль! И рожден он самим народом, и сам народ играет в нем! Это она здорово придумала! Да-а!..

Анна рассказала о выступлении хора в Нью-Йорке, в Бостоне, в Филадельфии, рассказала, как хор принял участие во всемирной выставке по случаю четырехсотлетия со времени

открытия Америки…

В 1896 году Александр Логинович получил разрешение вернуться на Родину. Мать Анны к тому времени организовала в Лондоне Бюро по продаже кустарных изделий, дело было поставлено уже довольно широко, оно стало материальной основой семьи. Между тем надо было подумать о судьбе Анны. Образованием ее из-за частых переездов и неустроенности мать всерьез заняться не могла. Анна много читала, повидала свет, владела неплохо английским языком, могла изъясняться по-французски, она неплохо пела, рисовала, но какой-либо школы у нее не было…

Дядя взял ее с собой в Россию. Они приехали в Москву. И дядя, и его жена сразу же оказались с головой в работе: сам Александр Логинович приступил к постройке первых линий московского трамвая, Евгению Эдуардовну пригласили сотрудничать в музыкально-этнографической комиссии этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете.

Анна уехала в Петербург к младшему брату матери. Поступила вольнослушательницей в Центральное училище технического рисования барона Штиглица. Занималась рисованием карандашом с гипсовых орнаментов, капителей, ваз и голов, рисованием пером, лепкой, отмывкой тушью, акварелью, черчением, съемкой с натуры художественно-промышленных предметов, изучением ордеров и стилей. Занятия шли довольно успешно: ее работы по классам рисования пером и съемки с натуры были удостоены малой премии. Два года она посещала училище. Была и цель — стать помощницей матери в ее большом деле, внести в это дело художественный вкус, художественное знание… Но… Померещилась другая цель… Минувшим летом держала экзамены в Высшее художественное училище. Подвела живопись. Неудача привела ее в студию княгини Тенишевой…

— В общем — вот и вся моя история!.. Как раз хватило на дорогу от Васильевского острова до дому… — улыбнувшись, сказала Анна.

— Да-а… история… — почти прошептал Ефим. Сам-то он впервые выбрался за пределы своей губернии, а эта девушка успела объехать чуть не весь мир…

— Ну что ж… С завтрашнего дня, Ефим Васильевич, начнется ваше ученичество!.. На Васильевский остров сегодня переберетесь?..

— Сегодня! — кивнул Ефим. — Неудобно стеснять людей.

Робость первых попыток зимы овладеть огромным городом миновала. К концу декабря зима установилась, в самом ее холоде была какая-то ровность, словно бы от сознания собственной силы.

Петербургская жизнь Ефима как будто тоже входила в русло привычного. Он получил билет, подписанный Репиным и старостой мастерской — Билибиным. Этот прямоугольник серого картона давал ему право на посещение занятий в мастерской живописи и рисования М. К. Тенишевой.

Наконец-то Ефим жил почти всецело искусством и все никак не мог насытить душу потоком впечатлений.

Первый для него в студии экзамен состоялся в конце декабря. С замиранием ожидал он, когда Репин с Мясоедовым приблизятся к его этюдам и рисункам, снова и снова вглядывался в свои работы. Сколько раз его посещало одолевающее неверие в себя: все-таки слишком малоподготовленным попал он в эту мастерскую….

С тревогой вслушивался он в доносившиеся до него слова Репина, остановившегося возле работ Юлии Поповой. Та, видимо, возразила на какое-нибудь замечание: что-то уж очень громко заговорил Репин: «…что я вам могу сказать… Бывали случаи! Бывали! Вот взять превосходного рисовальщика Фортуни… Какого совершенства достиг в рисунке! А ведь — без академии, заметьте! Но! Работа нужна! Работа! Не забывайте, как художники когда-то изучали и любили натуру! Я даю вам свободу, я не хочу, чтоб вы годами «затачивали» мертвые гипсы, как это было по заветам старой Академии, я не засушиваю вас. Но помните, что к натуре надо подходить с великим уважением, изучать ее! Иначе получится дилетантуш! Брюллов сорок раз изобразил группу Лаокоона! Это как по-вашему?! Человека из мастерской выносили обессиленного! Вот как умели работать! А вы хотите просто так?! Без великого труда?! Ах, мудрецы! Нет! Сначала поборитесь с натурой до изнеможения, потом уж, только потом, завоюете право хозяина над ней!..»

Слушая Репина, Ефим замирал: что-то сейчас скажет тот ему?..

Репин остановился возле его работ, быстро оглядел их, сказал:

— Ну что ж… Явные успехи… Заметно движение вперед. У вас есть трудолюбие. Работайте, работайте больше!..

У Ефима отлегло от сердца.

После экзамена принесли почту. Многим ученикам письма приходили на адрес Тенишевской студии. Ефим получил письмо от Дмитрия Матвеевича.

О чем тот мог хлопотать в своем письме? Само собой — о

том, чтоб подопечный его в Петербурге не бедствовал:

> «…На год средств хватит, а там — что будет… Фонд хоть и есть, но он не широк и на нем далеко не уедешь. Н. П. Петин на днях обещал написать о Вас доктору Ижеву, а тот хороший знакомый княгини Тенишевой и напишет о Вас княгине. Будем надеяться, что помощь придет и от «княжьих рук»…»

В конце этого дня к Ефиму подошла Анна:

— Ну, что ж, мой кинешемский брат, вас можно поздравить?! Репин как будто вами доволен! А?!

Ефим хотел ответить, что поздравлять, пожалуй, его не с чем, впереди еще все может быть, но ничего не сказал, только пожал плечами.

— Вы сегодня будете на вечере? — негромко спросила Анна. И улыбнулась: — Приходите! После такого события, я думаю, не грех и развеяться!..

— Наверное, приду… — неуверенно ответил Ефим.

— Что ж — «наверное»? Наверняка приходите! Не убегайте в себя! Придете? Обещаете?! — Анна даже за руку его взяла.

— Хорошо, приду… — кивнул Ефим, покраснев.

— Ну, вот и славно! А то вы как-то все не привыкнете к нашей Братии! А ведь пора бы!..

— Да словно бы не в своей тарелке… — пробормотал Ефим.

— А вы не дичитесь! Проводим нынче старый год! Следующий экзамен — уже в девятисотом! Только вы не сбегите, как в прошлый раз! Слышите?!

Ефим потупился: он действительно был тут еще таким букой!.. Его товарищи по студии свободно говорили о чем угодно, порой и самое сложное умея высказать между прочим. Тут запросто заговаривали о новейших философских направлениях, о литературе. Он же обычно отмалчивался. Да и о чем он мог говорить? Все его было при нем, к тому же он не терпел словесной разухабистости, терялся перед любым напором бойкости.

В прошлый раз с вечеринки он и впрямь сбежал. Но сбежал-то почему?.. Анна сама и была виновата. Он еще не мог быть таким же непринужденным, как все остальные, а она будто не замечала его в тот вечер, ей было веселей с другими тенишевцами… И он незаметно тогда выскользнул за дверь… На другой день Юлия Попова передала ему записку от Анны:

> «Первый раз в жизни встречаю такого неверного Ромео. Через три минуты Джульетта спохватилась,

выбежала, а его уже и след простыл!..»

Было у него и что-то вроде обязательства перед самим собой: он не вправе транжирить время, должен работать каждый час и помнить, что живет тут, в Петербурге, на пожертвования, на средства людей, которые верят, что он уехал в столицу не для того, чтоб увеселяться! Надо работать, наверстывать упущенное, готовиться к поступлению в Академию…

Первый, хоть и маленький успех в мастерской, похвала Репина… Это не вскружило ему голову. Он лишь понял, что находится на верном пути, что надо работать, работать еще больше. Так что и вечеринка в студии, на которую он пришел, не стала для него временем веселья и беззаботности. Опять он стоял у окна в одиночестве… Рядом, в кругу разгоряченных, возбужденных товарищей, захлебываясь, плел какую-то ресторанную бывальщину Вилькомирский:

— А я ему говорю: дай ты нам Английскую горькую и Пикону, ну, и Смирновской, само собой, а еще — доппель-Кюмель… Я вам скажу: это приводит в изумление! Взять чуть больше трети Кюмеля, половину Английской горькой и прибавить Пикону! Это-то будет — да!.. — Вилькомирский сделал такое лицо, что стоящие вокруг него разразились хохотом. Громче и дольше всех хохотал Юрий Репин, сын Ильи Ефимовича. Хохотал он картинно, явно под Петра Великого, похожим на которого себя считал, хохотал с этакой лихой сумасшедшинкой, и усы его топорщились, как, наверное, топорщились они у смеющегося Петра, и ноги он расставил, как расставлял их, наверное, царь-плотник…

А в стороне от этой мужской компании, возле сцены, где часто вспархивал девичий смех, Билибин купался в волнах собственного красноречия. Он был в явном ударе, говорил, почти не заикаясь, он импровизировал. Темой его импровизации был флирт..

— Флирт флирту — рознь! — провозглашал Билибин. — Остроумный, изящный флирт развивает в нас и вызывает на свет божий все наши скрытые способности и дарования! Кроме того, он еще и способствует самовоспитанию и… даже внутреннему совершенствованию партнеров!

Истинное счастье в любви принадлежит завоевателю! Искусство завоевывать требует врожденного таланта!

Флирт, если угодно, это искусство любви общественной, любви на людях. Флирт — это веселая философия любви! Флирт — это чувственность, обволакивающая мир дымкой очарования! Отцом флирта был Платон. Потом его место заняли олимпийские боги! Видите: как благороден и высок истинный

флирт! Флирт — это мудрые речи, породненные со сладостью поцелуев. Благородный флирт всегда выступал во всеоружии модной прически, отточенных манер и образованности. Флирт — это чарующая прелесть игры у края бездны… — Билибин покосился с улыбкой сатира в сторону Маши Чемберс (в студии поговаривали об их скорой женитьбе). — Флирт всегда расцветал там, где было много праздного досуга! А разве не к праздному досугу стремится все человечество? А, Братия?! Так что не надо быть пророком, чтоб утверждать: культ флирта вторгнется в будущем в жизнь человечества необыкновенно мощно и бурно! Так что перед вами — не легкомысленный ловелас, а первая ласточка великой весны, весны, которая растопит скованность и холод недоверия в отношениях двух полов!

Мы поставим искусство ухаживания на такую эстетическую основу, которая и не снилась иным эпохам! Это будет новое рыцарство! Это будет торжество небывалого такта, изящества, тонкого ума! Флирт будет самой идеальной мерой в отношениях между мужчиной и женщиной! Флирт — это страна иллюзорной красоты, в которую мы с радостью убежим от суровой прозы бытия! Да здравствует флирт! Ура!..

Возглас Билибина потонул в криках одобрения и в шуме рукоплесканий.

Ефим невольно позавидовал легкости, с какой все это давалось Билибину. В мастерской Билибин славился тем, что сочинял забавные оды по случаю каких-либо происшествий в интимной жизни Братии. Среди занятий он нередко пел потешные частушки собственного сочинения, горазд он был на всевозможные выдумки, импровизации. И вот он мог провозглашать славу любовной игре в присутствии любимой девушки… И все это так естественно, так просто…

Ефим отыскал взглядом Анну. Она стояла перед сценой, с которой только что сошел Билибин, она смеялась и что-то кричала вместе со всеми. И вдруг ее взгляд метнулся в сторону Ефима… Ефим поспешил улыбнуться, мол, не надо за меня тревожиться. Все нормально…

Неожиданно рядом с ним разгорелся спор, сразу же завладевший его вниманием, и он на какое-то время забыл об Анне.

Разговор зашел о современной живописи, о ее неисповедимых путях. Сергей Чехонин задел попутно Академию, дескать, все современное художественное творчество идет вне ее стен.

Альбрехт напомнил о статье Стасова, опубликованной в «Новостях» и «Биржевой газете», в ней критик ругательно писал о картине Малявина «Смех». Малявин и другие художники нового

толка тут же были объявлены художниками подлинной свободы!..

— Да перед сегодняшним искусством совсем другие задачи! — потряхивая длинными волосами, говорил Альфонс Жаба. — Не формальной стороной, не мастеровитостью должно быть сильно новое искусство, а проникновением в глубины настроений, мотивов! Тут скрыта подлинная сущность человека! Тут надо вести поиски! Современное искусство, может быть, и есть давно отыскиваемая истина о человеке! Оно наконец-то позволит творцу-художнику, сутулому от вековой работы, громоздившему глыбы, чтоб выбраться из тьмы к свету, попировать на великом празднике свободной мысли и живого чувства, забыть, что он — мастеровой с кистью! Пусть вольно выразит себя! Именно новое искусство открывает перед нами такие возможности!..

— А-а… бросьте! — взмахнула чья-то рука. Ефим даже вздрогнул: опять этот «аналитик» Баклюнд!.. — Бросьте! — повторил Баклюнд. — Сегодняшнее искусство лично мне напоминает какое-то нелепое плаванье к какому-то неясному миражному Новому свету, которого просто не существует! Все исчерпано искусством прошлого! Только прошлое и реально, хотя и оно — тоже такой же берег, к которому, увы, не причалить, не вернуться, господа! Мы просто болтаемся среди волн без компаса и надежды! Вот вам и вся правда о нас самих и о нашем новом искусстве!..

Ефим не сдержался, сказано было такое, что больно кольнуло его. Горячась и краснея, он заговорил:

— Разве можно художнику так думать?! Зачем тогда и называться художником, если в душе нет никакой веры в свет?! Искусство — не заблудшая овца! Оно все-таки идет впереди жизни, творит красоту! Искусство… — Он осекся, перехватив насмешливый взгляд Баклюнда.

— О! Смотрите: Честняков заговорил! «Овца», «искусство», «красота»!.. — Баклюнд поднял обе руки вверх. — Сдаюсь и каюсь! Перед такими высокими словами я бессилен!..

Вокруг смеялись. Баклюнд продолжал:

— Искусство у него просто идет впереди жизни и творит красоту для общей пользы и благоденствия! Как все ясно и просто!

— Как все гениальное! — подсказал как будто Яковлев.

— Честняков он таков: копил, копил и родил!

— Да! Поддел он тебя!..

Ефим понимал, что вокруг него — самое обыкновенное дружеское подтрунивание, на которое не стоит обращать внимания. Он просто сделал вид, что ему нет никакого дела до

всего этого шума, но не смирился. Он продолжал говорить никому не слышные слова, накопленные за последнее время. Да разве только за последнее?! Они жили в нем давно, жили сначала догадкой, потом уже — глубоко личным, чем трудно было поделиться с другими из-за боязни натолкнуться на непонимание. Эти слова именно здесь, в Петербурге, обрели свою четкость, поскольку здесь он весь без остатка принадлежал только любимому искусству.

Брала досада: напрасно сунулся с этими словами в круг спорщиков, их можно отдать только при каком-то редком случае, когда будет полная вера, что тебя поймут. В разговорах он вообще избегал говорить об искусстве, потому что чаще всего такие разговоры, затевались из одного молодого задора, и по-настоящему-то в них никто друг друга не понимал и не слышал…

Но если бы его товарищи могли выслушать его с полным вниманием, он бы сказал им о своем понимании современного искусства, о своем понимании его нынешних целей…

Он бесконечно верит, что воображение художника-творца именно теперь, как никогда раньше, близко к завоеванию своих исконных прав. Это чувствуется по всему! Самые трепетные и чуткие творческие натуры, такие, как Врубель, уже испытывают эту близость и торопятся дать простор своему воображению! Достаточно прислушаться, чтоб ясно различить вокруг голоса новой сказки; входящей в жизнь. И надо торопиться, надо творить опережающие легенды, надо дать человеку возможность увидеть дальний свет, помочь ему в сопротивлении натиску всего темного, недоброго, надо помочь ему ощутить себя, как высокое творение, чтоб он смог отстоять себя в этом трагическом и хмуром мире!

Надо восславить доброту и братство всех людей, восславить сердечную чистоту человека, которая поможет ему скорее прийти к свету! Вот что сегодня должно делать искусство! Сегодня для него насущно одно — стремление возвыситься над тяжелой серой действительностью, увидеть с высоты далекое прекрасное и побыстрее рассказать о нем людям! Сам он так это видит! Эту насущность! Потому-то он и не сдержался при словах Баклюнда, не смог промолчать!

Нет! Талант не должен прозябать в неведении: куда и к чему идти?.. Он не должен предаваться случайному, ему надо поступать по глубокому убеждению, по правде, служить истине, иначе он потеряет свою силу! Только в этом путь!..

Отвернувшись, Ефим стоял у окна. Вдруг кто-то тронул его за локоть. Оглянулся — Анна!

— Ну, о чем тут размышляет мой кинешемский брат?.. По

глазам вижу: томится, аки в неволе, и замышляет очередной побег!.. Но на этот раз мы убежим вместе! — Она прислонилась лбом к холодному оконному стеклу, прошептала: — Посмотрите, какая чудная ночь над городом! Давайте сейчас же потихоньку выпорхнем отсюда! Тут такое веселье, что никто и не заметит нашего исчезновения!..

5

Оказавшись на воле, они направились в сторону Сенатской площади. Над городом стояла по-зимнему высокая луна, то оранжевыми, то голубыми огнями на Неве вспыхивали отшлифованные поземками грани торосов. Малейший скрип был слышен в морозном воздухе.

— Как хорошо-то, Ефим Васильевич! Какая изумительная ночь! — заговорила Анна. — В душе, как в теплице: в декабре начинает цвести то, чему черед для цветения — в мае!.. — Она тихо рассмеялась и за рукав чуть придержала Ефима, шагавшего чересчур быстро. — Можно потише?..

— Как хорошо! — снова заговорила она. — Так и верится вот в такие ясные чистые минуты, что человек затем и является на свет, чтоб прожить в этом мире счастливо! Ведь так?!

— Так, — кивнул Ефим. — Я верю, что каждому много дано, но не каждый доходит до понимания своего богатства, а иной и доходит, но видит, что слишком много работы и обязательств предстоит, и добровольно отказывается от этого богатства, ищет что-то полегче, другое… Ведь вот взять хотя бы способность к жертвенности… Разве это не великий дар?! Разве он не дан каждому? Ведь любой человек награжден им и может поразить высотой духовного подвига! Ведь так?..

Анна согласно кивнула, улыбнулась ободряюще, словно бы давая понять, что ей крайне интересно все, о чем он заговорил неожиданно. Лишь проговорила чуть слышно, как будто еще надеясь на какую-то начавшуюся было легкость разговора, но в то же время и не желая возвращения к ней:

— А вы — философ, посмотрю…

— Да какой уж философ! — отмахнулся Ефим. — Скорее — путаник… Мысли мечутся, все на догадках, все в самом себе заперто… Но вот в это я верю твердо, что каждый человек награжден великим даром. Понять это редко кто хочет… Вот в чем дело… Понять по-настоящему, чтоб не на миг, а на всю жизнь, как самое главное, основное о себе, о своем предназначении. Понявший такое, должен нести свой крест,

иначе — измена, предательство, а это — куда больший грех, чем просто непонимание! Вот все в непонимание и прячутся, делают из него удобную норку, мол, с меня взятки гладки, я — человек маленький, непонимающий!.. А ведь в каждом, в каждом есть такой дар, только удобней об этом не помнить, не взваливать на себя креста… — Ефим невесело усмехнулся. — Какое заблуждение правит миром! Ведь вовсе и не тяжело было бы, если б каждый со своим богатством, не боясь тягот, шел в жизнь! А так получается, что всяк норовит это главное-то богатство припрятать поглубже, а в жизни изловчиться на мелочах пробавляться… А вот же она — истина! Бери ее голыми руками! Владей ею любой, самый последний в этом мире! Ведь и не нова она! И если бы ее принял каждый! Какой бы тогда богатой была жизнь!.. Но почему, почему люди не хотят видеть этого богатства в себе?! Ведь вон даже наши товарищи по мастерской, считающие себя призванными к творческой работе, столько путаются во всяких словах! А ведь закон-то для всех один — сострадание всему живому, печаль и тревога за все сущее, любовь ко всему, участие во всем всей душой! Тут — и закон жизни, и закон искусства! Тут — все!

— Ведь вот… думала о вас, как о каком-то провинциале, которым надо руководить, которого надо опекать… Вы уж простите мне мою откровенность… — Анна остановилась у гранитного парапета; смела с него снежок рукавичкой. — А вы вон какой!.. Я тоже немало думала о том же… Правда, не так четко, не так конкретно, может быть!.. В иные дни просто понять не могла: что со мной происходит, сжигала какая-то непреодолимая тревога и жажда действия, движения к чему-то… Я, видимо, как многие, тут вы правы, просто не позволяла себе раньше думать об этом четко, это клубилось где-то в подсознании, неопределенно, как мотив судьбы, что ли, еще не угаданный, но уже существующий… И вот сейчас, пока слушала вас, с каждым словом соглашалась и опять чувствовала такое, будто открылись какие-то шлюзы, и меня тянет, как в воронку, во что-то еще неизвестное мне…

Помолчав, Анна резко оттолкнулась от парапета, крепко взяла Ефима под руку, и они медленно пошли вдоль Невы.

— Все казалось, что нужно какое-то волевое усилие, чтоб все понять, что надо что-то сделать с собой, как-то иначе построить свою жизнь… — снова заговорила Анна. — Вы невольно, может быть, укрепили меня сейчас в одной моей мысли… Пока я ничего вам не скажу, надо проверить себя… Я еще не знаю, как поступлю… Для меня пока еще неясно… Ясно же одно — надо каждый миг совершенствоваться! Столько всего ложного хочет

увести тебя в сторону от истинного, настоящего!..

Прошлым летом я ездила с мамой в Москву, жила там у дяди на даче в Малаховке. И вот там повстречала одного необыкновенного старика. Мудрый, ясный старик, начитанный, знающий. Как прекрасно он говорил! Вот та самая подлинная, завершенная зрелость, когда жизнь приходит не к распаду, не к разрушению физическому и духовному, а к абсолютному пониманию, к какой-то крайней ясности… Такой и должна быть старость человека — святой, чистой, мудрой, когда все испытано, все понято… То, в чем мы, молодые, начинающие свой путь, колотимся, как в клетке, чем мучаемся, для такой настоящей опытной мудрости просто и ясно, приди к такому и слушай ответы на свои сомнения и недомыслия…

Мы обычно ходили с ним по полевой дороге. Дорога наша пролегала через гречневое поле. На закате идем не спеша, то просто молчим, то негромко разговариваем. Пчелы вокруг нас усталые летают, сам воздух какой-то плавный, густой, словно на меду, и как будто кружится… Это непередаваемо, нет… Как я любила те вечера! Мне даже мечталось: вот так прожить всю жизнь — от вечера к вечеру, слушая этого старика!..

Как просто говорил он, как легко умел делиться со мной своими богатствами! Каждое слово входило в душу и в память навсегда… Он говорил мне, помню:

«Мудрая девушка не должна загубить свою душу и красоту ради низких наслаждений. Помни, дочка, вокруг тебя так много торопливых, нетерпеливых людей, которые спешат поглотить красоту жизни, но не умеют выслушать дивной песни и, походя, губят ее, а вместо родниковой глубинной воды выпивают лишь грязные лужи… Жизнь, дочка, неисчерпаемо богата, она похожа на пир у великого Бога, и нет конца яствам на этом пиру… Ах, как не мудры пока люди! Они спешат на этот пир, оттесняя друг друга, грубое торжествует над деликатным, доброе тут часто бывает попрано… Но приходят светлые ангелы и приносят на этот пир небесные яства. И тут оказывается, что их ожидают немногие. И силы небесные с теми, немногими, беседы ведут под дивную музыку, при небесном сиянии. А первые сыты давно грубой пищей и не могут ни видеть, ни чувствовать, их уже клонит ко сну, их глаза смыкаются, они не могут видеть, как бесконечна лестница прекрасного. А лестница эта уходит в просторы вечного неба!..»

Какое-то время шли молча, словно бы не решаясь спугнуть мысли друг друга. Ефим заговорил первым:

— Он мудрый, конечно, старик, только… Только он не совсем прав… Я ведь с того и начал наш разговор, что объявил (уж

простите мне это слово!) способным на большой духовный подвиг любого человека… Это же подтверждено детством: все дети — необыкновенно богатые творцы. Я, учитель, знаю… Это потом жизнь все поспешит покалечить, потом к светлому пристает вволю всякой грязи, и человек постепенно забывает о том, какой свет скрыт под ней… Мне даже порой кажется, что вся наша жизнь богата только одним детством, что человек подлинной жизнью только в детстве и живет, пока мир для него — бесконечное, чистое творчество…

Мир еще не устроен так, чтоб все чистое оставалось с человеком навсегда. Человек чаще всего живет, забыв о своих подлинных богатствах… Это знание в нем надо пробуждать, с ранних лет надо прививать ему вкус к тем небесным яствам, о которых говорил ваш старик. От рождения на них имеют все одинаковые права. Я не хочу избранных, мир — для всех, все богатства мира — для каждого. Пока я никому не говорил об этом. Почему-то вот вам сказал… С вами мне легко и просто говорить о самом сложном…

Анна пристально посмотрела на него:

— Но как это сделать? Ведь невозможно это! Ясно же! Тут невероятные усилия нужны, огромная духовная работа… А кто за нее в состоянии взяться? Одиночка?..

— Не говорите так!.. — Ефим прикоснулся к плечу Анны. — Я, кажется, знаю другой путь… Нет, я не о народничестве говорю. Те не от духовного шли, от другого, от практического только… Я о работе просветителей, имеющих духовный свет и в то же время практические замыслы по переустройству жизни к лучшему!.. Но вот в чем я с народниками согласен: надо начинать там, где люди живут еще общинно, сплоченно, с деревни надо начинать! В Петербургах этого не начнешь! Людей в них много, им тесно, но они отчуждены друг от друга. В деревне надо начинать! Создавать там начальную универсальную культуру, которая поможет увидеть им собственные духовные богатства. А когда там разольется истинный свет, то увидят его и здесь, и захотят жить иначе! В деревне все наши корни, там народная почва!.. Если бы вы знали, как я люблю деревню! Как чувствую ее! Порой даже думаешь, хоть, может, и нехорошо так думать: да есть ли еще другой кто-то, в ком все это так же болит?!

Ефим умолк. Анна тоже молчала, наконец она заговорила:

— Да… вас слушать совсем не то что моего малаховского старичка… Вы — строитель, он же — только наставник… Как прекрасно, что я встретила вас именно теперь, когда в душе у меня так неопределенно…

Знаете… я, видимо, интуитивно, уже шла в том же

направлении. Меня тянуло именно туда — в глубину народной жизни, в ее историю. Наверное, потому вот уже несколько лет я занимаюсь древнерусским народным искусством, делаю зарисовки со старинных вещей… У меня уже большая коллекция таких рисунков, так что, я тоже готовлюсь исподволь к тому же, что и вы… — Анна с улыбкой заглянула Ефиму в глаза. — Мне сейчас припомнились прекрасные слова… Я ведь много читала о путешествиях и путешественниках, наверное, рождена странницей, блуждающей душой… Так вот… Как-то однажды мне попались слова из Колумбова дневника, который он вел во время своего первого плавания к берегам Америки… Послушайте: «Всю ночь было слышно, как пролетают птицы…» Правда, прекрасные слова?! Когда Колумб записывал их в свой дневник, он, само собой, и не подозревал, сколько в них поэзии!.. Ведь птицы-то были предвестниками уже близкой и огромной неведомой земли!.. С тех птиц и началось открытие Америки!..

Прощаясь с Ефимом у своего подъезда, Анна улыбнулась:

— Я сегодня не усну… Всю ночь буду слушать, как пролетают птицы!..

6

Меж ними установились, против ожиданий Ефима, довольно странные отношения. Анна заметно изменилась. Что-то происходило в ее душе. Она была приветлива с ним, явно выделяла его вниманием среди всей тенишевской Братии, но он-то видел: ее отношение к нему — отношение сестры к брату… После той декабрьской ночи, после всего, что они тогда сказали друг другу, меж ними навсегда остались стоять они же сами, сближенные такой чистотой помыслов, что ни о каком другом сближении невозможно было и думать… На Беатриче, видимо, не женятся…

Ефим был влюблен. Он встретил девушку далеко не обыкновенную, близкую ему по духу, по взглядам на главное в жизни. Но… они признались друг другу, что слишком особенными связями соединены с миром, и это признание делало теперь невозможным другое признание… Да и вообще, как он сам считал и чувствовал: у него не было права на эту любовь…

Свой, никому не видимый пожар он тушил в работе. В ней прошел у него весь январь, прошла половина февраля. Днем занятия в студии до двух часов, затем, после короткого перерыва на обед, занятия либо в Скульптурном музее при Академии, либо у себя, на квартире.

Иногда Ефим позволял себе «отдых», уходя с головой в чтение. Он осунулся, чувствовал себя ослабевшим.

В середине февраля Анна пригласила его неожиданно в Суворинский театр на «Принцессу Грезу» Ростана. За все время, прожитое в Петербурге, Ефим ни разу не побывал в театре, хотя и мечтал об этом, все откладывал на некое близкое будущее свою встречу с каким-нибудь столичным театром.

В студии частенько заговаривали о театре, о премьерах, об актерах, о бенефисах. Более состоятельные ученики говорили меж собой о знаменитых Беляевских концертах, на которых им случалось бывать, при этом произносились имена Лядова, Аренского, Глазунова, Римского-Корсакова… Ефим только слышал об этих композиторах, все это существовало для него словно бы за чертой возможного…

При нем заводились бесконечные споры о новой поэзии, которой он просто еще не успел узнать. Бальмонт и Брюсов провозглашались чуть ли не пророками нового времени! Тут же их горячо и обильно декламировали. Главное место в спорах, само собой, занимала живопись.

В тех спорах Ефим по-прежнему не участвовал, хотя и прислушивался чутко ко всякому слову.

Наверное, он был прав, рассуждая сам с собой о том, что просто есть два вида ума: есть ум, который дает великолепную ориентацию, пластичный, гибкий ум, легко преодолевающий все закавыки, все кочки и рытвины жизни, и есть ум совсем другого рода… Его однозначно прямо и определить-то невозможно… Ум, запинающийся о все неровности, ум, одновременно и несчастный и счастливый, такому незачем гнаться за тем бойким умом: там, где бойкий пролетит, ничего не задев, запинающийся-то сто раз застрянет и зацепится, но… в этом-то — не только беда!..

Среди метельного февральского вечера Ефим оказался окруженным торжественной нарядностью театральных залов, сверканием зеркал и хрустальных люстр, снующей взад-вперед петербургской публикой. Тут были и штатские, и военные, и люди, одетые в платья от самого дорогого портного, блистающие дорогими перстнями, драгоценностями, массивными золотыми цепочками на жилетах, и люди, одетые в дешевые костюмы с дешевыми, безвкусными булавками в ярких галстуках.

В толпе этих людей, рядом с Анной, одетой небогато, но с тонким вкусом, выглядевшей в этот вечер необыкновенно красивой, Ефим чувствовал себя скованно. Ему казалось, что все смотрят именно на них, двоих, и видят их несоответствие друг другу. Он робел глядеть по сторонам, чтоб не застать, не

перехватить в чьих-либо глазах оценку себе, чтоб не увидеть вдруг в одном из огромных зеркал свое отражение… Чувствовал себя скованно, неловко: долгие дни провел в студии, в Скульптурном музее, в своей каморке за непрекращаемой работой, весь погруженный в себя, в свое, а тут надо было как-то приноровиться к этой нарядной праздной публике, к блеску театра, как-то перенести самого себя из одного, привычного, состояния в другое, непривычное и слишком кратковременное для того, чтоб ради него перестраиваться, переиначиваться.

Ефим недооценивал себя. Высокий, стройный, темноволосый, с тонкими чертами одухотворенного бледного лица, он и сам был красив.

Пьеса глубоко взволновала его воображение. Разве в самом себе он не чувствует такого же мечтателя, каким был герой пьесы трубадур Жофруа, слабый здоровьем, но необыкновенно сильный духовно, в своем стремлении к идеалу, к истинной красоте?!

Уже на воле, заметив его состояние и желая подшутить над ним, Анна сказала:

— Не правда ли: какой трогательный, какой красивый идеализм нам был показан?..

Ефим не поддержал ее шутки, никак не откликнулся на ее слова, лишь насупился.

Анна поспешила смягчить иронию, взяла его под локоть, приноровила свои шаги к его шагам:

— Ну что ж… В наше робкое бесцветное время даже в этой пьесе ощущаешь какую-то подлинную силу. По крайней мере написал ее человек прекрасной чистой души, жаждущий духовного возрождения… Пожалуй, истинного идеализма нам ныне и не хватает!..

Ефим даже приостановился вдруг: может быть и шутя, но как неожиданно-точно сказала Анна о том, что жило в нем самом почти лишь подсознательно! Именно так: истинного, окрыляющего идеализма не хватает этому грубому миру!..

— Может быть, я — наивный человек… — заговорил он. — Театр всегда мне много давал, хоть и всего только несколько раз я видел игру настоящих актеров… Но всякий раз во мне что-то происходило, каждый спектакль как будто приподнимал меня над самим собой…

— Какой вы прекрасный! Чистый!.. — Анна прижала его локоть к своему боку. Ефим не от ветра задохнулся вдруг, кровь отхлынула от лица, и горячий вихрь мгновенно смешал в нем все мысли, и только спустя какое-то время он заговорил снова:

— Не знаю… я кто-то другой… Ведь вот подумаешь о себе: давно ли я был такой же деревней, как мои отец-мать, дедушка-

бабушка?.. И вот я поднимаюсь, вырастаю, я уже — кто-то другой, новый, что-то понявший человек!.. Но я не хочу подниматься в одиночку, мне этого мало, цели не те: хочу, чтоб и деревня, как я, ее сын, замечтала, потянулась бы к светлому!..

Ветер. Дребезжат на фонарях номерки. Анна идет, чуть пригибаясь от ветра, стройная, гибкая, вся в черном. Они идут в ногу, и под этим ветром, треплющим и шатающим, Ефим почти в какой-то безумной радости думает о том, что вот в каждом шаге он слит с Анной и ритмом быстрой ходьбы, и единством ощущения этой дикой метели, ворвавшейся в Петербург со стороны моря. И Анна, словно бы расслышав его мысли, кричит, приблизив к нему мокрое смеющееся лицо:

— Ну, вы слышите?! Вы слышите, как… нас… уносит… этим… ветром… на двести лет… назад?! К началу Петербурга?! Чувствуете: как еще… молода… Россия?!

— Слышу! Чувствую!.. — кричит в ответ Ефим и тоже смеется счастливым смехом, и его голос сливается с ветром и, оборванный, где-то в стороне клубится уже над всем городом. Молодой, крепкий голос…

Они идут, тесно прижавшись друг к другу, и Ефим весь замирает в каком-то крайнем восторге, его то леденит, то обдает жаром!..

«Неужели, неужели это возможно, чтоб Анна и я… чтоб Анна и я…» — он не дает пробиться завершающему, все определяющему слову, он не может завершить эту распевную вихревую мысль-мелодию, в нем самом в эти минуты живет влажный широкий мореходный ветер, одновременно и развеивающий все, и все соединяющий… Все, все в этом мире одновременно и размывчиво, и крепко сцеплено…

Ах, этот древний, древний ветер, несущий с моря грохот великой работы, какую-то погибельную всепобеждающую музыку, в создании которой участвуют пилы, топоры, долота, якорные цепи, крепкие перелетные крики и еще что-то мощное и живое — даже не само море, а что-то летуче-стремительное, всеохватное, словно бы набегающее из глубин самой Вселенной, из Вечности!.. Этот ветер пересоздал все вокруг!..

Ефим проводил Анну на Пески, где не бывал уже давно — с предновогоднего вечера. Анна пригласила его посумерничать с ней, и он, почти онемевший от тайной радости, принял ее приглашение.

Линевы были дома. Появлению Ефима они обрадовались, Никита Логинович приступил было к нему с расспросами, но Анна не дала их разговору даже завязаться, утянула Ефима в свою комнату.

Пока она зажигала лампу, Ефим замешкался у двери. Он еще не бывал в этой комнате, но именно таким все тут и представлял: высокое окно, белые чистые стены, аккуратно застеленная кровать, рабочий стол у окна, на столе — ничего лишнего: чернильница толстого синего стекла, ящичек для перьев и карандашей, настольная лампа под зеленым стеклянным абажуром, бронзовая вазочка, пучок кистей… И воздух вокруг… Особенный, таящий в себе думы, настроения, сны Анны… И вот только что она внесла сюда уличные свежие запахи…

— Ну, чего же вы?! Проходите! Вот моя келья!.. — Голос Анны прозвучал с какой-то мягкой осторожностью. Она присела у стола, вытерла маленьким кружевным платочком лицо, поправила мокрые волосы на висках, улыбнулась чему-то мимолетному. А Ефиму еще хочется уловить в ней ту Анну, с которой только что так слитно, так едино шел по улицам, ту — от ветра и метели…

Он опустился на свободный стул рядом с Анной. С минуту помолчали, слушая заоконную метель, будто приноравливаясь к другому, неподвижному, комнатному воздуху. Оба чувствовали приятное щекочущее утомление от быстрой ходьбы. Порыв в обоих поутих, зато в лицах разгорелся огонь…

Первой заговорила Анна, повела рукой в сторону густо-синего незанавешенного окна:

— Знаете… Вот там я вдруг почувствовала себя такой, какой я, наверное, должна быть в этом мире… Я часто думала: почему, почему это так все устроено, что мы не можем стать вполне самими собой вот тут, в этой нашей земной жизни?.. Все хочет размыть тебя, изменить неузнаваемо… Сколько всяких преград, невозможностей!.. Ты ощущаешь в себе какие-то большие стихийные силы, но они никак не могут пробить себе дорогу… Ведь кто-то в нас есть, кто больше нас, обыкновенных, повседневных, кому в этой бедной коротенькой человеческой жизни все никак не удается осуществиться полностью. Этот кто-то рассчитан не на короткое земное бытование, а на тысячелетние сроки, на бесконечность… Я это так чувствую!..

Анна поднялась, прошлась по комнате, обхватив себя руками и крепко сжав пальцами локти, остановилась у окна, вглядываясь во что-то, вроде бы не в Ефима, а в тьму за окном, спросила:

— Знаете, о ком я часто думаю?..

— О ком?.. — чуть слышно спросил Ефим.

— О Леонардо да Винчи… — тоже негромко, почти шепотом, ответила Анна. — Что за тайна в нем?.. Это меня мучило столько раз!.. А тайна его, наверное, вот: этим гением владело мучительное ощущение огромных возможностей одного человека!

Во всех его устремлениях, во всех его разнородных интересах угадывается великая мука и печаль от ощущения в себе истинных человеческих возможностей, вступивших в противоречие с тьмой. Вся его судьба — это именно мука, попытка отстоять себя, доказать, что нет — я не ступенька! Я знаю за собой свои возможности! Они — безграничны!.. Это и у Микеланджело ощутимо, но у него — как целое неистовство, как бунт, у Леонардо же — именно тайна и огромная печаль…

Ах, Ефим Васильевич! Должна же, должна же в нас быть вечная душа!.. Ведь это ее великие возможности мы ощущаем в себе!..

Ефим сидел неподвижно, боясь вставить хоть слово, ему хотелось слушать и слушать эту порывистую необыкновенную девушку, он тоже ощущает в себе то, о чем заговорила она, это ежедневно живет в нем самом!..

Когда он уходил от Линевых, метель уже заметно поутихла, снегопад поредел, поослаб, редкие звезды уже кое-где проскваживали еще густую облачность, и небо в тех местах было теплой бархатной черноты. Где-то близко была весна… Ефим шел к себе на Васильевский остров, переполненный мыслями об Анне. Ему казалось, что этот вечер был началом настоящего сближения с ней…

7

Спустя всего две недели случился пожар Академии художеств, и в тот же день Ефим получил от Анны неожиданное письмо. Еще не прочитав его, он переполнился тревогой, почувствовав: это письмо не могло быть добрым…

В последнее время Анна была опять отдалена от него. Она пропускала занятия в студии, видел он ее чаще всего замкнутой, сосредоточенной на чем-то своем, глубоко спрятанном ото всех… За день до получения этого письма Ефим сказал ей, что ему хотелось бы встретиться, поговорить, она ответила согласием, но на следующий день, когда он пришел к ней домой, ее не оказалось: она ушла с женой Никиты Логиновича на какие-то лекции, которых в Петербурге так много читалось в разных местах каждодневно…

И вот — письмо:

> «Ефим Васильевич, я очень виновата перед Вами: я совсем забыла, что обещала быть дома, и, главное, пошла с тетей на лекцию, когда никакой и охоты-то не

было.

Мне очень жаль, потому что хотелось поговорить с Вами. Вы, может быть, думаете, что последнее время я совсем забыла о Вас; я не исполнила ни одного обещания своего: не познакомила Вас с теми, с кем Вы желали познакомиться и т. д., но дело в том, что я совсем плохо себя чувствовала. В другое время все это доставляло бы мне большое удовольствие и веселье даже, а нынче и подумать не хотелось.

Ввиду всего этого, я надеюсь, что Вы не будете меня осуждать. От сестры можно бы ожидать большего, но я надеюсь, что в будущем еще представится не одна возможность доказать мое хорошее отношение к Вам.

Мне здешняя жизнь очень не нравится, и я уезжаю пока в Воронеж, а где буду летом, еще не знаю. Помните, мы говорили о том, чтоб приехать к Вам, в Кинешму… Зовите художников, может, и я на время появлюсь.

Теперь мы вряд ли увидимся, так как я уезжаю в понедельник (верно пробуду два дня в Москве), но если Вы пожелаете что-нибудь сказать мне, то напишите сюда, если же меня уже здесь не будет, то перешлют письмо.

Желаю Вам всяких успехов и чтобы Ваше пребывание в Петербурге принесло хорошие результаты.

Ваши лапотки висят у меня в комнатке.

Мой привет мастерской.

Анна Погосская».

Это письмо… Ефим тут же хотел бежать к Анне, чтоб увидеть ее, проститься с ней, но тут же и понял, что дух этого письма против их встречи.

В тот день он побывал возле Академии. К самой Академии невозможно было пробраться: на место пожара были вызваны солдаты конногвардейского полка, расположенного неподалеку от Академии. Над взломанным куполом здания вился еле заметный то ли дым, то ли пар, чернелись обгоревшие подпорки, до пожара поддерживавшие статую Минервы над куполом. Самой покровительницы наук, искусств и ремесел на месте не было… В толпе, колыхавшейся за оцеплением солдат, ходили разные слухи. Одни говорили, будто сгорело внутри Академии все, другие говорили, что сгорела только мастерская Репина, третьи сообщали, мол, пострадал Рафаэлевский зал и мастерская Репина…

В тот день Ефим долго бродил по городу. Письмо Анны, пожар в Академии художеств… Ему чудилось в этом что-то

взаимосвязанное, не так ли связана была потеря им Марьки с пожаром Шаблова?.. Тут словно бы повторилась Судьба… А рухнувшая богиня Минерва над Академией, в которую он стремился, о которой столько мечтал, как о реальной и близкой цели, это ли не предзнаменование в такой день?!

Поздно вечером он пришел к себе на квартиру усталый, подавленный. Молча сидел у окна, не зажигая света. В верхней части окна, где был виден клочок неба над горловиной колодца-двора, зажглись бледные звезды. Весь он был в том февральском метельном вечере, так чудесно проведенном вдвоем с Анной…

В начале апреля Ефим получил от нее письмо. Послано оно было из Рязани.

> «Что-то поделывает мой петербургский брат? Когда я видела его в последний раз, он выглядел очень утомленным, это вообще не годится, и я надеюсь, что он ведет себя лучше в этом отношении. Мне некогда было написать Вам раньше, Ефим Васильевич, и прислать свой адрес, и вообще некогда было подумать о Питере. С завтрашнего дня у меня уже будет свой собственный уголок (пока я в гостях), тогда я буду свободнее, и Вы мне напишите. Меня очень интересует, что делается в Питере и в мастерской и что делаете Вы сами.
>
> Собираюсь работать по деревням под Рязанью, накапливать рисунки со старинных предметов, вообще — со всего народного. Моему делу, благодаря распутицы, пришлось приостановиться, нельзя выехать из города, но это ничего, времени не теряю: все разузнаю, знакомлюсь с людьми. В Москве меня снабдили полдюжиной рекомендательных писем, которые оказались весьма полезны. Теперь каждый день рисую в археологическом музее, увеличиваю коллекцию, которую начала в Питере. Одно дело уже сделала, впрочем, — поправилась и прекрасно себя чувствую. В дальнейший путь отправляться раньше двух недель нельзя: разливаются все ручьи и реки. Здесь есть красивый вид у собора на разлитие реки Оки, я подстерегаю, хочу нарисовать. Рязань вообще во всех отношениях славный городок. Небо ясное, незакопченное, воздух чистый, луна на небе — и днем и ночью. Ночью прелесть, как красиво, тихо и холодно, и месяц светит, и звезды яркие, и много их.
>
> Приехала сюда, ни единого знакомого человечка не

было, город точно замкнутым от меня казался, неприветливым, но, благодаря письмам, я сразу приобрела массу знакомых в самых разнообразных сферах, и душа города понемногу вся предо мною раскрылась.

Были ли Вы у тети и дяди или еще у кого из наших знакомых? Если кого увидите, передайте им всем мой искреннейший привет и в мастерской скажите, если там все еще не растеклись по всей Руси, что я было хотела написать любезное письмо всей славной Братии, да потом не до того было.

Бывает иногда, бродя по улицам и окрестностям Рязани, пожалею, что приходится делать наброски в одиночестве…

А что у Вас теперь в Питере?

Мой адрес: Рязань, до востребования.

Анна Погосская».

«Анна… Что происходит с ней?.. — думал Ефим. — Ступила ли она на ту дорогу, о которой мы с ней говорили, или только готовится к этой дороге?..»

В тот же день он послал ей письмо, в котором подробно описал все, что происходит в мастерской, сообщил, что в конце марта Репину, по слухам, пришлось выслушать немало нападок на общем собрании профессорского состава Академии на стиль его преподавания в обеих мастерских, что Репина обвиняли в том, что в его мастерских атмосфера распущенности и декадентства, и прочее, и прочее…

Между тем для Ефима март завершился весьма успешно: на очередном экзамене Репин сказал о его новом и заметном шаге вперед. Об этом Ефим тоже сообщил Анне. К письму он приложил рисунок.

Ответного письма ждал больше трех недель. Ефим начал уже сомневаться: дошло ли его письмо до Анны при такой ее непоседливости, и вдруг, на исходе месяца, пришло долгожданное письмо. Занятия в студии должны были завершиться до первого мая, как обычно, и Ефим побаивался, что письмо от Анны придет, когда его самого уже не будет в Петербурге… Как он и предполагал, Анна сообщала о новых изменениях в своей жизни, эти изменения удивили и озадачили…

«Добрый брат Ефим Васильевич!

Теперь я вполне могу Вас так называть, дальше узнаете почему.

Спасибо за Ваше милое письмо, которое доставило мне большое удовольствие в моем уединении. Я его давно получила и теперь боюсь, что ответ мой не застанет Вас в Питере. Я была очень рада узнать о Вашем новом шаге вперед. Желаю Вам делать таких шагов побольше. Ну, что же думаете об Академии? Да что спрашивать! Уж верно мечтаете о ней в тихую минуту! Один экзамен туда многого стоит, так многому научаешься, даже при неудаче, будто взял урок у великого учителя!

Где же будете летом? Я же не знаю, где буду, и об Академии не знаю… Моя судьба, кажется, вообще напоминает что-то вроде облачка: неизвестно — набежит ли оно на тучу и прольется с нею дождем, а то еще и в грозе разыграется, или же, поплавав в голубых небесах, растает потихоньку на солнышке и исчезнет…

Недавно я поступила в Девичий монастырь. Сижу теперь и пишу в маленькой уютной каморке при слабом свете свечи. Я было взгрустнула: погода была мрачная, унылая и холодная. Но добрые монашки были так приветливы и ласковы, что мне у них стало приятно и хороню.

Здесь очень тихо, но, хотя монастырь за городом, не живописно. Впрочем, я еще не совсем монашенка. Вчера была на гулянье. Познакомилась с очень хорошими людьми и с ними отправилась в здешнее Общество народных развлечений. Очень хорошо там устроено все. Вошли в ворота, купили билеты в театр, смотрим: бегут в разные стороны дорожки, журчат фонтаны, за ними — решеточка, а за нею — равнина: там и вода блестит, и луга зеленеют, а в воде отражается заходящее солнце, и — постоянно меняющее цвета, небо. На фоне этой чудесной картины наступающего вечера гуляет нарядная публика. По какой дорожке ни пойдешь, все придешь к какому-нибудь развлечению. Тут и музыка играет в беседке, а на платформе рядом танцуют. В другом месте в кегли играют, и славно как! Дальше — гигантские шаги для мальчишек, где-то в стороне — библиотека, есть открытая сцена, где показывают фокусы, живые картины и фотографии, есть буфет, чай, всякая всячина. Но лучше всего это театр! Хорошо там играют! Один актер — просто чудо! И кажется — любитель, и сам играет простых людей.

Давно так хорошо не проводила время! А на

прощанье, по окончании спектакля, угостили красивыми чудесными фейерверками.

Мне всегда приятно будет перекинуться словечком с Тенишевской Братией! Теперь кончаю с надеждой, что по временам Вы будете вспоминать монашку и что вспоминовение будет также выражаться и видимо, т. е. письмом. В Питер нынче не приеду. Теперь, может, долго не встретимся, а может, и никогда, но говорят про людей иногда так: «Он — художник в душе!» Вот и мы таким образом можем быть братом и сестрой «в душе»! Ведь хорошо это?! А рисунком-то по губам помазали!

Монашка Анна Погосская».

Ефиму было и грустно, и хорошо за чтением этого письма, он как будто только теперь примирился с тем, что Анна все дальше и дальше куда-то уходит от него…

Он понимал, что она, конечно же, знала, догадывалась о его чувствах к ней, и вот в этом письме решилась наконец обозначить милосердный предел; «мы… можем быть братом и сестрой «в душе»…

Какая-то неведомая сила вырвала из его жизни эту необыкновенную девушку, и неизвестно было, куда эта непостижимая сила теперь несла ее… Анна — порывистая, живая — и… вдруг — монашенка… Нет, не рисовался в воображении ее новый облик: смиренность, апостольник, четки в руках…

8

После окончания занятий в студии Ефим сразу же уехал в Кинешму. Уехал с большими надеждами на недальнее будущее: на вечеринке, последовавшей за апрельским экзаменом, Репин сказал ему такие слова: «Вот еще годик позанимаетесь в студии и можно будет перебираться в Академию!..» Сказал, как о деле вполне возможном!..

У своих кинешемских друзей Ефим задержался совсем немного: тянуло в Шаблово, где он хотел провести лето в большой работе. «Уж бить в точку, так бить вовсю, как говорят, не покладая рук!» — так сказал ему Дмитрий Матвеевич. В Шаблово надо было спешить и по другой причине: пароходы ходили в верховье Унжи, пока держалась большая вода.

Перед отъездом Ефим устроил в Вичугском училище выставку своих петербургских работ (надо же было «отчитаться»

перед теми, кто в него верил, кто ему помогал!). Но эта помощь, это неопределенное, зависимое положение от доброго отношения к нему людей, с которыми он теперь так мало был связан!..

Когда Дмитрий Матвеевич заговорил с ним насчет нового сбора средств на следующий учебный год, Ефим не сдержался, сказал ему о своих терзаниях.

Дмитрий Матвеевич отмел в сторону все его горячие, резкие слова: «Относительно вашего, как вы изволите выражаться, «зависимого положения и бесстыдства» вопрос, кроме вас самих, никто не поднимает, ибо в таком положении, как вы, находится масса учащихся, а поэтому о компромиссе и о «границе между благородной твердостью и бесстыдным нахальством» говорить даже странно! По-вашему выходит, что все учащиеся, получающие стипендии, пособия и прочее, делают компромисс, выказывая «благородную твердость» или «бесстыдное нахальство»… Я смотрю проще: тут нет всех этих понятий, а есть только ученье не на свои средства. А кто же, дорогой Ефим Васильевич, учится на свои средства?! Разве что только те, которые потеряли богатую бабушку или тетушку и получили наследство?.. Так что об этом больше не будем толковать! Я желаю вам достигнуть намеченной цели при обыкновенно употребляемых средствах! При обыкновенно употребляемых! Только и всего!..»

Как ни ободряли слова Репина, Ефим понимал, что поступить в Академию ему, малоподготовленному, и через год будет непросто.

До нового устава от поступающих в Академию требовалось немного — за два часа нарисовать гипсовую голову. Теперь надо было нарисовать и написать маслом обнаженную человеческую фигуру…

Слышались, слышались Ефиму слова бабушки Прасковьи, говаривавшей бывало: «Торопись-поторапливайся! Тугой поля не изъездишь, нудой моря не переплывешь!..» Застряли в памяти и репинские слова, услышанные на последней вечеринке в студии: «Старайтесь сделать как можно больше до тридцати лет, потому что кто до тридцати ничего не сделает, тот ничего уже не сделает!..» Не так уж и много оставалось Ефиму до тридцати, а что было сделано?! Даже настоящим учеником он не мог пока себя назвать…

В Шаблово Ефим приплыл в конце мая. Родная деревня, словно бы придавленная вовсе не весенними тучами, громоздившимися над ней в три наката, встретила его неприветливо. Большой пожар отбушевал тут снова всего неделю

назад, только на этот раз, прошелся он не по деревне: в глаза бросились обгорелые черные деревья за Унжей, как раз напротив Шаблова. Сгорела часть Перфильевских лесов. По округе еще стлался запах гари, широкой полосой черного мертвого леса были отделены от реки дальние уцелевшие боры. Что-то недоброе, почти зловещее, таилось в этой непривычной черноте, будто в том месте жутко расселась, раскололась родная округа, огромной темной трещиной зияла эта гарь. Он так любил с самого раннего детства смотреть на заунженские леса либо с горы Шаболы, либо с горы Скатерки, с самых высоких на Унже мест. Над теми лесами в погожие дни всегда млели и томились курева и марева, какая-то особенная дымчатая голубизна. Даже у дедушки Самойла было излюбленное присловье во всяком разговоре: «Эх, курево-марево!..» Не от той ли заунженской голубизны оно пришло, влетело в его всегда складную, легкую речь?..

Как будто впервые Ефим вглядывался в родные места. В этом не по-весеннему, а по-осеннему темном океане всхолмленной, дико щетинящейся земли, омертвевшем под холодным северным ветром, в лицо ему дышали какие-то старые времена. Само будущее, казалось ему, было завалено ворохами выстуженных бездождевых туч, само время, мнилось, остановилось тут… Всей родной округой словно бы владела чья-то всеохватная бесплодная мысль о вечном холоде, о вечной печали…

Дома печального тоже хватало: отец и мать часто прихварывали, последние, «зеленые», как говаривала бабушка Прасковья, годы поднадорвали их… Тут же и начались их привычные сетования, что вот нет у них помощника, что времена пошли трудные, а надеяться им не на кого: сын вот снова подался учиться, дочери еще невелики, к тому же одна-то — калека, хорошо еще, что прошлой осенью удалось ей поступить в Кологривскую женскую прогимназию…

9

Под самый троицын день в Шаблово на побывку приехал Николай Скобелев. Лучшего праздника, чем приезд близкого друга, Ефим для себя не желал бы. Едва он услышал перед вечером от сестриц, что к дядюшке Семену приехал Николай, со всех ног кинулся бежать к избе друга.

Даже тот день, проведенный Ефимом на Илейном, на лесных кулигах, был какой-то особенный — ясный, без единого облачка. В конце дня шабловские понавезли из лесу березовых веток, которыми к вечеру были украшены все избы. А еще утром посреди просторного места, называемого в деревне Гулянком, мужики воздвигли «качулю» — огромные качели: поставили две надежные остойчивые опоры, по шести жердей в каждой; наверх втащили крепкую еловую перекладину, перекинули через нее снасть — толстую пеньковую веревку. Уже в полдень залетала вверх-вниз широкая доска с обмирающими, верезжащими катальцами!..

Ефим с Николаем, прислушиваясь к гомону родной деревни, в сумерках прогуливались по гуменникам, по-за дворами.

Николай рассказал о себе. Он учительствовал в Ефремовском начальном народном училище неподалеку от посада Парфеньева, в Кологривском уезде. Прошлым летом женился. Жена — тоже учительствует…

— Мне о себе что рассказывать! — как бы извиняючись, глянул он на Ефима. — Живу помаленьку… А вот ты-то у нас! Вон ведь куда махнул!.. В одно прекрасное время от Саши, твоей сестрицы, получаю письмо, в котором, между прочими сведениями, красуется и эта новость о тебе!.. Я, хотя и был к ней немного подготовлен прежними с тобой разговорами, но все же это меня сильно поразило: Ефим у самого Репина учится!.. — Николай слегка толкнул Ефима плечом. — Однако мне было не только радостно от этой новости… Почему-то казалось, что я тебя теряю уже навсегда… Так как это получилось-то у тебя?! На какие средства живешь? Каково? Долго ли протянутся занятия в этой мастерской? Потом куда, что в будущем?..

Ефим рассказал ему обо всем, не умолчал и о своих теперешних сомнениях и тревогах. Вздохнул, словно бы подвел черту под сказанным, добавил:

— И подготовки настоящей не получил, и средств нет, и ценз невысок… Не так-то у меня все просто…

— Да, — кивнул Николай. — Без ценза — никуда. Это — уж так!..

Ефим с любовью, пристально посмотрел на него. Николай шел, чуть полуобернувшись к нему, плотный, спокойный, рассудительный, крупная, коротко остриженная голова чуть наклонена вперед, светло-серые глаза смотрят ясно, с неизменной добротой, говорит Николай медлительно, веско, слова складывает раздумчиво… В нем крепко сидит крестьянин. Говорит так, будто сохой борозду проводит и в конце каждой своей мысли-борозды твердо и неукоснительно подчеркнем «Это уж так!..» И начнет новую борозду. Ефиму всегда так нравилась его манера говорить.

— Пишут: «Обучение народа!..» — повел Николай свою новую борозду. — А какое такое обучение, что сие означает?! Этого — не поймешь!.. Я так, Ефим, понимаю: на доктора, например, учиться, или, скажем, по адвокатской части, или по инженерной, как там будет тебе охота, так учиться — даром, за казенный счет! Вот это будет настоящее обучение народа! Есть у тебя сила-мочь вот тут, — он прикоснулся ко лбу, — достигай чего-либо! Нет такой силы-мочи — оставайся в прежнем звании! Мало, мало у нас образованных по-настоящему людей из самого народа! Это уж так!..

Ефим слушал эту медленно текущую речь. В который раз за вечер они подходили к избе Скобелевых, сворачивали к их овину, темневшемуся на северном краю деревни, останавливались там под большой липой и опять брели в сторону Савашовского поля, чтоб вернуться под липу…

В начале августа, простившись с родными и со своим другом, Ефим отправился в Кинешму. Хотя ему приходилось часто отвлекаться на всякие крестьянские работы, помогать родителям, из Шаблова он увез немало летних рисунков и живописных этюдов.

Время в Вичуге и Кинешме было хлопотным, Ефим устроил еще одну выставку в Вичугском училище. В Кинешме здешние Виноградовы сообщили ему, что Анна с монастырской жизнью распростилась и пока что живет у дяди на подмосковной даче, в Малаховке. Обрадовавшись этому известию, Ефим перед отъездом в Петербург написал Анне письмо. И первым письмом, полученным им в Петербурге, было ее ответное письмо.

> «Вы очень милый брат, Ефим Васильевич!
>
> Вашему письму я была очень рада. И вот спешу исполнить Вашу просьбу, нет — свое великое желание — пишу! Лето промелькнуло, как сон, и теперь мы точно просыпаемся. Вы, мне представляется, проснулись в

ясное осеннее утро, солнышко светит так весело, и кругом все так хорошо, и хочется поскорее выпрыгнуть из-под одеяла и скорее-скорее — за интересные дела! Так ли?..

Ну, а мое пробуждение носит более грустный оттенок. Но, протерев хорошенько глаза, вспоминаю, что все не сон, а будто правда… Итак, не ждите меня в Петербурге, не судьба, знать, нынче! Но не потому не вернусь в мастерскую, что разлюбила свое дело или разочаровалась, а совсем по другим причинам.

Меня мучают разные вопросы, которые мешают работать и спугивают всякое вдохновение.

Так вот, значит, детки Репина начали собираться. Многие, верно, мимо меня промелькнут здесь, как и Вы… Случайно встретила Листнера и Альбрехта на Курском вокзале. Они звали к себе, да некогда мне было. Зайду все ж.

Как же Вы поживаете, Ефим Васильевич? Много ли кой-чего наработали, как идут краски? А что ж в Академию не идете? Впрочем, Вам и в мастерской хорошо будет — лучшего профессора там не найдете, чем Репин.

Ну, в добрый час начинать вам, братцы!

Не пишу Вам о своих планах и делах пока потому, что в, голове величайший сумбур, но буду очень-очень рада, если Вы напишете мне о себе, где были летом и о Тенишевской Братии, если уже собирается.

А жалко, что Вы мимо меня проехали! Как это Вы?! А уж я была бы рада! Потолковали бы!

Мои дядя с тетей в Париже, зато мама приехала, она очень была больна, теперь лечится в Крыму, после вместе жить будем где-нибудь.

Примите лучшие пожелания сестры Вашей Анны Погосской. Будьте здоровы, работайте за двоих, а еще совет… впрочем, совета на надо, простите…

Сердечный привет мой всем».

Вслед за этим письмом пришло еще одно:

«Многоуважаемый Ефим Васильевич! Мой путь намечается в Рязанскую губернию учительницей в кружевную школу. Оттуда пришлю письмо, я пока очень занята этим последние дни в Москве.

Прошу и Вас не забывать меня. Пришлите мне что-нибудь на память, хоть Вашу карточку. И я Вам пришлю.

Посылаю привет мой всей Братии. Остаюсь в ожидании весточки от Вас.

Ваша Анна Погосская».

Получив это последнее письмо, Ефим и радовался, и печалился: вот Анна все-таки ступила на ту дорогу, о которой говорила, но… ее уносило от него все дальше…

10

Занятия в студии начались в конце сентября. Тенишевцы понавезли много летних работ, все выглядели бодрыми и загорелыми.

У Репина на уроках живописи появился новый помощник — Дмитрий Анфимович Щербиновский, вернувшийся из Парижа. Нескольким тенишевцам удалось поступить в Высшее художественное училище: Алексею Третьякову, Юрию Репину, Ивану Билибину, Василию Тимореву, Альфонсу Жабе, Леониду Альбрехту… На их место были приняты новенькие.

С приходом в студию Дмитрия Анфимовича Щербиновского Репин стал бывать в ней гораздо реже, появлялся лишь ради того, чтоб вместе со своим новым помощником задать ученикам очередное задание. Щербиновский был аккуратен и точен. В студию он приходил два-три раза в неделю. Он просто и точно умел выражать свои мысли, даже сами жесты его были какими-то точными и изящными, и одет он был всегда со вкусом. Студийцы сразу же его полюбили и приняли как желанного наставника.

Щербиновский был из тех, кто шесть лет назад перешел из учеников старой Академии в ученики новой, его и Филиппа Малявина среди тех «старичков» выделяли как блестящие таланты.

Минувшим летом в Париже открылась грандиозная выставка современной живописи, Щербиновский много рассказывал тенишевцам об этой выставке. Слушать его было интересно и полезно: Дмитрий Анфимович не только мог живо передать свое впечатление и от всей выставки, и от отдельных полотен, представленных на ней, он давал ученикам понятия о современных европейских школах и направлениях в живописи, всегда умея подкрепить все это интересной живой подробностью.

Среди тенишевцев снова заводились разговоры и споры. Часто спорили о Толстом, особенно — по поводу его статьи «Что такое искусство?».

Многое в этой статье Ефиму было близко, как свое, особенно

же мысль о том, что вся человеческая жизнь наполнена произведениями искусства, выработанными не профессионалами, а самим бытом простых людей. Он сам уже думал, мечтал о том, что все на земле должно быть устроено так, чтоб творчество и жизнь были едины, нераздельны. Эта мысль как будто и выросла вместе с ним самим, ведь еще в детстве он так глубоко чувствовал это, прикасаясь к домашней утвари, слушая песни, сказки, бывая на свадьбах и на гулянках, где все неизменно держалось на обряде, рожденном самим народом в незапамятные времена. Он чувствовал это на самых ранних порах, когда еще был просто малой живой частицей родного крестьянского мирка… Ведь уже тогда тот мирок искал в нем, малой частице, своего выразителя…

Ефиму было так ясно, что его собственное художественное начало всеми корнями живет в самом почвенном, простонародном слое искусства — искусства мужицкой Руси. Душа его вырастала из той почвы, из того слоя. Ефим догадывался, понимал, что его собственное творчество должно развиваться в духе крестьянских художников. Крестьянский художник никогда не ставил себе целью воспроизвести действительность с иллюзорной точностью, скорее он преображал ее, рисуя то баснословный, то идеальный мир. В самом себе Ефим угадывал как раз такого художника.

В своих живописных работах он всякий раз исходил из массы, из ощущения целого, может быть, пока интуитивно понимая, что мир, который владеет его душой, именно так надо выражать, тут навсегда для него должен остаться в силе закон живописного письма плотного, грубовато-цельного. Да, его живописные приемы должны быть очень просты, чтоб не было лжи против всего, что было для него изначальным, основой. Его приемы, техника живописи в своей цельности, нераздробленности должны быть сродни работе скульптора, да еще такого, чей излюбленный материал — глина.

Он показал Щербиновскому свои летние работы. Тот сказал как раз об этом: «Вы умеете использовать до конца самые простые материалы, самые простейшие средства. Это — неплохо! У вас есть очень важное для живописца качество — чувство целого!..»

После услышанного одобрения Ефим решился испытать свои силы в многофигурной композиции, хотелось, давно хотелось ему что-нибудь свое, не ученическое выразить на холсте, но сковывала робость. И наконец — решился… И замахнулся сразу на такое: душа художника!.. Ему хотелось показать все, что владеет ею, все ее борения и порывы, представить все это в образах, окружающих художника…

Реальной фигурой должен быть только сам художник,

остальное — его олицетворенные порывы и стремления…

Эскиз был готов в конце октября. Ефим решил выставить его с другими работами на месячном экзамене. Октябрьского экзамена он ждал с нетерпением: что-то скажет сам Репин?!

Илья Ефимович, едва подошел к его работам, сразу же и увидел этот эскиз. Ефим стоял рядом, покусывая губы, искоса следил за лицом Репина: чего ждать — похвалы, разгрома?

Репин резко повернулся к нему, ткнул пальцем в сторону эскиза:

— Что это такое?.. — В тоне его слышалась раздраженность.

Ефим переступил с ноги на ногу, чувствуя, что бледнеет, пробормотал:

— Хотел попробовать…

— Что именно хотели?! — не дал ему договорить Репин. — Подскажите!..

— Это я… духовный мир художника хотел…

— Ах, эта символистика!.. — И тут же кивнул на рисунок обнаженного натурщика: — Кто это вам вот эту ручку нарисовал?! — и подчеркнул ногтем эту «ручку».

Ефим вдруг почувствовал какой-то провал, пустоту вокруг себя и в самом себе, растерянно, не видя ничего и никого вокруг, огляделся и неожиданно громко выкрикнул:

— Мне нарисовали?! Мне?!

Репин сердито посмотрел на него и стал советоваться с Дмитрием Анфимовичем, какими категориями оценить представленные Ефимом работы. Но Ефим уже не вслушивался в то, о чем они говорили, он стоял с опущенной головой.

Репин был явно не в духе. После просмотра он сразу же ушел. Дмитрий Анфимович остался в студии, ходил от ученика к ученику, показывая погрешности в рисунке и живописи, советуя, объясняя. Остановившись возле Ефима, еще раз оглядел его работы, спокойно, негромко сказал:

— А вот расстраиваться так не стоит! Это все — пустяки! Ученичество! А главные ушибы — впереди! Вот к ним и надо себя готовить! Такие ли трагедии бывают на пути у художника!..

Он отошел к окну, помолчал, глядя куда-то поверх крыш, повернулся к притихшим вдруг студийцам:

— Н-да… господа… Путь художника… Это такое!.. Вот на память сейчас пришло… Был такой живописец-мечтатель… Ганс фон Марэ… Немец. При жизни ему ни разу не улыбнулось счастье. И зачем? Он это счастье сам творил, счастье настоящее! Он его знал, что называется, в лицо! Пусть, кроме двух-трех друзей, его самого никто не понимал!.. Всего один раз, впрочем,

судьба дала ему случай… Перед самой смертью… Он тогда жил в Риме… Туда приехал из Германии его друг, так он был потрясен увиденным в мастерской у Марэ!.. Каких трудов ему стоило уговорить Марэ отдать картины для выставки в Берлине, на родине. Марэ так свыкся с ними, что с лучшими просто не мог расстаться без слез… А выставка прошла без успеха… Так он и умер непризнанным вскоре же после выставки. Все его работы друзья перевезли в Германию, на родину, разместили их в старом доме, говорят, очень странном, темном, в глухой провинции, куда редко кто и заглядывает, разве что наш брат живописец… Вот такая судьба!.. Н-да… Трагедия — скажете?! Нет! Надо знать, как и чем жил этот прекрасный человек! Он видел счастливое Человечество! Он сам создал его в своих картинах! Вот это-то и есть счастье!..

Ефим поймал себя на том, что с крайней пристальностью и внимательностью слушает Дмитрия Анфимовича, будто тот рассказывал не всем, находившимся в студии, а именно ему одному о чем-то необыкновенно для него важном, что надо запомнить и сохранить в себе на всю жизнь, как некую святую правду о самом же себе… Он был словно околдован услышанным. Странно, необыкновенно странно подействовала на него рассказанная Щербиновским история…

— В живописи один путь, я думаю, — продолжал между тем Дмитрий Анфимович, — прийти к обобщенному образу! Только обобщение ведет к большой мысли и тайне!.. Да! Марэ это так понимал!.. Он творил прекрасного человека в окружении прекрасного мира! Он творил цельный единый ясный мир!..

Когда-то мне казалось чудом — создать что-то похожее на реальное!.. Ах, забава все это! Одна забава! — Дмитрий Анфимович даже рукой отмахнулся, как будто от кого-то невидимого, но явно присутствовавшего в студии. — Зрелого художника должна интересовать не проблема света и цвета, не случайный момент, не сюжетика всякая… Я это понял… Найти самое полное содержание формы бытия вещей!.. Вот что! Не рисунок отточенный важен, не эффекты живописные!.. Уловить форму своей мечты, не гнаться за контурами отдельных вещей, а вот одного, главного, попытаться достичь — овладеть общей красотой необходимого движения, твоего движения, найти свой идеал линий, именно тебя выражающий, твою собственную мудрость, твою муку, твою радость, твою печаль!..

Слушая со вниманием Щербиновского, Ефим в то же время как будто все еще слышал обидные резкие слова Репина, не мог стряхнуть с себя тяжести, оставленной ими…

Репин… Как надо было понимать его?.. То непомерные

похвалы, то вот ушат холодной, чисто невской воды на голову… Чего Репин хочет от него?.. Что он в нем видит?.. Только задатки или что-то большее?..

Эта импульсивность, эта непостоянность в оценках, то чрезмерно восторженных, то уничтожающих…

Великий мастер не признавал узды на своем мгновенно воспламеняющемся темпераменте… «Полубог», само собой, имел право на такую свободу!..

Ефим был сердит и на самого себя: ведь знал же, что Репин презирал не только все «артистическое до манерности», всевозможные ловкие мазки, несмешанные краски, но и всяческую надуманность, «символистику»… Усмехнулся: вот ведь и не догадывался даже, что при писании своего эскиза был занят «символистикой»!.. Стало быть, это она и есть!.. А он-то думал, что выражает что-то свое, сокровенное!..

11

В конце дня Ефим вышел на набережную Невы вместе с Сергеем Чехониным и Николаем Шестопаловым, своими товарищами по новой квартире. Уезжая из Петербурга на все лето, он не мог сохранить за собой свое жилье на 7-й линий, надо было заплатить вперед за все летние месяцы, теперь он жил с Чехониным и Шестопаловым на 15-й линии. Так было несколько дешевле.

Оба его товарища были сторонниками мирискусников, поклонниками парижской живописной школы. Союзников в студии у них хватало, они яростно поносили Академию, под запал доставалось от них и авторитету самого Репина. Эта группа заявляла, что в Академию идти — позор. Мирискусники провозглашались ей, как художники нового направления, за которыми было все: высокая культура, развитый вкус, чувство современности…

Ефим, хотя и был дружен с самого первого знакомства с Сергеем Чехониным, стоявшим во главе этой группы, однако не считал себя его союзником: мирискусники, как ему представлялось, возводили некое миражное здание, по крайней мере он понимал для себя, что ему до этого здания не дойти, не потрогать его руками, корни не пустят, которыми он врос совсем в другую почву… На ней не вырастить призрачных версальских садов…

Стояли молча у гранитного парапета, жмурились на воду,

бьющую в глаза резким холодным блеском, каждый в одиночку переживал минувший уже экзамен.

Первым заговорил Сергей, которому тоже досталось от Репина:

— Ох уж мне это «вдохновенное обучение»!.. Репин — учитель для хорошо подготовленных, а для неподготовленных он — беда!.. Будь ты тут хоть сто раз талантом!.. — Он поежился, глядя на пролетавшую низко над водой чайку. — Вон — птица: она не машет ведь крыльями постоянно! Она планирует, парит! Она разумно бережет силы, ведь нельзя только махать и махать, так надолго не хватит!.. А он?! — Сергей кивнул в сторону Академии. — Решил, что школу можно построить на одних вдохновениях, на порывах, на фейерверках!.. Фейерверки хороши к случаю, ими дорогу не освещают… Мне систему дай, настоящую школу! А вдохновение — это уж мое дело!..

Слушая Сергея, Ефим думал о том, что в его словах немало правды. Репин прививал большое трудолюбие, не уставая повторять: «И при гениальном таланте только великие труженики могут достичь в искусстве абсолютного совершенства форм!» Слова были высокими, ничего не скажешь, но… если бы они немного опростились, снизились до конкретного разговора о рисунке, о живописи!.. Ефиму так не хватало именно таких слов, конкретно руководящих, подсказывающих, постепенно направляющих… Он видел, что это необходимо большинству студийцев, именно это — простые и внятные слова о ремесле живописи, о рисунке, об этом в студии многие как-то забывали в общей погоне за внешним. Ведь учениками Репина в студии становились люди разного возраста, разной степени подготовленности, тут нужен был особый подход к каждому, тут в большинстве случаев нужна была просто настоящая школа рисунка и живописи, опыт многих студийцев был случайным и разрозненным. Репин демонстрировал свое мастерство, брал в руки кисти и начинал в окружении учеников прописывать чей-нибудь этюд. Тайна его мастерства оставалась для них тайной, оставалась лишь возможность подражания, и многие подражали маэстро, пытаясь освоить приемы его широкой, густой и как будто неряшливой живописи, многие вооружались длинными «репинскими» кистями, пробовали писать мастихином, в особой чести были большие грубые холсты. Во многих работах Ефим видел лишь усилие придерживаться живописной широты и свободы, но все это не было подкреплено школой. Большинство его товарищей сворачивало с полдороги и шло в другую сторону, забиралось в готовый стиль, не развившись, увлекалось «стильностью» и «настроением», стремилось постигнуть, как

пишет Дега, Коро, Домье, не усвоив самого необходимого… Репин все больше отдалялся от студии на Галерной. Щербиновский в студии оказался, пожалуй, слишком поздно, тут уже все шло к завершению, к концу, о котором предупреждала Ефима Анна еще прошлой осенью.

Стоя на берегу Невы, Ефим не слышал Чехонина, продолжавшего говорить. Он вдруг отчетливо представил себе близкую реальность: студия закрыта… Что тогда будет с ним?!

«Одно ясно: надо работать и работать, чтоб к августу быть готовым!.. Только бы все продержалось тут хотя бы до весны! Только бы продержалось!..» — Он с тоской посмотрел в сторону противоположного берега, прямо перед ним было здание Академии…

Пока что у Ефима были крепкие надежды на кинешемских знакомых. В Вичугском углу у него теперь появилась еще одна активная помощница, или благодетельница, — Наталья Александровна Абрамова из Чертовищ. В августе он познакомился с ней в Вичугском училище, где была размещена выставка его работ. Можно было рассчитывать на поддержку Николая Благовещенского из Бонячек.

За себя Ефим не очень бы беспокоился, для художника, по шутке Сергея Чехонина, есть закон: «Чем легче в животе, тем выше воспаряется!» Надо было исхитряться — помогать родителям. Год выдался снова почти повсеместно неурожайным, отовсюду шли слухи о большом голоде. Отец писал в последнем письме:

> «Сын наш, Ефим Васильевич, уведомляем вас: письмо ваше получили. Мы перемолотили все благополучно, только ноньча хлеба намолотили мало и все-таки, слава богу, не как у других прочих, а у других-то и сейчас есть нечего. А льну дак ноньча вовсе мало. Не знаю, как и пробиться, год-от ноньча тяжел. Здоровьем я таперича поправился, а сперва долго маялся, после тебя долго лежал, не ходил, матка и снопы возила, таперича ужас тосковала, захворала. Таня учится в Крутецкой школе, во втором отделении. Учится хорошо. Я вошел в две работы, а ведь вовсе плох. Работы взял на зиму за рекой у Перфильева, пилить горелый лес, и в Малой Унже. Три версты лес возить на Унжу… Милый сын, не пришлешь ли трешенку денег?»

Была еще Саша, учившаяся во втором классе Кологривской женской прогимназии. Надо было помогать и ей.

12

Перед последним месячным экзаменом в уходящем году Ефим жил словно в предощущении какого-нибудь важного для него события. Этюд, над которым он работал почти весь декабрь, ему явно удался. И вдруг накануне экзамена, когда осталось лишь еще раз приглядеться к сделанному, этюд его исчез…

Ефим метался по студии, заглядывал во все углы, спрашивал своих товарищей, не видел ли кто его этюда, не подшутил ли кто-нибудь над ним, пока наконец не понял, что и поиски, и расспросы напрасны. Ясно было одно: кто-то из своих же студийцев унес этюд… Кто?! Врагов среди них у него как будто не было. Он еще хотел надеяться, что, может быть, кто-то все-таки подшутил над ним, но этюд не вернули и в день экзамена… Кто-то подставил ему подножку перед самой чертой, к которой он так стремился, и он полетел вверх тормашками…

Такая надежда была у Ефима на этот этюд! Это было чем-то вроде экзамена перед самим собой, решающей пробой своих сил, возможностей, и все вдруг так нелепо обернулось ничем, пустотой…

Брала досада: Репин, редко теперь бывавший в студии, видел его этюд лишь в самом начале… Завершающий год экзамен оказался для Ефима так неожиданно больше чем неудачей. В нем вдруг словно бы что-то надломилось, между ним и остальными студийцами образовалась незримая стена, он был отъединен от них, на каждого из них теперь не мог смотреть открыто, с полным доверием, глаза сами собой искали в каждом возможного скрытого врага, того, похитившего…

Он замкнулся, почти ни с кем в студии не разговаривал. Приходили даже совсем крайние мысли: бросить все, хлопнуть дверью, уехать совсем…

Как-то, в начале нового года, Де Бове явился в студию с фотоаппаратом, предложил Братии сфотографироваться. Вместе с ним пришел бывший староста мастерской Иван Билибин, поступивший прошлым летом вольнослушателем в Высшее художественное училище.

Братия всегда была рада визитам своих недавних товарищей по мастерской. Появление в студии Билибина всегда сопровождалось особенным шумом: гостем был самый веселый тенишевец, пусть и бывший!

Билибин явился в странном костюме: такие нашивали Онегины и Ленские… Он лишь на днях сшил этот костюм и решил покрасоваться в нем перед Братней.

— Вот что значит придумать себе новый-то облик! Не успел я все это на себя напялить, как меня тут же ловит лучший ученик нашего Ильи Ефимовича — Борис Кустодиев и просит позировать ему! — говорил Билибин, с обычной усмешечкой оглядывая гогочущую вокруг него Братию. В студии он — частый гость: тут его невеста — Маша Чемберс. Потому и по поводу странного костюма сразу же начались шуточки: уж не подвенечный ли он?! Братия уже не раз спрашивала их обоих: скоро ли свадьба?

Шум. Смех. О натурщике и этюдах всеми забыто. Тут же принялись рассаживаться перед Де Бове, колдующим над фотоаппаратом. Билибина в его диковинном фраке посадили впереди: пусть покрасуется!..

Ефим при этом шумном веселье — посторонний: может быть, среди смеющихся и шумящих его соучеников смеется теперь и пошучивает тот, укравший… Мысль о нем — постоянна, неотвязна. Лишь ради того, чтоб не обращать на себя общего внимания, Ефим встал перед фотоаппаратом вместе со всеми, позади всех. Де Бове сделал несколько снимков, пошучивая: «Для истории, господа, для истории!..»

— А что, Братия? — усмехнулся Билибин. — Очень может быть! Я, кстати, пришел пригласить всех вас на свою первую выставку! Можете меня поздравить! Десятого числа прошу быть в Академии! «Третья выставка картин журнала «Мир искусства» — так это будет называться! У меня там — заставки и иллюстрации к сказкам!..

Ефим, слушая Билибина, невольно думал о том, что вот у одних так все легко и просто получается в судьбе, а у него — вновь просто скверно…

Новый год не задался у него с самого начала. Угнетало надвигающееся безденежье. От Дмитрия Матвеевича он получил письмо:

> «Поздравляю Вас с Новым годом и с новым счастьем, если оно у Вас сбылось в Питере! Я послал Вам 25 рублей, как-нибудь получите их. Подписка идет очень туго. В настоящее время, за отсылкой Вам 25 рублей, осталось в Вашей кассе 26 рублей, да подписано 15 рублей, а всего — 41 рубль.
>
> Ни от Ратьковых, ни от Львовых я в Вашу пользу не получил ничего… Как видите, первый год был урожайным, второй — втрое хуже, но, может быть, поправится, хотя я и мало рассчитываю…»

Однако в феврале Дмитрий Матвеевич прислал более утешительное письмо:

«Спешу порадовать Вас, что в Бонячках дан был спектакль у Ивана Алексеевича Коновалова и на Вашу долю через В. А. Полухина я получил 75 рублей, а всего в кассе на лицо 101 рубль и есть кое-где в виду еще около 50 рублей. Не было ни гроша, а вдруг нашелся алтын, чему я и порадовался. Вечер был с благотворительной целью. Как видите, вичужане Вас знают и выказывают участие…»

Странные бывают совпадения. Пожар Академии художеств случился в прошлом году 4 марта. Тогда была возбужденная толпа, сутолока, давка. И вот, ровно через год, в воскресный день, именно 4 марта Ефим снова оказался в такой толпе, на этот раз — перед Казанским собором. Тут были и другие тенишевцы, мелькали ученики Высшего художественного училища, особенно много было студентов Университета.

Перед тем состоялось определение Синода, опубликованное «во всеобщее сведение» через «Церковные ведомости»: Лев Толстой объявлялся врагом церкви и отлучался от нее. Это и стало основным поводом для демонстрации.

Она была разогнана солдатами и полицией. Было много избитых. Около двух тысяч студентов арестовали, среди них оказались и два прошлогодних тенишевца — Леонид Альбрехт и Алексей Третьяков. Вместе с семью другими арестованными учениками Академии они были отнесены к «опасным зачинщикам». В студии в следующие дни только и говорили об этом, волновались за судьбу арестованных товарищей. К общей радости, вскоре узнали, что ни один из них не был исключен из Академии или подвергнут какому-нибудь наказанию: говорили в студии и о хлопотах за арестованных самого Репина.

За всеми этими волнениями незаметно подошел мартовский месячный экзамен. Ефима снова постигла неудача. Репин на этот раз был еще более резок. «Плохо! Очень плохо! Совсем замазались!..» — с таких слов начал он, остановившись перед его работами. Дальнейших слов Ефим опять как будто не слышал. Он понуро стоял рядом с жестикулирующим и что-то громко говорящим Репиным, не произнося ни слова, просто окаменел, оглох вдруг… От надежды на поступление в Академию в этом году совсем ничего не оставалось…

Нежданно-негаданно в студии появилась Анна. Ефим не переписывался с ней с самой осени, она просто умолкла вдруг, ни письма, ни хоть какой-нибудь вести о себе… И вот вошла в студию в конце занятий, словно и не уезжала из Петербурга на целый год.

Ефим насилу-то дождался, когда вокруг нее поутихнет весь шум-гам, поднятый Братией. После пропажи этюда он продолжал держаться в студии особняком, ничего не мог с собой поделать, трещина, образовавшаяся между ним и остальными тенишевцами, пока не исчезала. И даже теперь, при появлении Анны, он остался на месте, не бросился ей навстречу, стоял за мольбертом, чувствуя нелепость своего положения, тужился выглядеть сосредоточенным на работе, но ничего не видел перед собой, только слышал голос Анны, отвечающей на сыплющиеся на нее со всех сторон вопросы, слышал ее смех.

Она сама подошла к нему.

— Ну, как тут поживает мой кинешемский брат?.. Как его успехи? — еще в тоне веселой возбужденности спросила она и осеклась, словно вдруг обожглась об его резкий короткий взгляд…

Из студии они вышли вдвоем. День был по-апрельски хорош, свет слепил отовсюду, и легкий ветер дул со стороны моря. Ефим жмурился и молчал. Анна шла рядом тоже молча, как будто оба в напряжении ждали; кто заговорит первым.

— Ну, так как вы тут без меня?.. Рассказывайте!.. — Анна тряхнула Ефима за локоть.

— Похвастать нечем… — откликнулся Ефим. — Плохо. Так плохо, что хоть все бросить и бежать…

Он долго рассказывал Анне о своих последних неудачах. Ему надо было выговориться, носить все это в себе он устал. Анна выслушала его с живым сочувствием. Рассказала о себе.

За месяц ее затяжного молчания она много поездила, много повидала. Была и настоящая цель, о которой говорила Ефиму и раньше: она готовилась к преподаванию в школе крестьянского рукоделия. Надо было многое повидать, перерисовать. Побывала в деревнях Моршанского уезда Тамбовской губернии, в тамошнем селе Соломенка, где по рисункам художницы Давыдовой вышиваются изделия по холсту, батисту, кисее и шелку, заглянула в Клинский уезд Московской губернии — в школу рукоделия княгини Львовой, поработала (сама и вышивала, и рисунки разрабатывала) в вышивальной мастерской села Мураева Рязанской губернии, там обучалась «строчкам», съездила в Воронежскую губернию, в городок Усмань, где изготавливают редкой красоты вышивки шелками по холсту…

— В общем, объехала чуть ли не всю Русь-матушку! — улыбалась Анна, заглядывая Ефиму в глаза. — Насмотрелась, надышалась, наработалась! Знаете, какая это ценность — крестьянские вышивки?! Чудо! Настоящее чудо! Не зря и в Америке, и в Англии, и во Франции эти вышивки — нарасхват!

И самим деревенским — какое подспорье! Все недороды пошли, а тут крестьянам — верный заработок! Матушка моя уже несколько пунктов таких организовала. Вот в последнем письме пишет, что будет с княгиней Тенишевой открывать специальной магазин в Москве для торговли такими изделиями у нас, в России, В Москве уже открыт примерно такой магазин в Петровских линиях, так он и называется — «Магазин русских работ». Торгуют там керамикой Абрамцевского заводика, столярными изделиями, вещицами вышивальной мастерской Марии Якунчиковой. А Тенишева с мамой хотят наладить дело с размахом!

В общем, и я теперь тут при этом деле! Мама с княгиней имела насчет меня разговор. Княгиня подыскивала человека, который взялся бы за обучение ее талашкинских крестьянок рисунку и всему прочему, что связано с вышиванием. Вот я и была предложена ей. Так что мне предстоит, наверное с осени, жизнь в смоленских владениях Тенишевой… Я и тут оказалась в связи с этим: мне надо для нового дела иметь свидетельство на звание учительницы рисования в средних учебных заведениях. Мы тут вдвоем с Зоей Алафузовой (это моя подружка еще по училищу Штиглица), готовимся теперь держать экзамен по рисунку в Академии для получения такого свидетельства…

Потом Анна говорила о своей предполагаемой летней поездке в Новгородскую и Вологодскую губернии вместе с Евгенией Эдуардовной, женой дяди, записывать крестьянские многоголосые песни.

В задуманную поездку Анна собиралась со своей целью — посмотреть русский север, зарисовать все, что будет в пути интересного для будущего дела — вышивки, одежду, избяную резьбу, крестьянскую утварь…

Уже в сумерках Ефим проводил ее на Третью Рождественскую, где не бывал больше года.

Словно задавшись целью развеять Ефима, встряхнуть его, Анна часто ходила с ним на всевозможные литературно-музыкальные вечера, лекции, выставки, чтения, собрания. Ефим был благодарен ей: слишком уж он замкнулся в самом себе, в своих терзаниях и переживаниях. И вот Петербург, словно бы заново, открывался перед ним.

В эту пору достигла своего расцвета поэзия символизма. Среди весны вышел альманах символистов «Северные цветы», сразу же много нашумевший. По вечерам Анна читала Ефиму в своей комнате при свечах стихи из этого альманаха.

В Петербурге были основаны «Религиозно-философские собрания». В числе организаторов и весьма ревностных участников этих собраний были не только лица духовного звания, были и светские, в основном — литераторы, так называемые «неохристиане», люди «нового религиозного сознания», как они сами себя называли. Их проповедь выходила за рамки организованных ими собраний, они действовали широко, действовали всюду, где только было возможно, особенно же успешно — в кружках религиозно настроенной молодежи.

Проповедь «неохристиан» состояла из апокалипсических основ и теократических фантазий. «Конец уже близок. Нежданное сбудется скоро», — пророчествовал в своих стихах Владимир Соловьев. Конец разумелся всемирный… Атмосфера духовной жизни столичного общества была насыщена всем этим до предела. Модными были воззрения Платона, проповедовался его дуалистический идеализм, противопоставлявший живую действительность тому, что истинно есть и должно быть, утверждавший: в телесной, практической жизни нет ничего подлинного и достойного, все подлинное и достойное пребывает в своей чистой идеальности за пределами этого мира.

Многие круги столичной интеллигенции были увлечены живописью и поэзией прерафаэлитов, еще в средине завершившегося века проповедовавших идеализацию старины, мистическую экзальтированность. Данте Габриель Россети, Гольман Гент, Берн Джонс, художники этой школы, стали излюбленными фигурами для интеллигентской молодежи Петербурга. О них немало говорилось и в тенишевской мастерской, даже и называли себя тенишевцы Братией в подражание прерафаэлитам. Берн Джонс для многих в студии был величайшим художником всех времен и народов.

В живописи — переломный период. На смену искусству реалистов пришло искусство мечты. Тут и тихая нестеровская экзальтированная Русь, и широкая, масленичная Русь Кустодиева, а рядом — версальские мотивы Бенуа и Сомова, небесные мечтания о земном Борисова-Мусатова, картины-видения Рериха, космические прозрения Чюрлениса, Врубель с его тоской по ненайденному Демону…

Все искусства дышали воздухом чрезмерной сказочности. Большие художники — Валентин Серов, Константин Коровин, Виктор Васнецов обращены к мысли «о художестве и его творящей

жизнь красоте», о радости сознания красоты, которая противопоставляется уродливой действительности, потому частое обращение к образам античной и христианской мифологии, народных сказок, к фольклору, к мотивам русской древности…

И рядом с этим небывалый размах приобрела мистико-религиозная и явно порнографическая литература.

Одни, как Владимир Соловьев и Дмитрий Мережковский, твердили в своих стихах о божественном и вечном, другие, как Бальмонт, воспевали не вечность, но миг, отвечающий страстям и влечениям человека, живущего, не думая о предстоящем, не гадая о будущем. Такой Петербург этой весной впервые открылся перед Ефимом и открылся по-настоящему…

Ефим посещал вместе с Анной всевозможные весенние выставки, концерты, собрания, лекции. А как-то, в начале мая, они вдвоем, благодаря знакомствам Анны, побывали даже на «радениях» у Мережковского. О нем Ефим уже был наслышан, даже и его самого слышал на одном из религиозно-философских собраний, на которое попал, опять же, вместе с Анной.

Этот вечер, проведенный у Мережковских… Выйдя от них на волю, Ефим и Анна долго шли, не разговаривая друг с другом, чувствовали себя так, будто в обыкновенную жизнь вечернего Петербурга вернулись из какого-то дурманного сна на закате…

Ефим все оглядывался на скалообразный массивный чопорный дом Мурузи, где жили Мережковские, словно на какой-нибудь призрачный замок, который вот-вот растает на глазах…

Дух чопорной, чуждой всему простому, естественному, жизни обитал в этом доме: ливрейный швейцар в вестибюле, широкие лестницы, устланные ковровыми дорожками… А сама гостиная Мережковских с ее завсегдатаями… Пренадменно посматривающий вокруг себя Философов («Дима»), нервно мечущийся из угла в угол, со вздернутыми плечиками, бесконечно спорящий Карташов («Антон»)… Сама хозяйка — Зинаида Гиппиус с тонкой язвительной улыбкой, с каким-то леденящим стеклянным взглядом зеленоватых глаз… А эта суетня Мережковского, мелькание его черных туфелек с помпонами… Будто полночный ежик бегает взад-вперед…

Просто так в гостиной Мережковских, видимо, и не говорят, все какие-то рыканья, взывания, глаголенья!.. Особенно же выделяется сам хозяин. Говорит он с выпученными глазами и как-то сатанински склабится при этом и вдруг расхохочется и ревнет, обращаясь к своей по-королевски восседающей супруге: «А, Зина! Ты слышишь? Каково?!» И замечется, запляшет его волоокий взор… И эти его почти детские туфельки с помпонами, в которых он мечется по коврам перед полукружьем гостей, маленький,

всклокоченный, в восторге от собственного же хохота…

Ефим поежился, представив себя снова в квартире Мережковских, пропахшей дорогими сигарами и духами, представив полукружье собеседников, лениво рассуждающих у камина, сидящих и полулежащих на коврах, устилающих весь пол, представив всех их, словно бы опутанных самой атмосферой гостиной Мережковских, вовлеченных в нее, затонувших в ней, будто в неком омуте с коричневатой застойной водой…

Вроде бы и ради чего-то единого собираются там все эти «Димы» и «Антоны», а между тем меж ними невидимые, но так остро ощутимые перегородки, каждый там — сам в себе, а на виду, за компанию с прочими, — всего лишь двойник…

Из всего-то услышанного за вечер лишь одна мысль, высказанная Мережковским о том, что надо ввести внутренне пережитое в мельчайшие частности жизни, увлекла Ефима, но и она была высказана все с теми же ужимками, все с той же позой…

Выношенного, выстраданного душой, по-настоящему обеспокоенной проблемами жизни, по-настоящему связанной с ней, вот чего Ефим так и не смог почувствовать там…

Он не заметил, как они оказались у Фонтанки. Вечер был по-весеннему светел. По Фонтанке проплывали низко сидящие в воде барки, нагруженные дровами. Такие барки стояли под разгрузкой во многих местах и тут, на Фонтанке, и на Неве.

Ефим замедлил шаги, наблюдая за работой снующих грузчиков. Сладковатые запахи древесины напомнили ему вдруг кологривские леса. Ему даже захотелось поверить, что все эти плывущие и стоящие барки — из его родных мест…

— Как странно… — заговорил он. — Вот сейчас мы с вами слушали человека, пророчествовавшего конец мира, говорившего о всяких там предощущениях нашей близкой гибели… А вот, неподалеку, простые люди разгружают барки, готовят для этого огромного города дрова к будущим холодам… Все тут просто и трезво! И какая же чушь в сравнении с этим те, болтающие!..

Они свернули к самому берегу, остановились у чугунной ограды, глядя на темные и золотистые отражения в воде.

— Да, самая настоящая чушь! — сказала Анна. — Наваждение какое-то… И все эти разговорцы вокруг Бога, Христа, Голгофы, Веры, Святого духа, вокруг Заветов… Какая-то бледность, слабость, пустынность за всем этим… Это не рождено неукротимым сильным духом, от этого слишком ощутимо попахивает обыкновенной болтовней. Тут, скорее, мода какая-то, некие болезненные веяния, чахоточные сквозняки… Будто кончилось время цельных крепких людей и наступило время суесловных нервных людишек… Да, салонный Петербург болен. Я

это просто ощущаю! Душа отсюда рвется на простор жизни! Хочется поскорее бежать от всего этого!..

Понимаете, Ефим Васильевич, мне как-то больно за тех, кто не чувствует того, что растворено теперь в самом воздухе… Ведь не просто век сменился!.. Сменился именно сам воздух! В нем — дух неясных еще, но больших перемен! В нем пахнет какой-то великой весной! Просто нельзя не уловить этого!.. А они… Они не смогли перешагнуть границу отжившей эпохи, не почувствовали этой огромной атмосферной перемены!.. Вовсе беспочвенные какие-то!.. Эгоизм, себялюбие, самолюбование, вялые схемы вместо мыслей… А ведь мнят себя большими реформаторами!.. В них какое-то активное сопротивление доверию жизни, поэзии жизни, живому в ней! Все у них какое-то надуманное, комнатное… Заметили: у них даже в квартире воздух такой — мертвый, неживой?..

Ефим в растерянности покивал: да, да — это так!.. В нем остались слова Анны: «Душа отсюда рвется на простор жизни! Хочется поскорее бежать от всего этого!..» За этими словами четко увиделась новая скорая разлука с ней. Петербургские дела ее уладились, вот-вот она должна получить свидетельство в Академии художеств на право преподавания рисования в средних учебных заведениях. В Петербург из Москвы уже приехала Евгения Эдуардовна, через неделю-полторы они отправятся в свое путешествие…

А как же он? Что у него?.. Неопределенность!.. Опять — она!.. В Академию поступить этим летом вряд ли удастся. Все так сложилось, что на поддержку Репина, на которую он так рассчитывал, надеяться теперь было трудно. Репин неожиданно оказался таким далеким, недоступным, непонятным…

Занятия в студии окончились как обычно. Ефим ждал на последнем экзамене: Илья Ефимович подойдет, скажет ему об Академии, мол, теперь можно, пришло время… Но Репин не подошел, слов таких не сказал, он был по-прежнему сух и неприветлив…

Небольшая группа тенишевцев после окончания занятий в студии осталась в Петербурге — готовиться к вступительным экзаменам в Академию, занималась самостоятельно, собираясь поочередно на квартирах друг у друга, в складчину нанимали натурщика. Ефим остался с этой группой, не испытывая никакой уверенности в себе, в своих возможностях. Он и не остался бы, уехал бы сразу же в Кинешму, но Анна пока была здесь…

Она уехала с Евгенией Эдуардовной в середине мая. Ефим провожал их, затерявшись в целой толпе знакомых Евгении Эдуардовны. Проводил и почувствовал: остался совсем один в

огромном каменном городе, душном, сером от пыли, живущем тревожной жизнью. В Питере было неспокойно. Несколько дней бастовали рабочие казенного Обуховского завода, к которым присоединились рабочие завода Берда и Карточной фабрики.

Из последних писем Николая Благовещенского Ефим узнал, что и в Вичугском углу, и в самой Кинешме тоже неспокойно.

На другой день после отъезда Анны Ефим места себе не находил. Утром должны были собраться, порисовать у Юлии Поповой, но ему не хотелось туда идти, оставаться в одиночестве, на квартире, покинутой уже и Чехониным, и Шестопаловым, тоже было нестерпимо. Он прихватил этюдник и отправился в сторону Охты, где ему давно хотелось побывать. Он до полудня бродил по охтинской окраине. Пытался сделать несколько набросков, но ничего путного не получилось, не мог сосредоточиться на работе. Усталый и голодный, добрел до берега против Калашниковской пристани, перебрался с Охты на перевозном пароходике на другую сторону. Под Смольным забрался на второй этаж конки, чтоб дать ногам отдых. Ехал, не сознавая: куда, зачем… Чувствовал только слабость и разбитость, хотелось ехать, ни о чем не думая, долго-долго…

На квартире его ожидало заказное письмо от Саши, из Шаблова:

> «Милый и дорогой мой крестный, здравствуй! — писала сестра. — Посылаем мы все тебе низенький поклон. Почему ты так долго не пишешь нам? Мы ждали, ждали да уж послали вот тебе заказным письмом. Мама и тятя сумлеваются об тебе, думают, что ты жив ли? Если можно, то скорее приезжай домой. Мы ждем и не можем дождаться, как услышим, что едут с колокольцами, так все — к окошку и смотрим: не ты ли едешь. Мы было ждали тебя в николин день…»

Саша писала, что без экзамена переведена в следующий класс, что дома в общем-то все благополучно. Защемило на сердце от ее бесхитростных строчек:

> «Тятя еще не уплыл с лесом, в это воскресенье отвалит. Сад весь распустился, черемухи и смородины ноньча еще больше стали, черемуха уж расцвела, ветки большие, красивые… На плотах тятя пойдет с Матреной дядюшки Семена. Так смотри, крестный, приезжай домой непременно, мы ждем тебя с нетерпением. Николай Семенович приехал, только не надолго, на один месяц, а потом уедет уже на новые места, в приют. Нам велела

учительница летом-то наблюдать за природой, а я без тебя не знаю, как наблюдать… Мама вицы вертела на сплотке, они тяжелые, и убила руки…»

Ефим долго сидел у окна с этим письмом в руках, Шаблово, родные окликали его… А с чем он приедет туда?.. Что скажет о своих делах, успехах?.. Неопределенность дел… Опять — она… Отцу с матерью ничего не объяснишь, не поймут они, как непросто ему выбраться на путь, который для себя избрал, сколько тут всего нетвердого, смутного… Если б даже и предположить, что вот он поступил в Академию, так опять же — что впереди?.. Долгая дорога… Четырехлетним занятиям ученика в индивидуальной мастерской профессора-руководителя предшествуют целых два года работы в общих классах рисования с натуры… А всего — шесть лет… И сколько тут неясностей, которых не понять родителям, даже и при его удаче. Но удачи-то пока не предвиделось… Стало быть, и не с чем было ехать в Шаблово… Незачем было оставаться и в Петербурге. Надо было ехать в Кинешму.

Для своих кинешемских доброжелателей Ефим на днях попросил Щербиновского написать отзыв. Дмитрий Анфимович относился к нему с самого начала с явной симпатией, отзыв он написал тут же:

«По возвращении моем из-за границы преподавание в студии княгини Тенишевой профессором И. Е. Репиным поручено мне. Ефим Васильевич Честняков занимался под моим руководством и ближайшим наблюдением профессора Репина от 1-го октября по 1-е мая 1901 года. Успехи Честнякова прекрасны, И. Е. Репин признает в нем талант, вполне заслуживающий поддержки на поприще искусства; совершенно разделяя мнение профессора, подтверждаю также самое серьезное и деловитое отношение Е. В. Честнякова к занятиям».

Щербиновский расписался, поставил число, с улыбкой протянул отзыв Ефиму:

— Прочтите. Подходяще ли написал?..

Ефим прочел, покраснел:

— Да вот вы тут насчет… Репина… Вроде бы не все так…

— Все, все именно так! — рассмеялся Дмитрий Анфимович. — Я не сочинитель, пишу, как есть! С Репиным я о вас специально говорил. Он именно такого мнения о вас!..

— А… об Академии он… ничего не сказал мне?.. — с надеждой спросил Ефим.

— Сказал. Он считает, что вам все-таки надо преодолеть срыв, еще поработать в студии. Думаю: он — прав…

Через несколько дней, простившись со своими соучениками, пожелав им удачи, Ефим выехал из Петербурга.

14

Студия на Галерной просуществовала лишь до ноября. Репин вовсе охладел к тенишевцам, к тому же он был погружен в огромную работу над картиной «Государственный Совет». Тенишевцы жили предощущением ее закрытия. Однако духом не падали. В студии участились шумные вечеринки. Братия справила подряд две свадьбы: Василий Тиморев женился на Юлии Поповой, Иван Билибин — на Маше Чемберс. Шутили: наконец-то у студии появились с Академией родственные связи!..

На вечеринках разыгрывались шумные шарады «в картинах». Одна из таких «картин» и приблизила ожидаемый конец… Братия разыграла землетрясение. Оно удалось на славу: под мастерской, в покоях княгини упала люстра…

Тенишева уже давно ждала случая выставить Братию за порог своего дома. И вот рухнувшая люстра поставила эту точку…

Княгиня прислала наверх своего служителя, который объявил Братии твердую княжью волю: все они должны были немедленно покинуть мастерскую навсегда…

Ефима это объявление будто громом поразило: что ему теперь делать, куда деваться, как быть?!

Товарищи его между тем послали к Тенишевой депутацию, которая заявила ей, что Братия, как бы там ни было, не распадается и просит у княгини, хотя бы во временное пользование, мольбертов и стульев. Депутация вернулась с отказом. Кто-то в общем возбуждении крикнул: «А мы и без разрешения все растащим!..» И растащили тут же.

Через несколько дней им посчастливилось найти подходящую квартиру на Васильевском острове, сложились, снесли туда все, что удалось утащить из бывшей студии. На шумном общем сборе было провозглашено начало новой студии. Решили назвать ее «Первой свободной мастерской».

Все представлялось им довольно простым: мастерская держится на самоуправлении, без руководителя, даже натурщиков решили не нанимать, позировать стали сами, поочередно, нанимали только натурщиц.

Энтузиазма сначала было много. Собирались и работали с воодушевлением. Еще более частыми стали вечеринки с

чаепитиями, шумными спорами, разговорами. Работы свои оценивали сами, порой в горячке, в молодом задоре разнося друг друга в пух и прах. Случалось, дело доходило до больших ссор.

Ефим с тяжелым сердцем переживал свое новое положение: чувствовал себя так, будто каким-нибудь слепым вихрем его внезапно зашвырнуло на какой-то необитаемый остров, хоть и был этот «остров» посреди огромного столичного города, кричи тут он, зови на помощь, никто не отзовется, не поможет…

По возвращении в столицу Ефим снова поселился с Чехониным и Шестопаловым и снова на новом месте. На этот раз квартира оказалась на Первой линии…

В отличие от Ефима, Чехонин с Шестопаловым после изгнания Братии с Галерной не унывали. Чехонин в студии отзанимался целых пять лет, набил руку так, что иные его рисунки вполне могли сойти за репинские. Академия его не манила. Он застал еще то время, когда Репин часто рисовал и писал в студии вместе со своими учениками. Вот ту наглядность он и ценил в Репине, как в учителе.

— Я научился у Репина главному, как сам считаю, — умению видеть натуру и передавать ее. Что мог, я взял у него тут, в студии. Чего же ради мне идти в Академию?! — сказал он Ефиму еще прошлой весной.

Шестопалова мечта об Академии, похоже, тоже не очень мучила. Ефим же, кроме поступления в Академию, иного пути для себя не видел тут, в Питере. Он искал выход из создавшегося положения. Выход виделся ему только в одном — если бы Репин снова протянул ему руку, вытащил бы его опять на заветную твердую дорогу, принял бы в свою академическую мастерскую…

Он долго не решался написать Репину, но что было делать: не мог же он надеяться на то, что Илья Ефимович сам вспомнит о нем и позовет… Решился, написал.

Каждый день его теперь начинался с надежды: Репин ответит, напишет, чтоб он пришел в Академию для разговора. Но письма ответного все не было. Среди декабря Ефим написал второе письмо…

> «Многоуважаемый Илья Ефимович!
>
> Простите меня, ради Бога, что вот опять набрался храбрости обеспокоить Вас. Опять вслух перед Вами пою «На реках Вавилонских тамо седохом и плакохом…» Со мной неразлучно сознание, что без Вашего руководства я пропаду совсем. И среда так много значит. Уже одно то, что постоянно торчит перед глазами низкий уровень работ, нехорошо настраивает и должно вредно

действовать на художественное чутье.

А годы идут, и все лучшие годы… Куй железо, пока горячо… И каких усилий стоит мое проживание здесь!..

Простите ли меня, Илья Ефимович, что опять обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой: примите меня как-нибудь частным образом в Вашу академическую мастерскую, хоть временно, на месяц, на испытание, в уголок куда-нибудь.

Я только и жил этой надеждой. Вы бы этим воскресили меня. Ведь я изведусь совсем, Илья Ефимович, если Вы не спасете меня. Дайте мне хотя бы перышко из тех крыльев, которые взяли обратно. Не сочтите меня ханжой и навязчивым выскочкой. Боже мой! Боже мой! Что же мне делать, что?..

На смену моей восторженности возникает хаос какой-то, холодный, безотрадный, пропитанный недоверием, тоской и горечью. И так как идеалы свои и стремления не могу я менять, как сапоги, то теперь для меня свет клином сошелся. Все, чем жил, чем горел, угрожает уйти от меня. Но, Господи! Ведь это — сама смерть для меня!..»

Отправив это письмо, Ефим долго мучился сомнениями: пожалуй, слишком жалобно оно написано, слишком много всяких восклицаний в нем!..

Репин молчал. Ефим переживал, вся его жизнь превратилась в одно ожидание хоть какого-то ответа, неизвестность томила, никакая работа не шла на ум.

В минуты одиночества он вслух заговаривал с Репиным, убеждал его, объяснял ему себя. Несколько раз садился за писание нового письма, но получалось все еще более жалостно, и он рвал исписанные листы. Надо было найти какие-то самые необходимые, самые убедительные слова для такого письма.

Ефим слышал и сам догадывался, как много Репин получает подобных писем: желающих учиться у него — не счесть… Как, должно быть, одинаковы все эти умоляющие письма!.. Ведь каждый, берущийся за писание такого письма, думает про себя, что именно он имеет основания претендовать на место в мастерской самого Репина…

В новой мастерской, так громко названной Братией, Ефим чувствовал себя все хуже. Тут все строилось на всевозможных веяниях, споров и разговоров было куда больше, чем дела. В конце минувшего года в Петербурге прошла выставка, названная

довольно громко: «Современное искусство». Она была устроена во славу «нового стиля», «стиля эпохи», во славу воцаряющегося модерна, культа ломаной линии. Уже Всемирная художественная выставка в Париже, позапрошлого года, продемонстрировала влияние этого стиля. Среди товарищей Ефима по новой мастерской много говорилось, хотя и понаслышке, о венском и мюнхенском «Сецессионах», о Дармштадтской выставке прошлого года, где новый стиль весьма громко заявил о себе. В минувшем году и в России была осуществлена подобная выставка, прошла она в Москве и называлась довольно длинно — «Выставка архитектуры и художественной промышленности нового стиля». Ефим слышал: на той выставке была представлена и русская деревня работами так называемого «неорусского стиля»…

Многие товарищи Ефима по мастерской ударились в «новый стиль». Среди всей этой сумятицы, суетливой погони за «новым стилем» Ефим пытался работать спокойно, не сбиваясь, хоть и не давало ему покоя молчание Репина. Он уже не был прежним тихоней в окружающем его водовороте страстей и мнений, нередко вступал в спор, как верный «репинец», пытаясь объяснить товарищам, «зарывшимся в стиль», что идея их новой мастерской осталась прежней: они — ученики, им надо как следует овладеть сначала основами, азами рисунка и живописи, а потом уж… Споры ни к чему путному не приводили…

Репин между тем не отвечал… Ефим написал ему еще одно письмо.

15

В ожидании ответа прошла вся зима. Началась весна.

Весна в Петербурге — пора художественных выставок. В начале марта в залах Пассажа открылась новая выставка.

На этой выставке Ефим побывал не один раз. Подолгу простаивал он тут перед «Демоном» Врубеля. Чудилась ему в этой картине великая мечта о прекрасных недосягаемых мирах, виделась неизъяснимая мука, которую сам он давно носил в себе, и все это так перекликалось с его теперешним состоянием…

Открыто было еще несколько интересных выставок: Весенняя Передвижная, Петербургских художников, Акварельная, немало было других, менее значительных.

Вслед за этой волной выставок открылась в Таврическом дворце Всероссийская кустарная промышленная выставка.

Ефим оказался на этой выставке. Тут явно афишировался национальный экзотизм: изделия богородских резчиков

соседствовали со связками обычных лаптей, крестьянские вышивки — с конской сбруей, крестьянская всамделишная утварь была породнена с современными резными буфетами, табуретами и скамьями. Странным образом все вместе это выражало уже известные Ефиму приметы модерна, национальная экзотика была тут явно казовой, театральной. Получалось так, что, обращаясь к своей собственной старине, желая подчеркнуть свой национальный колорит, художники, принявшие участие в устроении выставки, выразили всего лишь общую черту «нового стиля»…

Было тут немало талашкинских изделий, выдававших причастие неорусского стиля к стилю модерн, Ефим морщился, разглядывая дуги и сани, расписанные по эскизам княгини Тенишевой, хмуро смотрел на балалайки, по которым прошлась кисть Врубеля, Головина, Малютина…

Разглядывая эти балалайки, он услышал разговор двух дам, остановившихся неподалеку:

— Ах, милочка, какая все это прелесть!..

— О, да! Восхитительно! Просто — возрождение истинно русского крестьянского искусства! Княгине Тенишевой надо отдать должное: она делает чудеса! Просто — ренессанс русской самобытности!..

Ефим поспешил отойти от них подальше: ему тошно было слушать это сытое квохтанье…

«Ренессанс русской самобытности!..» — угрюмо усмехнулся он про себя. — Княгиня-энтузиастка возрождает русское деревенское искусство и без сомнения изгоняет вместе с другими начинающими художниками его, сына русской деревни, так много думающего о родном искусстве, так много мечтающего сделать для него, для самой деревни…

Неожиданно Ефима окликнул знакомый голос. Он оглянулся. Перед ним стояла Анна. От растерянности Ефим не мог ни слова сказать, ни с места сдвинуться…

Он так и не воспользовался ни разу оставленным Анной адресом. Летом не писал из-за ее путешествия, потом из-за своих новых тревог и волнений. Причин для молчания у него хватало в минувшем году… Анна тоже ему не писала. На Песках Ефим не побывал ни разу, потому и не знал о ней ничего. Ему уже казалось, что с Анной он больше не увидится никогда, и вдруг вот такая внезапная встреча!..

— Анна… — наконец будто просыпаясь, проговорил он. — Как вы тут оказались?..

— Очень просто! — Анна, рассмеявшись, подошла к нему, взяла за руку, обвела взглядом белоколонный зал дворца. —

Очень, просто, мой кинешемский братец! Я же одна из устроительниц этой выставки! Мы здесь вдвоем с Евгенией Эдуардовной! Она заведует музыкальной частью выставки. У нее тут, знаете, какой прекрасный оркестрик владимирских рожечников?! Заслушаетесь! — Она потянула Ефима за руку: — Пойдемте к ним! Они вот-вот должны заиграть! Пойдемте! И Евгении Эдуардовне надо вас показать! Мы вас в своем путешествии по северным деревням часто вспоминали!..

— Да?.. — спросил Ефим и потупился. — Вы надолго в Питер?..

— До пасхи пробуду! — улыбнулась Анна.

Как раз в это время под высоким дворцовым сводом запел рожок, видимо ведущий основную мелодию, в нее вплелись один за другим остальные. Публика прихлынула к небольшой эстраде. Ефим и Анна оказались тесно прижатыми друг к другу. От ощущения такой внезапной близости с Анной, от многоголосой, громкой, поначалу кажущейся какой-то разнобойной, нескладной, музыки у Ефима голова пошла кругом. А тут еще Анна отыскала в тесноте его покорную руку и стиснула ее, прошептав в самое ухо: «Правда — здорово?!» Он только головой мотнул, даже на ответный шепот его не хватило.

Рожечники исполнили несколько народных плясовых мелодий. Ефим, придя в себя, слушал их с удовольствием. Оркестриком управлял простой крестьянин, да и все рожечники были обыкновенными крестьянами.

После этого диковинного концерта Анна подвела Ефима к Евгении Эдуардовне. Та сразу же узнала его.

— Ну как вам все это?! — Она повела рукой, как радушная хозяйка всего, что было вокруг. На ней был просторный расшитый русским жемчугом сарафан, косы были уложены на голове короной.

— Да не все тут по мне… — замявшись, ответил Ефим. — Но вот рожечники ваши — хороши! Это — настоящее! Пока слушал, подумал: «Вот бы в Шаблове такой оркестрик создать!» Это же — часть нашей настоящей деревенской культуры! Это — по-настоящему народное!..

— Ну, Ефим Васильевич сел на своего любимого конька! — улыбнулась Анна.

С выставки они вышли вдвоем. Анна предложила погулять по весеннему Петербургу. В столицу она приехала всего несколько дней назад, еще нигде не успела побывать, все время забирала выставка. Кроме выставки, на днях открылся съезд, устроенный министерством земледелия. Поводом для съезда как раз и были

проблемы кустарной промышленности. К съезду Кустарную выставку и приурочили. Анна ежедневно бывала и на съезде, и на выставке.

Она принялась рассказывать о своем летнем путешествии с Евгенией Эдуардовной по новгородским и вологодским глухим углам.

— Оставили за собой полторы тысячи верст! Где — на лодке, где — на пароходе, где — на телеге! И ночевать приходилось как удастся: и на полу — в избе, и в телеге — под открытым небом!.. — рассказывала Анна. — Ах, Ефим Васильевич! Зато сколько встреч запомнилось! Вот где впервые я увидела цельные настоящие русские натуры! Частенько я вас там вспоминала, наш давний тот разговор — помните?! Да, для тех людей надо работать! Так они и стоят перед глазами! И какие все песельники! Какие образы! Не забыть Аскирида Федоровича Малыгина из деревни Нестеровки Кирилловского уезда! Высокий старик, суровый!, Хоть пророка с него пиши! А Степан Китов — из деревни Новая Старина Белозерского уезда!..

— Как?! Как вы сказали?.. Новая Старина?! — неожиданно воскликнул Ефим.

— Да… — Анна посмотрела на него в недоумении.

— Вот! Вот оно имя-то тому, о чем я не раз думал! Новая старина! Как это точно! Именно так — Новая старина! Но — это я так: мысль! Рассказывайте, рассказывайте! Мне это все очень интересно!

— А трое братьев Глуховых из деревни Хмелина-Уломы Череповецкого уезда! А старики Коротковы из Смешкова Андогской волости того же уезда!.. Самому молодому из них, братьев, — за шестьдесят! Старший, Зиновием звать, — слепец, ему за восемьдесят, его остальные зовут «дедка»… — продолжала Анна. — Слушаешь их песни — душа возрождается! Словно сама ты из какой-нибудь чудной глубины с этими голосами поднимаешься! Словно при рождении собственной души присутствуешь! Да, Ефим Васильевич, как вы правы: именно там — все основы наши и все корни! Там, там духовную-то работу надо начинать, где еще все крепко, не испорчено, — в северной деревне, вы правы, правы!..

Каких я песен наслушалась! Ах, Ефим Васильевич! И как радовалась я, что все это живо в людях! И какое уважение находила я в этих людях к старинным, «досельным», как они говорят, песням! А теперешние песни там забавно называют, с явной издевкой: «туртырки», «вертушьи», «частушьи»…

Я ведь там свою старину искала. Нашла и купила хорошее старое тканье, старинные новгородские кружева, вышивки. Меня

мама просила приглядеться в этой поездке: нельзя ли ей в тех местах устроить пункт по скупке крестьянского рукоделья, у нее их несколько в разных губерниях. Кроме того, я много наделала зарисовок и фотографий. Едем вдоль какой-нибудь деревушки, и я иногда прямо на ходу соскакиваю с телеги и зарисовываю то окошко, то ворота, то трубу какую-нибудь интересную. А останавливаться надолго нельзя: тогда пришлось бы ездить не недели, а месяцы!..

Но сколько встреч интереснейших! Ах, сколько встреч, Ефим Васильевич! Как запомнилась одна из них… Это было неподалеку от Ухтомы, на берегу Белого озера, в деревне Липин Бор. Мы там отыскали добродушнейшего славного старика Лаврентия, бедного-разбедного… Сначала он стеснялся, но потом, когда понял, зачем его разыскивали, весь просиял от удовольствия, как же: люди ехали в такую глушь его послушать!.. Он пригласил нас в свою лачужку, стоявшую на самом берегу озера. В избушке у него — шаром покати! Только одна его больная старуха. Все извинялись оба, что никакого угощения нет. Сам Лаврентий все посмеивался, приговаривал: «Беден добром, да богат песнями!»

Милый, милый Ефим Васильевич! Какой это был чудесный вечер! Эта чистая добрая бедность, это стариковское, какое-то святое, пение в сумерках!.. Белая ночь была. И озеро рядом, и оно тоже — белое, и по имени — Белое!.. В полночь, когда старик уже устал, не пел, я вышла на волю… Тихо было, как не на земле… И что тут творилось со мной! Не передать! Хотелось обнять все! Все вобрать в себя до кустика! И озеро какое было! Именно — белое, спокойное!.. Не забыть мне этого вечера!..

— Я рад, — тихо сказал Ефим, — я рад, что вы все это наше северное, деревенское так почувствовали! Я всегда знал, что именно там, у нас, можно найти человеку для себя самое главное!..

— Да, много говорили об этом с Евгенией Эдуардовной. Она все это глубоко понимает! После того как мы вернулись, она выступила на втором Всероссийском съезде сценических деятелей с весьма широкой программой организации народных хоров по всей России! Хоры должны создаваться не только в городах, но и в селах, деревнях!.. Понимаете?!

Ефим улыбался: как ему не понять, это же его собственная давняя мысль — народные, деревенские хоры, деревенские театры!..

— Евгения Эдуардовна не только высказала идею, она уже организовала здесь, в Петербурге, хор рабочих Шлиссельбургского района, этот хор уже выступает с концертами, в программе у него — и русские народные песни, и хоровые вещи

Серова, Мусоргского, Чайковского, Бетховена… Мы как-нибудь сходим с вами послушаем…

— Я рад, что у вас все хорошо… — сказал Ефим.

— А как тут ваши дела? — спросила Анна. — Студию, я слышала, закрыли и вы теперь организовали новую… Мне Юлия Попова рассказывала… Я ее тут позавчера повстречала…

Ефим поведал ей о своих злоключениях, о новой «свободной мастерской», о своих безответных письмах Репину…

— Так как же вам помочь?.. Нельзя же еще, бог весть сколько, терпеть всю эту неопределенность!.. — Анна, задумавшись, шла какое-то время. Вдруг тронула Ефима за рукав: — Знаете… Я попробую действовать через Юрия Репина. Мы с ним были в хороших отношениях… Как-нибудь на днях побываю в Академии, повидаюсь с Юрием Ильичом, поговорю. А вы, пожалуйста, держите меня в курсе всего, не пропадайте, приходите к нам на Пески!..

После этой встречи Ефим не виделся с Анной несколько дней. В Петербурге снова было неспокойно. 2 апреля был убит министр внутренних дел Сипягин. Через день на его место был назначен Плеве. Город был полон тревожных слухов.

Ефим чувствовал себя угнетенно: письма от Репина так и не было. В страстную субботу он отправился на Пески, к Анне.

Она сообщила, что с Юрием Репиным разговаривала. Тот, хотя и обещал при случае напомнить отцу о Ефиме, но больших надежд на успех своего протежирования не подал. По словам Юрия, отец его давно «не в духе», в Петербурге бывает нечасто, наездами, больше живет в своей усадьбе, в Куоккала… Может, потому и письма Ефима до сих пор оставались безответными…

— Я оставила Юрию Ильичу ваш адрес, он обещал сообщить вам, как только будет какой-нибудь результат, — сказала Анна, — надо еще потерпеть.

16

Прошла еще неделя. Ни от самого Репина, ни от Юрия Ефим не получил никакого известия. Дни его тянулись в бесконечном опустошающем душу ожидании.

Анна между тем собралась уезжать из Петербурга на все лето в Калугу, к матери, дела ее здесь завершились.

Ефим побывал с ней на закрытии Кустарной выставки. Был он на этой церемонии хмурым, морщась, как от боли, слушал словообильных ораторов. Много тут было сказано громких слов, часто упоминался русский народ, его великие творческие силы…

Ефима все эти речи лишь угнетали. Его подмывало выступить, высказать все, что он думает и о выставке, и о самой публике, пришедшей в этот роскошный дворец поговорить о деревенском искусстве…

Все это прорвалось через несколько дней, после отъезда Анны, когда он снова остался один. Ефим решил написать Репину еще раз.

Письмо получилось чрезмерно длинным. Ефим с сомнением смотрел на исписанные листы: вряд ли Репин будет читать такое… И все же он отправил это письмо.

На третий день, вернувшись после занятий на квартиру (была она теперь на Галерной), Ефим увидел на своем столе конверт. Он бросился было к нему с надеждой, но увидел, что это письмо из дома.

> «Сын наш дорогой! Посылаем мы тебе по низенькому поклону! — писал отец. — Я пришел с плотов. Ноньча плохо, лес больно дешев. Таких годов давно не бывало дешевых. Много народу только у Макария живут, не продав лес. Мы таперича пока живы и здоровы. Ты нам не пришлешь ли сколь-нибудь по возможности своей денег. Мы ждали тебя домой, но ты, видно, не приедешь к нам повидаться. Ты нам ничего не пишешь, долго ли не кончишь учиться. Затем прощай. Остаемся живы…»

— «Долго ли не кончишь учиться…» — вслух повторил Ефим. Эти письма из дома… Они ни разу еще не приносили ему ни радости, ни облегчения. Только одни — укоры, жалобы, просьбы…

Еще через день, в понедельник, Ефим получил письмо, посланное Юрием Репиным:

> «Илья Ефимович передает Вам, чтобы Вы пришли к нему в эту среду на его квартиру при Академии от 2 до 3 часов и принесли свои работы».

Наконец-то! Ефим смотрел на это коротенькое письмо, как на чудо, благодаря которому он вдруг заранее почувствовал себя спасенным. Репин приглашает его!..

В среду, около двух часов, Ефим отправился к Репину. С собой он взял все лучшее из работ последнего времени. По Николаевскому мосту шел, запинаясь на ровных местах: как еще Репин посмотрит на все наработанное им в «свободной мастерской»… Характер Ильи Ефимовича был теперь ему

известен… Этот характер толкал Репина, и тот делал шаг в одну сторону, но затем, неожиданно, круто изменял направление… А эта его запальчивость, для которой две-три минуты — достаточное время, чтоб подменить одно мнение другим… Может быть, все уже переменилось в его намерениях… Все могло быть…

Репин обычно принимал посетителей у себя на квартире, при Академии, по средам. Ефим давно знал об этом. О Репине он знал многое, знал, что тот работает обычно у себя в мастерской с утра до завтрака и потом — до часу дня, и в эти часы его ни для кого нет. Знал Ефим, давно уже знал, и дверь рядом с воротами, выходящую на Четвертую линию, дверь, ведущую к Репину…

Перед этой дверью он теперь замешкался в нерешительности. Робея, ступил в холодный, плохо освещенный коридор, стал подниматься по каменной лестнице…

Перед дверью в квартиру Репина снова затоптался, не сразу, не вдруг поднялась рука — позвонить…

На звонок вышел служитель, спросил: «Из учеников будете?..»

Ефим замялся было, не зная, как ответить на этот вопрос, кивнул: «Да… скажите, мол, Честняков… по письму…» Служитель ушел, не закрыв двери. Ефиму, был четко слышен каждый шаг. Он расслышал, как служитель негромко назвал его фамилию, и тут же раздался знакомый голос: «Пусть войдет!..» Голос этот всегда удивлял Ефима. Красивый, наполненный силой голос. Если не видеть Репина, а только слышать, можно подумать, что голос этот принадлежит могучему крепкому человеку. Репин же был невысоким и щуплым. Ефиму всякий раз бывало неудобно, когда приходилось стоять рядом с ним, смотреть на него, великого художника, сверху…

Услышав этот низковатый густой голос, Ефим вздрогнул: как это он, вот такой неуверенный в себе, такой растерянный, предстанет сейчас перед Репиным, как заговорит с ним?! Да еще эти сумбурные жалобные письма, которыми он, наверное, надоел Репину до крайности.

Служитель вернулся, кивнул: «Проходите!..»

Запнувшись о порожек, Ефим шагнул в прихожую, прошел за служителем дальше, оказался в большой светлой комнате. Репина он увидел стоящим у окна, негромко сказал: «Здравствуйте, Илья Ефимович!..» Остановился в нерешительности.

Репин сам подошел к нему, протянул руку. Ефим, как когда-то, в первый раз, торопливо пожал ее.

— Ну, показывайте: что вы там наработали… — с улыбкой сказал Репин.

Ефим молча развязал тесемки большой папки, стал раскладывать у ног Репина свои работы. (Опять же — как тогда,

при первой встрече в студии на Галерной, только чувствовал он себя теперь куда неуверенней, чем два с лишним года назад…)

Репин смотрел на работы, помалкивал. Наконец тихо сказал:

— Понятно…

Ефим напрягся, не зная, какой смысл вложил Репин в это слово.

— Складывайте, складывайте! — услышал он. — Ну-с… что же… Давайте, пишите в Канцелярию Академии прошение о допуске к приемному испытанию… Я поддержу Вас…

Ефим едва прошептал «спасибо», воздуха не было в груди. Он почти не дышал все это время, пока находился здесь. Ему хотелось извиниться перед Репиным за свои письма, за свое надоедание, хотелось не так невнятно поблагодарить его, но сдержал себя: слишком сумбурным получилось бы благодарение…

Спустя три месяца Ефим был принят вольнослушателем в Высшее художественное училище, в натурный класс…

Академия не имела теперь общих рисовальных классов, в ней сохранился натурный класс, в котором учащиеся совершенствовали познания, приобретенные до Академии. Суть реформы как раз и была в том, что все художественное образование представлялось как единая школа, завершением которой являлась Академия, потому-то и был повышен специальный образовательный ценз для поступающих сюда, он стал равняться курсу художественного училища или шести классам реального училища. Учащийся уже должен был уметь рисовать с натуры. Поупражнявшись в течение года в натурном классе, он мог переходить в любую из мастерских по согласию профессора-руководителя.

Программа предоставляла учащимся натурного класса много свободного времени. Здесь рисовали и писали с живой модели, дежурство профессоров тут было помесячное, каждый из них делал постановки на свой вкус, у каждого были свои требования к учащимся. Но обычно они ограничивались самыми общими поправками, касавшимися пропорций и световых отношений, главным считалось живое, непосредственное изображение виденного. Замечания эти делались почти исключительно на словах, и Ефиму, не прошедшему настоящей школы, приходилось трудно. К тому же эта смена профессоров: то Савинский, то Ционглинский, то Мясоедов, то Творожников… Выходило так, что он вновь был предоставлен самому себе. В натурном классе не было последовательных заданий, проверочных испытаний, экзаменов по специальности. Учащийся здесь учащимся Высшего художественного училища пока не считался, здесь он проходил

своеобразное испытание на одаренность. Высшее художественное училище было задумано как школа высшего мастерства, в которой совершенствовались и достигали полной творческой зрелости наиболее одаренные молодые художники. Оно было завершающим звеном для тех, кто окончил среднее художественное учебное заведение. В натурном классе будущий художник работал, чтобы быть зачисленным в ученики Высшего художественного училища, цель перед которыми — уже не ученичество, а самостоятельная, под руководством профессора, работа над картиной.

Ефим слышал: многие оказывались не в состоянии переходить после занятий в натурном классе к самостоятельной работе, сказывалось незнание анатомии, неумение строить фигуру… Для него, не прошедшего твердой предварительной школы, такая проблема существовала… Он ощутил это сразу же…

Начинать в натурном классе пришлось с гипсов. Предварительного ввода в живопись с натуры не существовало. Вскоре Ефим столкнулся с академическими требованиями к изображению человека: надо было проявить умение находить натуральный цвет и класть его на достаточно грамотный рисунок, надо было уметь писать цветовые отношения…

Ефим пал духом. Он почувствовал свою неподготовленность. Да и сама атмосфера натурного класса была довольно тяжелой: большинство занимающихся здесь видело в этом классе неизбежное скучное препятствие, преодолеть которое тем не менее необходимо, если хочешь оказаться в мастерской профессора-руководителя… Потому интерес к занятиям у многих выветривался на глазах…

Еще недавно Ефим чувствовал себя как на крыльях. О поступлении в натуральный класс Академии он сообщил всему кинешемскому кругу знакомых, написал об этом и домой, и Анне…

В сентябре Ефим получил письмо от отца, над тем письмом он даже рассмеялся наедине с самим собой: видимо, его поступление вольнослушателем в натурный класс дома было понято, как получение какого-то высокого художественного звания… Отец успел уже договориться с настоятелем Илешевской церкви о том, чтоб тот отдал Ефиму расписывать зимнюю теплую церковь…

> «…Отец Иван рядит от себя написать живопись. С ево просили 600 рублей, он давал 400 рублей, а тебе, говорил, прибавлю и велел отписать тебе, в случае,

ежели приедешь домой, мол, и зимой можно писать в церкви, она теперь теплая. Так согласен ли? Опиши нам. Или до лета ежели посулишься, опиши. Я объясню священнику. А ежели зимой работать, так у нас и лошадь есть порожняя, будет тебе издить на ей к приходу…» — писал отец.

Мысль о том, что Ефим распишет Илешевскую зимнюю церковь, видимо, не давала отцу покоя, в следующем письме ом опять уговаривал:

«…Уж ты пожалуста постарайся, как льзя, написать в церкви живопись, сам себя прославь и нас обрадуй, и для своего приходу постарайся, для Миколы-угодника…»

Ефим отказом отца не огорчил, написал, что авось и возьмется за эту работу, но не раньше лета.

Кинешемские доброжелатели не только поздравлениями откликнулись на его сообщение о поступлении в натурный класс Академии, в ноябре Кинешемская земская управа прислала ему сто рублей ссуды. Помощь из Кинешмы и Вичуги в основном шла теперь через Наталью Александровну Абрамову и Петра Александровича Ратькова. Дмитрий Матвеевич Кирпичников постепенно от обязанностей его добровольного казначея отстранился.

17

С Анной еще раз Ефим увиделся летом, в конце июля, после Кинешмы: заезжал к ней — в подмосковную Шереметьевку, где была дача ее дяди. Там он впервые увидел всю семью Анны — мать, брата Леона, сестру-подростка Машу, дядю — Александра Логиновича Линева.

В Шереметьевке Ефим прожил несколько дней. Анна много рассказывала ему о Талашкине. Княгиня Тенишева, по словам Анны, в своем смоленском имении хотела расширить и продолжить дело, начатое художественной мастерской в Абрамцеве, под Москвой. В Талашкине искали пути возрождения русской старины, народные художественные промыслы поселились там, вокруг имения Тенишевых, чуть ли не в пятидесяти деревнях, дело было поставлено необыкновенно широко. Тамошнюю деревенскую одаренную молодежь обучали рисованию, лепке, композиции, художественной вышивке,

плетению кружев, резьбе по дереву…

Анна занималась с крестьянскими девочками по рукоделию в сельскохозяйственной школе, открытой Тенишевой на соседнем с Талашкином хуторе Флёнове, она же хозяйничала в талашкинской красильне. Жила Анна во Флёнове, при школе, вдвоем со своей няней Гавриловной. Эту добродушнейшую пожилую женщину Ефим видел в Шереметьевке, она гостила там вместе с Анной. Гавриловна тоже была из костромских крестьян.

О Талашкине Анна рассказывала удивительное, она словно бы поддразнивала Ефима, рассказывая ему о строящемся там самодеятельном деревенском театре, о тамошнем музее русской старины…

Слушая ее, Ефим подумал о том, что, может быть, слишком предвзято отнесся прошлой весной ко всему талашкинскому, представленному на Кустарной выставке… Ему захотелось побывать в Талашкине, увидеть все, о чем рассказывала Анна, вроде бы явно перекликающееся с его собственными целями. Ведь об этом он столько думал, мечтал! Особенно же о деревенском театре! Именно с театра надо начинать культурную работу в деревне, именно с деревенского театра — искусства массового, рожденного народными древнейшими игрищами, обрядами!.. Да, деревня, породненная с искусством, с повседневным творчеством, — именно это было его давней мечтой! Только была тут одна немалая разница: не по княжьей воле должна породниться его деревня с искусством и творчеством, по другим, по другим мотивам… Вольное деревенское искусство, вольное деревенское творчество — вот о чем он думал!..

Анна, хоть и говорила о Талашкине не только лестное, своими рассказами подожгла его. Там, в Шереметьевке, к нему пришел замысел, которым он жил с тех пор. Он задумал написать большое панно: крестьянский темный, лапотный люд с пением и музыкой выступил навстречу радостному, хотя и далекому свету, деревня, возмечтавшая о прекрасном, стремящаяся к прекрасному, ступила на свою новую дорогу!..

Ефиму так вообразилось-представилось все это, весь этот небывалый многолюдный праздник-шествие! Он заранее увидел все так живо, так ярко, будто в самой его жизни уже был такой праздник, только теперь не вспоминалось: где, когда… На него надвигалась живая колыхливая стена знакомых, близких людей, радостно улыбающихся, поющих и смеющихся, светло глядящих перед собой. Впереди всех выступал дед Самойло, высокий, чуть торжественный, руки его лежали на гуслях, рядом с ним, весь словно бы светящийся, с глазами давным-давно прозревшими в этот праздник, шел Флавушко, по другую руку шла бабушка

Прасковья, за ними шел отец с матерью, шли с радостным пением все шабловские…

Эта картина-видение не давала Ефиму покоя. Он написал к ней небольшой эскиз. Однако от эскиза до воплощения задуманного в картине было так далеко!

18

Со средины января преподавателем, помощником Репина в его Второй мастерской стал Дмитрий Николаевич Кардовский, совсем недавно окончивший Высшее художественное училище.

Принципы преподавания Кардовского сразу же стали заметно отличаться от педагогических приемов Репина. Он сразу же попытался построить преподавание на определенном педагогическом методе, создать школу, дающую знание пластических законов и техническое умение.

Репин мыслил Высшее училище как школу мастерства, как заключительное звено всего художественного образования, им предполагалось, что молодежь, поступающая туда, уже получила необходимую подготовку в средних художественных училищах, а потому зачем же ей повторение, зачем твердая академическая программа? Стоит лишь своим примером показать, как надо работать, чтоб молодые увидели, что путь перед ними он открывает широкий: не унылая штудия, но взволнованность, горение должны быть воздухом его мастерской…

Однако нужна была все-таки школа. И еще одно прочно укоренилось в Академии: из мастерской Куинджи выходили куинджисты, из мастерской Репина — репницы, баталисты воспитывали баталистов, жанристы — жанристов, пейзажисты — пейзажистов…

Кардовский хотел дать свободу индивидуальности, дать мастерство, твердое знание основных принципов изобразительного искусства, его техники.

Ефим мечтал именно о таком преподавателе. Ведь с самых первых шагов в искусстве он шел ощупью, почти не руководствуясь никакими правилами, почти не услышав ни от кого, как рисовать, как писать, с чего начинать, чем завершать. У него не было необходимейшего — грамматики живописного искусства… Умение надо было добывать, пробираясь вперед почти случайными путями…

В апреле Репин официально дал свободу действий своему помощнику, хотя Кардовский и без того был полноправным

хозяином мастерской. Ему была предоставлена полная самостоятельность в преподавании, он не был связан никакими программами, никакими курсами.

С его приходом сам Репин во Второй мастерской почти не появлялся.

Перед весенними пасхальными каникулами Кардовский устроил для просмотра Советом училища первую выставку работ мастерской. После этого Совет предоставил ему право самому произвести строгий отбор лучших учеников для дальнейших занятий, так как мастерская была слишком перенаселена. Кардовский производил отбор строго, стремясь к тому, чтоб число учащихся не превышало тридцати человек. Многие, подготовленные даже лучше Ефима, имеющие среднее художественное образование, вынуждены были покинуть мастерскую…

Надежда Ефима попасть в нее после натурного класса также рухнула… А он-то было размечтался!.. Он уже видел, как приступает в мастерской Кардовского к задуманной работе!.. Даже написал Анне, в Талашкино, изложил свой замысел, что хотел бы исполнить панно для строящегося в Талашкине народного театра…

Ефим был уверен: идея задуманной работы совпадает с замыслами, владевшими самой Тенишевой. Он просил Анну ответить ему побыстрее: реально ли предложение, поддержит ли его в этом Тенишева. Спрашивал он в письме и о возможности летом посетить Талашкино, пожить там, позаниматься в тамошних мастерских.

Анна ответила быстро. Письмо ее Ефим получил сразу же после пасхи, послано оно было не из Талашкина, а из Шереметьевки:

> «Как приятно было, Ефим Васильевич, получить письмецо Ваше на чужой стороне. Идем мы с Гавриловной с речки, холсты и пряжу полоскали, тяжело на горку взбираться с мокрой ношей, остановились передохнуть, я и спрашиваю: «Ты, Гавриловна, вспоминаешь когда-нибудь Ефима Васильевича?» — «Я часто думаю о нем. Хороший человек!» — говорит Гавриловна. Нам так было некогда, что до того мы ни разу о Вас ни слова не молвили. А тут вдруг — письмо! Ответить Вам пока ничего хорошего не могу. Княгиня Тенишева еще в Талашкино не заглядывала. Кажется: приедет числа 20 апреля. Не знаю, каковы будут наши отношения. Не думаю, чтобы могли быть худы, я нужна

там, но сомневаюсь, чтобы они были слишком хороши. Во всяком случае хорошо, если бы у меня было что показать княгине, когда она у меня будет. Мы бы и поговорили. Не пришлете ли что-нибудь? Может быть, увижу ее и раньше, числа 15-го, здесь, в Москве, но она будет слишком увлечена открытием магазина с мамой. А самому Вам посетить здешние края не знаю: стоит ли… Устроиться — пустяк, жизнь дешева, но атмосфера для работы и вообще — это вопрос!..

Местность очень красива. Все холмы и холмы, и далекие виды, поля все, леса и лесочки, речки, долинки, болото, заросшее густым лесом, и — с островком!..

Но то, что в Талашкине и во Флёнове, — гадость. Это в миниатюре самодержавное государство со всеми подробностями. Даже все ближайшие деревни вокруг испорчены, нищета, безобразие. Кабы не сношения с более далекими деревнями, мне бы тут не стерпеть.

Школа сельскохозяйственная, всякие ремесла, и т. п. — все это показное, один вид, но нет дела. Одна прекрасная слава, хотя, надо сказать, что все это вытекает из добрых намерений Марии Клавдиевны… Однако факт таков, что ближайшее население несравненно в худшем положении, чем более отдаленное. Ну, а побаловаться-то во всех тамошних мастерских — интересно! Ужасно интересно! Столярная, кузнечная, вышивальная, пчеловодство, садоводство, льноводство и мало ли еще чего…

Выдался у меня денек один свободный в Смоленске, провела его в майоликовой мастерской Баршевекого. Что это за штука! Знаете ли Вы, Ефим Васильевич, каковы бывают краски на глине?.. Полива эта дает глубочайший тон, какого не добьешься в масле или акварелях! Чего он стоит! Даже без рисунка! Признаться: я никогда не встречала достойного рисунка при столь чудесных тонах. Всегда они портили и обесценивали самый материал. Но я дерзнула-таки к ним притронуться и сделала головку на глине. Еще не обожжена, не знаю, что выйдет. Жду с трепетом.

О черной стороне Талашкина намекнула Вам (только Вам), чтобы Вы имели некоторые представления о действительности и знали, чего можно ожидать.

Кстати, о панно… Вы думаете, Малютин потерпит соперника? Он должен быть царем там по искусству. Довольно борьбы с Баршевским. Один — творец,

художник, другой — техник, ученый… Представьте подобное столкновение!

Но, может быть, Вы стоите выше всего, что я тут сказала и найдете для себя небезынтересным посетить Талашкино. Мы с Гавриловной обрадуемся земляку…»

Дела Ефима были крайне неопределенными. Натурный класс обнажил его неподготовленность. Ему не только невозможно было перейти в мастерскую Кардовского, но и вообще — в чью-либо мастерскую. Оставалось одно — попытаться еще раз поговорить с самим Репиным: может, тот примет его в свою мастерскую… И хотя только от одной мысли об этом Ефиму становилось не по себе, он решился на разговор. Другого выхода не было…

К тому времени Первая, основная, мастерская Репина перебралась в главное здание Академии — во вновь построенное помещение над «конкурентскими мастерскими», Ефим отправился туда после пасхальных каникул. Поднялся по каменной винтовой лестнице к дверям мастерской, потоптался: так хотелось повернуться, уйти… Пересилил себя, вошел…

В мастерской работали ученики. Было там довольно просторно, и Ефим сразу же подумал, что если бы Репин согласился принять его сюда, то он никого бы тут не стеснил… Поежился: и мысли-то какие-то нищенски-жалкие…

Ефим спросил у одного ученика, будет ли Репин сегодня в мастерской. Ученик кивнул: «Должен быть! Вот-вот должен…»

Ефим вышел на лестничную площадку, тут без посторонних глаз ему легче было поджидать Репина.

Перед дверью в мастерскую находилось небольшое окно, полуприкрытое ставней, оно выходило на крышу Академии. Через него с воли широкой полосой лился свет, в котором вяло клубились мириады пылинок.

Глядя на их дымное клубение, Ефим ушел в себя… Он вздрогнул, услышав рядом знакомое густое покашливание.

— М-мм… Честняков?! — удивленно посмотрел на него Репин. — Что вы тут делаете?..

— Я… Я вас поджидаю!.. — тихо сказал Ефим. Он сбивчиво рассказал о своем положении. Репин, не дослушав его, заговорил:

— У меня вот какая мысль… Это надо было вам давно посоветовать… Я тут, пожалуй, тоже виноват… Вы бы вот как теперь поступили: у нас, по России, есть несколько неплохих художественных школ — пензенская, казанская… Это — лучшие провинциальные школы. Вот мой совет: вы теперь успокойтесь, а к осени поступайте в какую-нибудь… Думаю: лучше всего — в

казанскую! За год вы получите там твердую необходимую систему. Ведь именно эти школы дают пополнение своими выпускниками нашему Высшему училищу! Вернетесь сюда через год, и я уверен, что тот же Кардовский примет вас! Думаю, что именно в этом для вас путь! Помогу и со своей стороны!.. Ну, не могу больше задерживаться: ученики ждут! Подумайте над моими словами!..

Ефим еще какое-то время стоял, глядя на дымный широкий луч. В себе самом в эти минуты он ощущал легкость и бессилие одной из пылинок, кружащих перед ним в незримых сквозняковых потоках…

«Репин, конечно, прав… — думал он. — Только почему он это мне сказал так поздно?! Три с лишним года упущено!.. Если бы он сказал об этом хотя бы год назад!..»

На квартире Ефима ожидало письмо от Саши, посланное из Кологрива. Сразу же бросился в глаза ее обычный вопрос: «Когда приедешь домой?..» Он не бывал в Шаблове уже давно, и вот опять все было неопределенно, ему снова не с чем было туда ехать… А голосок Саши звучал меж строк ее письма, звал издалека:

> «Приезжай скорее! Дома у нас пока все благополучно. Плоты папа уже, наверное, пригнал под деревню и плотит. На пасху ездила домой и провела праздник хорошо. Всю пасху мы были втроем: мама, я и Таня. Папа из речки не выходил. С пасхой к нему Танюшка ходила…
>
> Река ноньча очень сильно разливалась, под нашей деревней весь луг затопило. Пароходы ходят каждый день, и я все думаю: не приехал ли ты…»

19

Ефим пока остался в Петербурге. Он не знал, как ему быть, куда направиться, что делать? Ехать не хотелось ни в Кинешму, ни в Шаблово. От Анны пока не было никаких известий. Ефим написал ей письмо, в котором снова спрашивал о возможности приехать в Талашкино ради выполнения задуманной работы.

Как-то встретился с Чехониным. Тот с прошлой осени учился в школе Общества поощрения художеств, в Академию он по-прежнему не стремился. Он стал звать Ефима с собой в Киев, где они могли бы наверняка найти какую-нибудь работу. Были у Сергея виды и на небольшие заработки в Петербурге (чуть ли не

сама принцесса Ольденбургская[5] обещала ему помочь…). Чехонин не унывал и смотрел на Ефима не только весело, но и с какой-то цепкой дерзостью, для которой все на свете нипочем.

— А ты вроде бы опять в хандре?! — спросил он. — С чего это?..

Ефим рассказал о своих новых бедах.

— Брось убиваться! — Сергей махнул рукой. — Смотри на все проще! Я даже советую тебе уехать на годик в Казань из этого зачумленного Питера! Честное слово, так! Попробуй! За год там подобьешь все азы, успокоишься и вернешься!..

Сергей умел загораться от внезапно пришедшей к нему идеи, он уже верил, что именно так и должен поступить Ефим, наговорил в пользу Казани столько, будто имел в виду какой-нибудь город своей несбыточной мечты.

Как бы там ни было, а после разговора с ним на душе у Ефима полегчало, он решил ехать в конце лета именно в Казань.

Сергей взял у него адрес, пообещав, как только появится какая-нибудь работа, известить о ней. Ефим жил теперь снова на Васильевском острове.

Через несколько дней Сергей действительно зашел к нему сообщить, что работа им получена, правда, не очень-то интересная, почти малярная, но все же она могла дать кое-какие деньги.

В конце мая из Флёнова от Анны пришло долгожданное письмо:

> «…Получила Ваши строки от 3 мая по возвращении во второй раз из Москвы. Очень нехорошо, что ничего не отвечала Вам, Ефим Васильевич: ни серьезного Вам писать нельзя было, ни шутя…
>
> Вы мне задаете очень трудную задачу. Может быть, Вы слышали, что князь Тенишев умер. Княгиня только недавно приехала из Парижа, где лечился князь. 24-го его привезут сюда и будут хоронить под недостроенной церковью. Сейчас княгиня очень озабочена похоронами.. Средства ее хотя и не уменьшились, но она пока не может ими пользоваться, и дела ея еще не приведены в порядок.
>
> Я боюсь, что это самый неблагоприятный момент. Княгиня еще занялась одним делом, которое требует немало средств, и это дело, и все другие дела терпят недостатки, благодаря этим новым обстоятельствам, не исключая и моих деревенских дел, которые тоже очень страдают.

Пока я видаю княгиню мельком, урывками, но когда все затихнет после траурных церемоний, мы займемся вместе рукоделиями в школе и при первой возможности скажу ей…»

«Вот все у меня так… — дочитав письмо, подумал Ефим. — Всюду на пути одни препятствия…»

Пока была в Петербурге работа, пока не получил от Анны нового, более определенного письма, Ефим решил никуда не уезжать. На всякий случай загадал, что если поездка в Талашкино не состоится, он снова отправится в Кинешму. Петр Александрович Ратьков писал из Вичуги, что подыскал для него на лето хорошую квартиру, удивлялся: почему он так долго не едет…

Ефим пока никому из кинешемских знакомых не сообщал о своем положении.

В середине июня Сергей Чехонин уехал в Киев. Работа ими была исполнена. Сергей звал Ефима с собой, но он отказался: все еще надеялся на поездку в Талашкино, ждал письма от Анны.

Проводив Сергея, он почувствовал себя одиноко и неприкаянно. Как потерянный шел к себе на Васильевский остров.

Летний Петербург, серый от зноя и пыли. Грохот ломовиков и конок, трескотня бензомоторов-омнибусав, шарканье, постук подошв бесчисленной публики по серым плитам панелей… Все казалось ему каким-то обессмысленным, ничтожным…

Рядом с Ефимом звякнул колокольчик конки: остановка… Он вошел в вагон, примостился на свободном краю скамейки. Хотелось просто ехать, не думая ни о чем… Но, словно бы по чьему-то умыслу, нарочно для него, рядом затеялся разговор двух старушек.

— Живу вот на старости лет на городу… А все думаю про свою деревню: хошь бы умереть господь привел там, успокоиться на нашем кладбище около тятеньки да маменьки, там дедушки, прадедушки, вся родня… А в городу-то что я?.. Хуже, чем в незнакомом лесу! Пра… Выйдешь на улицу: народу — туды-сюды, взад-вперед! И идут, и едут! А все — чужие, с тобой незнакомые… Не слышно разговоров, всяк про себя что-то думает. Только идут, потопывают, бредут во все стороны!.. — заговорила старушка, сидевшая как раз напротив Ефима, одетая во все черное, осенний гриб-дождевик лицом.

— Ах, да и в деревне ноньча не то стало! — вздохнула ее соседка по скамье. — Стоит кабачок, дымит табачок! Да-а-а… На слова стали хлестки, знай курят свои папироски! Да-а…

Старушка в черном, однако, вела свою линию:

— В деревне-то хоть в церкву сходишь. А в городу и выйти-то некуда: ни поля, ни леса… Только пивные да кабаки открыты. У нас в деревне в церкви-то гожо! Живопись от усердия писана! На иконы божий поглядеть — душа успокоится! Народ знакомый все молиться приходит. А тут войдешь во храм и местечко-то тебе не знаешь где… Люди все чужие, сурьезные. Золота много и огней всяких, да все не так… А дома ровно бы мому сердцу понятнее… Господи, прости меня грешную!.. — старушка перекрестилась, провела отечной рукой по темному подолу, подняла взгляд от пола.

Ефим поспешил отвернуться, словно испугавшись, что старухины глаза увидят его, со всеми его мыслями, со всей его тоской…

С того дня Ефим места себе не находил. Послал новое письмо Анне, рассказал в нем о своем положении, своей растерянности: «Нехорошие мысли приходят в голову, порой кажется: вот-вот дойду до крайности… Погибаю…»

Анна откликнулась быстро:

«Многоуважаемый Ефим Васильевич!

Виновата я ужасно, что не писала Вам. Все ждала, когда будет определенный ответ, а его и сейчас нет. Вы, верно, не получили моего последнего письма. Я Вам писала, что княгиня Тенишева была все время в Париже, где лечился и умер ея муж, его привезли сюда и схоронили. Был большой переполох, и княгине было не до того. Теперь утихло все, мы стали с княгиней вместе заниматься кое-чем. Я сказала ей о Вас, но вопрос остался открытым. Вы мне задали претрудную задачу. Княгиня меня еще мало знает, не может иметь большого доверия. Люди ея положения очень недоверчивы, им делают так много всяких предложений, что невольно приходится отбояриваться. Если бы Вы прислали что-нибудь ей показать, и если только она будет тронута, я уварена: она все сделает. И время-то теперь скверное: после смерти князя дела в беспорядке, и княгиня некоторое время не может пользоваться своими средствами, так что и в хозяйстве, и во всем чувствуется стеснение, жалованья служащим, рабочим задерживаются и т. п. Но это ничего. Мне кажется: княгиня не принадлежит к числу иных героев Ибсена, она по душе очень хорошая, и самым искренним образом стремится к добру, но на свете такая куча недоразумений! В своих убеждениях она сделала

большой шаг вперед, но в делах результаты получаются не всегда положительного свойства. Княгиня теперь задалась целью, насколько возможно частному человеку, поднять уровень знаний и образования местного крестьянского населения (в пику правительству), чтобы они сами могли понять и улучшить свое положение. Цель ее — учить молодых и помогать пожилым, давая работу. Из этого, кажись, само вытекает, что поддержать Вас именно и было бы в кругу ея планов, но надо суметь завоевать княгиню. Это довольно трудно. Приезжайте сами. Тут отдохнете, поправитесь и на зиму — с новыми силами… У нас тут найдется для Вас комнатка, где можно устроиться, как хотите. Если со мной поругаетесь, можете даже не видеться. Я познакомлю Вас с очень хорошим старичком-учителем и его женой, они Вас примут на хлеба и очень дешево, а денег можете брать у меня рублей по 20 в месяц во всяком случае, чтобы быть независимым. Это случайность, что они попадают ко мне, может быть, Вы имеете на них больше права, чем я. Итак, жду рисунков для княгини, а если Вы еще никуда не отправились, прикатывайте сюда сами. Вы тут прекрасно поправитесь. Это необходимо. Погибать нельзя Вам. Кто же тогда должен оставаться для дела и борьбы? Может быть, я?.. На земле так все глупо устроено, поддаваться этой глупости не стоит. Это позор, если так погибнуть для жизни, для земли и для всех, оставшихся в живых. Теперь ужасно мало людей на свете, которые что-нибудь понимают, а главное — хотят сделать! Они наперечет: один пропал — и пусто… И потому поскорее, поскорее надо Вам восстановить свое здоровье и силы. Хотелось бы побольше написать о здешней жизни, чтоб Вы имели представление о том, что тут делается, да не смогу.

Странно, Вы хоть и писали, а мне кажется, будто я ничего о Вас не знала. Это потому, верно, что я ничего не понимаю.

Сегодня тут был Дягилев[6] по делам журнала[7]. Как вихрь питерский пронесся. А завтра — Энгельгарт — товарищ Министра…

Если понадобятся деньги на дорогу, черкните, во всяком случае пришлю.

А. Погосская».

Часть третья

1

— Станция Николо-Палома! Стоянка поезда четыре минуты! — объявил кондуктор.

Тут, на 794-й версте от Петербурга, Ефим сошел с поезда. Отсюда, через посад Парфеньев, через лесные глухомани, дальнейшая его дорога, зимний санный путь, — на север, за Кологрив, домой…

Поставив на притоптанный снег перрона вещи, Ефим огляделся в растерянности. Перед ним была маленькая станция, которую он видел впервые. Вологдо-Вятскую дорогу проложили тут, через Кологривский уезд, совсем недавно.

Сощурившись, Ефим посмотрел в ту сторону, откуда примчал его поезд. Взгляд остановился на узеньком зеркальном блеске рельсов. Этот железный путь Ефиму казался сдвоенной нитью, размотанной на сотни верст от великого города-клубка, именуемого Санкт-Петербургом, и пока что связывающей его с тем огромным городом, в котором он впервые оказался шесть лет назад…

Ямщика Ефим нашел за вокзалом и сговорился без труда: до Кологрива седок выгоден. И вот уже легонькая, с переборами побежка пары пофыркивающих резвых лошадок, урывистое звяканье шоргунца…

Ефим откинулся в задок саней, прикрыл глаза. Как тихо в полях и лесах после долгого грохотанья поезда… Сама тишина уже была своей, родной. Только шоргунец позвякивал в ней, пофыркивали лошаденки, да повизгивали и постукивали на ухабах полозья, да комья снегу били в передок саней. Не железный, не жесткий, не оглушающий путь… Другой, совсем другой — мягкий, бережный…

Поле оборвется, проплывет перелесок, потянется настоящий лес, лишь чащобная тьма направо и налево, опять откроется поле, словно бы ссутуленное от усилия противостоять темному надвиганию лесных дебрей… Чем дальше, тем глуше, будто путь пролег не к уездному городу, а к лесному кордону, забытому и людьми, и богом…

Заплетается, заплетается язычок шоргунца, будто тот опьянел от бессчетных кривулин санного пути, от его бесконечности. Треплется, треплется шоргунцовый звон, захлестывается, закручивается на ветру и вдруг врывается в сознание чересчур

громко, и вновь отлетает вдаль, пересыпается где-то в стороне, под стеной темного леса…

Два с половиной года минуло с того лета, посреди которого Ефим остался в полном одиночестве и растерянности…

Из Петербурга тогда выбрался лишь в июле, после телеграммы Анны: «Уезжай Москву».

Он заехал в Шереметьевку, где Анна ждала его. Почти сразу же отправились в Талашкино. Анна хотела, чтоб он отдохнул там, пришел в себя, успокоился. Но душа его была не на месте. К тому же так и не удалось добиться согласия княгини относительно задуманной им работы для Талашкинского театра. Впрочем, и при ее согласии он, пожалуй, не смог бы взяться за свое панно: столь светлый и праздничный мир не в его состоянии было создавать…

Анна не могла понять, что с ним такое. Выходило, не на отдых пригласила его — на муки… Как ни уговаривала, ни удерживала, через неделю уехал в Вичугу. Оттуда отправился в Казань. Поступил вольнослушателем в тамошнюю художественную школу, в натурный класс. Общий курс занятий в школе был рассчитан на шесть лет, ему надо было за год взять главное.

Казанская школа возникла по инициативе многочисленной группы выучеников Академии, поселившихся в этом волжском городе. Школа не просуществовала еще и десяти лет, но в ней уже сложились крепкие традиции. Состояла она из нескольких классов: граверного, акварельного, натурного и архитектурного. Здесь регулярно читались лекции по анатомии, перспективе, истории искусств, и читались превосходно. Особенно же увлекали Ефима лекции по истории искусств, которые вел известный историк русского искусства Айналов..

Казанские педагоги стремились подготовить молодых художников к созданию самостоятельных произведений, к выработке собственного метода. Окончившие школу выпускались по двум разрядам: первый давал звание художника и учителя рисования, второй — только звание учителя рисования. Обладатели первого разряда получали право поступления без экзаменов в Высшее художественное училище.

Ефим начал с последнего, натурного класса, завершающего программу обучения, где преподавали Скорняков, Игишин, но посещал по возможности и другие классы — гравера Тиссена, архитектора Смирнова… Год в Казани прошел для него с большой пользой.

Осенью следующего года Ефим все-таки попал в Академию,

стал учеником Кардовского, «кардовцем». Их мастерская на Литейном слыла в Академии местом чуть ли не таинственным, где происходит нечто новее, особенное. Мастерская была образцом дисциплины. Кардовский был тверд и требовал серьезного отношения к работе, там царил дух особенной сплоченности. Ефим радовался: наконец-то у него все налаживалось!

2

Однако и на этот раз недолго довелось Ефиму спокойно поучиться, всего-каких-то три месяца…

А потом наступило это страшное воскресенье…

В Академию в то утро никого не впускали, на улицах было пустынно, торговцы лавок не открывали, у ворот всюду маячили дворники.

Все началось неподалеку от квартиры Ефима, на соседней улице. Еще на рассвете там стали собираться рабочие со всего Васильевского острова. Ефим знал для чего, знал о плане, составленном Гапоном, по которому в то утро в разных концах Петербурга так же собирались тысячные толпы, чтоб в одно время встретиться на Дворцовой площади перед Зимним дворцом. Об этом весь Петербург знал.

В начале двенадцатого он оказался в толпе, запевшей «Отче наш». Выслушав последние наставления депутатов, все двинулись к Набережной. Там уже ждали их казаки и солдаты, выстроенные поперек улицы. Толпа приблизилась к ним и остановилась шагах в двадцати. Вперед выступили депутаты с белыми платками, они пытались что-то объяснить офицеру, передние рабочие показывали знаками, мол, мы безоружны, требовали, чтоб казаки и солдаты освободили дорогу.

Ефим находился сзади, довольно далеко от головы толпы, растянувшейся вдоль тесной улицы. Издали он увидел, как офицер махнул рукой и казаки, загикав, понеслись, врезались в толпу. В солнечном морозном воздухе заблистали шашки. Толпа дрогнула, бросилась на тротуары, часть ее была отсечена и загнана в переулки, остальные отхлынули, как волна, к Среднему проспекту. Ефим был увлечен этой волной…

Дальше Ефиму вспоминалась тьма среди солнечного зимнего полдня, именно тьма, в которой метались фигуры людей бьющих и избиваемых, убивающих и убиваемых, и лишь высверки шашек вспыхивали в этой тьме, да где-то неподалеку сухо потрескивали выстрелы.

Он ушел вжаться в какую-то каменную нишу, когда рядом звонко процокали подковы лошади, его опахнуло морозным вихрем, сама смерть пронеслась мимо… Она тут же нашла себе жертву: свистнул острый металл, всего в нескольких шагах от Ефима кто-то тяжело осел на камень панели и, хрипя, завалился навзничь, чтоб уже не подняться… Ближе загремели частые выстрелы. Ефим бежал и слышал жуткое пение пуль. Он остался невредим, но к себе на квартиру прибежал почти в бессознательном состоянии.

Охота на людей велась до поздней ночи, на улицах лежали убитые и раненые. До полуночи Ефим простоял у окна, не зажигая света. Голова его горела. Он смотрел на пустую холодную улицу без огней. Его мучило увиденное днем, он не мог владеть собой, мозг и нервы не справлялись с пережитым ужасом. От стен, окружавших его, от всего ночного города на него веяло жестокостью и холодом.

В ту же ночь он слег. Чувствовал сильную слабость и постоянное головокружение, из затылка не выходила тупая боль. Снова и снова у него на глазах убивали людей… Посреди огромного города, гордившегося своей красотой, своим величием…

Этот город словно бы вывернулся перед ним наизнанку. Разверзлись его площади и мостовые, взломались льды, и всплеснулись холодные воды, рушился крепко сцепленный гранит, отовсюду выползли древние болотные куренья, загнанные под камень. Он вдруг увидел совсем иной Петербург, не город, а огромная сырая могила, одетая камнем, зияла для него на месте прежней столицы.

Виделась ему то темная текучая толпа, окаймленная солдатами, то оказывался он в залах Академии, и перед ним было множество людей со свечами в руках, слышались жуткие крики…

Что случилось с ним тогда?.. Какая из многих туго натянутых в нем струн, не выдержав, лопнула?.. Сказались пять лет, проведенных в постоянных метаниях, в неуверенности, в тревоге, надрывах?.. Судьба все эти годы будто играла с ним, то приоткрывая манящие прекрасные картины, то воздвигая перед самыми глазами непреодолимые стены…

Он проболел около трех недель. К нему заходили товарищи, рассказывали о происходящем в городе, в Академии, о том, что руководил кровавой расправой великий князь, Владимир, президент Академии художеств… Говорили, что Петербург кипит, что арестован Горький и заключен в Петропавловскую крепость за выступление на собрании Вольно-экономического общества по поводу событий 9 Января, что занятия в Академии прекращены на

неопределенное время, что многие академисты участвуют в демонстрациях и даже в вооруженных столкновениях с полицией, а профессора и преподаватели отказываются помогать администрации в принятии мер по подавлению студенческих волнений.

Чаще других заходил Василий Тиморев. Всякий раз врывался в комнату Ефима взбудораженный, шумный, с ворохом новостей. Почти каждый день наведывался я Сергей Чехонин.

В конце января из Кологрива пришло письмо от Саши, она писала:

> «Почему ты нам ничего не пишешь? Мы все по тебе пропали с тоски. Что означает твое молчание? Здоров ли и все ли у тебя ладно? А то теперь в Петербурге идут такие смуты, мы уж и не знаем, на что подумать, просто с пути сбились. Мама так вся истосковалась, все ожидая твоего письма, а папа, как приедет в город, так и на почту идет, но все наши ожидания напрасны…»

После этого письма Ефим всеми мыслями перенесся в Шаблово.

Тяжелые сны все снились ему, а тут вдруг пригрезилось, будто глаза ему промыла невидимая рука, зачерпнув воды из ясного утреннего родника, или сам он в тот родник заглянул и увидел его чистоту до самого дна, до шевелящихся золотых песчинок на дне…

Ефим проснулся на январском рассвете и лежал с широко открытыми глазами, чувствуя, как разрастается в нем заново давний свет, и не потолок был над ним — ясные чистые небеса…

С утра пораньше заглянул к нему Василий Тиморев.

— Ну, как тут наш болящий?! — начал он с обычных своих слов. — Да ты сегодня, смотрю, весел!..

Ефим и впрямь улыбался.

— Ах, какой я сон видел! — заговорил он. — Вот сейчас еще чувствую себя так, будто я упал с какой-то светлой высоты, откуда видел свои родные места… Так прекрасно там все было… И как-то странно я мог все слышать… Слышал, как деревенские баушки баюкают маленьких, пастушеские рожки и дудки слышал, и колокольчики на коровах звякали… И все там сливалось для меня в какой-то небесной гармонии… Как хорошо мне было!.. И все так было ясно, чисто… Какая-то прекрасная, добрая другая жизнь, далекая от всякой жестокости и тяжести, снилась мне… Так вот и слышу, как голоса детей ко мне приближаются, такие чистые… И какой свет был вокруг меня! Если бы ты только знал!..

Тиморев похлопал его по накрытой одеялом груди:

— Я рад! Дела твои, вижу, налаживаются! Молодец! Трагедии, они, брат, всегда приводят к катарсису! Они просветляют!.. В этом, Ефимушко, главная сермяга! Иначе человеку давно бы крышка была! Это ты выздоравливаешь! — и Тиморев расхохотался неожиданно. — Даже в знак твоего исцеления на Фонтанке обрушился Египетский мост под тяжестью Его императорского величества кавалерии! Сорок всадников у царя-батюшки как не бывало! Вишь, какой символ!..

Через несколько дней Ефим поднялся. Однако его снова ожидала неопределенность: Академия была закрыта. 3 февраля студенты Горного института и ученики Высшего художественного училища на своих сходках постановили: занятия прекратить до сентября…

Осенью революционное брожение в Академии художеств стало почти всеобщим. В коридорах, в аудиториях организовывались сходки, стихийно возникали митинги. Учащиеся собирали деньги на оружие для боевых дружин, завладели ключами от всего здания. Движением учащихся руководил совет старост, установивший связь с бастующими студентами Университета, Горного института, Консерватории, с рабочими организациями. Кто-то водрузил на шпиле Академии красный флаг.

Августейший президент Академии приказал: «Подобным безобразиям в стенах Академии положить конец! Академию закрыть и даже наглухо заклепать!..» Здание Академии оказалось под охраной казачьего полка. Среди студентов начались аресты.

Ефим решил совсем уехать из столицы, к себе, в Шаблово. Он увидел, убедился: народ созрел для чего-то нового, народ хочет перемен, жизнь темна и груба, так она не может длиться. Не в Петербурге, не в имении Тенишевой, а у себя, в родной деревне, он приступит к большой работе!

Пришло, пришло время, думал Ефим, для такой глубокой, подвижнической работы в народе! Только искусство с его вечными поисками доброго и прекрасного было для него той великой силой, которая сможет все одухотворить и изменить в самой основе!..

Из Петербурга ему удалось выбраться лишь в конце декабря. Были собраны кое-какие средства, вновь помогли кинешемцы и вичужане. Он написал Наталье Александровне Абрамовой о своем решении, объяснил, как мог, свой отъезд, поделился планами на будущее. Теперь неизвестно: мог ли он рассчитывать на прежнюю поддержку?..

3

Ефим глядит на мелькающие темные деревья. Ямщик все покашливает: надоело ехать молчком…

— На побывку едете?.. — наконец спросил он.

— Да… как будто… — неопределенно ответил Ефим.

— Откудова?..

— Из Питера…

— Вона!.. — оживился ямщик. Пристально посмотрел на Ефима, как бы соображая, с кем завел разговор. — Ну, и как там?

Ефим стал рассказывать. Ямщик сидел уже боком к нему, на дорогу почти не глядел и только все хлопал рукавицей по колену, врастяжку повторял: «Вона какие дела!..»

— А у нас тут как?.. — спросил Ефим в свою очередь.

Ямщик покрутил головой, поперебирал вожжи в руках, хитро глянул на Ефима:

— Сполошны слухи пошли! Считай, с самого лета неспокойно! Вон в Спасской волости, в деревне Подвигалихе был большой бунт в июне, а потом в Маловасильевской… Тут много шуму и страху получилось!.. Туда пристав второго стана Прозоровский прибыл со стражниками да урядниками — производить обыск у студента, проживавшего в доме своего отца. Ну, мужики и нагрянь, человек с полсотни, и потребуй, мол, прекратите обыск! Вот! Да еще пригрозили приставу-то, мол, в хлев посадим! Тот было на них с угрозами, а они ему бока-то и намни, да и посади в хлев!.. Плохо само собой кончилось… — вздохнул ямщик. — Вызвали солдат из Парфеньева… Солдаты-то с песнями и музыкой шли! Да еще и ночью шли-то! Все деревни на пути дрожали! Ну, стало быть, и была расправа… А вот совсем недавно разгромили мужички усадьбу Кузьминку помещика Мехалкова. Больше чем двести человек, слышь, сбежалось, н-да…

Слушая ямщика, Ефим кивал не столько его словам, сколько своим мыслям: да, надо, надо, не откладывая, показывать людям свет впереди, будить их мечты и надежды! Время пришло!..

В Шаблово он приехал на другой день, к обеду, В Кологриве заезжал к Саше, в гимназию — повидаться. Гимназисток еще не отпустили на рождественские каникулы. Сашу он видел в последний раз девочкой-подростком, а тут к нему выбежала, прихрамывая, рослая девушка… Пять лет не бывал он в родных местах, не виделся со своими…

И Танюшка без него стала почти невестой… Дома с Таней была одна мать, отец с небольшой артелью своих же, шабловских мужиков пилил по подряду валежник и сухостой на дрова в

казенном лесу, за Илейным, должен был выбраться оттуда к рождеству.

Мать заметно постарела за годы разлуки, заговорила укорно: «Да, дома ты давно не бывал… Уж и не верилось письму-то… Думали, опять обманешь… Мы уж со всех мыслей тут сбились, извелися оба с отцом…»

Не вдруг, не сразу спросила:

— Ну, а как твое дело, сын?.. Ты ведь никогда нам ни об чем своем не напишешь…

— Да как… — Ефим пожал плечами. — В Питере неспокойно, не до учебы… Вот пока приехал — дома поработать, а там видно будет…

Мать вздохнула, поняв его по-своему: дело его из налаженной было колеи опять выскочило, не выплясалось…

Первый день прошел суматошно: заходили то одни, то другие, весь снег у крыльца притоптали, хоть и подсыпало его с самого утра. Как же, из Питера приехал Ефим, где теперь не поймешь, что происходит!.. Здоровались кто за руку, кто поклоном, крякали, не зная, как лучше подступиться со своими расспросами. А были они одни и те же: как там да что там?.. И между прочим вставится обязательный вопросец: «А сам-то на побывку вроде бы али еще как?..»

Ефим терпеливо рассказывал, объяснял, о себе говорил скупо: все равно теперь в Шаблове о нем будут думать всякое, мол, все не ехал, не ехал столько лет, а тут объявился посреди такой смуты!.. Не иначе как замешан в каком-либо политическом деле!..

К вечеру Ефим вышел на волю — подышать, поозираться. Сыпал редкий снег, вместе с сумерками слегка затуманивая округу. Шаблово словно бы задумалось долгой, уже вечерней думой… Ефим потоптался под окнами избы, направился на гумно. Остановился там среди соломенных валов, забитых снегом. Долго глядел, как в стороне, на меже, пошатываются, клонясь на слабом ветру, метелки полыни, будто кланялись они ему, приехавшему, наконец-то вернувшемуся издалека…

Вроде бы так недавно был тот летний суховейный день, в конце которого он вот так же одиноко стоял тут, прощаясь и с гумном, и с овином перед своей первой дальней дорогой, бормоча:

«…Прощай, прощай, родной овин…»

Вот он вернулся, вернулся, может быть, навсегда…

Ефим поднял лицо навстречу хлопьям, летящим из свинцовой пустоты неба. Прикрыв глаза, стоял и слушал шорох хлопьев по вороху соломы. Какая-то унылая растянутость дум и времени вдруг овладела им, в шорохе хлопьев, окутавшем соломенный

ворох, засквозил, замерещился шепоток, будто отлетающий от чьих-то губ:

«Слушай, слушай!.. В этой жизни, окружившей тебя тут, нет и не может быть иного течения!.. Посмотри сам, ты, увлекающийся своими светлыми химерами, всей душой торопящий приход какого-то светлого будущего, посмотри: далеко ли ушла эта жизнь за многие-многие годы?.. Она течет ровно так, как ей надо течь!.. Она и знать ничего не захочет о том, что давно уже не дает тебе покоя!.. Она сама подчинит тебя, дни пойдут здесь у тебя за днями, будут слагаться в годы, но все будет, как было, ничего, ничего не изменить тебе…»

Ефим даже вздрогнул и так огляделся вокруг, будто здешний горизонт был какой-нибудь круговой стеной, навсегда замкнувшей его тут… Этот угол, заваленный снегами, так остро ощутился вдруг со всей своей тишиной и глухоманностью… В Барановском конце Шаблова, видимо дурачась, заорал какой-то парень… По душе резанул этот лесной разбойный крик… Так кричат в лесу, когда валят дерево…

Ефим неожиданно представил, как где-то в казенной Шартановской даче, за Илейным, в тесной темной избушке-зимнице теперь собралась вокруг вечернего огня отцова артель… «Я вот приехал, а он там и не знает об этом… Если снег не разойдется, на рассвете отправлюсь туда…»

Этим же вечером он сходил к деду Микуле, шабловскому охотнику, взял у него лыжи, решил наутро отправиться в лес.

4

Поднялся Ефим рано, увидел за окном звезды, стал собираться. Поплескал на лицо холодной воды «для свята», как говаривала бабушка Прасковья. Позавтракал. Из дому вышел, едва стало светать.

Мать говорила ему с крыльца:

— Смотри, Ефим, снежно было, ходоков туды мало, пожалуй, и собьешься! Поприметливей будь! До Илейна-то все же дорога, а там — лесная тропа, валежины да кочерпажины!.. Ах, не задавала бы я тебе туда ходить! Сидел бы дома, не выгонка, чай!

Ефим только рукой отмахнулся: с малых лет он запомнил дорогу, знал ее до малых подробностей…

Шаблово вскоре скрылось за окиданными снегом ельниками. Ефим ступил в лес, где еще держались сумерки. Постепенно он стал распознавать знакомые приметы. Вон темнеется старый визирный столб, над вырубкой его «лица» — высокий снеговой

клобук, будто какой-нибудь лесной отшельник-карлик стоял в стороне от дороги. Рядом со столбом стеснились на маленькой кулижке мелкоиглистые кустики можжевельника, над ними тоже — снеговые заячьи шапки. От столба в обе стороны пересекла квартальную грань узенькая визирка — одной лошади с дровнями чуть протиснуться по ней…

Тут Ефим сошел с дороги на едва приметную тропу-прямку, которая вела на Илейно через Микулину кулигу, через Быково, косогор Дердь, речку Варзенгу, оставляя справа Нехорошие лога, а слева — Спиринские поля-новочистки.

Тихо кругом. Только изредка кто-то невидимый бросит сверху мелкой пылью снежинок, всем лицом ощутится холод пролетающих бирюзовых искр… Вон что-то зашуршало в вершинках елей, качнулись белые лапы, сыпанули на тропу снегу, мелькнули в сумерках крылья, возник и тут же растаял свист рябчика…

Ефим скользит на лыжах по едва угадываемой тропе, присыпанной ночным снегом, озираясь и прислушиваясь. У спуска к Варзенге приостановился…

Лет двенадцати он оказался вот тут же, об эту же пору: на лыжах убежал по следу зайца, не охота была — игра в охоту, однако добежал до самой Варзенги. Вдруг глянул перед собой, обмер: как раз у спуска к речке вроде бы пенек моховой курится… Подъехал ближе, разглядел — шабловский охотник Савостьян Сергиев! Сидит себе, синенький дымок от трубки повивает, а рядом убитый заяц лежит, может, тот самый, по следу которого Ефим и бежал.

Савостьян — молчун, каких поискать! Не человек — лесная диковина. Подъехал к нему Ефим, поздоровался робко. А Савостьян ни-ни, только затянулся из трубки да весь окутался дымом. Коротко взглянул на Ефима, вроде бы улыбнулся. Взгляд нелюдима, взгляд давно забывшего, что есть на свете и кроме него люди. Вбитая глубоко в плечи голова нависла над тлеющей трубкой, больше не поднялась…

Ефим так и укатил назад, не услышав ни слова, в обратной дороге все бормотал про себя, думал о загадочном охотнике Савостьяне. Странный, странный он человек… Все больше в лесу, все молчком. И одет он не как люди: какой-то истрепанный белый холщовый балахон поверх полушубка, рябиновые палочки вместо пуговиц, живет бобылем… О чем думает, сам с собой проводя дни?.. Никто не знает…

Вечером бабушка Прасковья спросила, приглядевшись к опечаленному Ефиму:

— Ты что это ноньча какой?! Обидел кто, али на лесу леший

тебя обошел?.. Али, надо быть, занемог?.. Что молчишь-то? Ты с того свету домой-то пришел али с этого?!

— Да так… Савостьяна Сергиева давеча в лесу встретил, у Варзенги… Какой-то он… как колдун… — ответил Ефим.

— Колдун, поди-ко, и есть! — махнула рукой бабушка Прасковья. — Про него вон и в деревне-то говорят, мол, накопил в душе чертовщинки, позапасся! Знать, пошел по незаказанной дорожке!..

Слушая бабушку, Ефим загляделся на огонек лучины, снова видел он перед собой охотника Савостьяна, только не в белом холщовом балахоне, а обросшим шерстью, усмехающимся полешачьи…

Потом он несколько раз видел, как Савостьян уходил на охоту, ссутуленный, безмолвный, в своем балахоне, словно некое лесное привидение, крадучись, возвращалось из деревни к себе — в чащобник… И неизменная голубая полоска табачного дыма тянулась за ним, как бы он разматывал, распускал на ходу какую-то волокнистую вить, по которой потом сможет найти обратную дорогу…

За этим воспоминанием Ефим и не заметил, как рассвело, началось Илейно. А может, и светло-то стало потому, что вышел к Илейно?.. Мгновенно забыв о Савостьяне, с радостно бьющимся сердцем он побежал, занырял под сучьями придорожных деревьев! Илейновские кулиги!.. Такие места начались!..

Илейно — пустошь около трехсот десятин, от Шаблова верстах в восьми. Шаблово, еще при «крепости», делилось на три вотчины — Савашовскую, Ермаковскую, Барановскую. Ермаковская вотчина имела на Илейном покосы и пашни, у каждого домохозяина этой вотчины там была своя родовая кулига, своя «шалыга», там все ермаковские уже много лет раскорчевывали, распахивали новины, сеяли хлеб и лен, выкашивали лесные неудобицы. У Ефимовых родителей тоже была своя родовая земля по речке Ичеже, на кулиге, называемой Левиной. Все илейновские кулиги имели свои имена. Ближней была Федорова, рядом с ней — Захарова, за этими двумя кулигами начиналась Пуп-кулига, возвышающаяся над всеми остальными, дальше по правой стороне Илейна у речки Варовое, — Офонин Наволок, Карпиева, Серегина, Обрашица, Лёвина кулиги, Долгий Наволок… Последней, самой дальней, была Семенова кулига — рядом с большим казенным лесом, куда теперь и направлялся Ефим.

Ермаковских Илейно обеспечивало и хлебом, и сеном, и дровами. Среди лета вся вотчина уходила туда на покосы.

Запомнился Ефиму его первый сенокос на Илейне, долгий

летний день, в конце которого из далекого лесного угла, называемого взрослыми Илейно, возвратились дедушка с бабушкой, отец с матерью. Бабушка Прасковья подала ему берестяную коробицу со спелой земляникой:

— На-ка вот! Это тебе баушка Береза прислала!

— А где она живет-то?.. — спросил Ефим.

— Да в лесу, за Илейным, за кулигами! Велела завтра тебе приходить к ней!..

На другое утро Ефим не проспал, не дал взрослым уехать на Илейно без него. Обули его в лапотки, посадили на телегу, повезли…

Что за утро тогда было! «Спопутная погодка!» — сказала бабушка Прасковья, сидевшая на телеге рядом с ним. Лошадь, радуясь утру, без понуканий бежала резво, и дедушка Самойло все покрикивал на спусках: «Содарживай, содарживай, Василий! Лошадь-то молодая: пожалуй бы, и растреплет под гору-то!..»

В Ефиме под тележную дрожь и прискочь — радость: он впервые едет на Илейно! До того дня оно для него было далеким недоступным местом, куда, будто по слову бабушки Прасковьи, «лежит путь-непроход, мхами затканный, корнями заплетенный…».

Тогда выехали тоже рано, едва обутрело. Он сидел на тряской телеге под боком у бабушки Прасковьи, весь отданный слуху и зрению, а вокруг раннее чистое утро, переливающее перед ним хрустальные сны каждого кустика, каждой былинки, и в голове было, как в том утреннем небе, в котором кое-где еще звездочки угадывались…

Сбоку плыло легко шелестящее бледно-зеленое поле овса, потом дорогу обступили темные копны можжевеловых кустов, еще обкуренные ночным туманцем, растаяла в стороне деревня Бурдово, спящая на своем двухолмии, потянулся сплошной лес, и только в одном месте, за чащобным ельником, запомнилось, все кричали петухи. Ему объяснили: то сельцо Спирино… И в нем осталось желание выйти из темного леса на протяжные крики петухов и поглядеть, что это за Спирино такое… Он еще совсем мало знал свою округу…

И потянулся кряковистый навислый лес, обступила чащобная тишина. Крикни — голк пойдет, закачается изгибучий еловый вершинник, лучше уж сиди тихо, смотри и слушай, и примечай молчком…

Темен лес, ни шепоту, ни ропоту, и вдруг проймет Ефима до дрожи нелетнее ознобное лопотанье огромной серой осины, проплывающей мимо, и почудится: вот-вот из-под мхов и лесных колод выползет небывалая тьма и тишина… Но душисто и тепло в

лесу, ведреный день пророчат пичуги. Пока доехали до Илейна, хорошо ободняло.

Дед Самойло, как приехали на место, распорядился: «Зачинайте косить, а я схожу, погляжу, какова рожь на новине… — И сощурился на Ефима: — А ты вон, этта, погляди, нет ли ягодок коло краю леса… Команица тут охоча расти. Да кусточками, мотри, не ломай, грех! Вон тут, коло ляги[8], растет смородина! Земляница теперь везде есть…»

Ефим смотрит, как начинают косить, потом идет к лесу, погромыхивая коробящей. Бабушка Прасковья кричит ему в след: «По краешку ходи, в чащу-то не лезь! Сказано: «коло лесу да воды недалеко до беды!» Не заблудися, поваплivай! Мотри: Лесной уведет!..»

Когда солнце поднялось уже высоко, он вернулся с коробицей к своим, к своей шалашке, возле которой вились запахи горячей каши и дыма: завтрак поспел!

В кустах нервно топает и хлещется хвостом лошадь, тяжело гудят овода, позванивает надоедливая мошкара, зудят комары. У шалашки все уже собрались. Дедушка Самойло разговаривает с отцом:

— Трава на Обращице не больно мудра, на ляге вон — нищо, в Долгом Наволоке и в Боровом — хороша! А в новочисти и на Карпиевой кулиге быльнику наросло — не пролезешь! Рожь на новине хороша, только коло ляги немудра, вымокла, видно…

— Овес не глядел?..

— Глядел. Медвидь был: следы на грязи и пробредено, а вреды нет, не тронул овса: молод еще, только высыпался…

Ефим слушает деда, и тот ему кажется каким-то давним хозяином Илейна, которому все тут открыто, будто и лес для него не лес, а просто — большой дом, и он, как хозяин, обо всем происходящем и случающемся в этом доме должен знать…

В конце того долгого дня Ефим, забившись в шалашку, уснул, разморенный. И недолго спал, а сны все снились лесные, диковинные. После тех снов вроде бы не проснулся, а от одних сновидений перешел к другим… Осторожно выглянул из шалашки, огляделся…

Вечерний лес невдалеке стоял кружевной, в тяжелой позолоте. Не деревья замерли там — теснились зеленые лесные терема… В сторонке, как-то странно тихо, мать кружила вокруг сметанного стога, обчесывая его граблями. Солнце уже западало за темные ели, тени углубили впадины и ложбины, все гуще проступал малиновый цвет.

В предзакатной тишине не было отдельно ни стогов, ни копешек, ни деревьев, ни самого неба. Все было единым и целым.

Любая мелочь вокруг была высвечена поздним солнцем так бережно, так мягко, как будто и впрямь все вышло из Ефимовых снов.

Деревья, пока Ефим спал, облеклись в золотые одежды, стояла сизая окутывающая тишина. Лес повис в теплом мглистом воздухе, в котором даже пичуги не слышно. Только в стороне вдруг скрипнуло дерево, точно неподалеку открылась легкая потайная дверца — вход в какие-нибудь подземные покои. Этот еле уловимый скрип повторился еще, как будто слабый росток еле-еле проклюнул землю. Ефим даже повернулся в ту сторону, откуда послышался скрип, словно ждал чьего-то появления…

Ему нужна была та тишина, странно приостановившая все вокруг, оставившая в нем самом только одно: все мило, все дружелюбно, все ясно…

Перед закатом солнце зависло над лесом, как бы боясь уколоться о дальние ельники угольной черноты, и вся округа стояла перед Ефимом, залитая в оранжевое стекло, и ему казалось, что и ворон, присевший в стороне на сухару; затих на ее вершине навсегда, навеки… И было в Ефиме не знание, а невыразимая догадка: в этой минуте — тайна рождения ночи…

Околдовало, околдовало его Илейно…

Потом, когда подрос, Ефим много раз бывал и в казенной лесной даче, начинавшейся сразу за Илейном. Для него она тоже стала особенным местом, так много давшим его душе. Образ вечного могучего леса мерещился в ней Ефиму. Оглашаемая пилами, тенорами, эта лесная глушь таилась в самой себе, вся она дышала непреклонно-могучим духом неуступчивости и упорства, духом некой древней дикой жизни…

5

Зимницу Ефим увидел вдруг: у стены густых ельников темнелось приземистое строение без окон, вокруг него были сколочены стойла для лошадей с навесами из елового лапника. Неподалеку, меж елошниковых зарослей белелась извилистая речка Лондушка, заваленная снегом.

Ни в зимнице, ни возле нее не было ни души. Ефим, вставив лыжи у порожка зимницы, спустился к Лондушке по промятой в глубоком снегу тропе, увидел чуть затянутую ледком прорубь. Рядом с прорубью на ольховом сучке висел деревянный черпачок-валовушка. Ефиму хотелось пить. Взломав черпачком ледяную корку, он поддел из проруби воды, напился, глянул на открывшуюся в проломе журливую воду речушки, прошептал:

«Спасибо, Лондушка!..» Он был тут один и мог разговаривать хоть с ветром, взявшимся раскачивать деревья…

Поднявшись к зимнице, Ефим постоял, прислушиваясь. Где-то далеко в стороне вроде бы охнуло что-то, может быть, свалили дерево. Он пошел по тропе, уводящей в сторону шума, и вскоре вышел на голоса и топорный перестук. Неподалеку лязгала пила, вгрызаясь в сухое дерево. Ефим помешкал, пережидая. С треском, хватаясь за соседние деревья, рухнула сухостойная береза, в воздухе завилась снеговая пыль.

Отца Ефим увидел возле только что поваленной березы, тот стоял с пилой в руках и растерянно глядел в его сторону, видимо не веря своим глазам.

— Да как же это? Откуда ты, сын?! — все спрашивал он в растерянности после того, как они обнялись. — Уж не сон ли это?!

Словно из-под земли выросши, обступили их лесовики, тоже удивляясь такой встрече, какие-то приземистые, бородатые: Флегонт Удалов, Василий Захаров, Михайло Яковлев, Степан Васильев, Ефим Савостьянов, Афанасий Федоров… Поудивлялись, поглазели, покачали головами и разошлись по своим местам: в лес такой забрались не за тем, чтоб зазря рты разевать, работа есть работа. Отца тоже ждал напарник — Афанасий Федоров.

— Ну, ты, этта, ступай пока, дожидайся в зимнице, не мерзни зря. Разведи там огошек… Ужо поговорим… — сказал отец.

— Может, мне тут… помочь чего… — Ефиму неудобно было: старик-отец останется работать, а он уйдет в теплую зимницу…

— Иди уж, иди! — махнул рукой отец. — Ты и одет не как надо!..

Вернувшись к зимнице, Ефим принялся рубить дрова впрок, затопил камелек, принес воды из Лондушки. Лесовики, пришедшие с работы уже в сумерках, похвалили нечаянного гостя.

Перед самым ужином Ефим вышел из угарной продымленной зимницы — подышать. Постоял, послушал хвойный наплывающий шум.

Ведь всего несколько дней назад он еще ходил по Петербургу, а тут вот кажется, что никакого такого города в его жизни и не бывало, был только вот дремучий лес, Шартановская лесная дача…

Над зимницей в сумерках мотался целый веник искр, белый густой дым, подымаясь невысоко, отгибался в сторону Лондушки и там стлался вдоль ее закаленного снегами русла…

Оглядев вечереющий лес, Ефим зябко поежился, вошел в зимницу. Гудел и потрескивал большой камелек, плотно сбитый

из глины, его огненная пасть зияла в темноте, будто дышала: в багровых отсветах бревенчатые стены зимницы, чудилось, то двигались, то мгновенно отступали во тьму. Лесовики, переговариваясь, сидели и полулежали на мховой подстилке, глядя на огонь, их фигуры казались отлитыми из расплавленного металла, они лишь чуть потемнели, жар еще играл в них, переплескивался. Согнувшись над низковатым накатом, Ефим стоял у порога, не мог шелохнуться: так поразила его эта картина!.. Написать бы такую! Чтоб все было именно так: эти лица, эта тьма в глазах, эти медведеподобные тени, колышущиеся по стенам позади отдыхающих лесовиков!.. Разве в Петербурге увидишь такое?! Ни перед кем из художников все это никогда, может быть, не открывалось так, как перед ним, потому что он тут — свой, все это — его родное…

Пока поспевает ужин, мужики приступили к Ефиму с расспросами: как и что теперь в Питере, в Москве?.. Слушали его, покашливая, покряхтывая, будто и впрямь внутри у каждого был заключен некий жар, постоянно беспокоящий и жгущий…

После ужина сразу же стали укладываться. Ефим лег рядом с отцом. В камельке еще позванивали догорающие угли, над их малиновым ворохом вспархивали голубоватые язычки.

Какое-то время все молчали. В зимнице кисло пахнет мокрой одеждой. В углах уже совсем стало черно, пройдет минута-другая, утихнет под пеплом жар, тьма разрастется, поглотит здесь все…

С воли все слышнее шум леса. Кто-то, уже неузнаваемый в темноте, поднялся, пробормотал: «Попрогорело, никак…» Заткнул вытяжную дыру над дверным косяком.

— Леший возьми, опять в ночь-то расходится!.. — хрипло проворчал вроде бы Флегонт Удалов. — Не заснуть, как воет…

— Ты бы не поминал его на ночь-то!.. — откликнулся рядом с Ефимом отец. Никто, должно быть, не спал: на слова отца сразу двое или трое откашлялись, чтоб высказаться.

— Да уж сказано: не помяни Лесного в лихой час! — заговорил Ефим Савостьянов. — Бедно тому будет, кто не в час Его помянет! Сказывают, в шесть недель дадено Ему две минуты! И уж ежели тут ты Его помянул, в эти самые минуты, Он уж тут как тут!.. Это вот баушка моя еще сказывала… Брательник ее помер, в девках она еще была… И уж так она по нему тосковала!.. А вокурат минул афанасьев день, косить их ватага пошла на Илейно. Ночевали там в своей шалашке, а ночь-то выдалась, может, как вот эта… Все уснули, а она одна не спит… И скажи в сердцах-то: «Леший тебя возьми, никак не уснуть!..» Сказала так и скоро уснула. Сколь проспала — не поняла. Только проснулась и слышит, как ее кто-то кличет по лесу-то! И голос-то похож на

брательников… Поднялась она — айда в лес, на тот голос! Прошла сколько-то сажен, а голос уж дальше… Она — опять за ним, а тот — все дальше и дальше… А ночь, я говорю, выдалась — темно да му́глонно, и лес гудит… А голос-то все зовет ее! Слов нет, а только голос… Она тут и поняла: кто это! Ноги вдруг отказали! Села на мох, зуб на зуб не попадает! Только крестится да «свят-свят-свят» выговаривает еле-еле!.. А тот вокруг нее и пошел, и пошел кругами! То воет, то закликает! То стонет, то плачет, то зовет ее брательниковым голосом… Уж, говорит, и не знаю, как жива осталась! Во как!..

— А я вот расскажу, это со мной самим было… — заговорил Степан Васильев. — Позапрошлой осенью по лыка я пошел сюда… После фролова дни… Иду луговиной, мимо новочистей вот Василья Самохичева, подхожу уж к кулижной избушке Манефьиных… Тихо, ни души… Вдруг… что такое: у избушки-то костерок горит, дымок поваливает, на жердочке через вилашки повешен котелок… Старик, седой весь, в белонитяной рубахе, штаны на нем дорожками, пояс съехал ниже поясницы… Думал: кто из шаблоських, хотел уж и окликнуть его, да, смотрю, какой-то чужой, чего-то бормочет… «Э! — думаю — тут дело — не того!..» Скорей — опять в кусты! Да стороной ходу! Кому об эту пору в лесу-то быть?! Сами смекните!..

Ефим слушает эти бесхитростные лесные россказни с тем же замиранием, с каким когда-то слушал сказки бабушки Прасковьи и дедушки Самойла, и под эти россказни и заснул…

Утром он засобирался домой. Лесовики толклись около дикого камня, у входа в зимницу: поочередно точили топоры перед тем, как идти в делянку. Лица у всех прокопченные, темные после многих ночей, проведенных в зимнице. При утреннем свете больно было смотреть на них… Перед Ефимом топтались, покашливали, хрипло переговаривались почти берложные жители: оборванные, обросшие, вислорукие…

Отец проводил Ефима немного, шел позади, говорил, то и дело кашляя: «К рождеству придем, небольшое дело тут таперича осталось… А уж опосля рождества на другое место переберемся, у Перфильева будем работать, лес возить на Унжу…»

Шагах в ста от зимницы отец остановился, прокашлялся, махнул рукой: «Ну, ступай, сын!..» Повернувшись, первый пошел прочь.

Ефим помешкал, глядя на сутуло возвращающегося к зимнице отца, сердце сжалось: совсем, совсем уже стариком стал отец, а вот и по зимам на печи лежать ему не приходится…

Он встал на лыжи, неторопливо поехал по своему вчерашнему следу, чуть присыпанному снегом, под зябкую

кропотню зимних пичуг думая об оставшихся позади однодеревенцах, об отце: «Темная, беспросветная жизнь… Одно, одно тут всех беспокоит — забота о прокормлении, только она… Само время для них — какая-то терпеливая безотчетность… А ведь все в них есть: и живой разум, и талантливость, только все это так задавлено… Растормошить серую монотонную жизнь, вдохнуть в нее мечту и веру… По силам ли такое мне одному?..»

Все медленней, медленней скользят лыжи… Опять удивительные виденья перед ним: другое, совсем другое Шаблово!.. Как ярко он видит все! Никто тут, в лесу, не спугнет его видений… Некому, кроме птиц и деревьев, слышать, как уже почти в полный голос он насказывает неизвестно кому ликующие радостные слова…

6

В угловой комнатушке Ефима светло и без лампы: за окнами горят голубым огнем снега под луной. На стекле окошка, глядящего на восход, на кончике морозной ветки преломился почти отвесный лунный луч, и в том месте родилась жаркая звезда, прожгла избяные сумерки.

Новогодняя святочная ночь. Тихо в избе. Рубеж: не нынче — не завтра, не тот год — не этот… Два года сошлись над снегами, вот-вот разминутся… Ефим сидел за столом, вроде бы ждал такого мига… Так тихо давно не встречал новогодья. Родители и сестры уже спали.

Он поднялся, скрипнув табуретом, подошел к окну, густо заметанному узорчатым сверкающим лапником, долго смотрел в полыхающую лунным светом прогалину меж морозных, вгустую накрещенных папоротников. За темными спящими избами, растянувшимися по другую сторону дороги, чуть виднелись заунженские боры, оцепеневшие под стужей. С той, восточной, стороны, из-за тех боров подбирался к Шаблову первый час Нового года. Ефим поймал себя на этом пристальном вглядывании: как будто он и впрямь надеялся стать очевидцем чудесного и зримого явления — Новый год, обретя черты кудлатого белого старца, шествует по градам и весям с востока на запад…

Ефим достал из кармана часы, посмотрел, низко склонившись над циферблатом: минутная стрелка уже чуть обогнала часовую, замершую на двенадцати… «Стало быть, уже новый год… — подумал, покачав головой. — Итак, 7414 лето от сотворения мира… А тебе, брат Ефим, идет тридцать второй год… Христов

возраст приближается, пора творить чудеса… А чудес…» — и снова покачал головой: да, о чудесах говорить не приходится!.. Поцарапал неподатливый лед на стекле, отошел к столу, на котором смутно белел лист бумаги — письмо, первая связь из-за пределов Шаблова протянулась к нему, минувшим днем это письмо пришло от Николая Скобелева:

> «С Новым годом!
>
> Ефим Васильевич, здорово!
>
> С приездом! Сколько лет, сколько зим и т. д. не виделись, даже я уже плохо что-то и слышу: «Ефим Васильевич…» Что-то уж и не верится, что Е. В. Ч. в Шаблове. Давно ли приехал? Как здоров? Чем теперь занимаешься? Долго ли проживешь в деревне?
>
> Я теперь (1-й год) живу за Илейном, в с. Матвееве. Жена состоит учительницей. Детей не было вовсе. Поклон вашим. Желаю всего хорошего. Адрес: с. Матвеево, учителю Н. С.».

Рука сама собой потянулась, потрогала бумагу, будто что-то живое. Письмо единственного истинного друга, которого в своих метаниях забывал в петербургской суете, которому не писал по году… А он вот, едва узнал о возвращении блудного сына домой, сразу же — со словами привета… Ефим усмехнулся: «Наверное, родители ему сообщили, дядюшка Семен, поди, нацарапал».

Так, поглядывая на светящийся посреди стола белый прямоугольник, он накинул на плечи полушубок, обул валенки, тихо вышел на крыльцо: хотелось побыть на вольном воздухе, послушать спящую деревню.

Он стоял, затаив дыхание, так хороша была ночь…

Ясная промороженная заунженская хрустальная даль мигала ему редкими звездочками. От изб и других построек на сияющем снегу лежали глубокие резкие тени, опрокинутые в одну сторону. Поверх сугробов вспыхивали алые, зеленоватые, голубые искры уже январской стужи.

Хотя был поздний час, но кто-то еще шумыркает на гармони в Барановском конце. Мякинница за двором занесена снегом так, что показалась Ефиму громадным диковинным грибом…

Долго глядит Ефим на мякинницу, показавшуюся ему грибом-великаном. Вдруг представилось, вообразилось все Шаблово диковинной, невиданной деревней: ни одной избы, похожей на простые деревенские избы, а меж тех невиданных жилищ и позади них — постройки, напоминающие то исполинские грибы, то просто стога…

Ефим пригляделся к стогу, сметанному у двора. Белой

сахарной крышей навис снеговой пласт, глаза невольно поискали под тем пластом, в сенных космах: не взблеснет ли крошечное слюдяное оконце…

Замерцали, заплескались в чистом небе звезды, обрадованно засмеялись, тоже разглядев сверху то, что помнилось Ефиму. Заколыхались столбы холодного света, вставшие над дорогой посреди Шаблова, будто радость от того короткого видения испытало вместе с Ефимом все вокруг!..

Гармони больше не было слышно, зато закувыркался девичий смех — в легких, еще не слежавшихся снегах.

Прислушавшись к чужому молодому веселью, Ефим подумал: «А может, правы были отец с матерью, когда не отпускали меня учиться?.. Вот так смеялся бы под луной, не знал бы никаких терзаний и метаний… Не в этом ли все?!» И тут же зябко передернул плечами, махнул рукой: придет же такое на ум!.. Нет, сожалеть о том, что избрал для себя совсем особый путь, такую необычную для крестьянина судьбу, он не будет! Просто теперь надо заново вживаться в здешнюю жизнь, быть на людях, двигаться, не цепенеть в одиночестве и постоянно помнить, что именно к жизни, к работе в родной деревне и готовил себя столько лет!.. Пришло, пришло время…

Ефим подмигнул ночным далям, той стороне, где Илейно, будто увидел там серьезно-добродушное лицо Николая Скобелева, сказал негромко: «Ничего! Все образуется!..»

7

Быстро бегут святочные дни. Ефим успел обустроить свою комнатушку, превратив ее, насколько было его возможностей, в мастерскую: развесил по стенам лучшие из своих академических работ, сколотил полки, нехитрый мольберт, несколько подрамников, разложил, расставил по местам, приготовил к работе.

Домой из Кологрива на рождественские каникулы приехала Саша. Сестры целыми вечерами пропадают на беседке, и дома все шепчутся, перемигиваются, то расхохочутся — не остановить. Совсем, совсем невесты. К Тане, Ефим слышал, прошлой осенью уже сватались, да отец с матерью не дали согласия, мол, молода еще, хотя причина была не в одной молодости: ждали жениха для нее такого, который бы в зятья вошел, стал бы отцу заменой в крестьянствовании.

Среди святок сестрицы пристали к Ефиму: «Пойдем с нами на беседку! Тебя девки приглашают!..» Ефим поотнекивался, однако

согласился, пообещал прийти, он и сам собирался побывать на беседке, на людях, да пока дичился: перезрел уж он для беседок-то, все его шабловские сверстники давно переженились, давно семьями окружились, а он вот на беседку с молодятиной будет ходить…

Беседка была у Белокуровых. Ефим застал тут одних девок, все парни ушли в Бурдово. Девки стали приглашать его посидеть с ними, поговорить, но он совсем стушевался, поспешил за порог.

Ночь была светла, подсвеченные луной, редкие облака едва ползли по небу. Ефим постоял среди улицы, не зная, куда направиться. Решил все-таки сходить в Бурдово.

Но в Бурдове тоже было тихо, только ватажка ребятишек оказалась у него на пути, ни гармошки нигде не было слышно, ни песен.

— А скажите, здесь шабловские? — спросил Ефим обступивших его мальчишек.

— Шаблоськи на Глебово ушли! — услышал в ответ.

— Что же мне делать?.. — затоптался Ефим.

— Иди на нашу беседку! Али нехороши наши девки-то?!

— Ваши девки хороши! — рассмеялся Ефим.

— Пошли — побывай! Ты чей?..

— Шабловский!..

Один из мальчишек что-то зашептал на ухо другому. И тут же оба закричали:

— Студент! Студент! Художник! Сресуй нас! Сресуй!..

— Срисую потом! — усмехнулся Ефим, подумав о том, что вот и в соседних деревнях о нем уже знают… — Вы, наверное, замерзли! Давайте бороться! — предложил он мальчишкам. — Ну, все — на одного!..

Ребятишки рассмеялись:

— Мы тебя переборем! Пошли лучше на нашу беседку!..

— Да я уж и не знаю, как мне быть… Наверно, тоже пойду на Глебово!.. А кто у вас на беседках-то?..

— Да никого нет из парней-то. Один солдат Пашка. Сресуй нас! Сресуй! Пойдем на нашу беседку! Там мельницей обряжаются, а мы — чертенятами будем!..

— Нет, лучше пойдемте со мной на Глебово!

— Не пойдем! Там гоняют чужих-то робят!..

— Не тронут!

— Нет, не пойдем!..

— Ну, тогда я один пойду! — Ефим стал спускаться с горки, оглядываясь и улыбаясь.

Вслед ему летело: «Художник! Художник! Сресуй нас! Сресуй!..»

В Глебове улицы тоже были пусты, горели редкие огни. Ефим остановился на околице, вглядываясь в деревню, тесно соседствующую с лесом. Сверху на нее проливался холодный ровный свет. Навстречу лунному свету из труб вытянулись вечерние сияющие дымы, будто какие-нибудь кудельные канаты, на которых повисла зимняя земля…

Эта вечерняя прогулка, встреча с бурдовскими ребятишками, эта тихая лесная деревня под лунным светом и высокими дымами… Ефим улыбался от приятных, щекочущих ощущений: так хорошо ему было впервые в родных местах после возвращения… Он не мог погасить улыбки на лице, и все слышалось ему под звонким сияющим небом: «Художник! Художник! Сресуй нас! Сресуй!..»

В эту ночь приснился Ефиму сон. Такой, какие надолго остаются в душе и памяти…

Снилась Ефиму поляна в глухом полночном лесу, вроде бы в Шартановской даче. Посреди поляны, вокруг чего-то красно светящегося, стояли тесным кругом в глубоком молчании его однодеревенцы…

Он пробился туда, к багровому сиянию, и увидел: в самом центре поляны стоит девушка и держит в руках большую чашу, в которой кипит, клокочет, разбрызгивая сверкающие капли, какая-то огненная жижа, и все взгляды прикованы к этой пылающей чаше, и кто-то прошептал рядом: «Краса-то! Вот она, красота!..»

Неожиданно появилась еще одна девушка, окруженная белым чистым сиянием, и сразу же померк свет вокруг первой девушки. И словно бы одним разом вздохнули стоявшие вокруг люди и снова замерли, освещенные новым сиянием, таким ярким, что, казалось, мгновенно наступил день. Этот свет омывал каждое лицо, не ослепляя, не мешал видеть и самого́ прекрасного лица, от которого он исходил. Даже во сне Ефим ощущал, как под ласковыми лучами он сам весь изменяется, и так легко ему было, будто отпала от него какая-то большая тяжесть, с которой он сросся, с которой жил много лет… Он окинул взглядом лица окружавших его однодеревенцев и увидел, что и с каждым из них происходит то же самое… И тогда, в каком-то крайнем восторге, он бросился вперед, упал к ногам солнцеликой девушки и зашептал, содрогаясь от рвущегося из груди плача: «Помоги! Помоги мне!..» — «Встань! Мы поможем тебе!.. — услышал он и ощутил на себе прикосновение ее руки. — Пойдем со мной…» Она повела его куда-то в сторону, круг людей разомкнулся перед ними, и они вдвоем подошли к небольшой ватажке детей. Те встретили их весело, засмеялись, запрыгали вокруг них. «Вот — будь с ними!..» — сказала Ефиму солнцеликая и, улыбнувшись

ласково, пошла куда-то в ночные чащи, распугивая вокруг себя огромные тени. Несколько раз солнцеликая останавливалась, оглядывалась, снова улыбалась и кивала ему с улыбкой… Неожиданно исчезла…

Ефим остался стоять на месте, окруженный детьми, для него продолжал звучать голос солнцеликой: «Встань! Мы поможем тебе!..»

Он посмотрел на притихших вокруг него детей, они улыбались ему. «Она сказала: «Мы поможем тебе!..» — вспомнил Ефим. — Она сказала «мы» и привела его к детям… Значит, она и дети — заодно?! Она ничего больше не сказала, а просто указала мне мой путь?.. Дети! Мир детей! Какая это правда для меня! Ведь это и есть мое, мой мир! Я же сам столько об этом думал!..»

Ефим проснулся на рассвете и долго лежал, с улыбкой глядя в потолок. Этот сон не уходил от него, он переживал его снова и снова…

8

Нежданно-негаданно Ефим получил из Кологрива письмо. Узенький белый конвертик, сургучная нашлепка на оборотной стороне, в сургуче оставила след фамильная печатка: «А. И. Невзоров».

«Через Илешевское Волостное Правление в деревню Шаблово Ефиму Васильевичу г. Честнякову», — было написано на конверте незнакомым аккуратным почерком. Невзоров, Невзоров… Ефим вспомнил: вместе учились в уездном училище! Алексан Невзоров! Не такими уж большими друзьями они были, чтоб получить вдруг письмо от него…

Письмо оказалось сугубо деловым:

> «Милостивый Государь, Ефим Васильевич! Не соблаговолите ли Вы согласиться на писание портрета с купца Звонова? Ему хотелось бы иметь свой поясной портрет. Он узнал о Вашем приезде и просил меня связаться с Вами и обо всем договориться. Цену за работу обещает хорошую. Не найдете ли возможным с первой же почтой ответить мне — будете писать или нет. Остаюсь с истинным почтением к Вам заведующий Богадельнею Александр Невзоров. Будете в городе, заходите ко мне».

Ефим: отложил письмо, хлопнул себя по коленям, резко встал, прошелся по своей комнатушке, посмеиваясь: «Ну, вот,

брат Ефим, тебе и Фортуна! Принимай первый заказ! Покажи себя с лучшей стороны перед кологривским бомондом, авось и другие заказчики найдутся! Все-таки заработок! Вишь ты, сам Миней Звонов тебя зовет!»

Минея Звонова Ефим увидел впервые в годы учебы в уездном училище. Тогда он был еще крепким зрелым человеком, перед которым во всем Кологривском уезде почтительно склонялись головы. Уже в ту пору целая слобода, почти половина Кологрива, называлась Звоновкой. Живет в ней бедный народец, почти даровая рабочая сила. Этого Минея так бы и на портрете изобразить, чтоб фоном ему была Звоновка — не местечко, не слобода, а некий хаос, вся нищета гиблого места, чтоб вилось позади Минея только рваное, черное и серое…

Ефим вспомнил: шесть лет назад, когда он приезжал в Шаблово из Питера, в Кологриве гостил художник Ладыженский, выходец из местных дворян. Тогда ходила по уезду историйка о том, как Ладыженский писал портрет Минея Звонова.

Звонов заказал Ладыженскому написать с себя портрет. Художника, видно, привлекла колоритная фигура купца. Звонов позировал, сидя в тяжелом дубовом кресле, на нем был темно-синий мундир с золотыми пуговицами, с расшитым воротом, орденская лента… Сановник сановником! В правой руке, для пущей важности, — тетрадь в сафьяновом переплете… Окаменело сидел Миней перед художником, потея в своем мундире. Лето жаркое выдалось. После очередного сеанса Миней подходил к портрету и раз от разу все недовольнее хмурился: не таким бы он хотел себя видеть на портрете, не мужиковатым, не упрятанным в дорогой парадный мундир неотесом… На портрете должен быть важный человек, ворочающий крупными делами! Не обыкновенного сходства с самим собой желал бы Миней. Он же и мундиром, и сафьяновой тетрадью, и дорогими перстнями на руке, и позой самой так ясно дал понять художнику его задачу… Наконец не выдержал, грубовато заметил Ладыженскому: «Ты тут неделю возишься, а толку что-то мало! Портрет никуда не годится!..» Ладыженский усмехнулся: «Портрет-то хорош, да вот ты плох!..» С этими словами он сложил краски и кисти, свернул почти законченный портрет и был таков. Остался Звонов без портрета…

«Видно, он не расстался с мечтой: вот теперь зовет меня… Только с Ладыженским-то, как с дворянином, еще церемонился, терпел, а мне, пожалуй, сразу же и укажет, как писать!.. А все же надо будет сейчас же ответить Невзорову, мол, соглашаюсь…»

Вскоре после отправки ответа пришло новое письмо от

Невзорова:

> «Уведомляю Вас, что с великого поста вполне можно рассчитывать на работу поясного портрета со Звонова. Работать будете в помещении Богадельни…»

Ефим усмехнулся. Понятно, каким теперь захочет видеть себя Миней Звонов: недалека уже старость, отстроена богадельня для спасения души… Вот посреди нее с возможным смирением на широком разбойничьем лице многогрешный Миней Звонов и воссядет, дабы быть запечатленным не купцом, не хозяином, но — смиренным старцем, творящим добро для ближних, помышляющим лишь о спасении души своей… И художник его будет писать подходящий — не дворянин-гордец, а тихий, из крестьян, млеющий под властным-то взглядом… И даже посредник меж ними вон какой — заведующий всей той же богадельнею, обходительный, тишайший, каким, наверное, сызмальства был… «Милостивый Государь… не соблаговолите ли Вы согласиться…» Так и чувствуется целиком принадлежащий своему хозяину слуга…

Через несколько дней после получения второго письма от Невзорова Ефим побывал в Кологриве. И без этого неожиданного повода ему хотелось туда наведаться, повидать Сашу, походить по улочкам городка: в Кологриве как-никак прошли годы учебы…

По зимам в Кологриве тихо. Основной кологривский обыватель, как и окружный люд, жив от реки и от леса. Одни заготавливают зимой дрова, другие — клепку, третьи — строевой лес… Глуховатый городишко, а между тем еще в пору Ефимова ученья имел уже земскую публичную библиотеку, небольшой любительский театрик, женскую прогимназию, уездное и приходское училище, церковноприходскую школу, земскую больницу, аптеку, почтово-телеграфную контору…

Однако городок был таким оторванным, таким глухоманным, что по-настоящему жизнь пробуждалась в нем лишь в дни ярмарок, которых в году было три, да в пору весеннего сгона наготовленного за зиму леса и барок.

Все остальное время тут тишина застойного полусонного бытования.

В конце великого поста из окрестных лесов повылезут заросшие, одичавшие лесовики, прокоптившиеся в зимницах. Ходят по улочкам городка — руки-крюки, бороды во всю грудь, заново знакомятся с жизнью, напиваются, получив у хозяев расчет…

После «крепости» помещики свои владения по Унже

пораспродали, хозяева тут появились новые: разбогатевшие кулаки с Мёжи — Звоновы, Дубровины, из Вятки — Сапожников, из недальней Чухломы — Юдины и Грачевы, Хихин аж с Волги… Народец оборотистый, прижимистый. Кое-кто из дворянства приноровился к новым временам: Перфильевы, Жоховы, Григорьевы, Поливановы, Жемчужниковы…

Источник наживы у тех и других один — сгон леса, торговля лесом.

Городишко мало изменился за минувшие годы. Разве что в его центре появилось несколько внушительных особняков местной знати, да на берегу Унжи, рядом с базарной площадью, достраивались Народный дом и чайная.

После свидания с сестрой Ефим заглянул на местный базар. Бывало, по понедельникам, после занятий, он сразу же бежал на базарную площадь. Тут можно было встретить кого-либо из шабловских, наслушаться громких разговоров об озимях, о скотине, о лесных работах…

Потолкавшись на базаре, Ефим отправился в звоновскую богадельню к Невзорову — договориться о предстоящей работе.

Невзоров держался услужливо, смотрел чуть, ли не заискивающе, на его бледном, но гладком лице так и светилось: «Как же-с! Из самого Санкт-Петербурга человек прибыл! Выученик самого Репина!..»

Ефим спросил, можно ли повидать Звонова, мол, надо бы присмотреться к натуре. «Они теперь нездоровы-с! Уж до великого поста, Ефим Васильевич! Я сообщу Вам незамедлительно!..» — рассыпался Невзоров.

9

В конце января дня заметно прибыло. В тихие ясные полдни солнце понемногу берет верх, в укромьях можно почувствовать, как оно перебарывает стужу. В такие дни и само время вроде бы иначе течет. Вчера еще оно еле тащилось, будто ондрец[9] с дровами по лесному проселку, и вдруг так ощутится его новый, иной ход над здешними глухоманными местами!..

В комнатушке Ефима уже стояли загрунтованные небольшие холсты под этюды к давно задуманной картине. Несколько дней подряд Ефим ходил с этюдником к Федору Ивановичу Скобелеву. Все в Шаблове называли старика просто дедушкой Федором, в больших он уже был годах. Скобелев, как натура для картины, — клад: широкоплечий, высокий, с большой белой бородой, с острым умным взглядом.

Позировать он согласился без уговоров, сидел прямо, спокойный, сурово-молчаливый, глядел на белый зимний свет, как хотелось художнику. Ефим всех так решил писать для этой картины, ведь на ней лица должны быть озаренными, поскольку люди пойдут к свету…

Изба дедушки Федора темновата, окошечки невелики, она — из немногих, уцелевших после пожара. Ефим еще мальчиком любил бывать в его избе.

На воле январский мороз, а Ефиму за работой вспомнился вдруг невозвратимо-далекий летний день, в котором он, мальчишка лет восьми-девяти, только что вышел из своей избы после завтрака и стоит у крыльца, прислушиваясь к деревне…

Посреди широкого подворья дедушки Федора захлопал, забил крыльями охристо-огнистый петух, прокричал заливисто, будто окликнул именно его… И надумалось Ефиму начать тот день с поисков переливчатой косицы из петушиного хвоста. От бабушки Прасковьи он слышал, будто счастье тому будет, кто найдет такое перо…

Солнце с утра пекло жарко. Оказавшись на соседском подворье, Ефим обошел деревянную соху и борону, с замиранием ступил под соломенную крышу двора… Ворота были распахнуты настежь, солнечный свет неглубоко врезался в сумерки двора. С затаенным дыханием Ефим обошел двор, пристально вглядываясь во все сумеречное, серое, немое. Заглянул в хлев. Все казалось ему: вот-вот синим огнем полыхнет в сумерках переливчатое перо-косица… На куриных наседалах, прикрученные лыками к прутикам, висят «куричьи боги» — камушки с природными дырками… Дедушка Федор привязал их тут, чтоб от кикиморы охраняли куриц…

Что-то таинственное ощутил Ефим, будто оказался он не под крышей, а в каком-то древнем курином храме…

На глаза вдруг попалась растреснутая липовая малёнка. Заглянул в нее. Солома там, пух, яйцо… И совсем неожиданно увидел то, что искал: вот она — переливчатая косица из петушиного хвоста!.. Схватил ее и — бегом со двора, будто кто-то мог отнять то перо…

Убежал на гуменники. Огляделся с громко бьющимся сердцем… Вон стоит раскрытый овин, подглядывает за ним черным окошечком, рядом с овином — соломенник, из-за него видна мякинница… Присел он на старую колодину, хотел, таясь от всего, получше разглядеть находку… Откуда ни возьмись — ворон… Сел на крышу мякинницы, каркнул… Ефим оглянулся испуганно. Будто затем и прилетел бог весть откуда тот ворон, чтоб спугнуть своим карканьем Ефимово счастье…

Побежал Ефим прочь. Заскочил домой, спрятал свою находку на мосту, в щели, прихватил кусок пирога, отправился на Унжу.

На реке — тихо. Слышно, как вода трется о берег. Пошел к лесу в сторону Илешева. Набрел на землянку, в которой барошники[10] по зимам греются. Заглянул в нее. И дверь, и проруб маленького окошечка — черны от копоти, и пахнет в землянке каким-то дымным холодом… Тут тоже не по себе стало Ефиму, выбежал вон.

У самой воды трясогузки молчком по сырому песку ходят, над обомлевшими под жарой елями другого берега канюк кружит, покрикивает пискливо. И опять где-то в стороне послышалось воронье карканье… Жутковато стало Ефиму. Он добежал до речки Чернявы, перешел ее по жердочкам. Жарко было. Стащил с себя рубаху, штаны, забрел в воду, накупался, долго лежал после на горячем белом песке.

Меж рекой и горой Скатерки много кислицы наросло и тиману. Поднялся, облепленный песком, так, голышом, и ходил в высокой прибрежной траве, рвал кислицу и тиман. И где-то снова каркал ворон, и видел и слышал Ефим, будто рядом с ним журчали лесные речки, лопотали осины, обступали его непролазные чащи, будто заблудился он, остался вовсе один… И поднимал взгляд от травы, озирался вокруг и смеялся тихо своему одиночеству. И так близко было небо! Он даже руку поднимал над головой — хотел потрогать ту близкую голубизну…

Вот то все и было счастье… Просто тогда он не знал, что это именно оно и есть…

Сидит дедушка Федор перед Ефимом, и невдомек ему, какими давними связями живет тот в его старой избе…

По Шаблову слух прошел: Ефим Самохичев всю деревню от малых до старых для какой-то картины хочет переписать. Малые Ефиму прохода не дают, кричат на улице, как те бурдовские ребятишки, попавшиеся ему на святки: «Сресуй нас! Сресуй!..»

Ефим не отказывает, он такой надоедливости рад. В его комнатушке всякий день — новые натурщики. За работой он старается, чтоб ребятишкам у него было весело. То что-нибудь припомнит интересное, то сказку расскажет, то выдумкой попотчует…

На воле морозно, солнечно. В его комнатушке-мастерской, на лавке у стены, напротив бокового окна, сидят очередные натурщики-малолетки. Ребятишки притихли, слушают его, на лицах — живое внимание. Не забывая о работе, Ефим рассказывает что-то вроде сказки не о чем-нибудь далеком — о

ручейке, который течет между горой Шаболой и горой Скатерки:

«…от колодца почти до самой речки ручеек зимой протекает под снегом, но он ясно слышит, как говорят и смеются бабы меж собой да на лошадей покрикивают, которых пригоняют поить к колодцу… А дальше он, худенький да маленький, едва перекатываясь под снегом, чуть слышит, как ребятишки кричат на Хохолковой горе, на коньках да на санках катаются. Дальше он течет меж двух гор. На одной деревня стоит, на другой — старая часовня, вся занесенная снегом, и за ней поле под снегом лежит. Течет, течет ручеек… Вот встретились ему на пути какие-то колья: видно, изгородь, жердины конец лег поперек пути, некуда отворотить ручейку… Спустился к земле, подобрался под жердь и — дальше под снегом побежал!..

Но… что это?! Ручеек зажмурился вдруг от яркого солнечного света… Над ним — морозный зимний день, голубое небо, кусты стоят все заиндевелые… От деревни по крутому склону тропинка к нему спускается… А сам ручеек течет по обмерзлой большой лохани, по бокам лохани — лед, толстый да гладкий, намерзает все больше. И видит ручеек: баба с девонькой идут сверху по тропе, на плечах коромысла несут с сарафанами и рубахами. Пришли к лохани, размотали, что было на коромыслах, заткнули рубахой то место, где вода вытекала, и стали полоскать рубахи да сарафаны. Не показалось это ручейку. Метнулся он было назад, да там бегут его новые струйки, назад его не пускают…

Баба с девонькой наполосканное сложили на обмерзший край лохани и давай колотить по белью гладкими вальками, только брызги летят, да пыль водяная стоит!

Бежит ручеек все дальше оврагом, опять под снегом. Местность становится все ниже и ниже, камешков все больше на пути, попадаются коренья да ямины… Но вот под горой Шаболой выбежал ручеек опять на свет. Опять — голубое небо, солнышко, снег и мороз, и ветлины, покрытые инеем, с хрустальными да бриллиантовыми звездочками.

Опять засмеялся ручеек! Тут ему хорошо! Это место никогда не замерзает, и по зимам сюда прилетают пташки — попить воды, побегать по мокрой земле, поклевать ржавчинки…»

Тут Ефим поведал, как птицы, прилетающие к ручейку, разговаривают меж собой и с ручейком… Сколько раз и сам он, когда был таким же, как его слушатели, беседовал с ручейком…

Рассказывает Ефим, как ручеек втекает в Унжу, как принимает его маленькие струйки большая вода и уносит куда-то далеко… Но ведь, утекая, ручеек никогда не сможет утечь весь, он останется навсегда тут, где родится всякую минуту, пусть далеко убежали его вчерашние струйки… Без этого не может жить

ручеек!..

У Ефима не только в том цель, чтоб задержать на лицах ребятишек живой интерес, чисто детское ожидание чуда… Ему хотелось бы, чтоб его слова пробуждали в них внимание и пристальность к родному, здешнему, чтоб каждый догадался, почувствовал: вокруг — живое, ко всему надо приглядеться, прислушаться… Не с этой ли догадки и начинается настоящая жизнь человеческой души?..

Задуманную большую картину он хотел исполнить почти как фреску. Заранее видел ее, воображал именно такой. Дети там должны быть на переднем плане.

На художественных выставках последних лет, в Петербурге, Ефим видел немало детских портретов, но почти все они были какими-то салонно-академическими, ребятишки на них выглядели рождественскими ангелочками: длинные локоны, блистающие глазки, румяные щечки… Какое-то живописное сюсюканье, да и только!

Крестьянских детей писать надо было совсем не так, с иной теплотой, с иным проникновением в ребячью душу, за их лицами должно угадываться все крестьянское, за каждым из них — дух избы, овина, поля, оврага, леса…

10

За работой Ефим и не заметил, как подошла масленица. Вся его комнатушка оказалась завешанной этюдами, рисунками, среди них чаще лица детей. Глаза их глядели на него отовсюду. На масленой неделе Ефим почти каждый вечер приглашал к себе по вечерам девочек с прялками. Они сидели и пряли, даже пели по его просьбе, а он стоял за мольбертом радостно улыбающийся, на душе у него был настоящий праздник.

— А ты, дядя Ефим, приходи на гулянок — масленицу провожать! Вот бы какую тебе картину-то написать: как ее провожают, как жгут… — говорили девочки.

— Обязательно приду! — улыбаясь, кивал Ефим. Проводы масленицы для него с самых ранних лет — лучший из праздников.

Масленицу обычно загуливали со среды. Ходили и ездили в гости, угощались блинами, катались на лошадях с бубенчиками на ожерелке, с гармонями, песнями, устраивали *съездки* — собирались в одну деревню в первый день, на второй — в другую… Съезжались только молодежь да молодожены. Все суметы примнут по округе, все дороги обгладят за неделю.

Ребятишки и взрослые катались с гор на санках, ледянках, коньках-скамейках. По домам ходили ряженые. В каждой деревне мужики ставили качулю-махалку для взрослых, для детей — качулю-вертушку. С обеда там собиралась чуть не вся деревня. Бабы и девки пели песни, мужики раскачивали доску-махалку с катальщиками. В первую очередь качали молодоженов, а потом всех желающих. Парни купали в снегу девок. Озорства и веселья было много! В воскресенье, в последний день масленицы, с утра по избам ходили ребятишки с санками, выпрашивали соломы, старых веников, дегтярных баклажек, всякого старого хламу, который мог бы хорошо гореть. Собранное свозили на гулянок, сваливали в одну кучу, вокруг высокого кола, вроде стожара, к нему подвешивали сухие веники. Вечером, в сумерках, этот ворох поджигался, горело ярко, весело. Пламя хватало снизу веники и от них во все стороны летел рой искр. Настоящее зарево вставало над деревней, ребятишки, ошалевшие от восторга, сновали, вились вокруг жарко «сгорающей» масленицы. Бабы заводили песни. И тогда становилось как-то, необыкновенно грустно: и песни были невеселыми, прощальными, и остро понималось вдруг, что в этот вечер уйдет из деревни веселая масленица, наступит великий пост…

В воскресенье с утра вдоль деревни сновали парни и девки, ребятишки свозили к гулянку на санках солому и хлам. От гулянка доносился несмолкающий скрип качуль, визготня и крики.

К вечеру в деревне стало шумней, появилось несколько мужиков на лошадях, запряженных в выездные сани, послышались гармони и песни.

В оттепельных сумерках Ефим вышел на волю, постоял у двора, прислушиваясь к гомону деревни. На гулянке чернела шумная толпа, кое-где светились окна. На задах смутно виднелись овины, мякинницы, соломенники, за ними угадывалось поле… Заворожена погода, не шелохнет во всей округе никакой вихорек. Самый подходящий вечер для проводов масленицы!..

На гулянке Ефим увидел своих прежних дружков — Ивана Травина, Михаила Якунина, Алексана Семенова, Подходя к ним, заметил: многие в толпе смотрят на него, как на что-то непонятное, незнакомое, из какого-то другого мира, не знают, за кого и принять. Зато ребятишки, увидев его, завились вокруг: «Дядя Ефим! Сресуй нас! Сресуй!..» Ефим только улыбался растерянно. Последнее время он провел в затворничестве, поодичал, и ему было не по себе от любопытного разглядывания.

Но вот подпалили ворох хламу и соломы, к наволочному

темному небу с веселым треском взметнулся золотой огненный столб, все попятились от жара и от ослепляющего, мгновенно разросшегося света, прикрываясь ладонями, загляделись на огонь. Стало шумно вокруг пылающего вороха.

В сторонке, отдельно, сгрудились бабы. Когда огонь стал утихать, высоко и печально вознесся голос одной:

Ах ты воля, ты воля!
Ты куда, моя воля, девалась?!

Песню подхватили другие бабы. Эту песню всегда пели на проводах масленицы. Ефим с замиранием вслушивался в голоса поющих. Они становились все согласней, пение разрасталось.

«Вот ведь песня… — думалось Ефиму. — Ее родила чья-то душа, а смотри — поют, поют и не знают: чья это песня, кто ее создатель, поют как о своем… Чья-то грусть, чья-то кручина стала грустью-кручиной всех поющих, словно каким-нибудь широким ветром была когда-то пропета, а не одним человеком!.. Ведь есть же, есть эта передача от одного многим! Стало быть, если к делу, которому ты хочешь посвятить себя, подойти с такой же вот беззаветностью, чтоб оно стало как песня, то и его подхватят и впустят в душу многие!.. Надо только запеть так, чтоб была настоящая искренняя песня — от всей сердечной глубины!..»

Ворох попрогорел быстро, от него вскоре осталась только груда рыхлого, золотящегося изнутри жара, и вроде бы попридвинулись к нему вместе с людьми оттепельные февральские сумерки и слушают песню. Слушают ее опустевшие темные избы, овины, амбарушки, мякинницы, житницы, бани, смутно белеющее поле и темный лес за ним…

И какие-то огромные очи, черно пылающие в глубинах позднего вечера, кажется Ефиму, смотрят в упор на него и на всю темную толпу однодеревенцев, сбившуюся вокруг малиновой уже, но еще жарко дышащей груды, и кто-то невидимый ему шепчет:

«Рядом, рядом с человеком живет ненасытная вечная ночь, ночь его постоянного погружения во тьму, звериная ночь одиночек… Вон они поют, слили свои голоса, глаза прикрыли… А ночь, что вокруг, неотделима от них!.. Это только на пока — весь их лад и согласие! Завтра снова начнется для них привычная схватка с жизнью за кусок хлеба, и они накрепко забудут колдовство вот этого часа, все это песенное единство. Их жизнь тяжела и груба, она ничуть, ни в одной малости не подобна искусству, которым живет твоя душа, с которым ты хочешь породнить и ее…»

Как внезапно окликнутый, Ефим оглянулся на мерклое,

истемна-сизое разрастание ночи над недальними лесами и снова повернулся к поющим женщинам и стоял как очарованный. Если бы все тут прониклись случившимся, если бы посмотрели друг на дружку в удивлении и радости!.. Ах, если бы все они после этого пения поняли, что уже переступили ту четко прочерченную черту, разделяющую реальное и чаемое, если бы поняли, что в эти минуты случилось что-то, чего уже не изжить из сознания!..

Но все, все они знают, что с этим жить на земле нельзя, и оберегают себя от этого, все они зачурались от мечты, как от веры в невозможное, чтоб не растравлять зря душу… Есть, есть такая вот «мудрость» в каждом из них… А как ее преодолеть?! Как?!

С гулянка молодежь побежала на Шаболу — кататься на санках, озоровать, навеселиться на весь великий пост.

Ефим отправился туда вдвоем с Алексаном Семеновым. Дни, прожитые в Шаблове, почти все прошли у него в напряженной работе, и теперь ему хотелось поговорить с кем-то, отвести душу или хотя бы побыть у краешка ночного веселья.

С Алексаном Ефим виделся после возвращения из Петербурга несколько раз накоротке, лишь рассказали друг другу в немногих словах о себе.

Примерно в то же время, когда Ефим завершил учебу в Новинской семинарии, Алексан окончил Чижовское сельскохозяйственное училище, вернулся в Шаблово, увлекся агрономией, садоводством, пчеловодством. Мужики, слышал Ефим, шли к нему со всякими крестьянскими вопросами.

Алексан за годы, прожитые Ефимом на чужбине, из ершистого худенького подростка превратился в ладного, крепкого мужика. Лицом и всей статью он похож на своего отца — Алексея Ивановича (по имени-отчеству зовут того в Шаблове, с почтением к нему относятся). Не один год Алексей Иванович служил в Нижнем Новгороде доверенным кологривских лесоторговцев, а до последнего времени был шабловским старостой, попечителем Крутецкой школы. От Алексана Ефим слышал, будто в конторе у его отца, в Нижнем, служил писарем Максим Горький, знаменитый теперь писатель.

Старший брат Алексана Иван учительствует в Рыбинске. И сам Алексей Иванович, и оба его сына для шабловских — люди непростые, и отношение к ним особенное. Семеновы для деревни — не свой брат мужик, хоть и коренные они тут, не какие-нибудь пришлые.

Ефим с Алексаном какое-то время молча смотрели, как резвится молодежь. Для Ефима еще длилось колдовство, оставленное песней:

…Ах ты воля, ты воля!
Ты куда, моя воля, девалась?!

— Да… Алексан… — без веселости усмехнулся он, — только одни ребятишки да молодежь веселятся… Нет, смотрю, такого, чтоб вся деревня… А ведь, помню, было… Теперь — только мы тут с тобой…

— Эх, Ефим… — вздохнул Алексан. — Не до веселья людям: совсем нужда заела, одни нехватки-недостатки кругом… Только и радости — когда праздники! И то не для всех! Вон ведь еще до Зимнего Николы многие приели хлеб-то и теперь живут впроголодь…

Через минуту Ефим кивнул словно бы своим мыслям, повторил:

— Не для всех… А радость-то, Алексан, она ведь всем нужна! Она только тогда и радость, когда на всех она, а не только на отдельных людей… О радости да о правде и сказки-то все на земле! И жизнь надо, Алексан, такую устраивать, чтоб радость была общей. А когда только черная работа да нехватки-недостатки, человек и красоты не видит, которая его окружает… Красоте нужны незамутненные беспросветностью глаза, ей нужен чистый свет в глаза-то! Погибель это, когда человеку для красоты нет времени! Если люди радости не видят, изменяются у них глаза, скучно начинают смотреть на все вокруг, на весь мир… Темнота наступает в душах… Надо, Алексан, будить в людях с детства потребность жить не только ради куска хлеба!.. Ведь уверен: только там, где есть связь с красотой, с искусством, есть подлинная живая жизнь, там же, где она порвана — уже не жизнь, что-то другое, упрощенное, недостойное человека… Совсем, совсем не так должны жить люди, как живут они!.. Как хотелось бы, Алексан, чтоб мечта шла рука об руку с жизнью!..

Ефим посмотрел на друга:

— Тебе такое не приходило в голову?..

— Приходило… Тоже много думаю об этой жизни… Дика и черства она, Ефим… Мечтать деревне, видно, не дано… Слишком задавлен мужик… — Алексан махнул рукой. — Ты вот об искусстве да о красоте заговорил… А я вот о другом тут думаю… Деревня наша — как бедствующий человек, который при болезни, или при несчастье… Тут уж не о радостях речь… Быть бы живу!.. Крестьянину землю надо прежде всего сводить в один клин и быть ее настоящим хозяином. Надо здесь устраивать образцовые хозяйства, показывать мужику, как ему освободиться от пустого ломовизма! А при чересполосице это никак невозможно! Землю,

землю мужику надо сводить в один клин! И хозяйствовать на ней по-настоящему!

Алексан уже не мог на месте стоять спокойно, он взял Ефима под локоть и повел назад, в деревню.

— Ты посмотри, — говорил он, — ведь нигде на свете не владеют землей чересполосно, только в России! Вон возьми иностранцев, у них все хорошо родится: зерно, овощи, фрукты… А мы подобны колобродам со своей чересполосицей, мешаем друг дружке. Опять же за границей человек, получивший, скажем, как вот я, сельскохозяйственное образование, приезжает домой и совершенствует свое хозяйство, заводит всякие улучшения… А у нас?! Что я тут могу сделать в этой колобродной жизни?!

Ах, Ефим, Ефим!.. Голова порой — кругом!.. Один этот наш «крестьянский мир», неподвижный, окаменевший к культурным-то новшествам, чего стоит!.. Вся его «философия» строится на заветах чуть ли не первобытных хозяйств, на дремучих обычаях и воззрениях! Попробуй тут кто-нибудь отдельный, частица этого «мира», пойти своим путем!.. Одно только и слышишь: «Лишка хорошо будешь жить! А майся-ка, как и все! Нам негде зерно сеять, а он про сады-огороды думает!..» Говоришь им: «Я свое требую! Если вы не желаете, так живите в своей чересполосице, а у меня нет такого лишнего времени, чтоб колобродить вместе с вами, искать по полдню свою лошадь или корову, ходить за несколько верст то к одной полоске, то к другой, не могу я заниматься вашим ломовизмом!…» — «Нет, — отвечают одно: — Живи, как все!..»

Алексан усмехнулся:

— А вон почитай, сколько в одной только нашей литературе этих поклонников деревенской общины!.. Их бы заставить похозяйствовать при этой общине!..

— Спасение, Ефим, тут одно… выход из общины! Она крестьянина испортила, стал он усидчивым, неизобретательным, суеверным. Общинник мало думает, как ему выйти из трудного положения, из голодовок… Он, посмотри, как работает: так же точно, как и его дед, как и его прадед, до большего не додумался!.. Заговоришь с ними о новшествах-то, об изменении этих безобразий, только и услышишь в ответ: «Мы и так добудем пропитание». Как будто человек — лошадь, и, кроме сена, корму, ему ничего не надо…

Домой Ефим вернулся уже в полночь, разговор с Алексаном взбудоражил его, он долго не мог уснуть, и мысли его обгоняли одна другую…

«Алексан — практик, — думал он. — Ему тут все по-своему видится. Нынешняя община, верно, устарела, но ее не разрушать

надо (тут он не прав!), а создавать новую! Надо изменить жизнь, чтоб все стронулось с места, сбросило с себя оцепенение, чтоб люди почувствовали, что все они — братья и сестры, которые должны жить, как одна семья, которым только взяться дружно, и сгинет наваждение серости, оживут краски, наступит царство добра и справедливости!..

Таким практикам, как Алексан, объединиться с такими, как я, и мы должны, должны всколыхнуть деревенскую жизнь! Он покажет, как надо по-новому хозяйствовать, мое дело — через картины показывать людям свет впереди, дать им идею новой, иной жизни! Ведь с помощью искусства можно приблизить к людям самое отдаленное, уже сегодня многое показать наглядно! Я напишу картины, на которых наши деревенские увидят иную жизнь, а увидев, они полюбят ее, потянутся к ней!..

Надо с детства начинать! Приучать деревенских ребятишек к искусству, к красоте, развивать в них чувство прекрасного, чтоб они затем входили в жизнь с новым взглядом на нее…»

— Да, Алексан, — шептал Ефим, глядя в темноту, — у деревни должно быть свое родное искусство, своя особая, самобытная культура! Именно искусству должна принадлежать главнейшая роль в достижении гармонии жизни, в этом — единственная наипервейшая цель искусства! Я верю, люди искусства должны сделать невероятное усилие, все деятельные люди должны вместе с ними взяться за дело, и жизнь изменится! Люди просто потеряли духовные связи, надо вернуть им ощущение праздничной единости, братской близости! С этого надо начинать! Без этого никакие преобразования невозможны!..

11

В городе для Ефима почти все дни были на одно лицо, а тут, в деревне, у каждого обнаружилось и свое лицо, и свое имя: то — Герасим-грачевник (прилетели грачи), то Алексей — с гор вода (ростепель начинается, снимай, мужик, днем полушубок!), то — благовещенье (весна зиму переборола!), то — Федул (теплый ветер подул!)…

Весна выдалась ранняя, но затяжная, с частыми похолоданиями. Чуть пригреет, и опять тянется серенькое стылое второзимье… Не зря сказано: рано затает, долго не растает!.. Одиноко, тягостно Ефиму в такие дни. Какой-нибудь вихорек-проныра все стучит отошедшей доской на понебье, бранчливый вихорек, неспокойный, под его стукотливую музыку и в полдне — падевый сумрак. Деревня тиха, безлюдна, разве что промелькнет мимо окон, клонясь под ветром, какой-нибудь проходяга-мужичок, и опять — ни души… Вроде бы и не весна — глубокая осень… Стены теснят, потолок давит…

В полдень выйдет Ефим на Шаболу, постоит, всматриваясь в сумеречную округу. Взгляд остановится на холстах, расстеленных в низинке, под горой, для беленья. Почудится: это его собственные холсты, на которых он должен написать свои задуманные картины, лежат, серые и волглые, на снегу, на виду у такого же серого, набухлого неба… И где тут поверить, что когда-нибудь они станут живописными холстами?!

Ветреный никлый вечер опустится на деревню. С поля потянет сыростью, от леса шум доходит, там еще лежат черствые рассыпчатые снега, в снеговых пластах — чашки-подталины вокруг всякой лесовины.

Ефим уйдет в сумерках, до ужина, за огородцы, на гуменники, туда, где нахохлились темные овины и баки, где чернеется старая кузница.

По травяному, будто прилизанному, руслу вешнего ручья катится мимо ног усмиренная к ночи водица. В деревне уже огоньки закраснелись по окнам. Пройдет неузнаваемый в сумерках мужик, как бы ища потерянное, и Ефим вдруг почувствует, глядя ему вслед, что вроде бы осунулось, постарело лицо от крайнего внимания к этому часу, что не просто он тут, у всполья, в одиночестве остановился, а сам он — частица какого-то огромного одиночества…

И вдруг огородное пугало, перезимовавшее в легкой драной одёжке, бросится в глаза… И представится на миг Ефиму, как его

деревню в потемках окружает целое войско таких забытых людьми бедолаг, ловящих ветер раскинутыми руками… А тут еще высоко взвоет собака, будто ей примстится злой дух…

Трудная, тяжелая пора — весна в деревне: и голодно, и болезни посетили шабловские избы и уже унесли несколько детских жизней… И сам Ефим чувствовал себя как после тяжелой болезни, ослаб и похудел. Невеселые, невеселые мысли приходили к нему. Несколько раз пробовал Ефим писать в такие дни стихи. Печаль этих дней поселялась в их строчках…

В конце великого поста для задуманной картины Ефим решил писать братьев Матвеевых — Фрола и Константина, двух «шабловских просветителей», так про себя назвал он их в шутку.

Фрол с Константином — старики занятные, старозаветные. Они даже одежкой своей выделялись: носили все домотканое, на головах у них красовались катаные высокие шляпы — ведерки из войлока, таких шляп уже давно никто не нашивал. У Константина уцелела единственная во всем Шаблове, а может, и во всей округе, диковинная повозка о двух колесах с загнутыми кверху запятками, так называемый ондрец. На этой повозке Константин возил и дрова, и сено, и снопы…

Фрол был первым учителем Ефима, это он когда-то научил его читать по буквослагательному способу… Постарел с тех пор дядюшка Фрол, развалюшным, ветхоньким стал старичком, заводенели его глаза, неясно он уже видел и слышал, негромко звучал его голос.

Иным просветителем стал его младший брат Константин (для шабловских — просто Костюня). Был он необыкновенно набожным, все свое досужное время проводил за чтением священных книг.

У Костюни отношения с богом сложились непростые. Небеса явно немилостивы были к старику, сам Саваоф отметил его своим особым вниманием! Так считал Костюня, и были у него на то свои резоны… Как-то, среди лета, на Шаблово налетела вовсе небольшая тучка, всего один раз и сверкнуло и громыхнуло из нее, но… попала небесная стрела в жену Костюни, та пробиралась от соседей домой… Костюня остался в твердой уверенности: сам господь бог Саваоф овдовил его!..

Быстер еще Костюня, ходит без батожка, ходит прямо, не гнется. Когда он идет по деревне, отовсюду слышит: «Костюнь! Зашел бы поговорить!..» Говорить он умеет! Говорит красно, затейливо. Коль Костюня в ударе — заслушаешься!

В избе Костюни великим постом частенько собираются шабловские — послушать, как тот читает святое писание. Костюня зажжет лампадку, сядет в красном углу, под иконами, в

чистой домотканой рубахе, раскроет Библию, и начнется чтение, превратится он в деревенского проповедника. После смерти дедушки Самойла однодеревенцы избрали его часовенным старостой, с тех пор и начались эти чтения.

Под божницей Костюня подвязал большой гулкий шоргунец, с языка которого свисает льняная бечевка. Свободный конец ее всегда у Костюни под рукой. Доходя до таких мест, которые считал особо важными, дергал он за бечевку, шоргунец трижды оглушительно прозвякивал, призывая слушателей к предельной внимательности.

Жили эти старозаветные старики на одном порядке с Ефимовыми родителями: через три избы. Первой была изба Костюни, за ней — Фрола. Братья жили бобылями, но раздельно.

В воскресенье, к вечеру, Ефим закончил писать портрет дядюшки Фрола и, направляясь домой, решил заглянуть к Костюне. Еще на мосту он услышал громкий голос хозяина: шло великопостное чтение… Ефим подумал было о том, что, пожалуй, он тут некстати, но перебороло любопытство: он еще ни разу не бывал на этих чтениях…

В избе сидело по лавкам человек двенадцать, все больше пожилые женщины, старики и старухи. Ефим, тихо сказав «здравствуйте», присел на краешек скамьи под полатями…

Трижды пробил шоргунец, Костюня, оторвав взгляд от Библии, возвысил голос, поднял перед собой указательный палец:

— Я желал бы, чтобы все вы были святыми или хотя бы приближались к тому, чтоб всем сердцем верили в истинность святого писания и в духовный мир, потому как и мне, и вам через то было бы облегчение и здесь, на земле, и там — в духовной жизни! И чем праведнее вы будете, тем больше будет облегчения и для вас, и для всех, и для меня! И в обителях блаженных, на небесах, от этого прибыло бы красоты еще больше, а в сферах страдания и ужаса было бы облегчение от нашей праведности! А от грехов затягощаются все и всюду, и всегда! Если вы грешите, то в числе прочих грешников вы мешаете другим войти в обитель красоты небесной, а ежели меж вами не будет ни греха, ни тяжести душевной, то и всем будет легче путь в ту обитель!

Меж собравшихся послышались вздохи и всхлипы.

Костюня сокрушенно покачал головой:

— Вот… расслезить-то вас — полпустяка! А вы лучше следуйте, говорю вам, евангельским заповедям! Чтоб праведно жить!.. Ну да господь с вами! Не я вам судья… Идите по домам! Страстная завтра начнется… Пусть будет мир в ваших душах!..

Когда все вышли, Ефим приблизился к Костюме, все еще продолжавшему сидеть за столом.

— Будь здоров, дядюшко Константин!

— Спасибо, батюшко, душа-человек, на добром слове! — Костюня с прищуркой посмотрел на Ефима.

— Я вот поговорить зашел…

— А какие разговоры-то требуются?..

— Да писать-то тебя я хотел… Договаривались с тобой… Вот об этом и разговоры…

— Писать, писать… — пальцы Костюни побарабанили по краю стола, он еще, видимо, продолжал разговор со своей «паствой», проворчал, скосив глаза на боковое оконце, за которым уже темнело: — Пока разъясняешь им — дакают да такают, а чуть за порог — опять за свое!.. Каждый только о себе будет думать, о своем брюхе, о своей избе!.. А как устроить духовную жизнь, чтоб всем в радость было, об этом думают мало… — Виноватая улыбка шевельнула усы Костюни. — Да и что с них спросишь? Какие они грешники? Живут все больше вполсыта, а вернее, впроголодь, в трудах да в бесконечном терпении…

Вздохнув, Костюня перевел взгляд опять на Ефима; голубенькие глаза его вроде бы еще больше посветлели за эту минуту, никакой спрятанной хитрости не было в них, ничего хмурого или недоброго.

— Так, говоришь, батюшко, писать меня… Брательника-то написал уже?..

— Вот при мне портрет-то… Посмотри… — Ефим поставил ближе к свету портрет дядюшки Фрола.

— Н-да… Похож… Похож брательничек… Память вот по нем останется… Плох уж, не к худому будь сказано… — Глаза Костюни заволокло на миг, свет померк в них и снова ожил. — Ты, я слышал, чуть ли не все Шаблово хочешь переписать?.. На што это тебе? Ведь и платы никакой… Писал бы тех, кто деньги платит… — тут Костюня испытующе, остро посмотрел на Ефима, прикрыв веком один глаз.

Ефим усмехнулся:

— Ты сам-то вот не за деньги с людьми говоришь… И мое дело — такое же: не для себя — для них… Вон за плату-то предлагали Звонова писать… Да душа не лежит. Цели не те. Не для денег пишу…

— А какие бы цели-то?.. — снова посмотрел на него Костюня.

— Об этом коротко не рассказать…

— А ты расскажи длинно!.. Аль некогда?..

— Да если не затягощу тебя, так можно и длинно…

— Не за тяготишь, батюшко! — улыбнулся Костюня. — Садись вот да и говори…

На минутку заглянуть к Костюне собирался Ефим, а вышло так, что засиделся до полуночи. За окнами вздыхала темная, набухлая, сырая апрельская ночь, ее тьма глянцевито чернелась за стеклышками, просилась в избу, где двое забыли за разговором обо всем вокруг…

— Так, говоришь, свету и красоте хотел бы послужить?.. — выслушав Ефима, печально улыбнулся Костюня. — Святое дело, святое дело, парь… Непростой это путь… Много и сам я думал… Грех, Ефим, грех всюду разрушает красоту и свет, тьма всюду теснит их… Царство небесное полно красоты несказанной и света! А тут, на земле, красоты и света мало, потому что мало таких, которые не пожалели бы жизни своей для красоты и света… Трудный это путь, Ефим. Грех стремится всем завладеть, он не любит, не хочет трудиться, он тянет за собой все во тьму, у него одно нетерпенье во всем и нахрап, а красота и свет, они справедливы и терпеливы. Грех все тянет за собою во тьму, а красота и свет тянет вверх, все стремятся спасти, все подымают, трудятся, изнемогая, из сил выбиваясь… Служи, служи, Ефим, красоте и свету, помогай им! Святое это дело!..

Костюня с мягкой улыбкой посмотрел Ефиму в глаза:

— Ты, видать, в деда Самоху пошел… Тот тоже со светлой душой жизнь прожил, царство ему небесное! Ясный был человек! И все укладно, бывало, говорил… Помню: встретился я с ним по дороге на Илейно, он уж плошать стал, а все бодро-веселый был старик… «Живешь здорово ли, Самоньк?!» — поклонился ему. А он тут же в ответ: «Ну, брат-парь, шабаш, голова! Бывало, все — трын-трава, а как стар стал, уставать стал!.. Да-а… вот так, парь, как не вспомнить, што было встарь!..» — «В лес, што ль, подался?» — спрашиваю. Усмехнулся, опять укладно отвечает: «Да ведь таперича время бы лапти плести, надо бы лык запасти! Вот как ненастья были, по лыка мы с Васькой ходили, по ноше в Казенном надрали и ягод пестерь насбирали!..»

Вот так у него все! Веселый и легкий на слова был старик, затейливый! Говорун — на редкость! Царство ему небесное!..

Оно ведь, парь, и снаружи видно, кто насколь христовый человек! Хорошего человека душа с радостью вспоминает!.. — Костюня глянул на окно, вышел из-за стола. — Ну, засиделись мы с тобой… Ступай с богом! Писать-то уж после пасхи приходи!.. А на пасху заходи христосоваться! Слышь ли?!

— Зайду! — пообещал Ефим, улыбаясь. С улыбкой и домой пришел. Неожиданно для себя открыл, что в родной деревне он вовсе не какой-нибудь одиночка со своими фантазиями и планами. Оказывается: есть и думающие не только о «своем брюхе, о своей избе», но и о тех, кто живет рядом, пусть и на свой

налад думающие-то!..

В темноте своей комнатушки Ефим все вел разговор с Костюней, и когда уже сон стал перебарывать его мысли, все кружились, возникали перед ним какие-то улыбающиеся лица, и среди них вдруг возникали лица дедушки Самойла, бабушки Прасковьи, лица шабловских ребятишек, лица Фрола и Костюни… Из солнечной глуби давнего-давнего памятного дня явилось ему лицо Флавушки, «Иди, иди, Ефим, светлой дорожкой! Иди, не сбивайся!..» — улыбался и ласково смотрел на него Флавушко…

12

В Кологрив Ефим так и не собрался, чтоб писать портрет Минея Звонова. Не мог он взяться за эту работу, тут было бы что-то вроде измены тому светлому миру, который он создавал пока что больше в мечтах, глазам шабловских ребятишек, глядевшим на него со стен комнатушки…

На страстной неделе от Невзорова пришло коротенькое письмо:

> «Милостивый Государь Ефим Васильевич!
>
> Вы пообещались с великого поста начать портрет со Звонова, но почему-то не исполнили обещания, по этому случаю не найдете ли возможным с первой же почтой ответить мне положительно: будете писать или нет, а если будете, то когда именно, что для меня необходимо знать. Остаюсь с истинным к Вам почтением, известный вам А. Невзоров».

Ефим ответил, что от заказа отказывается из-за нездоровья.

Дни выдались по-весеннему ясные, и Ефим наслаждался после долгой серости и стылости теплотой и тишиной. Перед пахотой, перед весенней страдой деревня еле-еле шевелится, как муравей, едва пригретый солнцем, но завтра этот мураш встряхнется, и начнется для него хлопотливое целодневное кружение…

В конце почти каждого дня Ефим уходил в ближний лес, где солнце припекает получше, в затишках, где снег местами сошел, и уже цветут яркие цветы голубой перелески.

Ефим с детства любил весенний лес именно в эту пору: тихо в нем, светло, прозрачно… Серая ольха уже доцветает, ее красноватые сережки всюду перед глазами, и уже сережки лещины вовсю пылят на ветру. И почки на березах вот-вот лопнут! А в ельниках наливаются почки черники. Зацветают — осина,

козья ива, волчье лыко…

Все движется, все дышит, не знает покоя. В лесу над пригорками курится молочный пар. Отпотела земля. И первые стрелки яркой травы вонзаются в напитанный влагой воздух. И уже горят бледно-желтые огоньки на солнечных склонах: зацвела мать-и-мачеха…

В лесу, хоть еще и держится снег, лежит по низинам, но уже оттаял, задышал рыжий муравейник, появились на нем первые муравьи-разведчики…

А на Унже по ледяным кромкам ходят трясогузки. Не зря их ледоломками зовут: прилетели они — жди вскрытия реки.

Ефим повадился ходить еще и под гору Скатерки, где из-под глиняного пласта всегда бьет живой шумный ключ. Долго просиживал тут на сухой ольховой валежине, пил холодную чистую воду, дышал запахами прелых прошлогодних листьев, талой земли, молодой травы, кое-где пробившейся на свет. Потом поднимался и, выбирая сухие места, шел вдоль уреза пойменной террасы в сторону Бурдова, перед самым Бурдовом поворачивал к дому.

Ключевая вода, молодая робкая зелень, острый весенний воздух, настоянный на снеговой воде, жадный, будоражный крик грачей над липами и тополями Шаблова — все это лечило. Ефим давно не чувствовал весны так остро. О Петербурге старался не думать, казалось: все тяжелое осталось там…

Вспоминались Ефиму другие, далекие дни в Шаблове, среди которых он со своими дружками затевал игры на рёлке. Бывали там и шумные игры, и тихие, вроде колдовства над берестой и глиной, когда он, окруженный товарищами, пристальный, отчужденный от всего вокруг, то бересту складывал в утки, так что у него получались либо куры, либо петушки, то ульи лепил из глины, то — затейливые ковшички, то — собак, лошадок, медведей…

По весне на глинистых берегах Унжи, как из-под земли выросши, забелеются барки. Постройка и спуск барок-гусян с малых лет для Ефима — лучшее зрелище. Барки обычно строили на левом, кологривском, берегу Унжи, под деревней Дупленихой. Но, бывало, закладывали барки и на шабловской стороне — под Крутцом…

Как только, бывало, лед тронется, дружки вопят под окнами Ефимовой избы: «Фим! Фимко! Пошли на барку глядеть!..»

Ах этот сладкий, тревожный миг, когда над притихшей толпой взовьется голос мастера: «По команде выбивать!..» Весь берег обомрет, окаменеют вдруг матерые бородачи… В каждом лице — ожидание чуда…

Любил Ефим тот миг, когда всеми людьми, суетившимися вокруг деревянной крутобокой громады, вдруг овладеет радостный испуг, а барка, под которой подрублена последняя стойка, с треском страгивается с места и входит тупым носом в серую, жадно плещущую воду Унжи. Громыхнет, охнет, словно бы пошатнется весь весенний воздух. И вал воды побежит впереди съехавшей с берега барки к другому берегу, а позади барки дымятся от только что проскользившей по ним непомерной тяжести смоленые бревна-покаты…

Барка тут же замрет, туго-натуго натянув канаты. И только слышно в наступившей тишине, как где-то, высоко над берегом, трепещется в вешней голубизне жаворонок, купается в своей песне, да журчит, шумит в береговых промоинах сбегающая в Унжу вода…

И тут же будто опрокинется вдруг мир: все как-то разом загалдят, замашут руками… И солнце вдруг осыплет живым серебром прогалины между редеющими льдинами. Смотрит Ефим, как эти льдины тычутся в сияющий желтый борт барки, грызут друг друга…

Спущенную барку потом оснащают уже на воде, ставят мачту, рубят избушку для команды, устраивают гребь. На плаву барку и нагружают. Из ближних деревень набежит толпа звонкоголосых баб и девок, скоро у них дело спорится: высоченные борта барки огрузнут, почти все уйдут под воду… И все это — один: многоликий праздник для Ефима, рождающий в нем удивление: какую махину за малое время сработали и снарядили деревенские люди! Кажется: в берегах вздувшейся широкой Унжи тесно такому деревянному острову!

Барка дождется, когда сверху приплывет караван таких же «гусян», вместе с ними и уплывет книзу, до самой Волги. Все стихнет. Куда-то разбредутся люди, на берегах Унжи поселится странная невесенняя угрюмость, наползет похолодание, а то и второзимье вдруг, разразится, завалит небо тучами, опять полетят белые мухи. Весна тут капризна… Кто-то проплывет в сторону Кологрива по вздувшейся студеной Унже на неуклюжей лодке-завозне, молчаливый, нахохленный, будто сосредоточивший в себе всю печаль по схлынувшему весеннему оживлению, и останется в душе и в памяти… И Ефим все еще видит, как на белом берегу Унжи барошники работают барку… Пестерья с едой висят на сучьях березки, топоры брякают, голоса слышатся над спящей Унжей, каждое покашливание различимо…

Вслед за барками уйдут по реке соймы — многоязыковые плоты, и совсем притихнет Унжа — до следующей весны…

На Унже начался ледоход. В субботу первым пароходом из

Кологрива приплыла Саша, чтоб пасху провести дома.

В тот же вечер Ефим отправился на берег вместе с сестрами — посмотреть на реку. Унжа бугрилась под вечерним солнцем, воздух был каким-то переменившимся после будоражных могучих покриков парохода, проплывшего мимо деревни в полдень дважды — вверх и вниз по течению.

Постояли над вешней водой, проносящей мимо них соймы с молчаливыми плотовщиками.

Ефиму вспомнилось, как однажды он стоял на этом самом месте с дедушкой Самойлом и тот рассказывал ему про какое-то неведомое Заволочье, куда, еще молодым, он ходил на заработки, про тамошнюю жизнь: люди там жили, не зная «крепости», вольно, мол, избы в Заволочье высоченные, народ приветливый, много там и лесу, и всякого приволья…

Слушая дедушку, Ефим смотрел тогда на проплывающие мимо плоты, и ему казалось, будто они плывут из того неведомого Заволочья, и виделось ему такое, что тут же, на берегу, складывалось в сказку-видение, перепутывая явь с примечтавшимся…

…Голубая Унжа. Белые облака. По Унже плывут и плывут большие краснокорые плоты из Заволочья, а на плотах виднеются шалашки, а перед шалашками горят теплины, и сидят у шалашек румяные, веселые бабы, вышивают на пяльцах, а мужики рубят дрова, и по реке весело раздаются удары топоров… И весело кричат заволоцкие мужики и бабы: «Идите к нам, в Заволочье жить!.. У нас там хорошо!»

И вроде бы все шабловские пошли в Заволочье и стали там жить в диковинной богатой деревне. Вдоль деревни протянулись тесовые столы, и на них пироги и всячина: любой подходи — ешь!..

Поднимаясь от Унжи в деревню, он намного обогнал сестер, тихо ходить Ефим не любит, а тут еще и такие фантазии словно бы гнали его вперед, как на крыльях несли!..

Направился было домой, но напротив Костюниной избы махнул рукой, свернул к старику. На сей раз Костюня был один. В избе пахло березовым распаренным веником, баней. Поздоровавшись с Костюней, Ефим кивнул на печь:

— Тебя, дядюшка Константин, как будто с легким паром надо поздравить?!

— Да вот попарился перед светлым-то днем! Только что из печи вылез. Не люблю баню. Голове там жарко, а ноги стынут. На кутенку улезешь — то лишка жарко, то уже выдохлося… Опять слезай — бздавать!.. А в печи жар ровный, хлыщешь веником — хорошо! И ногам жарко, и голове вольнее — к челу-то! А ежели

лишка жарко, так заслонку приоткрыть можно, а то и трубу… Напарился, вылез и оболокайся в теплой избе, не надо выходить на волю, особливо в холод или в дождь когда… И дров лишних не жги! А для старого да хворого матушка-печь — благодать!..

— А я вот заглянул к тебе мимоходом: на Унжу ходил с сестрицами смотреть… — сказал Ефим.

— Я тоже, парь, третьеводня ходил, смотрел… Лето худое должно быть: лед-то тонул… и на берегах его много осталось… Слаба ноньча Унжа, слаба!..

Так, слово за слово, разговорились, опять засиделись до глубокой темени…

Выйдя от Костюни, Ефим постоял среди деревни, вслушиваясь в шум воды, доносившийся со дна оврага: иначе жил теперь ручеек, о котором он рассказывал ребятишкам еще при январских морозах…

Ефим посмотрел в сторону Кологрива, в непроглядную сырую темень, в которой не видно было ни огонька. Вокруг стояла та же напитанная сыростью тишина, даже собачий лай не слышался.

Не такую бы, не такую бы жизнь он хотел видеть вокруг! Чтоб она не в какие-то редкие дни просыпалась, чтоб повседневно была живой!

Всюду — замкнутость, узость… Замыкаются в своей избе, в своей деревне, в своем городишке, в самих себе… Только о прокормлении и забота…

Показать бы людям, какой должна быть жизнь! С затеями, с радостью, чтоб они умели жить, как дети!.. Ведь только сплотиться бы всем, чтоб жили, как одна семья! Вон — взять хоть постройку барок: какую громадину, бывало, сгрохают за небольшое время! А как быстро поднялось Шаблово после пожара?! За какие-то полгода почти всю деревню отстроили заново! Вот так же бы взяться всем миром за саму жизнь!..

13

Ефим зачастил на Унжу. Вешняя вода что-то давала душе: хоть она-то жила в лад с тем, что жило в нем самом!..

Обходя свой, шабловский, берег, Ефим находил целые оковалки охр, попадались ему даже белые глины, вымытые паводком из береговой кручи.

Как мальчишка, Ефим поднимал камушки, удивляясь их красоте, любуясь их полуночным блеском. Попадались ему темные голыши, прослоенные слюдяными блестками, попадались белые, известковые, формой — яйцо, такие подкладывают курам в

гнезда, встречались камни, удивительные по форме и цвету.

Весна была пока холодна, но земля отпотела, закурилась, дни выстаивали мглистые, полоски озими за деревней казались снулыми, и леса за Унжей не синелись, а проступали полуразмыто сквозь мглистый воздух, полунамеком, как на японских гравюрах.

Места выгона не просохли, да и трава еще не пошла в рост, скотину, однако, выпустили на волю на егорьев день, как обычно. Голодный коровий рев огласил окрестности, рассыпалось под Шаболой плачущее овечье блеянье. Скот от плохого корма, от долгих холодов был космат и грязен, на иную животину тяжело было смотреть.

Два Егория в году: Егорий-холодный — в конце ноября, и Егорий-голодный — в конце апреля. Накануне Егория-голодного Ефим дописал портрет Костюни. Вечером, в ранних сумерках, он отправился на Шаболу, наковырял там глины в обтаявшей ямине, решил заняться лепкой.

Вечер был прохладный, по низинам голубела холодная мжичка, над лесом, в илейновской стороне, стояло долгое недоброе рдение…

Выбравшись из ямины, Ефим остановился, зябко сутулясь, с комом глины в руках, завернутым в старенькую холстинку… Со стороны Савашовского поля он услышал вдруг детское пение… По тропе, ведущей от часовни в сторону Бурдова, медленно шла ватажка ребятишек. Кто-то нес зажженный фонарь, огонек помигивал и покачивался над темным сырым полем. В тишине вечера четко слышно было каждое слово, ребятишки вопили «Егория»:

Батюшко Егорей! Макарей преподобный!
Спаси нашу скотинку, всю животинку,
В поле и за полем, в лесе и за лесом,
За крутыми за горами, за желтыми за песками!
От волка, медведя, от хищного зверя!
Волку, медведю, хищному зверю —
Пень да колода, белая береза!
Нашей-то скотинке — травка-муравка,
Зеленый лужочек, быстрый ручеечек!
В ручейке напьются, домой поплетутся
По тропочке, по дороженьке!..

Ефим как зачарованный стоял на горбушке Шаболы, забыв обо всем на свете. Тишина сумерек будто околдовала всю округу, и только звонкое удаляющееся детское пение жило в этой

тишине…

Стылые, серые сумерки, темное ссутуленное поле, нахохленные избы, бедная замершая жизнь… Но живут, живут тут чистые ясные голоса!.. Вон они, удаляясь, словно бы манят его за собой в глубину вечера, покачиваясь, плывет огонек — вечерняя путеводная, путеводная для самого Ефима, звездочка…

«Вот — будь с ними!..» — припомнились Ефиму слова из того не уходящего из памяти сна, случившегося в святочную ночь, и, улыбаясь, он пошел домой.

14

После Егория-голодного в комнатушке у Ефима опять стало шумно, ребятишки зачастили к нему. Он рассаживал их по скамейкам и табуретам: кого — с книжкой, кого — с комом глины, кого — с карандашом и бумагой. Сам устраивался за столом, занимался лепкой.

Задумал он вылепить небольшую композицию: избушка, вроде зимницы, неказистая, с волоковыми оконцами, выкрытая корьем, возле избушки растут елки, перед избушкой на скамье сидят старичок со старушкой, старичок лапоть плетет, старушка сметану пахтает… Пришла фантазия вылепить то, с чего начиналось когда-то Шаблово…

Еще в декабре, ночуя в зимнице, представил Ефим под россказни мужиков такой вот древний крошечный мирок, затаившийся посреди огромных девственных лесов, — некий первообраз родной деревни.

— Это ты чего лепишь-то, дядя Ефим? — спросил его Ванюшка Скобелев. — Не кордон ли?..

Ефим усмехнулся:

— Да, пожалуй что и кордон!.. Давайте так его и назовем: Шабловский кордон! Ведь раньше, когда-то давно, с такой вот избушки все тут у нас и начиналось! Был тут только дремучий лес… И появилась на нашей Шаболе вот такая избушка, самая первая… И окошечек-то у нее не было почти… И жили в той избушке вот такие старички, назовем их — дедушко Ондрий и бабушка Палагея…

Ребятишки забыли обо всем на свете, слушают Ефима, затаив дыхание. А для Ефима в этом и цель — пробудить в них любопытство и удивление перед миром, дать им почувствовать, как все вокруг них переплетено-перепутано потаенными звучаниями и голосами, пусть-ко их окликнет родное прошлое, пусть они поглубже почувствуют необыкновенность и

таинственность родных мест!..

Рассказывает Ефим, и приятно ему ощущать под руками глину. Хорошо приготовленная глина — необыкновенно родной, свой материал, из него так легко извлекать воображаемые формы, глина словно бы позволяет видеть корни того, что ему хотелось выразить, сама подсказывает самые живые подробности, сама напоминает: вот таким все было когда-то…

За неказистой первобытной избушкой размечтавшемуся Ефиму вдруг увиделось иное Шаблово — будущее… Дальнее прошлое вдруг объединилось чудесно с каким-то диковинным добрым будущим и породило видение: представилось Ефиму Шаблово, как та заволоцкая деревня, однажды пригрезившаяся ему на берегу вешней Унжи, и, пролепливая, трогая руками лесную черночадную избушку, Ефим говорит обступившим его ребятишкам:

— Нет, не так бы, не так бы я построил деревенские жилища! Не было бы ни одного без выдумки, без затей! Вон, к примеру, у Степана Скобелева дом был бы с петушком на крыше, у нашего вот соседа, Михаила Шалыгина — с медведем, у Ефима Савостьянова — с зайчиком, у дедушки Хохолка — с гусем, у Семертиковых — с уткой, у Афоныча — с человечком, у Николая Фадеева — с цветком!.. Над каждой избой, возвышалось бы что-либо: то птица, то подсолнух, то звезда… Как бы занятно было смотреть на такую деревню!..

Ребятишки, гладя на него, как на сказочника, согласно кивали: да, такую бы деревню увидеть!..

Умывшись талой водой, воспряли первоцветы: желтый гусиный лук, трехцветные фиалки, сиреневые хохлатки, вдоль троп и дорог, по склонам оврагов храбро распрямилась молодая травяная зелень, в Пихтином логу выдвинули лиловые завитки папоротники, зацвело лесное копьецо (медвежья травка), в ее пониклые фиолетовые колокольчики почали заглядывать пчелы, вовсю рылись в них толстые шмели. Унжа в полдни искрилась и полыхала. Привалило большое тепло, по горушкам закурилась испарина. Светлое установилось время, одни старые кукушки среди этого сияющего под солнцем великолепия все жаловались на вдовью жизнь.

Лес был наполнен живыми голосами: посвистывали поползни, пинькали синицы, слышались переливчатые песни овсянок, перекочевавших с полей на лесные опушки.

Под окнами Ефимовой комнатушки засобирались цвести черемухи, по их веткам уже выбились кисти с горошинами завязи. Еще давней осенью, в тот самый год, когда Ефим приезжал в

погорелое Шаблово, он посадил рядом с новой избой несколько кустов черемухи и смородины. С той осени прошло уже десять лет, посаженное под окнами разрослось и загустело, и теперь Ефиму было отрадно работать у себя при распахнутых окнах.

С приходом теплых дней он решил взяться за писание эскиза картины. Для нее уже были сделаны зарисовки и написано много этюдных портретов и маслом, и акварелью.

Свой Кордон Ефим поставил пока на мосту для просушки. Потом, при досуге, он хотел обжечь его и раскрасить. Население Кордона разрослось: кроме баушки Палагеи и дедушки Ондрия, рядом с избушкой появилась целая ватага ребятишек с лукошками в руках, и еще несколько старичков и старушек. Каждый из них получил свое имя: Ефим лепил не что-нибудь игрушечное, пустяковое, не какие-нибудь глиняные поделки, он создавал древний лесной мирок, в котором все эти ребятишки, старички и старушки живут доброй, простецкой, затейливой жизнью, окруженные темным дремучим лесом. Все они были для него почти живыми существами, имеющими свой характер, свою натуру, свою речь… Он даже заговаривал с ними…

В Петербурге, на выставках, Ефим видел скульптурные работы, выполненные в так называемой малой пластике — фарфоровые статуэтки и вещицы, майоликовые изделия с использованием полив, необыкновенно богатых по колориту. Но все это было только декоративным, каждая скульптурка — просто вещь. Он же лепил теперь что-то совершенно особенное, иное…

Ему пришлось слышать, что сам Репин своих «Запорожцев» исполнил сначала в глине, что Ге тоже вылепил «Тайную вечерю» прежде, чем приступить к писанию самой картины… Но и там были иные цели — композиционные, черновые, подсобные, эскизные… Он же просто стал создавать некий лесной мирок, который виделся, представлялся, являлся ему еще в самых ранних детских вымыслах и фантазиях. На создание этого мирка только одна глина и годилась, и тут, как и в живописи, он сразу же стал придерживаться самых простых приемов, детальная, тончайшая выделка форм так же не годилась для его Кордона, как и какая-нибудь изощренность и чрезмерная мастеровитость — для тех крестьянских портретов, которые он писал, для задуманной большой картины. Тут больше всего надо было заботиться о простоте, об искренней непринужденности, так характерной для народного творчества. И точности и меткости жестов и поз ему было мало, главным для него было — передать сам дух всего родного, лесного и древнего.

Май. И земля уже тепла, посевна. Подымай, мужик, сетево! Сей овес и рожь!..

Деревня впряглась в пахоту и сев, началась весенняя чересполосная колобродица. Все шабловские целодневно пропадали на своих полосках.

Ефиму тоже пришлось пока забросить свои дела и вместе с отцом работать в поле. Вся земля была искромсана на небольшие наделы, у каждого был клочок земли усадебной оседлости в общем огородце, была выгонная и покосная земля, находившаяся в общем пользовании со всеми однодеревенцами. Пахотная земля у отца была в трех полях: Заднем поле, Среднем поле, Нижнем поле. И названы-то все эти поля, будто в насмешку, — «потеряхами»: Ближняя большая потеряха, Ближняя малая потеряха, Дальняя малая потеряха… Кроме «потерях», есть еще «заполицы»: Заполица первая, Заполица вторая… Сеял отец и на Илейне, на своей Лёвиной кулиге, каждый год распахивая там новины…[11]

Пахота превратила Ефима в самого обыкновенного крестьянина. До нее он всем своим видом отличался от однодеревенцев, был всегда одет по-городскому. В последнее теплое время он ходил в полотняной темно-синей косоворотке, носил широкий кожаный пояс, тонкие суконные брюки и штиблеты… А тут надолго облачился в домотканые обвислые порты с одной пуговицей, в домотканую рубаху с заплатой, во все плечо, без воротника и обшлагов, на ногах появились лапти с онучами…

Увидав его в таком одеянии, мать, отвернувшись, вздохнула… Так просто Ефиму было расслышать за этим вздохом невысказанные, прибереженные до поры до времени укорные слова: «Вот тебе и все твое ученье! Вот тебе и все твое художество!.. Столько лет ухлопал невесть на что!.. Стариков-родителей оставил без помощи, а чем все кончилось?.. Да все теми же лаптями и онучами!..»

Ефиму пришлось начинать теперь все заново. Его ровесники давно уже были опытными крестьянами, он же отправился с отцом в поле, чувствуя себя идущим на какое-то нелегкое испытание. Пахать ему не приходилось давно. Непросто было ему, многие годы жившему совсем другой жизнью, оказаться в поле, на виду у всей пашущей деревни, которая, уж само собой, станет коситься на него с любопытством и усмешечкой, а может, и подтрунивать, подкалывать… Шабловский мужик — на язык боек и остер, мастер заводить настырчивые разговорцы…

В то утро Ефим проснулся еще при темне, лежал, представляя, как после большого перерыва возьмется за чапыги сохи… В темноте ему казалось, будто он слышит, как дышала и вздыхала перед рассветом парная, бухлая весенняя земля… И по-новому резко почувствовал Ефим случившеюся в его жизни перемену, как замкнувшуюся наглухо вокруг него цепь: из крестьян — в учителя, из учителей — в художники, из художников — в крестьяне… Что бы сказал Костюня по этому поводу? «И возвращаются ветры на круги своя?..»

Ему предстояло впрягаться и тянуть тот же воз, что и все тут. Отец совсем оплошал, жаловался на простуженные ноги, на постоянные прострелы в пояснице…

Кому какое дело до того, что Ефим думает о чем-то большем, чем живущие с ним рядом, что носит в себе мечты и планы, что ему хотелось бы переиначить всю эту бедную, скудную жизнь. Он вспомнил вдруг слова Толстого, врезавшиеся в память еще в годы учебы в Тенишевской студии (вместе со всей Братией он каждую новую статью великого писателя воспринимал как откровение!): «Искусство не есть наслаждение, утешение или забава: искусство есть великое дело…» Именно великое дело… Но что до всего этого окружавшей его деревенской жизни, что ей до искусства?! Она вся — сама в себе, в своих нуждах и бедах…

Среди погожего утра Ефим с отцом, ведшим под уздцы Карька, пришел к обсохшим полоскам поля, называемого Ближней большой потеряхой.

Утро затопило светлым паром лесное всхолмленной Заунжье. Пахло влажной весенней землей и дымом, отвесно и почти незримо восходившим над Шабловым в ясное сияющее небо, узенькие его струйки едва угадывались над трубами. От утренней свежести, от покриков пахарей, от этой сковывающей неуверенности Ефима даже знобило слегка.

Мужики перекрикивались друг с другом со своих полосок. Неподалеку пахал Костюня, весь в белом, холщовом, в своей неизменной шляпе-коломенке. И лошадь у него была под стать ему: сивая, с отвислой нижней губой, от старости уже в гречке, с потертыми боками, костлявая.

— Ну и кобыленка у тебя, Костюнь, на кострец-то, ровно на шею, хомут можно надеть! — кричал ему сын дедушки Федора.

Костюня только покрякивал в ответ.

Отец, понукнув Карька, повел первую борозду, Ефим смотрел ему вслед, растерянно жмурясь: его, взрослого человека, оставили на меже, на виду у всей деревни, как какого-нибудь мальчишку… Правда, оставил его отец ненадолго. Разлато ступая, пошатываясь в борозде, на ходу обивая поблескивающую палицу о подвои, отец

приблизился к тому месту, откуда начал вспашку.

— Тпррру-у-у! — натянул он вожжи и кивнул Ефиму: — Ну, что же… Давай, этта, попробуй!..

Ефим встал к плугу. Сухая, с кремневыми мозолями рука отца задержалась на его плече. Покашливая, отец наставлял:

— Посередке полосы — полбеды пахать, а вот по закрайкам, на поворотах!.. Вот где нужны мужику руки-то! Тут весь смысл пахоты! Подрезать, подрезать надо! Уж тут поглядывай! И лошадь зазря не дергай! Ее тоже слушай, она — не дура! У нее свое чутье есть! По закрайкам и лебеда охоча расти, и чемерица, и мятник, и осинка с ольхой тут норовят корешки пустить… Тут и надо поприлежней быть: подрезай тут плугом как след, чтоб не было им на полосу ходу!.. Ну, — с богом!

— Рё!.. — Ефим неуверенно тряхнул вожжами.

Карько дернул тоже неуверенно и осекся, не сумел стронуться с места, затоптался, приноравливаясь к новому рывку.

— Рё! Рё! — громче прикрикнул на него Ефим. Это «рё» он перенял еще у дедушки Самойла, тот обычна так понукал лошадь, не «нокал». Плуг дернуло, потащило, и Ефим заторопился, почти побежал за ним, утопая лаптями в рыхляке новой борозды, спиной ощущая на себе пристальный взгляд отца.

Задумался, глядя на неумело пашущего сына, Василий Самойлович: «И что с ним?.. Совсем-совсем другого какого-то ладу человек… И о жизни, бог весть, какие понятия в голове у него засели… Все-то он витает над ней… Так с самых малых лет за ним это было, будто сны наяву видит… Не крестьянин, не мужик…»

Течет, бежит перед Ефимом желто-серый пласт, будто земля разверзается у самых ног… И вдруг он как будто со стороны себя видит, каким-то поднебесным взглядом: ссутуленная серенькая, неказистая фигурка, и рядом с ней снуют по обеим полоскам десятки других, и все они словно бы бредут, бредут по кругу с завязанными глазами, и с этого круга не сбиться, не сойти…

Скоро начало припекать как следует, стало душно, парко. Молодой еще меринок Карько задохся, от запала бока его ходили ходуном. Ефим остановился. Оба понуро замерли посреди полосы, окутанные теплом и безветрием, дымноватым дрожащим от воскурений воздухом. Карько вяло обмахивался хвостом и, видно, еще по инерции, будто на ходу, все кивал и кивал головой… Ефим стоял, присугорбившись и ослабив вожжи. Жара и духота, эта каторжная работа взгрели его: на лице, на руках посверкивали капли пота…

Отец ушел в деревню — готовить семена под посев. Ефим вдруг почувствовал себя страшно одиноким, он ощутил странную

разомкнутость со своим прошлым, настоящим и будущим… Ни единой крепкой надежной связи, ничего… Никого вокруг, в ком можно было бы найти понимание… Думать, мечтать о работе в деревне, оказывается, куда проще вдалеке… А тут и к своим, самым близким, нет прямых путей… Один насмешки и укоры ждут его…

«Я вижу лишь конечную цель-мечту… А как дойти до нее и довести других, что делать?.. Ни средств у меня, ни чьей-либо поддержки… Ни-че-го…»

— Что, Ефим Васильев?! Это тебе не картинки писать!.. — крикнул ему со своей полосы, тоже остановившись, чтоб отдохнуть, сосед Павел Лебедев. — Говоришь: запарился?!

Ефим только головой мотнул, будто сваливая с себя тяжелые мысли и приходя в себя. Дернул за вожжи:

— Рё, Карько! Рё!..

Пахота и сев постепенно втянули его, подчинили своему каждодневному ходу. Работа стала у него ладиться. Мать даже как-то похвалила его: «Ай да Ефим, дуй да пошел! Ишь ведь как наладился! Без тебя бы и не знай как управились мы в нонешну вёсну! Ай да помощничек!..» За этой похвалой одно едва-едва пряталось: как было бы хорошо, если бы их сын забросил свои пустые занятия и стал бы крестьянствовать вместе с ними, как другие со своими родителями!..

16

Ефим возвращается с сева домой. Целый день он боронил, а отец ходил по полосе с кошницей в руках, широко разбрасывая зерна. Сеяли они на Илейне.

Лапти-тупоносы глухо постукивают по тропе, протоптанной в меже, уже обросшей лебедой и полынью, ноги то и дело запинаются о неровности тропы. Под самой деревней он обессиленно опустился на межу, залег в нее, примяв траву, затих, окутанный душноватым теплом.

Бессвязный лепет ключика, посвисты, щелканья, воркованье отовсюду, будто всякое дерево, любой пригорок, откосок лужайки, все в путаных разговорах меж собой. И эти разговоры то взволнуют, заставят сердце часто забиться, то успокоят, и Ефим лежит, прислушиваясь, как окружающий вечерний покой все тем же теплом, которое стоит по всей округе, струится по его телу. И одно чувство владеет им: жизнь с улыбкой отдал бы за весь этот добрый, прогретый мир!..

Так вот лежать, зная лишь радость этого часа, едва-едва помня себя вчерашнего; все изжитые, минувшие дни, они просто остались за спиной, они — высохшие русла…

Тут — все родное, тут — судьба. Все не в стороне, а вокруг живет, обступив, окружив его кольцом родства. Поверить в бесконечность этой доброй музыки, уйти в нее с головой, довериться размягчающему теплу, не думая о том, что в любой миг эта жизнь вновь может окутать январской стужей…

Рядом тихим ласковым писком тронула тишину птица. Нежно растаяла протяжная нотка, и слышны стали и шорох былинки, и легкое ворошенье опустившегося неподалеку жаворонка… Ефим вдруг почувствовал себя точно растворенным во всем родном, казалось, все, что видели его глаза, было им самим, он стал душой всего, что окружало его…

В траве ползли-торопились по своим непостижимо-важным делам всякие казарки, божьи коровки; земляные муравьи совсем неподалеку бегали по сухой кучке земли. Кучка была рыхлая, с маленькими дырочками, и муравьи лазили в те дырочки и выбегали обратно. Ефим осторожно отлег подальше, чтоб не повредить им как-нибудь ненароком…

Он лежал на меже, в ее вмятине, всей спиной ощущая доброе тепло земли, и она казалась ему огромной, слабо зыблющейся колыбелью, и небо наклонилось над этой колыбелью, как улыбающееся материнское лицо…

Ладонь прижалась к траве. Ефим крепко зажмурился и лежал, плотно сжав губы, почти не дышал. Родной угол принял его, как свою живую часть… Только теперь Ефим почувствовал это и улыбнулся, подумав, что это пришло к нему так вот потому, что он вернулся к крестьянскому труду, к настоящей крестьянской жизни, это возвращалось к нему исподволь, день ото дня, и вот окончательно вернулось как раз в такой день, когда они с отцом покончили с севом…

Так он лежал долго. Поднялся, когда уже закатные лучи подсвечивали лишь самые гребни высоких облаков, вскипевших над заунженскими борами. Легкие сумерки уже размыли те дальние боры. Наверное, последняя пара горлинок пролетела с полей в ту сторону. В светлом вечернем небе четко был слышен посвист крыльев, рассекающих воздух. Горлинки торопились на ночлег. Шабловские избы стояли смиренно, крыши их солнышком пробило насквозь за долгий погожий день, заревой свет облил их густо-оранжевой пеной. Необыкновенно спокойной и мирной была родная деревушка…

«Да, стать таким, как все, слиться со здешней жизнью!..» — с этой мыслью Ефим подошел к избе…

После сева, уже в начале июня, подоспела «навозница»: все Шаблово возило от дворов навоз на пары. «Подпарим земельку под озимку!» — сказала Ефиму мать, и Ефим впрягся в новую работу. Была она легче, чем пахота и сев…

На бревнах, сложенных в три наката под окнами избы Алексея Ивановича Семенова, вечером второго дня «навозницы» собрались мужики. Был тут и сам Алексей Иванович, и его сын — Алексан, и брат — Андрей, сбрелись сюда Николай Скобелев, Костюня Матвеев, Михайло Шалыгин, Павел Лебедев, Степан Скобелев…

В сумерках Ефим вслед за отцом пришел сюда же. Собравшиеся завели спор об общинной и отрубной деревенской жизни. Такие разговоры заводились при Ефиме не раз и в поле, когда мужики собирались где-нибудь в стороне на отдых. Ходили слухи, будто готовится какая-то земельная реформа, по которой всякий крестьянин, желающий хозяйствовать по-своему, получит землю «к одному месту».

В руках у Алексана была небольшая книжечка, видно, он читал или собирался читать из нее мужикам.

— Жить надо разве так, будто землю нам только на подержание дали?! — говорил он. — Не на подержание, нет!..

— А на что же?! На подержание и есть! — перебил его Костюня. — Чудак-рыбак поймал чурбак, кричит: «Судак! Большая рыба!» Это как же не на подержание? С собой туда ничего не возьмешь!..

Алексан спокойно улыбнулся:

— На улучшение! Вот на что! Чтоб не разоренной, не какой-нибудь никудышной она осталась после нас, а лучше, чем была! А мы как на ней хозяйствуем? И смеяться и плакать враз хочется!.. Под озимое парим около средины июня, когда и пары-то не уковыряешь! Не лучше участь и яровой земли: кой-как семена разбрыляют, половина с сором, и думают, что все сделано! Остальное, мол, — воля божья! И смотрят все лето в небо! И ковыряют-то свою землю чем?! Кривой сохой да хлупцовой бороной…

— Да-а… Оно, конечно, что живем не так!.. — усмехнулся Степан Скобелев. — Надо бы укоротить горлодеров, а то кричат без ума на весь деревенский мир, из-за них никак не подобраться к настоящему хозяйствованию!.. Община, само собой, — устарела!..

— Общинная жизнь выгоднее, — снова заговорил Костюня, —

потому как в ней крестьянин найдет себе и совет, и указание, защиту и поддержку! На миру-то, говорят, и смерть красна! Деды-прадеды, наверно, не дураки были, коль за общину держались! А в подворном владении крестьянин одинок и беззащитен!

— Одинаково плохо и в общине, и на отрубе! Каким он был, мужик, таким и останется! Его сначала самого надо переделать! — вставил Алексей Иванович.

— Да уж что да, то да! — поддакнул Степан Скобелев. И пошло-поехало уже про самого мужика, то бишь — про самих же себя загалдели!..

Стрижи сверлили плотный душноватый воздух, и было в нем как-то неспокойно от крика спорящих, от быстрого, суетливого стрижиного лёта.

Нашумевшись, мужики стали расходиться по домам. В светлых июньских сумерках Ефим с Алексаном остались на бревнах одни. Когда затихли шаги и голоса мужиков, Алексан заговорил первым:

— Община, как ни мудри, распадается! Это — ясно! Земли мало, податей всяких много… Постоянная необходимость ломовым трудом добывать себе кусок хлеба не дает крестьянину оглядеться, прийти в себя, он ожесточен, весь принцип его жизни — лишь бы выжить!.. — Он усмехнулся: — Вон он, Костюня-то, как все истолковывает: «Господь сказал Адаму: «В поте лица будешь есть хлеб свой!..» Мол, тут — весь закон нашей жизни!..

— Да ведь это никакой не закон, а наказание! — перебил его Ефим. — А закон-то истинный для человека другой: ему дано благословение на духовную жизнь, она — цель!.. Все должно быть в гармонии: жизнь в трудах и духовная жизнь! Нельзя только одно признавать, как самое истинное… Наш вот ломовизм, на который я тут насмотрелся за эту весну, никак нельзя признать за жизнь…

— Это любую каторгу можно тогда признать, как самую правильную жизнь!.. — кивнул Алексан.

— Вот именно!..

— Мне бы хоть немного земли в одном месте, тут бы я показал на практике, своим хозяйствованием!..

— Эх, Алексан! Создать бы хоть какой-то образец иной жизни вот тут, у нас в Шаблове! Чтоб видели, как надо человеку жить на земле! Чтоб труд был в союзе с искусством, с духовной жизнью!.. Вот тогда будет жизнь!..

— Да, Ефим, да… Можно ее совсем иначе наладить!.. Я говорю, какие сады можно тут развести! Это, только мы привыкли думать, что у нас суровый север, а вон возьми хотя бы парк при

Чижовском училище: там спокойно растут тебе всякие гости-иноземцы: виргинская черемуха, персидская сирень, барбарис, лапчатка, ясень, боярышник, орешник-лещина, кедры сибирские… А вон в самом Кологриве на участке ученого лесовода Чистякова, чего только нет: у него кедры плодоносят, сибирская яблоня превосходно себя чувствует!.. А в саду Юдина какие прекрасные ели Энгельмана растут! Целая группа! Туя-негниючка, жизненное дерево!.. Или взять сад Лебедева: там и облепиха, и терн, и акация южная, и спирея…

Вот так раздумаешься: иначе можно построить всю жизнь! Удивительные сады развести, удивительные дома построить, тут ты прав… Только от этого «можно» до дела — столько!..

Ефим только тяжко вздохнул.

До петухов потом он просидел у себя в комнатушке при зажженной лампе, вновь взбудораженный разговором с Алексаном. Задумался Ефим, глядя на огонь лампы-семилинейки… Что происходит?.. Сам он так себя чувствует, будто уже давно-давно его жизнь течет гораздо быстрее этой медленной человеческой истории… Он — уже где-то впереди, а жизнь одергивает, одергивает его сзади…

18

Летнее время. Сев позади, и пахота под черные пары уже отошла. Перед сенокосом у деревни выкроилось несколько спокойных дней. К этой поре отцвели ландыши и купавки, зацвели на лугах, в пойме Унжи, лютики, гравилат, кусты шиповника… Солнце поднимается высоко, земля курится, исходит струйками, пчелы гудят в деревне вокруг цветущих лип. Лето еще молодое, буйно-зеленое. Ефим ходит по округе, и будто теплые струи проникли в него и заставляют трепетать всего, и слова какие-то легкие, разымчивые переполняют ум и просятся с губ, и наклоняется он вдруг над цветком для короткой беседы. Во все вслушивается и вглядывается Ефим, все вольно и свободно входит в него. Он опять вырвался, пусть и не надолго, из хода здешней жизни, отошел от всего. Дни его снова проходят в комнатушке, за работой, он пишет и рисует, лепит и сочиняет стихи… А в конце каждого дня отправляется в лес… Давно он не ощущал так лета…

Ах, июнь! Какое богатство — твои цветы! Какая радость быть с ними наедине! Улыбаться и шептать звездчатым цветам поповника, провести рукой по фиолетовым кубышкам луговой

герани, по кистям мышиного горошка, вдруг затихнуть, вслушиваясь в померещившийся слабый звон над голубенькими колокольчиками, смотреть, как тянутся к солнцу мохнатые, напоенные медом красные головки клевера, покачать в изумлении головой над красующимися розовыми гвоздиками или полевым короставником! Рассмеяться беззвучно на этом светлом празднике живого цвета!..

Пройти мимо дремных, по-закатному задумчивых хвойников, постоять у болотца, где возле самой воды голубеют незабудки, где благоухают, к вечеру особенно сильно, кремовые султаны таволги, где белеют, отражая свет западающего за деревья солнца, зависшие зонтики дягилей и дудника. Подглядеть в лесной речке спокойное счастье белой кувшинки, словно бы взорвавшейся навстречу огромному голубому небу…

Идти дальше, улыбаясь еловому вершиннику, и вдруг остановиться перед цветущим облаком, внезапно попасть совсем в другой вечер, в другой воздух — гудящий, густой, чуть подрагивающий… Липа цветет! Да не одна! Их — целая куртина! И Ефим стоит, подняв, лицо, улыбаясь, слушает пчелиное рабочее гуденье.

И вспомнится ему вдруг, как недавно он возвращался с илейновской кулиги вместе с Костюней Матвеевым, и тот говорил ему:

— …Вот все толкуют, Ефим, отшельники — забытые людьми человеки… Мол, в лесу они, в одиночестве… Да какое, спрошу, одиночество?! Утром с ними небеса беседуют, цветики им кивают, смеются, птицы к ним слетаются, зверь незлобиво подходит… Одиночество-то может быть и посреди большой суеты! Да еще какое! Когда вокруг тебя — черта круга!..

И вдруг на краю закатной полянки замрет Ефим: применится ему какая-то чистая мудрая уединенная жизнь, что-то пасторальное, что потом, чуть позже, вновь оживет уже на холсте, в глине, в слове… Сначала — в слове:

Идиллия чудится мне золотая:
Долина вечерней красой залита,
И тучки румяные плавают, тая,
И льются, и нежно играют цвета…
На солнышке тихо пастух и пастушка
Сидят одинокие, грустно любя,
И кротко, и мирно глядят на меня,
И сложена рядом из бревен избушка…

В эти дни Ефим обжег в печи свой Кордон. Хорошо,

постепенно просушенные фигурки, елки, сама избушка, которую сушил, разрезав на несколько частей, при обжиге не потрескались. После обжига расписал Кордон красками. Получилось так хорошо, что захотелось лепить новые фигурки и постройки.

Ему удалось закончить и работу над эскизом задуманной картины. Приступать к писанию самой картины пока не стал: для такой большой работы нужно было и большое, свободное от крестьянского труда время. Такое время он мог иметь тут только зимой…

19

Перед сенокосом установилась жаркая безветренная погода. Недвижный воздух горчил, щипал горло, что-то сухо, стеклянно позванивало, потрескивало, казалось, в любом бревне, в каждой былинке поселился незримый, но постоянно дающий о себе знать огонь. Прохлады нельзя было найти и у воды. Блеклое, пепельно-голубое небо отражала Унжа, вода в ней вспыхивала среди дня сонными звездными огоньками. От этих огоньков и в глаза, и в само сознание вкрадывалось короткое затмение.

Жара не давала Ефиму сосредоточиться на работе, ничто не шло на ум, все валилось из рук, не подчинялись ему ни краски, ни слова, ни глина… Он испытывал лишь безотчетную тоску и тревогу.

Только вечера и призрачно сияющие, почти белые, ночи, приносили всему живому хоть какое-то облегчение.

Такими вечерами Ефим обходил сумеречную, угомонившуюся деревню, вглядываясь в легкие ломкие тени, шевелящиеся в хлебах. Под большой старой липой, возле гумна дядюшки Семена Скобелева, останавливался, прислушивался к сумеркам…

Над мглистым Заунжьем, почти над тем местом, где Кологрив, красноватая, нечеткая, какая-то снулая повисла луна. Ефим не заметил, когда она взошла… В лиловеющем густом воздухе стояли тучные запахи, прогретых боров и полей. Наверное, в такие вечера к глуховатым небольшим деревушкам, вроде Шаблова, подкрадываются из ближних чащобников мороки и блазны, не дающие потом людям и далеко за полночь ни сна, ни забвения, заставляющие их тяжело вздыхать и ворочаться, шептать и бормотать всякую невнятицу…

Текучий, тревожный свет исходил от замершей над верховьями Унжи зари, и Ефиму, заглядевшемуся в ту сторону,

примнилось вдруг: при слабом, неверном свечении к Шаблову идут и идут по молодым измытаренным жарынью ржам незримые и неслышимые существа, только мелькают их колеблющиеся тени, путаются среди ржаных стеблей…

Неспокойное мерклое свечение запада, которое за полночь перельется в разрастающееся сияние нового утра, переплескивалось по окнам зольно-серых, чуть подбагренных луной изб, и оттого они казались Ефиму необитаемыми, страшноватыми… А тут еще сова принялась выкликать кого-то в темноте скобелевского овина…

Не устоялось Ефиму на месте. Запинаясь о неровности дороги, он побрел в сторону Крутца, к слабо рдеющей над верховьями заре. И не заметил, как оказался уже за двумя деревнями — за Крутцом и Зелениной…

Тонко запикал над головой какой-то мелкий крылатый ночной хищник, быстрой тенью пронесся невысоко, исчез в рассеянном свете вечера… «Вроде бы — кобчик…» — подумал Ефим и огляделся настороженно. Жалкое голодное пиканье пролетевшей птицы сообщило ему, что уже началась загадочная ночная жизнь тех, кто был незрим и неслышим при свете дня…

Сухая ночь превратила заунженские леса во что-то легкое, дымно разлитое, и Ефим на минуту остановился на самом взмете косогора, у подножья которого уже начинался густой хвойный лес…

Он испытал странное вольное чувство, словно каким-то непостижимым образом вдруг приобщился к ночной жизни зверей и птиц, и этот ночной мир, со всем таинственным и загадочным, звал его в себя все глубже и глубже…

Ожидание какого-то чуда, а не просто ночная прохлада, поднимающаяся из низины, похолодило лицо?.. Приглашая уже не идти, а бежать, лететь вперед, дорога потекла под изволок, вдоль длинного горохового поля, окутанного зыбким лунным сиянием.

Эта дорога знакома ему с раннего детства, северная, то лесная, то полевая, песок которой истолчен колесами, батогами и подошвами в мелкую беловатую пыль. Протянулась она тут, по правому берегу Унжи, от самого Кологрива до села Архангельского, на пути у нее — вздыбы да спуски, пашни да перелески, взгорочки да низинки…

Бегом он спустился от Зеленина к темным соснякам, в которых упряталось сельцо Илешево. Внизу пошел тихо. Голову тут похолодила речная свежесть… Вспомнилось первое давнее «путешествие» по этой же дороге с отцом и матерью. Было ему тогда года четыре. Поехали они в Денюгино на сговоры и на

свадьбу: младшую сестру матери Федосью просватали в деревню Власенку…

Выехали из Шаблова еще затемно. Резвый трехлеток Чалко быстро мчал их в редеющей темноте, брякал большой шоргунец, поскрипывали, постукивали на раскатах сани. Ефим сидел, весь укутанный, рядом с матерью, отец возвышался впереди, в тулупе с волчьим воротником, в белой барашковой шапке. Звезды на светлеющем небе еле переплескивались. Проехав Крутец и Зеленино, спустились с горы в низину, лес обступил как теперь… Вскоре впереди показалось Илешево… Ни огонька. Так тихо было под звездным высоким небом, так чуждо, что Ефиму показалось: в этом месте живут какие-то недобрые люди, мазурики… Незадолго перед тем дедушка Самойло рассказывал ему об унженских знаменитых разбойниках — Егорке Башлыке и Фадеиче. Тут, на Верхней Унже, по речным хабинам, были их пристанища — Банчуры, Стан, Истопная, Карачуново… Вспомнив страшные дедушкины рассказы, Ефим теснее прижался к боку матери…

От Илешева тогда спустились к реке, дорога потянулась меж ее высоких берегов. Стало заметно светать. Снова поднялись на берег, по обе стороны дороги замелькали ели, покрытые снегом.

— Тять! Погляди-ко, елки-то как бегут!.. — окликнул Ефим отца.

— Выдумщик ты у нас!.. — засмеялся отец. — Это мы едем, а они — стоят!.. — Мать тоже рассмеялась…

Впереди показались черные бани-клетухи, обложенные большими кучами льняных отрепей, за банями завиднелись избы.

— Вот и доехали!.. — весело сказал отец.

Денюгинские сговоры и свадьбы ярко остались в памяти. Особенно запомнилось, как подружки вели сговоренку из бани, сглуха накрыв ее голову платом, по обе стороны тропы прутышки в снег втыкали… Непонятное что-то было в этом, таинственное, древнее…

Ефим постоял на берегу Унжи, у самой воды, отправился дальше, решив дойти до самого Денюгина, в котором не бывал так давно.

В этом ночном путешествии было что-то сродни опьянению. Весь видимый мир казался ему, бредущему сквозь светлые сумерки июньской ночи, цельным и ясным, величественным и простым, как бы освещенным неурочным рассветом. Ефим самому себе виделся каким-то необоримым и вольным, покинувшим не просто околицу родной деревни, а чудесно переселившимся, оказавшимся вдруг по ту сторону жизни и смерти…

Одно прекрасное вечное родство живет в мире! Он так почувствовал легкую окрыляющую силу его, что не смог уже

просто идти, опять побежал. Манила, затягивала в просторы этой светлой ночи странная, окрыляющая сила…

Бежал долго, свободный и вольный, как ночная птица. Вдруг остановился, удивленный: неужели так много отмахал?! Он уже далеко за Илешевом!.. Темные нахохленные хвойники по сторонам беловатой песчаной дороги, и опять — близкий крик совы… И он снова сорвался с места, припустился чуть ли не вскачь!..

Пели уже первые петухи, когда Ефим остановился под самым Денюгином, чтоб перевести дух перед крутым подъемом и прислушаться к полуночной деревне.

Тихий, поднялся наверх, туда, где в крайних избах, по окнам, взблескивали отсветы двух обнявшихся зорь, сдерживая не совсем усмиренное дыхание, прошел вдоль деревни, постоял на самой бровке глубокого оврага, на околице, ощущая тревожное горение зорь-полуночниц.

Назад, до самого Илешева, опять бежал почти без передышки. Остановился неподалеку от погоста, на котором покоятся крестьяне из окрестных деревень, схоронены и дедушка Самойло с бабушкой Прасковьей, и прадедушка Федор с прабабушкой Марфой…

Сойдя с дороги, Ефим опустился на мховую подстилку, смутно белеющую у подножья придорожных деревьев. Сидел, привалившись к стволу сосны. Ноги ныли от усталости, в груди саднило от бега, лицо горело, еще не утихала в нем диковатая радость полета…

Он пошевелил пальцами рук, не чувствуя, а только видя, как они пришли в движение, легкие, будто чужие. Тела своего он тоже почти не ощущал, было слышно только сердце. Ефим беззвучно рассмеялся, и, запрокинув голову, увидел, как невысоко над кронами сосен, окутанными дымчатым сиянием, кружит, кружит не совсем еще полная луна, вьется над ним плавной молчаливой светлой птицей, чуть подрагивая…

Ефим полулежал в счастливой расслабленности и ощущал самого себя чуть ли не мхом, похрустывающим тут на каждом шагу. Опять он остро почувствовал свою растворенность здесь, в родном углу, собственное присутствие во всем. И как будто небывалый праздник улыбнулся ему из-за можжевелового куста, и только теперь Ефим так глубоко понял, он вернулся сюда навсегда, и нет иного пути у него в этом мире, в жизни, все его — только здесь. Он тут — снова свой.

Дом его, когда-то покинутый им, — огромен, он — все, что есть тут: леса, поля, речушки, деревни… В этом неоглядном доме, не умирая, живут дедушка Самойло и бабушка Прасковья, в нем

остались навсегда все, кто когда-либо был здешним жителем… Из этого дома не уходят, в нем только растворяются исподволь, чтоб жить потом уже вечно… Ведь сколько раз Ефим и прежде это чувствовал: они, как будто, ушедшие навсегда, вовсе не ушли, они тут, только безмолвные, поскольку говорят не словами, их тайные речи и шепоты в ветре, свете, лесе, небе, деревне, избе…

Ефим посмотрел сквозь лапы сосен вверх, на луну. Она стояла уже спокойно, не кружилась, и воздух вокруг успокоился… Мир всегда обретает такую остойчивость, когда вдруг что-то необыкновенно значительное откроешь в нем для себя…

Он поднялся и пошел в сторону своей деревни, зорко всматриваясь в нечеткие узоры света и теней, и ему все чудилось: под темными навесами придорожных деревьев, не выходя на освещенные места, идут, сопровождая его, те, кто был его началом… Даже как будто видел, как чуть покачивались ветки и шевелились травы там, где они проходили… И верил, что когда тоже растворится тут, в своем родном углу, как они, навсегда, не исчезнет совсем, а будет тоже здесь всюду… И под тем деревом, под которым только что отдыхал, уже осталась какая-то незримая часть его самого… Так он оставлял себя и когда был еще подростком, и когда был юношей… Так оставляет себя всюду каждый человек… И может быть, где-нибудь тут мальчик Ефим уже не раз встречался с мальчиком Самойлом, с девочкой Параней… Это так легко теперь он мог представить!..

Он жил здесь всегда, думалось Ефиму, прожил тут неизмеримо долгую жизнь еще до своего появления на белом свете, он просто долгое-долгое время был растворен во многих, там его время измерялось не просто годами, а именно жизнями, там была распахнутая в прошлое бесконечность, и такая же бесконечность была распахнута в будущее…

Уже на окраине Шаблова Ефим почувствовал усталость. Ночь заметно стала бледнее, все вокруг постепенно обретало свои очертания, становилось реальным, но почти прежняя тишина стояла во всей округе, и в этой тишине слышны были переступанья скотины по дворам, ее вздохи, трели сверчков по избам… Деревня еще спала, она знать ничего не знала, что пережил, в какую даль залетал этой ночью один из ее обитателей…

20

Под самый афанасьев день в Шаблово приехал Николай Скобелев. Ефим не виделся с ним пять лет. За это время Николай

изменился, пораздался в плечах, обрел какую-то новую степенность. Он рассказал Ефиму о селе Матвееве, где теперь жил и учительствовал со своей женой. В Шаблово Николай приехал всего на несколько дней — на время сенокоса. В Матвееве его ждали свои крестьянские заботы: он обзавелся хозяйством, без которого семейному сельскому учителю на одном жалованье не продержаться…

К вечеру Ефим пригласил Николая к себе, хотелось поговорить наедине, отвести душу. Оказавшись в его комнатушке, Николай остолбенело замер, заозирался, разглядывая портреты однодеревенцев.

— Ну, вот моя горенка-безуголенка!.. — усмехнулся Ефим, подтолкнув друга. — Проходи смелей!..

— Да… Вон как, оказывается, художники-то живут! — Николай покачал головой. — Вроде бы и не в Шаблове я.. А это что? — Он остановился перед столом, посреди которого стоял расписанный глиняный Кордон.

— Это… — Ефим хитровато прищурился. — Это мои глинянки! Мой Кордон! А человечки — мои народец! Пока их немного: времени все нет досужного, работы по крестьянству все мешают, но постепенно это у меня разрастется, превратится в большую деревню, какой еще и не бывало нигде на белом свете! Вот тогда, пожалуй, будет удивительно! — Ефим подмигнул Николаю и низко наклонился над Кордоном, улыбаясь, залюбовался и сам своим глиняным творением. — Они у меня все по именам, человечки-то!.. Вот это дедушко Пестелий, с батожком-то… А это вот дедушко Савосьян, с пестерем-то… Они даже разговоры разговаривают!.. — тут Ефим прихватил пальцами обоих «дедушек» за плечи и, тихонько постукивая ими по столу, свел их, остановил напротив друг друга, заговорил вдруг стариковским голосом:

— Ну, как, Савосьян?! Грибов наломал ли?!

И сам же за Савосьяна ответил с усталой хрипотцой, с покашливанием:

— Наломал, Пестелюшко! Наломал! Полну ношу наломал! Да все — грузди!..

— Вот так они и «разговаривают»… — усмехнулся Ефим. — У меня тяга ко всему древнерусскому, глубоко родному, нашему… Столько думал я, Николай, о самобытной деревенской культуре, о своем искусстве!.. Я бы хотел отстраниться от всего шаблонного, мертвого, вносимого чуждым ветром в живую жизнь народа, в национальные-то основы жизни… Я как-то услышал такое вот любопытное словосочетание — новая старина… Так одну деревушку называют в Вологодской губернии… Вот и то, что я

хотел бы увидеть в нашей жизни, как идеальное, так бы и назвал — Новая старина!.. Вон Костюня Матвеев, к примеру тебе, держится одних старых заветов, всего стародавнего… Я же хочу, чтоб в нашей деревенской жизни старое с новым было породнено, от старого, от нашей русской древности я бы взял ее чистоту, ее сказки, ее цельность и затейливость, ее простоту, многое из ее быта, и соединил бы с тем новым, что умно, что не разрушает человека…

Я хочу какого-то чуда, преобразующего этот наш бедный и грубый мир, кажется, всего себя отдал бы ради этого… Но как-то оглушает, обессиливает реальность жизни… Ты от чистого сердца хотел бы предложить ей все свои ценности и вдруг всюду как на каменную стену натыкаешься… От тебя, оказывается, этого просто никто не ждет… И ты начинаешь сомневаться: а есть ли у тебя хоть какие-то права-обоснования нести все это в мир?.. И начинается тоска, боль… Да еще натура у меня такая: моим мечтам хочется немедленного воплощения! Так бы и переиначил одним махом весь белый свет!..

Ведь я, Николай, приехал сюда не просто на время… Я верил и верю, что именно здесь, в родной деревне, моя деятельность более нужна, что именно здесь она будет более безупречной… Ах, Николай!.. Люди не хотят понять, что выше сытости должен жить человек, что не до сытой жизни его надо поднимать, а до человеческой, истинной жизни!..

Ведь не вечно же только заботой о прокормлении будет жить деревня! Теперь уже должно расти, подниматься главное — духовное в человеке! Это нельзя откладывать до каких-то лучших времен! Ведь уже и теперь тяготятся люди, очарованные красотой духовной жизни, таким жалким существованием… И ведь многое уже сегодня можно изменить! Нужна, Николай, я считаю, просто наглядность, надо создать такое, чтоб показать людям: смотрите, какая жизнь возможна вот тут у нас, не где-нибудь…

Вот над этим теперь и работаю… Можно влиять на развитие жизни, показывая, как она безобразна, тяжела… Вон, как Репин, к примеру, написавший бурлаков… А можно иначе: показывая, какой может быть жизнь, более достойная человеческого звания! Вот это-то для меня больше подходит и кажется мне более верным, поскольку показывает не одну лишь беспросветность, а показывает путь, свет впереди!.. И для меня, крестьянина, в нем больше правды.

Ты вон возьми нашу русскую крестьянскую живопись. Меня поразило, что крестьянский художник всегда избегал сцен, так или иначе связанных с тяжелым трудом, со страдой, он предпочитает изображение досуга: гулянья, чаепития, катанья на

тройках, верхом, всевозможные забавы… Такие все сюжеты-то! Именно такое почти все древнерусское искусство! Оно скорее склонно к иронии, но не ко гневу!.. А разве я — не крестьянский художник, Николай?..

Ефим заходил по своей комнатушке перед сидевшим у распахнутого окна другом. От жары, бессонных ночей, переполненных думами, он осунулся, похудел, движенья его были резкими, глаза горели каким-то черным, ни на минуту не утихающим огнем…

— Я, Николай, чего-то большего хочу от жизни… Мне слишком мало ее обыденности. Такое ощущение меня сжигает, будто я далеко опередил свое время, а между тем остаюсь вот в этой замедленной и нерасторопной жизни, и потому, может быть, мне и трудно рассчитывать на чье-то понимание… Ведь большинство знает только наружность всего, не желая доходить до более глубокого… И вот этой разницы мне тут не преодолеть… Но и опускать руки нельзя… Надо работать… Пошли-ка на волю!.. — неожиданно сказал он. — Что-то душно мне тут стало и тесно…

Шаблово казалось бы стояло на самом воздувье какого-то теплого легкого ветра. Этот ветер разносил запахи гретого меда, ароматы цветочной пыльцы, и свет предзакатного солнца был ласковым, спокойным.. Ефим даже глаза прикрыл, остановившись под окнами своей избы. Все как будто поплыло вокруг него, смутно и на многие голоса заразговаривало, и сквозь эту золотистую дымку из шепотов и шорохов хрустально звенела овсянка…

— Пойдем на Унжу… — предложил Ефим. — Может, искупаемся. Я еще не купался, хоть и тепла вода уже давно…

Они спустились к реке.

— Подожди-ка, Ефим… — сказал Николай. — Тут вон должна быть Микуленкова лодка, давай махнем на ту сторону!.. Там еще солнышко на песках….

Они вывели из устья ручья тяжелую неуклюжую лодку доброй осмолки. Николай нашел в елошниковых зарослях весло, и вскоре оба оказались на другом берегу. Одним махом вычалили лодку на песок, только дресва под широким днищем хрустнула.

Сбросив рубахи, легли неподалеку от лодки. Лежали молча, слушая, как над боровой опушкой с тоскливым криком летает канюк.

Еле слышен был предзакатный шорох деревьев. На реке вдруг вскинулась рыбина, охнул теплый воздух. Лягушка заскрекотала в прогретой калужине. В укромном уголке шабловского берега удил

Иван Каратай, редко-редко взметывалось над кустами длинное удилище, выдавая присутствие рыболова. Вода текла плавно, тонкие серебряные колечки обхватили стебли, торчащие из воды у самого берега, река была в какой-то блестящей, ослепляющей истоме.

— Благодать-то, Николай!.. — вздохнул Ефим. — Как тут не поверить в возможность такого спокойного счастья, которое установилось вдруг во всем мире… Просто вижу это!.. — Он медленно перевернулся, лег на спину, глядя в небо, заговорил снова: — Фантазия, Николай, реальна! Вымысла в общем-то нет! Есть просто опережающие действительность мысли… Когда фантазия сказку рисует, это уже реальность! Она потом, когда-нибудь, войдет в обиход жизни так же, как какой-нибудь ковш для питья! Жизнь будет именно такой, какой ее рисует наша фантазия! И если, например, есть идея о переселении на другие миры, то она и осуществится однажды…

Гляди вперед и показывай другим то, что видишь вдали, показывай свои грезы-фантазии… И начинать, Николай, надо с детства человека-то строить! Ты — учитель, ты меня тут должен понять! Крестьянские дети слишком рано становятся взрослыми. Надо дать им полное детство, чтоб душа их успела наполниться радостью жизни, сказкой жизни, чтоб успела пробудиться детская творческая фантазия! Ведь если бы все было именно так, то не пахаря бы мы имели, согнутого ломовым трудом, а человека с иными, куда более высокими запросами к жизни!.. Я бы хотел, Николай, вот чего… Чтоб в жизни все было так устроено, что все детское в человеке не вымирало, не уходило от него с возрастом, а продолжалось всегда! Верю: на сколько во взрослом человеке уцелел ребенок, на столько он и личность! Ах, как это важно! Немногие пока что думают об этом… Ведь детство — это такая пора!..

— Я теперь понимаю, почему в твоей комнате все стены детскими портретами увешаны!.. — улыбнулся Николай.

— Да, тут для меня все… — тихо сказал Ефим. Он умолк, с долгой улыбкой глядя в небо. Оно было такое живое, такое близкое, что Ефиму чудилось: если долго глядеть вверх, в самую его глубину, увидишь, как оно сгущается и спускается к лицу. Его глубина зароилась вдруг, завилась, закружилась, как стаи птиц в беспорядочном радостном полете за густой синевой. Ефиму даже показалось, что он расслышал шум множества крыльев…

— Детский образ для меня — первообраз гармонии… — заговорил он снова, все еще глядя в самый зенит. — Человек приходит в мир гармоничным. Разбудить в детской душе творческое начало и не дать заснуть этому началу — вот что надо

делать! Ребенок изначально должен чувствовать себя на земле творцом!.. Ведь вот что удивительно, если даже себя взять: я был еще совсем ребенком, а уже откуда-то во мне бралась вера, что есть во мне какое-то большое богатство, уже заложено кем-то…

Человек с самого детства должен жить затейливо, с фантазией! Я вот пожил в городе… Что меня там так теснило порой? Что угнетало?.. Рационализм, шаблонность… Вся там культура слишком тщательна и усердна, натуре с сильным, неиспорченным обонянием от нее запахнет неживым… Я хочу другого — искреннего, доброго… Это вот как в лицах людей: есть лица идеально правильные, любая черта совершенна, но смотреть на такие скучно, чаще всего они холодны, лишены живой игры, выразительности, им словно бы недостает какой-то неправильности, случайности… Вот и я хотел бы видеть такое вокруг себя — в повседневной жизни людей, чтоб у нее было живое, доброе, некаменное выражение…

Люди еще поймут это, когда устанут от прямой линии, от своей излюбленной прямой линии! Им захочется несовершенства, причуды! Ведь человеку, кроме всего прочего, так нужно случайное, удивительное, неожиданное, ему свойственно ожидание чуда. Его чем-то притягивают старые деревни, старинные города… Чем? Духом чего-то вечного, неотрывного от живой природы, от естественного… Ведь природа почти не знает прямой линии, она прихотлива в любой малости, а мы, ее дети, разве не должны ей следовать?.. Вон как приятны бывают глазам разноликость свободно понастроенных домов и домишек, где все возникло вроде бы по воле случая!.. Строить надо так, по-моему, чтоб не только одна, пусть и принаряженная, рациональность была в мыслях строителей, а еще и радость, и веселье, и затейливость!

Ведь не только город, Николай, страдает излишней рациональностью, деревня — тоже. Вон посмотри — изба на избу как похожа! Однообразие, скука… Тут-то уж, казалось бы, каждый для себя строит, так прояви выдумку, сруби свою избу и укрась ее так, чтоб твоя душа в ней сказалась! Нет же! Повторяют друг дружку и — никаких!..

Ах, другой, другой вижу я свою деревню! Я бы даже каждое окно, каждый наличник сделал на особицу! — Ефим повернулся к Николаю. — Вот погоди, я это все вылеплю, обожгу, раскрашу! Покажу шабловским…

Невдалеке от них виднелся новый флигель помещика Перескокова. Место было выбрано для усадьбы на редкость удачно: сказался художественный вкус владельца. (Ефим слышал, что Перескоков увлекается живописью.)

Флигель выглядывал из-за малиновых зарослей цветущего кипрея, ярко полыхали, отражая лучи заходящего солнца, большие окна; мягко сияли четыре деревянные колонны, окутанные оранжевым светом. Ефим умолк, глядя на этот флигель. Он и раньше заглядывался на него, особенно по вечерам, на закатах. Так и представлялось: за рекой ждет его пустующий, просторный дом, в котором он устроил бы не только художественную мастерскую, открыл бы там деревенский народный дом, был бы в том флигеле и театр, и школа-студия, в которой занимались бы деревенские ребятишки под его руководством и лепкой, и рисованием, и пением…

Флигель этот чаще всего пустовал, сам Перескоков бывал на своей лесной даче только наездами, в летнюю пору. В небольшой сторожке жил один сторож-бобыль. Перескокову под Шабловом принадлежал сосновый бор, его-то и охранял этот сторож.

Глядя на перескоковский флигель, Ефим думал о том, что вот как нелепо устроено все на земле: совсем рядом, в красивейшем месте, на виду деревни, стоит просторный пустующий дом, в нем он мог бы начать большое, давно задуманное дело, там ему было бы так вольно жить и работать!.. Но он ютится в крошечной комнатушке, холста порядочного поставить негде, весь стеснен, постоянно испытывает родительское непонимание… Вон отец как-то на днях буркнул сокрушенно: «Он у нас — не от той кобылки жеребенок…» Непонятен он для родителей, неясен… Ему бы жить обособленно, своим миром, в стороне от семьи… Но куда денешься? В лесную шалашку не уйдешь…

21

Лето дозрело, дошло до средины. Рано утром вся Ермаковская вотчина выехала на Илейно.

Ефим с нетерпением ждал сенокоса: Илейно для него — любимейший уголок на земле. И вдали от родных мест душа его не раз там летовала. Ах этот светлынный, несмеркаемо сияющий мир! Илейновские сенокосы остались в его памяти праздником и не представить их без незабвенных дедушки Самойла и бабушки Прасковьи…

Бывало, дедушко Самойло пойдет на Илейно, так уж слышно, что он идет! И сам с собой разговаривает, и с собакой Серком. Посреди дороги остановится с соседом: «Здорово, Захар!» — «Здоров, Самоньк! Али — на Илейно?» — «Да, пошел новину рубить! Этта Васька ходил, у Казенной начал там сколь-то…» Перекликнется так с соседом и — дальше — на Илейно!..

«Разговорчивые» были старики! Не надо им и собеседника! Бабушка Прасковья, бывало, и с курицами разговаривает, и с коровой, пока доит, а потом — даже с кринками. А уж когда собираются всей ватагой на Илейно, тут разговоров не переслушать! И каждое слово в простоте души сказано. Дедушка Самойло рассуждал как-то: «Я вот чего люблю меж людьми, уж каким человек-то перед тобой стоит, так уж он и пусть стоит настоящим своим манером, чтоб вся душа его виднехонька, чтоб видно было, что он весь тут без хитра, и ничего нигде у него не спрятано, никаких таких подвохов, никаких закоулков темных в его душе нет, чтоб светлым-светлехонько — как ясным днем! И не думай, что тебе там какая-то неприятность готовится, не опасайся! Ну, и сам, значит, раскладывайся, как дома, безо всякого! Оно и спокойно! В простоте — все!..» Любая мысль деда всегда текла мимо хитрой словесной сложности, хоть и любил он затейливое слово, да не ради того, чтоб за ним спрятать какую-нибудь хитрость: простота тоже не должна быть прямой, как гвоздь! Лучше, когда она с узорами!.. Легко давался деду его затейливый говор.

Шабловские вообще — народ бойкоязычный, разговористый. Само собой и тут не одни говоруны живут, и такие водятся, у которых слова в голове друг от дружки за сто верст живут: пока вслед за одним словом второе явится, выспаться можно, в ожидании, иголку в стогу отыскать… Но такие редкость. Доброприветными, словоохотливыми были всегда шабловские. Видно, сказалось в них само место, на котором жили, — высокое, с широким обзором, на таком душа не заугрюмится.

И вот взныли колесные оси, запофыркивали лошади, заслышались разговоры и смех, большой обоз потянулся из Шаблова в легком довосходном туманце. Ефим не поехал на телеге со своей ватагой. Опередив всех, он отправился на Илейно тропой-прямкой, Ему хотелось первым оказаться на кулигах, чтоб все услышать так, как, наверное, слышит само Илейно, и далекий приближающийся скрип, и тележную дрожанку, и голоса подъезжающих сенокосников; почувствовать приближение самого праздника по имени Сенокос…

Через поле от деревни он шел медленно. Давно ли он тут пахал и сеял, на своих полосках, и вот в нем шевельнулась крестьянская радость: ржи были уже высоки и в утреннем розоватом свете словно бы лоснились, выметались и уже серебрились овсы…

Скорым шагом по сумеречному, обкуренному туманом лесу он дошел до Самойловой новочисти (дедушкиной новочисти!).

Задержался возле избушки на Захаровой кулиге, постоял под большой березой, прислушиваясь; через кулигу Ивана Серова, через Долгий Наволок и Варовой прошел к своему овсищу, к своей новине. Посмотрел на озимые, они были неплохи. Заглянул на Карпиеву кулигу, на Серегину кулигу… На кулигах было тихо и сонно…

Миновав Семенову кулигу, Пуп-кулигу, Одарьину кулигу, Обрашицу, лог, вышел к новочисти, на которой пахал и сеял весной…

Вскоре стали подъезжать сенокосники. На Илейне у них два пристанища: одно — рядом с Пуп-кулигой, у ключика, тут было до двух десятков шалашек, это место называлось Деревней, второе — на Обрашице, там обычно останавливались три-четыре ватаги. Еще дед Самойло облюбовал это место.

Ватаги разъезжались по своим кулигам: ватага Семена Скобелева свернула на Семенову кулигу, Николая Федоровича Скобелева ватага остановилась на Обрашице, на Пуп-кулиге — ватага Павла Лебедева, на Долгом Наволоке — ватага Павла Кукушкина, на Офонином Наволоке — ватага Ивана Афанасьева…

Отец отвел Ефиму небольшую поляну, обросшую по краям молодым березнячком. «Давай вот тут шумыркай!.. А мы с маткой и с девками пойдем вон вдоль рички зачинать! С богом!..» — сказал он.

Оставшись один, Ефим постоял, опираясь на косу, окинул взглядом поляну, пестреющую цветами, покивал им головой, мол, виноват, виноват я перед вами: с косой на вас должен идти… Он знал по именам все здешние цветы и травы: онисьин перстенек, коровьино сердечко, мышиный горошек, ульянин светоцвет, мотовилихин моток, звездоцвет, желтокудрый болванец, припутки, душистый чернобыльник, попики, мяту, кукушкин лен, белые петушки, лисий хвост… Давно ли он разговаривал с ними, улыбался им приветно, а теперь вроде бы становился их врагом…

Воткнув косовище в землю, вынул из холщового чехла оселок, несколько раз шаркнул им по отбитому лезвию. Словно по ниточке паутины, переплеснулся вдоль лезвия заревой голубой да оранжевый свет. Спрятал оселок, еще раз окинул взглядом поляну и широко махнул косой, сочно хрустнули в захвате стебли, приноровился, выровнял шаг и пошел, пошел вперед, оставляя сбоку бугрящийся валок. Начался для Ефима еще один крестьянский труд.

Все сухо было до сенокоса, дождя хоть какого-нибудь ждали, а он собрался в самый разгар сенокосной страды, вовсе не в

урочное время. Седоватая кошенина хрустела под ногами, метку откладывать было нельзя, сено отставало от кошенины чисто, тут гроза и подкралась…

День с утра был такой — будто таил в темной листве деревьев молнийный блеск и неслышимый до поры до времени огромный ропот. Все показывало, что соберется гроза: одуванчики стояли, сжав пушистые шары, ноготки запоздало и робко развернули венчики, цветики вьюнка позакрывались…

К полудню стало заметно подгущать. Небо сгрудилось на глазах. Ватаги торопливо, в сосредоточенном молчании сгребали сено и складывали в копны. А уже из-за Шартановской дачи высунулась голова огромной тучи. На кулигу примчался шустрый посыльный приближающейся грозы, гонкий ветер, предупреждающе прошумел под ним вершинник, из-за находящей тучи дохнуло сырым, внезапным холодом, и уже за этим выдыхом грозы налетел нагибной силы ветер, все утонуло в шуме.

Жуткая тьма, кипящая огнями, подступила к самым кулигам. Ефиму казалось, что он слышит, как далеко в борах, уже захлестнутых, затопленных ею, стоит погибельный гул. Вверху, над головой — тьма и угроза, внизу — ужас ожидания, оцепенелость, тревога… А в стороне, еще не закрытой наползающей тучей, было странно светло и пусто, и Ефиму на какой-то миг померещилось, будто там, в той странной светлости, все погибло, села и деревни размыло тревогой, города растаяли в ней…

В шалашку Ефим втиснулся последним. В ее темноте мать горячо шептала «свят-свят-свят» и часто крестилась, сестры испуганно помалкивали, отец напряженно покряхтывал и тоже крестился.

Рядом, над самой шалашкой, резко сверкнуло, и почти тут же всесотрясающей тяжестью обрушился на кулиги гром, пал в отвес, так, что земля ходуном заходила. Послышалось, как в соседней шалашке заплакал перепуганный ребенок (должно быть, сынишка Бориса Скобелева).

Накатила стена дождя, застучали по шалашке тугие, перевитые плети дождя.

Гроза была сильной, но короткой. Через какие-то полчаса все стихло, и по кулигам опять ожили голоса сенокосников. Грозой освежило воздух, будто где-то тут, впримык к Илейну, незримо причалил целый айсберг, и от него растеклась тишина и прохлада. Все было мокро, зеркально поблескивали по низинкам лужи.

В стороне реготали мужики. Причиной их смеха был Костюня Матвеев. Старик сенокосничал в одиночку, не успел, как другие,

ватажные, сгрести свое сено и теперь с ворчаньем ходил вдоль нахлестанных ливнем валков, сокрушенно покачивал головой:

— Господи-батюшко! Есть ли у тебя разум-то?! Сено было сухохонько, а ты взял да и вымочил! Ты что же, этта? На печку, что ли, мне его нести сушить-то? Сам намочил, сам и суши давай!..

Нет, не ладилось у Костюни с грозным богом Саваофом, опять тот особым вниманием отметил старика…

— Это все он — Саваоф! — вздыхал Костюня. — Христос — милостив и кроток, а Саваоф — он карает нас за грехи наши, он — гроза!

Мужики разбрелись по своим кулигам: траву смочило, она стала словно бы росной, обмякла, надо было косить.

Уже в сумерках, после косьбы, Ефим, хотя и устал, спустился к Нижней Варзенге — ополоснуть лицо, напиться из родничка. За ним увязались ребятишки.

Через Илейно протекает несколько речушек, почти ручьев. По их берегам растет в изобилии черная смородина, красная смородина. Ефим нарвал для заварки смородинных листьев, напился из родничка, заставил и ребятишек приложиться к воде. Улыбаясь, пропел:

Как на Лёвиной кулиге
Были мы у родничка,
Напились из тюричка…[12]

Рядом с родничком наросло много дягиля. Ефим достал перочинный нож, срезал несколько стеблей, нарезал из них дудочек, роздал ребятишкам, показал им, как надо на этих дудочках играть. Такой тут поднялся шум, что Ефим обеими руками замахал:

— Тише! Тише! Все Илейно переполошите! Давайте-ка чем-нибудь другим займемся… Хотите сказку послушать?..

— Хотим! Хотим! Расскажи! — зашумели вокруг него ребятишки.

— Ну, тогда — тише… — подмигнул он и какое-то время смотрел на воду, журливо бегущую меж кустов.

Струя в речке посинела после грозы, на хорошо промытых листьях как-то заговорщицки перемигивался закатный свет…

Мшистая мгла, боровое предночье. По низине распускался голубичный дым от теплины, разложенной на Обрашице. На кулигах вокруг каждого пня копились сатурновы кольца — земля курилась, дышала блаженно, во мгле слабо посвечивали

зеркальца луж, и казалось, будто не деревья, а призраки брели куда-то, и темные карлики-можжевельники тоже как будто куда-то шли вдоль тропы, ведущей на Обрашицу, шли молчаливой, немой процессией в сумерки мокрого вечера, и Ефиму вдруг показалось, что сам он, странно раздвоившись, идет там перед самим собой, по тропе, цепляя случайно оказавшейся в руках палкой островки лопушиных станов, туманно и косо отражаясь в небесных зеркалах луж…

Ветра нет. Сумерки вечера вот-вот прозреют — распустится в них голубой цветок — око ведуна…

На черемуховом листке замерла, уснула горошина влаги, внутри которой словно бы развела огошек ватага сенокосников, утухающий за Шартановской дачей закат подсветил эту каплю каким-то необыкновенным оранжевым светом…

И сама собой пришла к Ефиму сказка, вся она получилась у него какая-то здешняя, илейновская, лесная, он даже рассказал ее прежним своим языком, каким говорил до семинарии, до уездного училища, каким говорили его однодеревенцы:

— Жила-была в нашем Шаблове девочка Рура… И вот пошла она в чащу по грибы. Ходила, ходила и заблудилась. И видит: стоит избушка, и там живет глухой Тетерев.

— Здорово, дедушко!

— Угу-гу-у! Что ты сказала, девица красная?..

— А я сказала: здорово, дедушко!

— А-а! Здорово, здорово!

— Я вот заблудилась. Скажи, как мне выйти домой…

— А я, матушка, стар. Вот прилетят мои детки-тетеревята, они выведут тебя на дорогу. Дорога вон там, где новина Василья Назарова… Я уж хожу тихо, а то бы я проводил. А одна не ходи, опять заблудишься, мотри! Иди в избушку — посиди там пока. А то вот слышишь: гремит… Дождь скоро пойдет! И тебя вымочит. А мои тетеревята ищут корму себе. Прилетят от дождя домой. У меня в избушке есть всякие ягоды — ешь сколько хошь! Мы охочи до ягод, иное время только и питаемся ими. А в избушке никого нет, только старуха моя.

Рура вошла в избушку. На лавке старушка сидит, ягоды перебирает.

— Здравствуй, баушка Тетеря!

— Здорово, здорово, красная девица! Где ты, старик, таку красавицу встретил?

— Да заблудилась вот. Спрашивает: где дорога домой.

— А так што ты не проводил?

— А вот ребята проводят.

Рура села на лавку, а баушка Тетеря поставила на стол ягод в

берестяных коробицах:

— Ешь, девица красная! Ягодки зрелые, хорошие все!

— Спасибо, дедушко Тетерев, спасибо, баушка Тетеря!

— Ешь, ешь, сколь хочешь!

Рура стала есть ягоды. Было тепло. Горшок стоял на шестке, грибы сушились в печурке.

— Чья ты будешь, девонька? Сельская али шаблоськая?

— Шаблоськая, дедушко!

— Ну вот! А сельские тоже ходят сюда по грибы…

Рура слышит: зашумело, пошел дождь. И прилетели в избушку тетеревята — тетеревенки и тетерки.

— Здравствуй, красная девица!

— Здравствуйте, тетеревята!

— Как это ты к нам зашла?

— Да меня дедушко позвал, я заблудилась.

— Проводите ее на дорогу! — сказал старый Тетерев. — А пока пусть она посидит от дождя. Ишь, как по крыше стучит, даже я слышу! И елки как шумят!..

— Чья она? Шаблоська небось…

— Шаблоська.

— Ну вот на какую дорогу-то ее вывести?.. К Василья Назарова новине али к ляге, к тому месту, где выскерь большой елки?..

— Нет, хоть оно и поближе будет, а хуже дорога… Вы ее к новине проводите, там настоящая дотолетная дорога, еще я маленьким был, она там была. Да и при моем дедушке, мотри, тут же шла. По этой дороге она не собьется, прямехонько выйдет к Савашоським овинам.

— А ты у нас погости! — сказала одна тетерка. — Мы тебе сварим брусничного киселя, попотчуем крупчатым пирогом с черничкой. У нас хорошо. И мы тебе покажем, где растут ягоды и грибы. И сходим с тобой в гости к баушке Ягодке и к дедушке Белому грибу. Он под елкой живет, а она — на хоречках, где солнышко пригревает. И еще мы тебе покажем муравьище, только ты дядюшков-муравьев не трогай, а то они осердятся. И еще мы покажем, какие у нас растут цветочки, И много диковин всяких у нас в лесу! У нас живут девоньки-синички, пернеки-клесты, снегирьки и всякие пташки.

— Благодарю вас, тетерки! Нет, мне пора идти домой. Меня баушка отпустила ненадолго и велела одной не ходить без подружек. Я побежала за ними, а мне сказали, что они уже ушли… Я подумала, что — в чащу они пошли, и побежала сюда одна. Ходила, ходила, вопила, вопила, а они, видно, не в чащу ушли, а куда-нибудь еще — на Борисиху али в Прогон, а может, в

Быково…

— Ну, как хочешь… Приходи к нам в гости опять.

— Ладно… может, когда….

Тетеревята остались дома, а тетерки пошли провожать Руру, и когда вышли на дорогу, то еще шли с ней чуть ли не до гумён.

— Пойдемте дальше со мной.

— Нет, не пойдем.

— А что? У нас в деревне охотнее, а вы все живете в лесу…

— Мало ли что! Кабы нас не трогали и не пугали, а то мы боимся.

— И в гости ко мне уж не пойдете?!

— Нет, дальше не пойдем… После, может, когда, если нас трогать не станут…

— Ну-ну, ладно, коли… Прощайте. Вон уж овины видно.

— Прощай! — и тетерки полетели в чащу, а Рура пошла домой.

Ефим улыбнулся своим слушателям: — Вот и вся сказка…

Ребятишки не шелохнулись. Только Семенко Комаров, вздохнув, вышептал чуть слышно:

— Как укладно ты, дядя Ефим, рассказываешь! Так бы и слушал!..

Дети улыбались Ефиму, как волшебнику. Само Илейно словно бы сдвинулось вокруг них, обступило, окутало влажным, парным воздухом, и уже сам этот воздух был продолжением только что рассказанной сказки, у этой сказки не было конца, она жила во всем — в слабом лопотанье листвы, в невнятных голосах сенокосников, переговаривавшихся в стороне, у шалашек, в заревом малиновом свечении журливой воды… Медленно текли колдовские чуткие мгновения и перетекли вдруг в мерный с отзвоном постук: кто-то клепал косу…

— Ну, ужинать пора!.. — Ефим обвел взглядом притихшую босоногую ватагу и, посмотрев на дальний огошек теплины, оранжево колыхавшийся за кустами, тихонько пропел:

На Илейне, на Обрашице
В котелке варится кашица…

По низине стлались запахи дыма и грибной селянки. После колошения ржи в березняках появились колосовики, ребятишки принесли их по большому лукошку и крошили грибы и в похлебку, и в кашу.

К своей шалашке Ефим возвращался, сопровождаемый пронзительным посвистом дудок, смехом и криком. Чувствовал он себя как на празднике.

Часть четвертая

1

Николай Скобелев уехал в Матвеево еще до окончания сенокоса, он звал Ефима с собой — погостить, но тот отказался — торопился вернуться к своим занятиям, оставленным с самой весны, к тому же у него возник новый замысел… Ефим вдруг ясно увидел: ему необходим выдуманный двойник, через которого он мог бы высказать, выразить все, что переполняло его душу. Тот двойник должен намного опережать время. На страницах огромного романа он будет совершать дела и поступки, немыслимые для самого Ефима. Он войдет в жизнь Шаблова, целой округи из доброго, чаемого будущего… Ефим перевоплотится в своего героя и будет жить двойной жизнью — обычной, каждодневной, как все шабловские, и необычной, вымышленной, придуманной, дающей душе возможность объединить, породнить с реальностью собственные грезы и фантазии…

Привиделся ему чудесный мир — светлое царство детей, где сам он будет царем детей Марком Бесчастным (так назвал он своего двойника).

И по форме задуманное представилось Ефиму необычным: и роман, и сказка, и поэма, и драма… Все жанры будут породнены там меж собой! Вообразилось ему нечто свободное, раскованное, как сама выдумка…

Реальность, однако, через короткое время напомнила о себе… Под суховейными июльскими ветрами рожь запела древние жнивные песни. Вся деревня снова от темна до темна жила на своих полосках, опять Ефиму было не до фантазий и затей…

А тут еще пришли вести о разгоне Государственной Думы, об убийстве ее члена Герценштейна…

За этими вестями подоспели новые — о восстании в Свеаборге и Кронштадте, где вроде бы дело дошло до настоящих сражений на суше и на море. Приходили слухи, будто и на Волге было неспокойно.

Новости Ефим получал от Алексана Семенова. Добавляли тревоги и разговоры однодеревенцев о том, что всему Поволжью лето грозит полным неурожаем.

Тут, на севере, в лесах, засуха не сказалась так губительно, но и здешние хлеба, измытаренные жарынью, налились плохо. За все лето только и был почти один настоящий дождь.

Бесплодицей разверзалась над округой глубь неба, жидкие хлеба омертвело стояли под ней. Было что-то погибельное, зловещее в раскаленной утробе июльских дней, звенящей будто корчага, только что выставленная из гончарной печи…

Эти каленые дни страды с их дымно-желтым соломенным светом, бьющим в глаза отовсюду, эти ослепляющие и оглушающие дни, перемеженные с тьмой теплых душноватых ночей… Ефим жил среди них в полсознания. Вспомнилось ему засушливое лето 1900 года, тогда душа его так тяготилась здесь, он рвался отсюда и уехал, чтоб вернуться лишь через пять лет… Теперь уехать ему было некуда, да и не смог бы он, не пожелал бы: тут, в Шаблове, было его дело, тут была его работа…

Время для своих занятий Ефим урывал у ночей. По утрам мать грубо будила его и, пока он собирался, едва придя в себя, кричала: «Ефим! Жать надо идти! Какого ада ты не шевелишься?! Ровно как мельнишный вал — еле поворачиваешься. За диковинами своими опять просидел до петухов! Не рада и жисте с таким помощничком, разорви тебя горой!..»

Ефим только горько усмехался, позавтракав, брал серп и брел вслед за своей ватагой в поле. А в памяти все всплывало то, чем жил среди минувшей ночи наедине с листами бумаги, будто перевоплощенный. Опять он был Марком Бесчастным. Даже в коротких, неспокойных снах не расставался со своим двойником…

Мать и по дороге в поле бранила его, он же ее почти и не слышал, для него звучали совсем иные слова…

«Сюда! Сюда! Ко мне все хоры новых снов и сказок быстротечных! Глядите на меня и на людей очами полными сиянья!..» — с этими словами, жившими в нем как песня, расставался он на рассвете, когда разбудила мать, и они снова вернулись к нему… И снова он видел себя окруженным улыбающимися детьми, идущими с ним по цветущему лугу.

Жнет Ефим зрелую рожь, обвеянную от росы ветерком, обсушенную солнцем, взошедшим над лесным краем Заунжья, весь как будто ушел в работу… И вдруг остановится и глядит в задумчивости на зыбкую стену ржаных стеблей, таких хрупких в коленцах… Усатые тощие колоски светятся живым мягким светом, эта полоска светлела день ото дня… И улыбнется Ефим, окинув ее взглядом, и перекочует взгляд его на желтеющие соседние полоски, а с них — дальше…

Вон на темя горушки наползла жидкая тень облачка и нехотя сползла с него. И дрожь среди зноя проняла вдруг Ефима… Дрожь оттого, что он так одинок душой среди этой, жестоко наказанной солнцем земли?..

Серо-фиолетовый воздух замер вокруг, вспученный холмик за межой треснул от иссушающих ветров… В знойной густоте дня померещилось Ефиму странное… Наваждением зноя было оно?.. За последние дни это не раз возникало перед ним… Виделось высохшее одинокое деревце… Как этот неожиданный образ пришел в сознание, откуда, почему остался и закрепился, не хотел исчезнуть навсегда?.. Иссушенное, измученное деревце несеверной неугаданной породы, деревце с белой, чуть лиловатой шелушащейся корой, с перекрученным стволом, словно чьи-то черствые, железные руки отжали его живые соки и оставили досыхать, каменеть на моровых диких ветрах… Но вдруг расцветало это деревце, розоватое гудящее лепестковое облачко обнимало Ефима, и тогда он испытывал внезапную короткую радость… Деревце тут же исчезало, рассыпалось в знойной густоте, и какое-то время Ефим не мог смотреть ни на что вокруг, все оставалось раскаленным добела. Потом из этой кипящей белизны начинали резко, как чернь по серебру, проступать деревья на краю поля, фигуры жнецов… Все возвращалось на свои места, становилось прежним, обыкновенным, и только Унжа внизу еще несла в себе ту белую раскаленность, вроде бы не где-то в темных лесных дебрях брала начало, а в только что отгоревших, остро пережитых Ефимом мгновениях… Но это белое деревце… Уж не образ ли своей судьбы виделся Ефиму?.. Разве не похожа она на диковинное нездешнее деревце?.. А это внезапное и почти мгновенное расцветание… Разве он не испытывает ежедневно, ежечасно мучительного порыва-стремления к такому чудесному расцвету?! Весь бы мир окутал, обнял розовым гудящим цветением!.. Суждено ли?! Омертвить, иссушить, окружить духом пустыни и бесплодности норовит эта грубая жизнь…

— Ефим! Ты што это стоишь-то?! Некогда ворон-то считать!.. Жать надо! — прокричала мать с дальнего конца полосы. И как бы наперекор ее окрику, со стороны деревни послышалась протяжная песня нищего. Высокий голос («глас вопиющего в пустыне» — припомнилось Ефиму) звучал будто в каком-то вовсе глухом и безлюдном месте. Внятно донесло вдруг слова:

Не страши мя, пустыня,
Превеликими страхами…

2

Проснувшись утром, Ефим неожиданно остро ощутил: а лето-то на исходе… Казалось, не лето — собственная жизнь убывала явно и торопливо…

Умывшись, Ефим вышел из дому, отправился на Шаболу. Внизу, на лугах, дымчатых от росы, ребятишки и парни ходили с лукошками, ловили лошадей. Побрякивали уздечки, слышались нарочито грубые голоса: «Карько! Рыжко! Стой, сто-о-ой, Пегашка! Эк, тебя! Не свадно седни! Што хватаешь?! Аль мало тебе травы?!» Лошади ржали и топали. Парни и ребята пересмеивались, переговаривались, перекрикивались меж собой…

Через Шаблово проехали сначала бурдовские, а потом и глебовские подростки и парни. На лугу послышалось: «Пора и нам, робят!..» Засвистали, загикали, замахали плетками — тоже поехали в Илешево, к Николе. Только пыль густо поднялась над дорогой, полетела во все стороны земляная ископыть…

Понемногу начинает оживать деревня, девки и оставшиеся парни засновали вдоль улицы, все живет ожиданием: скоро от Николы поедут!.. Скоро будут носиться по деревне на лошадях в обгонки!..

Вот и пыль поднялась у Крутца! Полем скачут передовые, на самых резвых лошадях! Слышны веселые крики вперемежку с топотом и ржаньем лошадей! И вот уже въехали, ворвались в воротца, несутся вскок вдоль деревни, только волосы и рубахи развеваются! Все Шаблово высыпало на улицу!..

Одна лошадь, поднявши хвост, понеслась в сторону — к своему двору! Другая что-то вертится, не хочет подчиняться своему наезднику… Парень покраснел, задергал поводья: «Ишь, волчье мясо! Неохота ей!..» А из толпы ему советы сыплются: «Наплевай, коли, паря! Чай, зад-от весь отбил! Сойди да и веди вон на луг!..»

Парень слезает с лошади и, раскорячившись, с трудом переставляя ноги, ведет лошадь на луг. Откатался…

Появились бурдовские, за ними — глебовские. Остановились среди Шаблова. Лошади топчутся, ржут, головами машут, разукрашенными лентами гривами и хвостами треплют, брякают шоргунцы, звякают бубенцы и колокольчики, всадники нарочно задирают головы взнузданных лошадей, так что те пятятся и пляшут на месте, грызут удила, трясут головами…

Вот выделилась пара: рыжий горячий жеребец и молодая пегая кобыла… Выровнялись… и вдруг разом сорвались, понеслись вдоль улицы! Жеребец обскакал сначала, но в конце деревни заплясал, замялся, и пегая опередила!.. Крик поднялся: «Пегая! Пегая взяла!..» И тут же новые крики: «Сшибла! Сшибла!..» И вот уже пегая бежит без всадника, только узда

болтается. А сшибленный парень встает с земли без шапки, один бок весь в пыли и в песке…

«Что?! Больно, поди-ка, убился?!» — кричат из толпы. «Ничего!..» — с трудом выговаривает парень и, прихрамывая, бежит за лошадью, стараясь не показать виду, что крепко ушибся… Лошадь изловили другие. Парень сел на нее и уже тихим шагом поехал в сторону.

Наконец уехали глебовские, бурдовские. Оставшись одни, шабловские парни спешились и повели лошадей в луга. Скоро и весь народ разошелся, разбрелся по избам, затихла деревня…

После обеда молодежь заиграла в гармони и пошла гулять на гору Скатерки, за ней потянулись и мужики с бабами.

Насмотревшись на праздник, Ефим к вечеру ушел на Унжу. Захотелось побыть одному, чтоб в уединении вновь пережить яркие картины утихающего праздника…

Пониже впадения ручейка, на своем излюбленном месте, Иван Каратай удит себе тихомолком, будто и нет на свете никакого праздника, теплина рядом с ним разложена, огонек потрескивает, синенький дымок к воде сползает. «Перевези! Перевези!..» — пролетела над самой водой речная птичка перевезиха.

Вон сверху два мужика плывут в лодке, видно, в город. Тихо плещут весла. Мужики о чем-то негромко меж собой переговариваются. Ефим долго смотрит в странной печали на след, оставшийся на воде: так бы вот сам он плыл в этот предвечерний час с кем-нибудь мимо тихих берегов, негромко разговаривая…

Тихо опять над Унжей. Солнце перед закатом жгуче светит. Стрекозы шелестят, пролетывая над водой. За деревней, на Скатерках, стало шумнее. Там кружится хоровод. Потом его сменила кадриль.

Когда Ефим поднялся в деревню, солнце уже спустилось за лес, гулянье утихло, улица опустела, только у крылечек кое-где еще толклись гости. В проулках виднелись тарантасы, дроги, телеги: кое-кто из гостей остался ночевать. У отца с матерью тоже были гости — из-за Унжи, с Урмы. Они, видно, остались на ночь: их тарантас с широко расставленными оглоблями темнелся у крыльца.

Ефим потоптался возле тарантаса своих урманских родственников, заулыбался… Странное видение вдруг возникло перед ним… Будто вся улица запружена народом, и посреди людской толчеи, как из-под земли вырос, возник громадный тарантас…

После ужина в деревне опять стало шумно, послышались

песни. Вышла луна, осветила деревню, выманивая всех на волю. Ефим остался дома. Его никому другому невидимый праздник был с ним… Он зажег лампу, достал чернила и бумагу, весь ушел в свои фантазии…

«Собрались как-то наши, шабловские, и сказали? «Давайте, робята, делать тарантас да такой большой, чтобы вся деревня уселась, сколь есть народу!..» Сказали и стали делать! Небывалый сделали тарантас! Колеса — до застрехи! Надо было по лестнице влезать в него. Запрягли двадцать пять лошадей, уселись всей деревней и поехали! Человек двести село. Дома остались одни старухи (на всю деревню лепешки пекли) да маленькие дети, которые еще в зыбках лежали.

Подъезжаем к Бурдову. Задели за магазею, разворотили всю! Высыпалась на улицу рожь, высыпался овес… Набежали бурдовские, бранятся, а мы им кричим сверху, не останавливаемся, знай себе катимся: «Ну, полно! Приезжайте к нам на мельницу, насыпайте муки — сколь пожелаете!..»

Пока кричали им да оглядывались, не заметили, как наехали на овин… Затрещал овин, конек переломился, слеги пали, верхние бревна посыпались… Поперек овина одно колесо проехало… Смяли овин, по копнам едем, никак с лошадьми не управно: не приноровились пока…

«Что ж это вы?! Аль не видите?!» — опять кричат нам бурдовские, бегут вослед.

«Самделе, робят! Глядите-ко, сколь беды натворили!.. — толкуем. — Деревней ехать — пожалуй, дома не повалять бы!.. Да и овраг тут для переезду глубок и узок, а прямо ежели, — гора крутая… Сворачивайте-ка к городищу! Деревню объедем, прямушкой двинемся…»

Однако задели еще за Терентьев овин возле оврага. «Той! Той! Правее! Правее! Под берег не кувыркнуться бы!..» — закричали всем тарантасом. Кое-как повернули. Кузницу еще, пока поворачивали, спихнули под берег, раскатилась по бревнышку! В тарантасе у нас крик стоит: «Не до смеху, робяты! Этак нельзя! До себя доведись!» — «Поезжайте! Поезжайте! Чего там! Э-эй! Н-но-о!..» — кричат другие.

На каждой лошади — по человеку, двадцать пять кучеров! Бурдовские опять вслед бегут, кричат, руками машут. Им и горько, и дивно: экая невидаль!

Поехали по лесу, только лес по бокам трещит, одни маленькие березки да елочки сгибаются и остаются несломанные.

Приехали к городу Кологриву. Мост через Унжу узок, не про наш тарантас… Да и не выдержал бы он такую тяжесть… А нам и горя мало! Нашему тарантасу Унжа не достает до ступиц! Да и глубины-то летние, в самую межень едем. Лошади почти нигде не всплывали.

Въехали в город, остановились посреди площади, Весь Кологрив сбежался смотреть!

Приходим к Козлову в лавку, спрашиваем:

— Нет ли у вас шкворня!

— Сколько угодно! К ондрецу, что ли?..

— Нет, к тарантасу! Запасной хотим иметь!

(Свой-то у нас ковали все деревенские кузнецы вместе, сколько их было в нашем приходе. Железо еще пароходом из Нижнего привезли по большой воде. И кузницу нарочно делали большую, как двор! Одно горно — больше избы! Десять коровьих кож пошло на мехи!)

— Вот-с! Извольте-с! Тарантасные шкворни-с! — подает нам приказчик шкворень.

— Эти нам малы!..

— Больше этих нет-с!..

Ну, известно: на нет и суда нет! Накупили всей деревней ведер, котлов, умывальников, рукавов железных, гвоздей… Назад поехали.

Если бы лошади не тонули в омутах, то можно бы и по самой Унже до нашей деревни добраться, как по широкой дороге! Тарантасу-то — што?! Поехали обратно лесом.

Дома разобрали покупки из тарантаса. Потом собрались всей деревней на гулянку и стала ходить в кругах. А бурдовские едут — везут рожь, овес молоть на нашу мельницу. Навезли всякого зерна на пятнадцати ондрецах. Мы им крикнули: «Засыпайте там сами, мелите!..»

Потом во всех избах заболтали блины из свежей муки, затопили печи. И вот снесли на общее гулянье со всех изб груды блинов! Сели на лужке и наши, и бурдовские. Все едят, похваливают! Наши говорят бурдовским: «Привозите еще молоть! Что ноньча уродилось, все везите! Все смелем! На всю деревню бесплатно измелем за те убытки, что с тарантасом-то

наделали! А если надо, так и на другой год мелите! Да вот мы поизладимся, так и сами придем — пособим, поправим, что там у вас наломали!..»

Бурдовские уехали, а наши стали советоваться, что делать завтра.

На другой день сделали все по кирпичу на пробу. Двести с лишним кирпичей получилось. Это была среда. В четверг все сделали уже по десятку кирпичей. Получилось больше двух тысяч. В пятницу — по тридцати кирпичей, в субботу — по полсотне. Кончили работу пораньше, попарились, кто — в печи, кто — в бане.

На следующей неделе опять кирпичи делали. Так наделали больше ста тысяч кирпичей, как бы шутя, всей-то деревней — споро! Кирпич, известное дело, лежит, хлеба не просит, а на всякое дело годится.

Кирпичи делали не все простые, а все больше — с выдумкой! Кто какой узор измыслит!

Решили для начала построить каменный рассадник, Ставить его негде было: у всех огородцы маленькие. Сложили прямо на улице! Вдоль всей улицы вытянулся! От Миколая Фадеева срубов до белокуровской избы, Длиной сажен пятьдесят и шириной сажени две, высотой — аршина в два. Поставили рядом каменного старика с пестерем, выше избы ростом! Один нос — с печку! С клюшкой старик, а толщина-то его клюшки — с бревно! Рукавицы у него — с телегу, а лапти — как тарантасные корзины!

Кирпичи с этой поры стали делать во всякое свободное время. На рассаднике сеяли всякую рассаду, выписали хороших семян, потому стало много расти всего в огородах. Потом поставили каменную мельницу на Унже всей деревней. Долго ли сообща-то?!

Потом стали класть водопроводную башню. Вода по трубам пошла в деревню из Унжи. А вдоль деревни из Барановского конца в наш сделали ложбинку и выложили ее кирпичом, пустили по ней воду. Вымостили всю улицу, по краям же каменной ложбинки для желающих устраивали лужи с грязью.

Кирпичи, само собой, по величине и по форме были не все одинаковые, разных манеров были. Наделали их так много, что задумали всю деревню обнести каменной стеной с воротами и окошечками. Сверху деревню покрыли, сделали прозрачную крышу. Сами изобрели

такое прозрачное полотно, тонкое и гибкое, так что его, при нужде, можно было свертывать в трубку, и не бьется оно. Крышу сделали двойную. Зимой между этих двух крыш пропускали по трубам теплый воздух, и снег тут же таял, и никогда крыша не замерзала, солнышко сквозь нее свободно светило и грело.

Получилась деревня не деревня, а как бы большой, невиданный дом, внутри которого стоят избы и растут сады. Устроили общую большую печь, и тепло, опять же по трубам, стало расходиться по всей деревне. Перестали топить печки в избах, каждый для себя. Лепешки, пироги, блины стали печь у большой печи, в специальных печках, пристроенных к общей.

И зимой в нашей деревне стало лето, птицы от нас никуда не улетали. Когда зимой к Шаблову подъезжали или подходили, если шел снег, или был сильный мороз, то видели только, как над крышей прозрачной пар поваливает. Если крышу надо было помыть, то по особым лестницам и ходам девицы поднимались наверх и наводили чистоту.

Пойдешь по деревне вечером: и там, и там возле изб — постели. Началось с одного старика. Он первый на улице постелился. Людям в диковинку, спрашивают: «Ты что это, дядя Марковий?!» — «Да все равно, батюшки, теперь и на воле тепло! И ни мух, ни комаров! Сухо, славно! На воле-то лучше спать, чем в избе али в сенях!..» А это было уже в декабре! И другие с той поры стали прямо на улице устилаться, под звездами. Так-то славно лежать и в небо глядеть, а не в потолок темный!..

По улице везде в сумерках постели белеются: и возле изб, и возле яблонь, кто просто на лужке постелется, кто даже кровать вытащит и спит себе как ни в чем не бывало!..

Да что там! Уж и стены-то в избах иным стали мешать! У многих с уличной стороны стены повыпилены! Да ведь так-то и светлей, и воздуху свежего больше!

Дошло до того, что на огородах стали чайные кусты выращивать и виноград! Чего уж больше!

Пообстроились, пообжились по-новому…»

До позднего часу горел огонь в Ефимовой комнатушке. Не слышал Ефим, как утихла, угомонилась деревня. Где шутя, где серьезно писал он совсем о другом Шаблове, о такой деревне никто еще, может быть, и не задумывался, а он вот так увидел

ее…

3

Самый разгар страды. Августовские росы грибы выгоняют. Поспела по лесам брусника. Дозрел овес, а с ним вместе дошел до зрелости и лен. Уже и на осень пора пахать. Время такое, что мужик хоть разорвись! Ефиму не до своих занятий: с темна до темна в крестьянских делах.

Пришло письмо из Матвеева, от Николая. Тот писал о питерских событиях, уже известных Ефиму.

В округе было неспокойно. В Крутце поселился урядник, чего прежде не бывало. Квартировал он у крутецкого торговца Якова Степановича Данилова. Урядник уже наведывался в Шаблово, ходил по избам, заводил хитрые, околичные разговорцы. До Ефима дошло, что интересовался урядник и им, не так-то и давно покинувшим Питер…

По всей округе кто-то пустил шутку: «У Якова Данилова сын народился, ростом сынок — с каланчу, все вопит: «Вина хочу!» Так совпало: урядник по отчеству был Яковлевичем… Имел он немалое пристрастие к выпивке, а в пьяном образе становился придирчиво-куражливым, ломливым… Для всех в округе урядник вскоре стал ненавистен. Неприятен он был и обличьем: огромного роста, толстобрюхий, с большим приплюснутым, как у мопса, носом, с торчащими ушами… Нашлось для него подходящее прозвище — Пьяный ноздрян.

Каждое появление урядника в Шаблове Ефим воспринимал тяжело: в его родной мир вторгалось что-то враждебно-чуждое, опасное…

Пьяному ноздряну в Шаблове было к чему принюхиваться. Это Ефим чувствовал по намекам Алексана Семенова. Алексан при встречах уже не раз приглашал Ефима «прийти вечерком, поговорить с мужиками», пытался втянуть его в острые споры. Ефим на вечерние тайные беседы к мужикам не ходил, держался уклончиво: не в кружковой работе видит он свой путь… Он верит в другое: люди искусства должны сделать невероятное усилие, и человечество очнется, жизнь изменится! Народ просто потерял духовные связи. Восстановить их с помощью искусства — вот для него, для таких, как он, путь!..

В деревне между тем была создана подпольная ячейка социалистов-революционеров. Входило в ячейку около десяти человек — Борис Скобелев, Егор Травин, Семен Завьялов, Захар Вьюгин, Василий Дроздов, Иван Груздев, Алексан Семенов,

Филипп Скобелев… Собиралась ячейка чаще всего в избе Семеновых.

В самом Кологриве действовала целая группа, в основном учителя технического училища, женской гимназии.

Несколько раз за лето в Шаблове появлялся сын бывшего илешевского дьякона Панова, приехавший весной из Питера, где он обучался на общеобразовательных курсах.

Как-то он завернул на гулянок, где шабловские мужики сошлись посидеть на бревнах. Пришел Панов для сбора подписей под «бумагой», которую сам и составил. Эту «бумагу» он хотел послать членам Государственной Думы от Костромской губернии — Галунову и Антонову.

В «бумаге» говорилось о помощи голодающим, о том, что выборы в Государственную Думу должны быть всеобщими, равными и прямыми, с тайной подачей голосов, без различия национальности, религии и пола. В своей «бумаге» Панов писал и о том, что надо отобрать землю у монастырей, церквей, удельную и кабинетскую и передать ее крестьянам, что выбирать начальство и правителей надо всем народом, что необходимо учредить всеобщее обязательное обучение в нижних, средних и высших учебных заведениях за государственный счет…

Стояли каленые дни страды с желтым соломенным светом, бьющим в глаза отовсюду. Солнце вытапливало из торцов смолу, и над бревнами парил легкий хмельной дух, и громко звучавшие слова Панова под бездонным небом тоже как будто пьянили.

Ефиму особенно это и запомнилось, как под густо-синим августовским небом однодеревенцы слушали крепкоголосого красивого парня. Сердце в Ефиме замирало в какой-то радостной жути: вот уже не в Питере, а в его глуховатой лесной деревеньке человек стоит перед людьми и открыто говорит им без страха о таком, за что не милуют… Такого тут никогда не бывало. И Ефим напряженно вглядывался в лицо говорившего, будто ему куда важнее было видеть лицо, чем вникать в смысл звучавших слов. Каждая черточка этого красивого лица была какой-то неистовой, резкой, какая-то шальная задиристость жила и в голосе, и в жестах говорившего…

Однако в раздумье уходил Ефим с гулянка домой: вот рядом с ним, мечтающим о прекрасном будущем, живут, действуют совсем другие люди, полные нетерпения, дерзкого порыва… Между ним и ними, бунтующими, яростными, — пространство несовпадения, которого ему не преодолеть… Художнику, сказочнику, мечтателю, ему никогда не встать перед людьми со сжатыми кулаками, со словами гнева и ненависти, не позвать людей к яростному взрыву… Его выбор нравственной цели

состоялся давным-давно, может быть, еще в дедовской черночадной избе…

«Я хочу добра, стало быть, и то, что я должен делать во имя добра, должно быть добрым, чистым, негрубым, не приносящим бед и страданий. У истинного добра свои пути, я их чувствую, знаю! Знаю, что они — мои, что других у меня не будет, не может быть! Добро — не спор и раздор, добро — созидание, добрая работа! Разве же эти мои мысли чужды самой жизни?.. Вон же сказки, из какой глубокой старины они дошли до нас, а все там к добру и радости обращено! А взять память любого человека: радости ему памятнее невзгод! Не тут ли и вся самая святая правда о человеке?! Радостное только ценно! Не на невзгодах надо сосредоточивать человека, а звать к радости! На радости, на стремлении к ней вся наша жизнь стоит, к радостному все обращено! Радостное обогревает всю жизнь! В этом, в этом вся моя правда! Тут — мое поле, отведенное мне судьбой, мне на нем работать, мне его возделывать…» — наедине с самим собой думал Ефим.

Вскоре ходившие в Илешево к обедне принесли известие: к Пановым, после обедни, явились с обыском пристав с урядником и понятыми, найдено много запрещенных книжек и картинок, сына Пановых арестовали…

4

Рожь уже сжали, принялись косить горохи, пришло время и овсяной жнивы. Лето быстро покатилось под уклон. Вода в Унже стала холодна, и ребятишки больше не ходят купаться, хотя в полдни еще как следует припекает.

Ермаковская вотчина начала поднимать на своих илейновских новочистях овсяные копны. Поплыли к Шаблову через глухолесье бледно-желтые колыхливые возы.

Ефим тоже целыми днями занят возкой снопов с Илейна. Работа эта дает возможность побыть наедине со своими мыслями, со своими мечтами-фантазиями…

Ах, эти мысли, ах, эти мечты-фантазии!.. Опять Ефим просиживает ночи напролет. Опять не по-доброму будит его на зорях мать…

И все вокруг шепчет Ефиму: лето, лето на исходе… Притих лес, только дрозды да дятлы слышны… Отцветают яркие летние цветы, среди которых столько светлых и печальных дум передумал…

Давно поседели высокие заросли кипрея, его легкие

пушистые семена с хохолком из белых волосков всюду плавают в воздухе. На низинных местах уже отцветает таволга, к концу и цветение золотой розги, позднего богатого медоноса… Пьяней и острей пахнут и лес, и луга.

Лес натомил за лето сонные запахи мха и папоротников, грибов и ягод. Лечь бы тут на теплые лесные перины и лежать, чувствуя, как туманится в голове…

Телега катится перевалисто, кренясь то вправо, то влево. Солнце мигает сквозь хвойную зелень, прямые стволы сосен перехвачены огненно-красными просветами, ни души вокруг… Ефим подхлестнул вожжой с хлынцой бредущего Карька, напомнил ему, явно впавшему в сон на ходу: надо поторапливаться. Хитрый Карько встряхнулся было, но уже через десяток шагов снова едва-едва переступает ногами. В сонном забытьи Ефим следит за стелющейся впереди дорогой, скрип телеги, размеренный, убаюкивающий, опять стал ритмом их общего забытья, а по сторонам только лес, принакрытая ветвями, листьями, хвоей тишина, безмятежность…

Восемь верст в один конец, восемь — в другой. Обратная дорога еще медлительней. И тут уже Ефим вовсе напрасно понукает мерина и вожжой, и своими покриками «рё-рё». Широкоспинный Карько с репьями, сияющими в его свалявшейся гриве, и ухом не ведет, тащится кое-как, и что ему покрики возницы? Он не рысак, чтоб взлягивать… Дуга над ним ровнехонько покачивается, размеренно поскрипывает воз…

У овина их в нетерпении ждет Саня с вилами в руках. Опираясь на вилы, она с трудом взбирается на овсяной скирд, щурясь от солнца, кричит Ефиму: «Давай, давай! Подворачивай!..»

Хитрюга Карько утыкается головой в скирд, стараясь побольше ухватить сухо шелестящего овса.

— Рё! Рё!.. — в досаде кричит Ефим и дергает вожжи. Карько не спешит подчиниться, Ефиму виден яркий белок его косящего глаза. Веревочные вожжи упруго натянулись, не давая мерину спокойно заниматься любимым делом. Карько ждет, когда они немного поослабнут. Ефим слегка отпустил их, лишь на миг, и снова натянул. Видя, что дело его не выгорает, Карько качнулся, сделал несколько необходимых шагов, подкатив воз к овсяному скирду впритирку.

Ефим стал кидать Сане легкие овсяные снопы. Они работают молча, только слышно, как Карько хрупает овес. Звенят, взлетая, снопы, слышно, как на переметах овина переливчатым стоном воркуют голуби. Вдруг что-то спугнуло их, всполошились и, хлопая крылом о крыло, вылетели на волю. Ефим воткнул вилы в воз, долгим взглядом проводил их, полетевших в сторону Крутца.

Перед ним как бы вновь открылась по-августовски мягкая горизна и ложбинность уходящих к северу мест. Небо над ними было в небыстро бегущих облаках, оно ехало куда-то в праздничную вечность и волочило по всхолмленной земле тени облачных колымаг…

Забылся Ефим, еле заметная улыбка на его загорелом лице, он и сам себя почувствовал вдруг не стоящим на возу с вилами в руках, а легко приподнятым над землей какой-то доброй незримой силой… Открывшийся взгляду простор кажется ему неким древним необозримым переменчивым живописным полотном, все тот же художник, который когда-то записал это полотно, нанес на него первые мазки и теперь трудился над ним, трогая его рассеянно-быстрой кистью, продолжая бесконечное дело, творя трезво и широко, но тотчас же меркли те места, где кисть его оставляла лимонные, голубоватые, лиловые, палевые следы, и он без устали метал свою кисть то туда, то сюда, будто отыскивал на своем необозримом полотне место, свободное от колдовства этой переменчивости…

Так все ярко и празднично было среди этого дня, будто всюду на земле настало время гулять людям в легких нарядных одеждах… И Ефим даже увидел перед собой таких счастливо улыбающихся людей из его давней мечты, и он сам улыбался им ответно, глядя куда-то за Крутец, за Зеленино… Тут, именно тут, в этом тихом и красивом краю, осуществиться бы мечте о добром земном всеобщем согласии!.. Поселения тут невелики, вытянулись в цепочку по увалам вдоль Унжи, по ее правому берегу. Все деревни меж собой переродненные. Да и по осеням здесь сбиваются в лесные артели мужики из разных деревень, так что в одной артели встретишь и хаповских, и глебовских, и бурдовских, и шабловских… Никогда тут одна деревня не косилась на другую, все жили в согласии — от леса и Унжи…

— Ефим! Да ты что же этта?! Люди-то вон давно по другому разу уехали, а он стоит, разиня рот!.. — Ефим вздрогнул от этих неожиданных выкрикнутых матерью слов. — Ну и помощнички у нас с отцом! Только дуй да пошел! На ходу спят!..

Ефим оторопело заработал вилами, нахмурив брови. Вот всегда так: едва задумался, едва что-то светлое проглянуло перед тобой, как тут же раздается недобрый окрик…

Даже Карько вдруг перестал жевать в присутствии рассерженной хозяйки…

За делами незаметно подошла осень. В управные года на фролов день в Шаблове гуляют три-четыре дня. Год выдался управный, хоть и худо все уродилось. И рожь, и пшеница, и овес, и ячмень, и горох — все свезено на гумна и сложено в кучи.

После этого праздника, бывало, всегда наступало лучшее время в деревне — светлая, спокойная ранняя осень. Закурятся овины, на гумнах начнется молотьба. Еще до свету, по утрам, со всех сторон будет слышаться перестук цепов, захлопают у бань мялки, и по всей деревне распустится, растащится осенними вихорьками запах теплого льна (его пихают в печи — сушить, чтоб под мялкой лучше отставала костра).

На этот праздник все от старого до малого ходят друг к другу в гости. Он на самом краю осени, и девушкам уже холодно ходить с песнями в кругах на воле, да и дни — коротки, гулянье захватывает и вечернее время.

Накануне праздника закурились бани. Большухи натопили жарко печи. Сначала запахло студнем, потом — пряным и солотенным пивом. Малые дети по избам ждут не дождутся, когда бабушки или матери станут вынимать из печи корчаги и спускать сладкое сусло. Так знакомо все это Ефиму еще по самым ранним его годам! Бывало, бабушка Прасковья вынет из печи корчаги, в которых солод с мякиной варился, поставит к спускальницам — прожелобленным доскам, и Ефим уж тут как тут: ждет, когда она ототкнет деревянные затычки и сусло побежит по желобочкам в кадку и запоет, стекая в нее, на разные голоса, а бабушка скажет: «Слышь, Ефимко, как оно поет, сусло-то?! Послушай-ка: «Я — сусло! Я теку-у-у, я сладенькое сусло!..» А потом бабушка нацедит в деревянный ковшик горячего сусла и поставит на залавок и скажет: «Обожди — остынет!..» И когда сусло поостынет, Ефим пьет его, тягучее, сладкое и теплое.

На празднике Ефим лицом к лицу столкнулся с Марькой. Он ее не сразу и узнал: так она изменилась, совсем уже обабилась. Узнал по глазам, по голосу. Она первая поклонилась ему: «Здравствуй, Ефим Васильевич!..»

— Здравствуй… — Он остановился перед ней в растерянности. — Здравствуй, Ма-марья… Марька… Как живешь?..

— Худо, Ефим Васильевич… — потупясь, ответила она. — Детишек накопили уже четвёро… Бедность…

Он только вздохнул и, кивнув, пошел дальше, у деревенских баб язык — известное дело: тут же растреплют, разнесут, попробуй задержись они друг возле друга лишнюю минуту… Только пробежал по деревне какой-то теплый, душный вихрь, всколыбались ветки на березах и липах, и вроде бы полились

вдоль улицы нарядные люди, и чей-то задорный голос под гармонь зачастил нараспев:

Что и Шаблово деревня —
Изо всех деревнюшка!
Я вовеки не забуду
Деревеньку, девушка!..

А Ефим в проулок и — вон из деревни! Не до веселья, не до гулянья стало ему… Он и не знал, что так хватливо прошлое, то, что вроде бы уж и утихло давно, не болело… По илейновской тропе-прямке далеко ушагал в задумчивости. В Шаблово вернулся уж после того, как постемнело на дворе…

Сентябрь. Бабье лето идет. Лист на деревьях жесток, шум от него не мягкий, сухой, колющий слух, лист еще не потек, хоть и появилась кое-где желтизна. Дни стоят мглистые, солнце над лесами светит еле-еле и греет едва-едва. Натащило плотную наволочь, а с ней начались небольшие, но частые дожди, на дню не раз поливать принимаются. «Коль бабье лето ненастно — осень будет сухая!» — говаривал еще дедушка Самойло. Днями Ефим теперь пропадает на гумне, в овине, сушит снопы. Непременно берет с собой тетрадь: в тиши овина хорошо думается, вспоминается…

Ефим встал рано и пошел на гумно — подогревать овин. Накануне овин был насажен пшеницей, и она была почти высушена, только одну теплину надо было пропустить, последнюю: все перемолотили уже, всего на один раз и осталось, не пришлось измолотить на один отрыв, помешали дожди. Это раннее утро опять было сырое, ненастное. Мать, возившаяся у растопленной печи, проворчала: «Дожж седни с полночи по крыше боркат!.. Экой зауливной дожж!.. Пристал не ко времени!.. Только вот под утро и поутих… Ах эта мокрень!..»

Ефим захватил с собой две галанины, чтоб испечь их на теплине. Пришел в овин, разложил теплину, лег на доску у стены и не заметил, как задремал: пригрело. Приснилась ему, опять увиделась праздничная округа под белыми, чуть розоватыми пухлыми облаками, опять люди окрестных деревень и свои, шабловские, в ярких легких одеждах улыбались ему…

Очнулся: тьма овинных сумерек, чуть подбагренная прогорающей теплиной, в щелях — слабый свет. Отворил дверцу на волю, вышел, постоял посреди гумна, вглядываясь в сырую рассветную мглу… Рано. Нигде не шум нут. Лишь дымки из труб поваливают… Воздух за ночь напитался холодом. Невысокие тучи обступили, обложили деревню, избы Шаблова стоят под ними

насупленно-темные, нахлестанные ночным дождем. Под тот дождь Ефим в полночь сидел у себя за работой. Ночной дождь не только в черноте изб, не только на тропах и дорогах лужами остался… За полночь, под его хлест и плеск Ефим написал стихотворение:

Что шумит во тьме ночной
Дождь осеннею порой?..
Влажно темное окно,
Мне уютно и тепло.
Тихо все, и только слышу:
Капли падают на крышу
Из нависших облаков,
И лепечет сад листвою,
И заросшая травою,
Влагой улица полна,
Темной ночью не видна.
Дождь шумит. Людей не слышу.
Капли падают на крышу…
У людей заботы были,
Ночью все они забыли…
Темной ночью в тишине
Видят сны в глубоком сне…
Я окошко распахнул,
Тьмы сырой ворвался гул!
И на улицу гляжу,
И от холода дрожу…
Там тоскливо, безотрадно,
Сыро, пасмурно, прохладно.
Грязь глубокая блестит,
Все нахохлилось, молчит,
Жутко, хмуро и темно…
Я закрыл свое окно…

Да, словно бы холод самой жизни опахнул его у ночного раскрытого окна… Чем-то неумолимо-враждебным дохнула на него осенняя ночь. Будто все силы тьмы разгуливали вдоль ночной деревни, их дыхание коснулось его лица… Опять, опять ощутил это так остро — отчужденность, отстраненность всей здешней жизни от того, ради чего и горит допоздна каждую ночь свет в его оконцах, от того, что он постоянно носит в себе…

Жизнь… Эта простая, непритязательная, грубоватая жизнь, кормящаяся от земли, воды и леса… Нужно ли ей что-то более высокое, или только узкопрактическое ей интересно, только то,

что годится на ежедневное поддержание?..

С измученной душой уснул Ефим под утро, ненадолго забылся. И вот, как награда за минувшую ночь, — только что приснившийся сон, словно бы осветил медленно разрастающееся хмурое утро.

Ах этот сон!.. Ефим в последние дни снова вернулся к своему двойнику — Марку Бесчастному, роман о нем разрастался, и сама жизнь Ефима как бы вплеталась в него, объединялась явь с фантазией, и среди последних дней не раз он вдруг начинал вслух насказывать приходящие к нему мотивы, словно бы полностью перевоплощаясь в своего героя. Вот и тут, постояв у края гуменной ладони, чисто подметенной накануне, он заговорил вдруг нараспев:

«Как будто слышал я опять привет минувшим снам… Они живут в воспоминаньях… Лишь тучи темные мешают солнышка лучам пробиться, цветы согреть и осветить прекрасную окрестность… Лес, лес кругом, и дико так… Я слышу голоса созданий юных, но их тяжелая стихия окружает… Как глухо здесь… Кто б мог открыть отверстие к неведомому свету…. Так плохо видно в полумраке. И пни ли там похожи на людей, иль люди то, похожие на пенья… В тумане трудно разобрать… И совестно за грубое сравненье…. И ходят в поисках созданья молодые, везде — валежины, кочки и зыбуны, и мхи седые… Чего вы ищете, скажите? И что вам чудится в неведомой дали?.. Вы слышите напевы стройных грез и музыку?.. Иль голоса тревоги?..

Я сам упал… Пути все где-то спутались, теряются в чащобах, и столько всяких заграждений!.. И к миру светлому дорожки зарастают…»

Да, он привык уже вот так жить, словно думая и чувствуя за двоих. Он видел облик Марка, не просто воображал, а именно видел, будто тот действительно существовал, жил где-то рядом, тут же, в Шаблове… Марк был высоким светловолосым молодым человеком с проницательным, чуть печальным взглядом. Марк был словно бы образом самой души Ефима, а не совершенным его двойником.

Тихий, мглистый рассвет стоял за деревней. С огородцев наносило запахи разворошенной земли, от Унжи потягивало осенней сыростью, и Ефиму, опечаленно примолкшему, подумалось вдруг о реке, о том, как она, должно быть, поседела после долгой непогодной ночи, подумалось, как о близком человеке.

Впереди был серый день без вышины, без внятных голосов и звуков, сырая неподвижная мгла…

«Осень, осень… — прошептал Ефим. — Приведи ко мне мои

надежды, дай мне облегчение!..»

Он вошел в овин, разворошил головешки совсем уже прогоревшей теплины, выкатил испеченные галанины. Ел, но мысли были где-то далеко. Потом слазил на поличку, прощупал рукой: пшеница была уже суха, спустился, посдружил головеньки, присел у ожившего пламени, достал из своего тайничка потрепанную тетрадь, на первой странице которой было написано: «Марко Бесчастный, божественная трагедия». Начал было писать, но скрипнула дверь, в овин заглянул отец, кашлянув, спросил: «Ну как, попросохла ли?!» — «Попросохла! — кивнул Ефим. — Можно и молотить!»

Вдвоем они начали раскладывать снопы на ладони, в два ряда, комлями врозь, колосьями друг к другу, внакладку. По деревне уже кое-где застучали цепы…

6

Кончилось бабье лето, запахло в округе настоящей осенью. Поседели на огородах тугие ушастые капустные головы, повысунулись из земли желтоватые макушки галани, выкопали уже картошку, убрали лук и чеснок. Огородный дух переселился в избы.

Все уже отмолотились. Ни пшеничных, ни ржаных, ни овсяных куч на гумнах не видно, только копны соломы желтеются. И лен належался на стлищах, подошло время его поднимать. Пусто, светло в округе. Лошади бродят где хотят, неспутанные…

Похолодало, дохнул небольшой заморозок, землю чуть прихватило, с деревьев дружно потек лист, залетал по деревне. Липа с осиной первые начали раздеваться, за ними — береза.

Однако заглянуло лето, солнышко пригрело, как в дохолодовый еще день.

Ефим провеивал на гумне хлебный ворох, раскидисто швырял зерно лопатой перед ветром, оно пахло полем и дымом овина. И ветер с самого утра все нашептывал что-то легким пухлым облакам, и навертывались, приходили Ефиму на ум легкие, как эти облака, слова:

Как лазурная даль глубока!
Как причудлив узор очертаний!
Убежал бы, ушел от страданий!
Улетел бы туда — в облака!..

А тут еще среди дня мягкое гусиное перекличье проплыло над Шабловом, и Ефим, отыскав в небе две широко разведенные вожжи гусиного клина, долго стоял В неподвижности, в мыслях уносясь за птицами куда-то за Кологрив, к югу…

Мимо брел из лесу с ношей лык за спиной Костюня Матвеев, тоже глядя на ходу вослед улетающим птицам.

Ефим окликнул его, приветливо улыбаясь:

— Здорово, дядюшка Константин!

— Здорово, парь! Здорово! — тот остановился.

— Лык нарубил?

— Да вот нарубил малость… Все лышники вырубили коло близи. Насбирал ношу-то по себе, лапти на трои, больше и не унести. Недалеконько нашибся на молодой липнячок, тут и нарубил на одном месте и лутошки ободрал, вот и непоздно еще вертаюсь… — Костюня сбросил к ногам связку лык.

Поговорил о пролетевших птицах, о хорошей погоде.

— Ну, постоял тут с разговором, плеча и ноги отдохнули, пойду, парь!.. — вздохнул Костюня, поднимая с земли свою ношу. — Скоро придет мокретина да стужа, уж не сходишь в лесто, как теперь — с радостной душой… — и кивнул уже на ходу: — Заходил бы когда…

— Зайду!.. — Ефим проводил его долгим ласковым взглядом: старик неожиданно напомнил ему среди этого светлого дня Флавушку…

Кое-кто из парней, как обычно, отправился на зимнее отходничество, «забритых» забрали в армию, оставшиеся занялись подвозкой дров и сена с лесных покосов, точат веретена, мелют на мельнице, плетут лапти, катают валенки… Девки прядут, ткут, вышивают…

Уже и мастера по баркам собрались в артель. В Шаблове бывалый барошник — Василий Белов, по прозвищу Колпак. Их тут, в округе, двое таких: он да дед Долбак из Хапова. Коренные барошники, однако не на этом берегу живут — на другом, в деревнях Дуплениха и Урма.

По избам ходят скупщики льна. Не удался лен, как и все в этом году, и скупщики хают его, сбивая цену, как только могут: мол, и коротенек, и тонок, и не чисто смят, и перележался, и цветом не вышел…

Собралась и лесная артель — заготавливать строевой лес в Перфильевском бору за Унжей. Отец подрядился туда возчиком. Все вздыхал, поглядывая на Ефима: «Опять вот в лесу зиму-то

мутериться! Здоровья-то вовсе уж нет, и годы-то уж не те…»

Красноречивы были эти погляды, эти вздохи-кряхтения! Замену себе имел в виду отец…

Ефим же мечтал об этой осени и будущей зиме, как о времени большой работы: столько пока что неосуществленного ожидало его!.. Ждали и задуманные картины, и Кордон, и роман…

После пожара, случившегося здесь двенадцать лет назад, шабловские стали отмечать покров, как особенный для них день: из Илешева привозили священника и всей деревней собирались на гулянке на молебен, а после обходили Шаблово крестным ходом.

Уже выпадали первые ненадежные, но обильные снега, после которых осталась слякоть и мокретина. Зато в воздухе была острая свежесть, какую всегда оставляет талая осенняя вода, и Ефим чувствовал себя так, будто и в него влилась часть этой свежести. Все в нем было обострено, и он испытывал в себе знакомый и такой желанный трепет, трепет художника, почувствовавшего близость большой, настоящей работы…

С жадной зоркостью Ефим смотрел на все, что происходило во время молебна и крестного хода, во всем этом для него опять жила какая-то древняя крестьянская тайна, присутствие которой он столько раз угадывал здесь, в родном Шаблове.

И его унесло вдруг к какому-то небывалому яркому празднику, широко разлившемуся посреди иного Шаблова, порожденного его мечтой, его фантазией… Опять, в который раз, видел он диковинные избы, похожие на терема, видел доброприветных нарядных людей, разгуливающих вдоль деревни, большие столы с расставленными на них, прямо под открытым небом, яствами…

Незадолго до этого Ефим получил письма от Саши, из Кологрива. Сестрица писала:

> «Крестный, 1 октября, т. е. в покров, у нас, в гимназии, будет вечер. Наш VII класс будет играть Островского «Праздничный сон после обеда». Так вот, если желаешь, то приходи, наши девочки просят. Ты еще не бывал у нас. Только в том беда, что дорога испортилась…»

Саша еще в Шаблове просила его побывать у нее в гимназии, он обещал ей и вот после молебна отправился в Кологрив. Пошел не через Бурдово и Вонюх, не волоком, а берегом Унжи, переправившись на кологривскую сторону на лодке. Эту лодку

держали для переправы напротив Бурдовского городища от вскрытия реки до ледостава. Берегом путь в Кологрив короче.

День клонился уже к закату, над верховьями Унжи небо очистилось, проглянуло вдруг низко повисшее солнце, озарив прибрежные сосняки и ельники, превратив их из мглисто-зеленых, по-непогодному сумрачных в бронзово-пылающие, веселые. Очарованный этой внезапно открывшейся предвечерней красотой, Ефим и не заметил, как оказался уже рядом с Ванеевским озером, отмахав больше половины пути. Не поленился свернуть к озеру, затаившись за кустами, посмотрел на нешумную жизнь пролетных уток и пошел дальше.

И вот уже меж сосновых лап засиял впереди освещенный заходящим солнцем старый Макарьевский собор. Так же, наверное, встречал он одиноких путников, приходивших сюда еще в ту пору, когда на месте Кологрива было просто небольшое сельцо Кичино.

Ефим остановился на сугорке, окинул взглядом весь уездный городок. Улыбнулся: нет, не в каком-нибудь вовсе глухом углу живет он со своими мечтами!.. Вроде бы и посреди лесов стоит Кологрив, а ведь не дыра какая-нибудь: тут и гимназия есть, и городское училище, две начальные школы, духовная школа, сельскохозяйственное училище… Живое место!

Ссыльным издавна считался этот край. Ефим еще с детства помнит, дедушка Самойло рассказывал, будто сюда, в пустынский монастырь, куда они вдвоем ездили на моленье, в давние годы была сослана какая-то княгиня (Елена вроде бы по имени). В пустыни она и похоронена, дедушка ему и могилу княгини показывал. Ссыльных тут всегда было много и чаще всего — людей просвещенных…

Да сколько тут, в уезде, было и своих, местных, видных людей! Декабрист Фонвизин, поэт, друг Пушкина — Катенин, путешественник, этнограф Максимов… Нет, не глухое, не мертвое тут место!..

Ефим залюбовался вечерним Кологривом. Так весело впереди пылали окна, отражая закатный свет, уютно розовели, золотились в центре Кологрива его церковки, белокаменные дома знати.

Весь городишко имел в этот час какой-то живой приветливый вид, и словно бы чудо вдруг случилось с Ефимом: уже не Кологрив видит он перед собой, а свой Кордон…

Небывалый диковинный город, прихотливо перепутавший в себе городское и деревенское, возник перед Ефимом так явственно, так ярко!.. Город-деревня, город всеобщего благоденствия, навсегда и накрепко породнившийся с деревней, живущий затейливо и празднично, отказавшийся от жизни

унылой, шаблонной, город, построенный по подсказке свободной и доброй фантазии, город, в котором живут добрые, наполовину городские, наполовину деревенские люди.

Ефим смотрел на возникший вместо Кологрива город, и взгляд его был творящим: он создавал все новые и новые диковинные постройки, ни одна из них не повторяла другую. И люди Кордона были все так неодинаково одеты… Есть среди них и щеголи, но их щегольство — не от желания блеснуть и поразить, а от воображения, от веселого стремления всем своим видом создать праздничность и легкость. Детским, детским было их щегольство…

Перед Ефимом, зачарованно улыбающимся, жили своей тихой жизнью старички и старушки — затейливые говоруны, вечные хранители того родного, древнего, что сквозь столетия несла в себе в основном-то деревня, хранители чистых, животворных родников и ключей, незримо питающих реку народной жизни, дающих ей то, без чего не сохранит свою душу никакой народ. Они хранят и родную речь, и родные преданья, песни, сказки, поверья, обряды…

Перед Ефимом явился мир без богатых и бедных, в котором не бедуют и не хитрят, и не попирают один другого, а живут по-простому, по запросам доброй души, по согласию с ней и в добром согласии со всем вокруг. В этом так ярко и празднично явившемся мире не найти людей со злобой или ожесточенностью в глазах, нет среди них ни с дурцой, ни с норовцой, ни с завистью, ни с похвальбой.

Так неожиданно Ефима перенесло к тому, что было для него самой великой мечтой… Или не так уж и неожиданно?.. Ведь что-то большое, значительное, для души накапливается в ней исподволь, понемногу, но многими путями, и неожиданно (как будто!) в какой-то день вдруг являет себя, как образ, как законченная мысль или зрелый замысел…

Увиденное так сильно завладело Ефимом, что до самого центра Кологрива, до Сашиной гимназии, он шел как в полусне, почти ничего не видя и ничего не слыша, вроде бы и не понимая, зачем и куда идет… Ноги сами несли его через вечернее Тодино — деревню-пригород, через знаменитую Звоновку, а мысли, разыгравшееся воображение все еще держали его перед картиной-видением. И он уже готов был повернуть назад, бежать со всех ног к себе — в Шаблово, где мог бы приступить к работе, к творению померещившегося чудесного мира. Нелепо, невозможно было идти теперь на вечер в гимназию, в водоворот шума,: суеты, но он все-таки пошел: если бы не приглашение Саши, не было бы у него этой осенней дороги, не было бы того мгновения, в

котором озаренный предзакатным светом Кологрив преобразился вдруг в Кордон…

7

Зима сделала последний попыт — на хорошо настуженную землю накидала снегу, который больше не растаял, воздух перед снегопадом вволю напитался холодом, земля аж гудела под ногой.

Для деревни настало тягучее досужное время. Для Ефима же оно — самое рабочее. Только на одно дело, не связанное с искусством, и отвлекся: несколько дней заготавливал с отцом дрова за Обрашицей, на Илейном. Потом отец уехал с артелью за Унжу, а он тоже будто за какую-нибудь невидимую замерзшую реку, в лесные дебри откочевал: с головой утонул в своем искусстве.

Не выходит из ума та явившаяся ему под Кологривом картина… Уже несколько небольших акварельных эскизов сделал к вей, отложив на потом еще в Петербурге задуманное панно. Идея Кордона, города всеобщего благоденствия, полностью овладела им. Теперь он постоянно рисует и пишет диковинные дома и дворцы, лепит их из глины, так что и глиняный Кордон заметно разросся за небольшое время. Множится и его население.

Счастливая, желанная пора наступила для Ефима. Наконец-то он свободно отдается творчеству, принадлежит самому себе, своей душе почти полностью! Даже мать оставила его в покое. Помощь вичужан и кинешемцев все еще была постоянной, не прекращалась — это смягчало ее сердце…

Так легко и свободно душе Ефима! Целыми днями он наедине со своими замыслами, живет только творчеством. Так давно не жилось ему, чтоб была такая свобода, чтоб так полно мог он принадлежать воображению. Только в раннем детстве было что-то такое, только там была такая воля…

Однако Ефим не вовсе уж в затворничество ушел. В неделю два-три раза он ходит на беседки, где деревенская молодежь проводит долгие вечера. В Шаблове издавна устраивали две беседки — большую и маленькую. Большая — для парней и девок, маленькая — для молодяжек. Маленькая подражала большой. Устраивалась она, правда, не в какой-нибудь постоянной, откупленной, избе, а кочевала из одной избы в другую: нынче — у одних, завтра — у других, по порядку.

Ефиму больше нравится ходить на маленькую беседку.

Забавное это зрелище: сидят по лавкам «барышни» и «кавалеры», у многих ноги до полу не достают… Девочки сидят с рукодельем — учатся прясть и вязать носки, варежки, учатся уже и танцевать. Кое-кто из ребятишек тренькает на балалайке… Есть тут и свои зрители: в кути толкутся матери, шушукаются меж собой.

Когда-то, мальчиком, Ефим тоже проводил свои осенние и зимние вечера на такой беседке. Бывало, чуть стемнеется, засобирается на нее по уговору с дружками. Дед Самойло прикрикнет:

— Ефимко! Не ходи-ко на беседки-то! Посиди дома! В наше время мы стыдились ходить на беседки без дела. А ежели так — женихи только буде, да и то — либо с лаптем, али оборы вьют… Вот я заплел тебе новы лапти, ты и свил бы себе к ним оборы-то! Да и заплетать пора бы учиться! Али вон хоть ошметки починивай. Вот тут провести лыко-друго — еще и наносишься! Ядрены лапти, только рожи порастрепались малость, а подошва еще гожа. Садись вон на коник да починивай — учись! Неча без дела носиться-то!

Ефим со вздохом брал из дедовых рук растрепанный лапоть, Садился на коник, начинал обрезать лыко для починки… И все же, улучив момент, оказывался за порогом…

Ефим на маленькую беседку не просто так ходит, не ради праздного любопытства. Его тут ждут, ему тут всегда рады. Несколько раз он брал с собой этюдник — писал эскизы к задуманной картине «Маленькая беседка», появлялся он тут и с книгой в руках, читал ребятишкам «Вечера на хуторе близ Диканьки», стихи Кольцова, Никитина, Некрасова… Ребятишек, которые не ходят в школу, учил счету и азбуке — по испытанному способу, еще дядюшка Фрол Матвеев обучал его самого именно так — надо было запомнить довольно забавный набор слов: «Аннушка, бабушка, Васильевна, Григорьевна. Дедушка ехал жениться зимой. Иван Иваныч кланялся людям: Мишеньке, Наташеньке, Оленьке, Парашеньке. Рыжая собака танцует у ворот. Федька хохочет: цыган черемочет — шить, щить, ыть, эть, ють, ять, мягкий знак, твердый знак». Такой «метод» заучивания не запрещался и в школах.

Читал Ефим ребятишкам и свои стихи, «сочинюшки», рассказывал сказки, загадывал загадки. Раз от раза убеждался: нужен, нужен и деревне свой народный дом или что-то вроде клуба деревенского, где можно было бы не только время скоротать, но и много полезного получить и старому и малому… И являлся ему в мечтах такой дом — ярко освещенный, весь белый, как храм, куполом увенчанный. А в этом доме и театр, и

библиотека, и зал для собраний, сходок… Он уже сделал эскиз такого дома к задуманной картине и вылепил его. Он живет мечтой, как однажды пригласит всю деревню и покажет им свою огромную картину, на которой однодеревенцы увидят город всеобщего благоденствия, его Кордон, он расскажет им об этом городе, он подарит им свою мечту… Но та мечта не должна оторваться ни от прошлого, ни от настоящего… Он не только создаст эту картину, опишет ту будущую прекрасную жизнь словами на бумаге, когда-нибудь у него будет деревенский театрик, пускай совсем небольшой, и в нем он покажет однодеревенцам будущее в живых картинах, как уже достигнутое, близкое… Не забудет он и родную древнюю культуру, бытность и в живописных полотнах, и в сочинениях, и в театральных постановках будет она жить, давать людям радость. С помощью искусства он проведет их от истоков, через настоящее в будущее… И начать надо с малолетков, им, тянущимся ко всему сказочному и необычному, он должен рассказать обо всем как сказочник…

На маленькую беседку Ефим притащил короб своих глинянок, весь первоначальный Кордон. Ребятишки окружили его, затормошили: «Чего это ты принес, дядя Ефим?!»

— Не торопитесь, не торопитесь!.. — улыбаясь, Ефим поставил короб на стол в переднем углу, стал доставать из него постройки, человечков, деревья… — Сейчас мы с вами посмотрим, как жило наше Шаблово давным-давно, в незапамятные времена, с чего тут у нас все начиналось…

Он молча расставлял на столе свои глинянки, а ребятишки, сгорая от любопытства и уже настроенные на что-то вовсе необычное, окружили стол тесным кольцом…

— Давным-давно, — начал Ефим, — на месте нашего Шаблова был густой лес, и на самой горе Шаболе стояла одна-единственная избушка окнами на полдень. И вот в той избушке жил старик со старухой, и было у них два сына и одна дочка, примерно вашего, возраста. Старика звали Хорь, а старушку — Ягодка, А сыновей — одного Опенок, другого — Лутько. Дочку звали Беря. Избушка их стояла на том самом месте, где теперь Лизаветина изба, чуть пониже, чтобы солнышко больше припекало, к горе, чтоб ветром студеным не хватало. Перед окошками Хорь с Ягодкой сажали капусту, галань, горох, бобы, морковь и всякую всячину. На всю зиму им хватало всего, с остатком даже. А за огородцем, к речке, из окошечек видно было зеленый лужок, и там росли всякие травки, цветочки, и ходили козы на солнышке, щипали травку, А возле огородца шла

тропочка к речке, не там, где теперь, пониже. А речка тогда была шире, сильней, и за ней не было никаких полей, не как теперь, а был, опять же, сплошной лес.

И вот пошли раз Опенок, Лутько и Беря по ягоды в ту сторону, где теперь Бурдово, взяли с собой пестерья и коробицы и на берегу речки, на том месте, которое бурдовские зовут Городищем, нашли две избушки. Они сперва не смели и подойти… И вот с реки идет девонька с водой:

— Кто вы такие? — Ефим прихватил глиняную девочку с коромыслом и ведрами на плече и, постукивая ею о стол, «подвел» ее к трем ребятишкам с пестерями и коробицами в руках.

— Да мы ходили по ягоды…

— А-а… Откулешние?..

— А вот недалеко от вас у рички живем.

— Это у рички-то?! Мне тятька сказывал. Вашего тятьку еще Хорем зовут… Вы ведь Хоревы будете?..

— Да, Хоревы мы и Ягодкины.

— Ну, вот! Я и избушку-то вашу видела: два окошечка к ричке, и козы у вас. Я по грибы ходила и видела с горы и под гору к ричке спускалась.

— А как тебя зовут?

— Нивичка. А вас как?

— Опенок, Лутько и Берька.

— А у меня еще есть брат Тютя. А тятьку зовут Рус. Они ушли дрова рубить. Я одна дома. А мамка наша умерла. Вон в том дому живут девонька Светка и паренек Провка, и еще старший брат у них есть, Фаном зовут. А батька́ у них зовут Чивиль, а матку — Токой. У ник еще две дочки выданы замуж — Латька и Руса, вон там, за ричкой они живут, там тоже две избушки есть.

Услышали разговор Чивилевы девоньки и выбежали на волю.

— Кто такие?

— А это вон повыше нас недалеко от рички живут…

— По ягоды, видно, ходили? В пестерьях-то есть?

— Есть, высыпали по коробице.

— Фан! Фан! Гляди-ко, какие пришли! Где он, Фан-то?!

— Да вчерася говорил, что в малиннике какие-то жерди надо поправить. Слышь, постукивает?..

Из-за избушки вышел Фан.

— Что у вас тут за сходбище?!

— А гляди-ко, какие пришли!

— Что же глядеть-то: это Опенок и Лутько! Али я не видывал их? Я и сам-от не одно в а бывал у Хоря. Много набрали, Лутько?

— По коробице высыпали в пестерья.

— Разве ягод-то мало?

— Ягоды есть!

— А дядюшко Хорь дома?

— Нет. Ушел лапотные берёста драть.

— Вы домой али опять пойдете ягоды брать?

— А надо уж набрать по ноше-то!

— Тут вот, повыше нас, ходил я, этта: дюже густо там брусницы, ровно вот как усыпано!

— Мы ведь немножко поправее прошли. Рябков, рябков сколь! И тетеревья по брусничнику много! Мы их не трогали, и они нас не боятся.

— Да, птице теперь житье: и тепло, и много всякой всячины! Я жерди излаживаю в огородце. Пойду…

И Хоревы ребята пошли опять по ягоды и набрали по полной ноше. А как пришли домой, рассказали про две избушки.

— А это живут Чивиль да Рус! — оказал Хорь. — Это место Бруснихой зовут.

И вот Хоревы робята сделали себе балалайку, свирельку и барабан и пошли в Бруснику наряженными. Лутько нарядился стариком с балалайкой, Опенок — старухой с барабаном, а Беря пошла со свирелью, маленькие лапотки обула из красненьких мелких лычек.

И пришли они такие наряженные на беседку в Бруснихи…

Увлекся Ефим, принялся рассказывать, что говорилось и делалось на беседке в Бруснихе, как веселились ребятишки, какие выдумывали затеи»… Много всяких приключений было у них в здешних лесах: и в избе у самого Вихоря они побывали, и у Бабы Яги, и у глухого Тетерева…

Получалась у Ефима сказка не сказка, бывальщина не бывальщина… Все это у него давным-давно сложилось. Еще подростком он любил выдумывать наедине с самим собой такие лесные истории. Да и он ли их выдумывал? Не сами ли они приходили к нему из глубокой старины, которую он так любил еще и в самом раннем детстве — по сказкам бабушки Прасковьи, дедушки Самойла?..

Какая-то далекая древняя лесная жизнь мерещилась ему тут, в родном Шаблове, уже давным-давно. Он знал здесь себя маленьким, затерянным в дикой природе жителем, таким, как Лутько или Опенок, о которых рассказал ребятишкам. Он жил в той древней, дремучей глухомани, почти не тронутой топором, в местах, где до него не успели пробить ни троп, ни дорог, а были только звериные следы.

Те, былые, леса нависали тут по ночам над его изголовьем,

шумели над ним во снах и наяву. Обступали его по вечерам, на широких горячих закатах, те былые косматые багряноокие чащобники, лишь по самым краям которых, вдоль берегов Унжи и ее притоков жили словно бы безымянные, затерянные люди.

Порой ему стоило только прикрыть глаза, чтоб та добрая непуганая глушь, как исполинская волна, накатила на него, и далее он начинал жить, будто оказавшись в подводном мире, ни один голос, ни один звук не долетал до него из жизни родной деревни, лесная глушь смыкалась над ним высоко, как морская вода, начинали обозначаться кусты и деревья, начинали плясать и перемигиваться с ним, точно в какой-нибудь игре с заманиванием, светлые веселые зайчики — золотое по густо-зеленому…

Не случайно, не случайно и то, что он вынашивает теперь самую заветную свою мечту, будто по подсказке тех, былых, глухоманей он назвал ее по-лесному — Кордоном…

Заглядывал Ефим и на большую беседку, когда там бывало не слишком заторно. Ему и сюда хотелось бы принести свое, и тут направить все по-иному, и сюда прийти со словами, которые смогли бы победить пустое времяпровождение…

Собирались еще в Шаблове на посиделки. Это для молодых баб и вдовушек, для старых дев… Придут в вечернее время с рукодельем: прядут, вяжут, крутят нитки, ушивают одежду. На посиделки заглядывают и «женихи» — молодые мужики и вдовцы, эти тоже со своим рукодельем: плетут лапти, подшивают сапоги, вяжут сети, вьют веревки. Все деревенские новости обычно здесь. Ровесницы и ровесники Ефима тоже давно уже не на беседку ходят, а сюда, тоже все здесь, а он вот среди них на этих посиделках словно бы не в своей тарелке: холостяк… Один такой на все Шаблово… И пошучивают тут над ним, мол, когда оженишься?.. Неприятны ему эти шутки, а все же не на беседку к парням и девкам тянет, а сюда, и не столько потому, что по возрасту он больше подходит для посиделок, а просто интересней ему как раз здесь: тут и разговоры не те, и песни… Или в этом-то и сказывается возраст?..

На посиделках его больше всего песни прельщают. Поют здесь и старинные песни, и проголосные, и веселые, и грустные… Особенно Ефим любит, когда поет Евдокия Скобелева, пышноволосая статная красавица. Не раз он тайно любовался этой дородной крестьянкой, годы которой хоть и перевалили за сорок, но еще не надогнули ее (наверное, потому, что Евдокия всегда была характера мягкого, нрава веселого, безунывного, общительного, потому, что она любила детей и своих, и чужих,

знала множество сказок, песен, преданий…). Деревенские ее уважали, и на любой свадьбе в доме невесты именно она выходила к гостям с «дивьей красотой» — маленькой елочкой, украшенной лентами, бусами и уставленной зажженными свечками. Этого никто лучше ее не умел делать, никто так не подходил и обликом, и статью для такого обряда.

Ефим всегда с удивлением смотрел на Евдокию и ее мужа Степана Скобелева, когда они попадались ему на глаза вместе. Степан невысок и худощав, очень подвижен, характером вспышлив. В семье он поддерживает жесткий порядок, дело за хорошей затрещиной у него не станет. Евдокия же — сама мягкость и доброта… Но по всему видно: ценит и любит своего сурового мужа. Почему?.. Потому, что он крепкий, трудолюбивый домохозяин, превосходный плотник?.. Сам Ефим никогда не смог бы соединить свою судьбу с человеком, столь же вот непохожим на него самого и нравом, и характером, и душой… Он уверен: человек должен навсегда соединиться только с тем, кто по-настоящему близок ему!.. Но вот нелепость: дважды сам он был обманут судьбой…

8

Среди ноября до уезда дошел новый указ о землеустроительной реформе. Об этом указе по деревням узнавали чаще всего на сходах, реже — от земских начальников, ив газет.

В Шаблове собрали сход, на котором староста Алексей Иванович Семенов и зачитал этот указ.

Задумано было преобразование земельных отношений в масштабах всей России. Преобразовать их — значит, войти во все подробности хозяйственных отношений чуть ли не каждого отдельного домохозяина, в каждой деревушке вникнуть во все мелочи, связанные с землевладением, с самим укладом каждого домохозяина, предстояло составить проекты землеустройства, исполнить их в натуре, то есть обойти участки, перемерить, отмежевать, составить точные планы…

Реформа как будто наконец-то должна была разрушить чересполосицу. Однако шабловские мужики на цель указа смотрели мрачно, он должен был принести в деревню большую ломку худо ли, хорошо ли сложившейся жизни, он чреват был ссорами и враждой, великим множеством неурядиц…

Уже на сходе при чтении указа вспыхнул новый спор между сторонниками и противниками общины. Ефим склонялся к тому,

что единоличное землеустройство — более подходящее для дела, что давно назрела необходимость выделения из состава надельных земель единоличных владений. Речь в указе как раз и шла либо о разверстании целых деревенских обществ на отрубные и хуторские владения, либо о выделе к одному месту надельной земли отдельных домохозяев.

Идея с хуторами увлекла Ефима по-своему. Сколько он видел в округе красивейших привольных мест, где воображение само собой начинало воздвигать человеческие поселения — именно как хутора, как отдельные крестьянские усадьбы!.. И теперь со всей своей горячностью он принимался втолковывать однодеревенцам, какая это удобная штука — хутор: все земли одного домохозяина вместе, тут и поля, и покосы, и выгоны, и лес… А усадьба в центре всего, так что все перед глазами, надзор легок, никакой потери времени на проезд и ходьбу, никакой чересполосицы, от которой все давным-давно устали… Пожалуйста, хозяин, вот тебе полная свобода для выдумки и усердия!

Алексан Семенов с ним соглашался и, тоже загораясь, строил планы на будущее, как наладит и поведет свое образцовое отдельное хозяйство, в котором наконец-то ему удастся без помех применить свои агрономические познания.

Вдвоем они обсудили не один вариант, как в условиях Шаблова лучше всего провести в жизнь объявленную реформу. Ефима особенно прельстил один вариант…

Ермаковской вотчине Шаблова, решил он, и задумываться нечего: у нее есть Илейно, а там такое приволье: и лес, и пашни, и покосы, и речки… По сути дела, там и так все по наделам, у каждого домохозяина своя кулига. Идеальное место для хуторов! И ломки никакой не надо особенной, никаких скандалов, распрей… Просто собраться всем с духом и переехать, махнув рукой на нынешнюю стесненную жизнь в деревне. Ведь столько лет все ездят за столько верст на Илейно, время и силы тратят, в такой земельной разбросанности ведут хозяйство!.

Илейновским вариантом Ефим увлекся всерьез, увлекся настолько, что принялся составлять целый план нового, преобразованного Илейна. Ему уже мерещился не просто привольно разбросанный кулижный мир с обособленными крестьянскими хозяйствами, он видел на Илейновских кулигах целые крестьянские дворцы, дворцы новой невиданной мужицкой, крестьянской архитектуры, не повторяющей барскую, усадебную, а созданной именно крестьянской фантазией, затейливым, вольным разумением каждого отдельного кулижного жителя…

Он принялся строить такие планы переустройства деревни,

какие наверняка и не снились никому из его однодеревенцев. Он все передумал за каждого из них, и так и этак приспосабливая к ним возможную новую явь. Мысль его, как никогда прежде, жила празднично, это был целый пир его выдумки. Новое Илейно приходило, являлось ему во снах, у него всегда было так: то, что овладевало им, как замысел или идея, начинало жить и в его снах, и во снах-то — ярче, живее, полнее… Во снах он видел удивительный, небывалый, крестьянский мир. Сам воздух там был каким-то добрым, мягким, окутывающим все зримое дымкой легкого блаженного очарования, как бывает в раннем сентябре или на исходе августа. И в этой дымке начиналась для него жизнь-мечта, жизнь-праздник… Он видел: по илейновским всхолмьям мягко светились невиданные строения, не просто деревенские жилища, а дома самой крестьянской души, которая ведь насоздавала же столько затейливых обрядов, столько хитроумных загадок, исполненных поэзии и тонкого юмора, столько сказок, поверий.

Перед Ефимом в его снах, укутанные все в тот же чароносный воздух, светились здешние лесные речушки: Сеха, Лондушка, Варзенга, Понга, Варовое… Перед ним открывались обильные илейновские нивы, окутанные голубоватым воздухом мечты, колдовства, перед ним размыкались и смыкались илейновские березняки, ельники, осинники, сизо сияли, светились тропы и дороги будущего Илейна, и по тем тропам и дорогам, он это так четко видел, шли и ехали знакомые ему люди, однодеревенцы, нарядные, приветливо улыбающиеся, навсегда распростившиеся со скудной утесненной грубой жизнью… Он видел, как по новым илейновским дорогам катились перевалисто тяжелые возы золотых снопов, мешков с мукой и зерном, возы грибов и ягод…

После таких снов-видений Ефим весь день не мог прийти в себя: для него не существовало ничего, кроме явленного во сне, и он торопился все увиденное, почувствованное, пережитое закрепить на бумаге, на холсте, в глине. За короткое время он всю свою вотчину расселил по илейновским кулигам, каждый домохозяин имел там свои владения, свой дом диковинной архитектуры. Все эти дома Ефим написал акварелью на складывающемся гармонью картоне. Иные из них были самой неожиданной формы: один дом напоминал собой огромный глиняный свисток-птицу, другой — исполинский стог сена, третий — овин… Главное, чтоб было все затейливо, нешаблонно и в то же время близко душе крестьянина. Ефим описал все это и в стихах:

…какой-то кубик вроде дома,

Похоже, крыша из соломы,
Все разномерно, разно как-то,
Глядят окошки глуповато…
Что им симметрия?! Она
Для них — шаблонна и скушна.
Подальше дом глядит овином,
Из камня сложен он? Из глины?..
Еще строенье без трубы,
А рядом с ним растут грибы…
Дворец на Куекше-реке,
От берега невдалеке,
С сияньем розовой звезды…
На елках порхают клесты,
Мхи под ногой хрустят лишь сухо,
Таинственно, безвестно, глухо…

Всех, всех шабловских расселил Ефим по округе, каждому определил и место, и тип дома:

Шалыгин Митрий на шалыге,
Что за Семеновой кулигой,
У просека, коло Казенной,
Построит светлый дом огромный,
А Павел Лебедев не глуп,
Назвал свое именье Пуп:
Середка, де, Илейна тут!
Тут, где орал его отец,
Построит, надо быть, дворец!
Коло Захаровой избушки,
Где наволок косил Кукушкин,
Дворец огромный, сам как стог,
Я б для себя построить смог!
А вот Семертиков Арсенька
И с ним Мелютинович Сенька
На Сехе мирно стали жить:
Уж больно земли там гожи!..
. . . . . .

Работа по земельному преобразованию коснулась Шаблова только летом 1908 года. Ефим же в своих мечтах и планах успел переиначить всю жизнь родной деревни за небольшое время… «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается…»

9

Зима установилась, вошла в силу. Снег уже толсто изостлал землю. По-зимнему тихи и безгласны кологривские деревни. Ефим работал, почти не выходя из дому.

К рождеству из лесу с артелью вернулся отец, темнолицый, вислорукий, со стариковской усталостью и в глазах, и во всей фигуре: не по годам ему лесная чертоломная работа…

К вечеру Ефим оделся во все небудничное, вышел на улицу. День выдался тишайший, оттепельный. Хмельно задышали еще не слежавшиеся молодые снега, наволочное небо над темными лесами налилось голубичной дымчатой синевой, отекло, загустело, а вверху, над Шабловом, небесные сугробистые толщи неярко светились, и свет оттуда проливался на деревню и всю округу печально-успокоенный, миротворный.

Оказавшись на воле, Ефим почувствовал после своего затворничества легкое головокружение. Не зная, куда направиться, он просто пошел в сторону оврага, захотелось уйти за деревню в Савашовское поле, может быть, дойти до Бурдова, он так соскучился по вольному движению, по простору и свежему воздуху…

Первой навстречу ему попалась кухарка дворян Черногубовых. Русский человек, как известно, без прозвища не живет, деревенский — особенно. В Шаблове эту сухопарую старуху, появившуюся тут вместе с ее хозяевами, сразу же стали называть Куфарой. Старухе это не нравилось, и она часто поправляла называвших ее так: «Меня ведь не Куфарой, меня Александрой зовут!..» Но поправки ее оставались без внимания. В Шаблове, пожалуй, только от самих Черногубовых да Ефима она и слышала свое настоящее имя.

Куфара метнула в Ефима ожидающе-просительный взгляд: «С праздничком, Ефим Васильевич!..» — И приостановилась, замерла в низком поклоне, явно ожидая: вот сейчас среди этой, чужой для нее, деревни прозвучит ее настоящее имя…

— С праздником, тетушка Александра!.. — улыбнулся Ефим и чуть не рассмеялся, увидев, как просияла старуха.

У своего двора его остановил Костюня Матвеев. Только поздравили друг дружку с праздником, возник перед ними питерщик Алексей Беляев, мимоходно подстал к их разговору. Был он явно выпивши, полушубок дубленый нараспашку, под ним — рубашка бордовая сатиновая, голубые цветы по вороту вышиты, картуз с матерчатым козырьком на правое ухо наехал,

из-под картуза кудри смоляные выбились курнем. Времени у этого питерщика, приехавшего в родную деревню на зиму отлежаться, выгуляться, — целое беремя, а то и целый воз! Малый жениховских лет! Питерщики завсегда к зиме объявляются в здешних деревнях, иные для шику на тройках прикатывают.

Подошел Алексей вплотную, лихо за козырек дернул:

— Честной компании — почетное питерское!

— Ну, нет, брат! — усмехнулся Костюня. — Лучше — наше, деревенское! Ну, что там, в Питере-то новенького?..

— Новенькое ноньча, дядюшка Константин, в комоде, у тех, кто ходит по моде! А мы, бедняки, старое оболоки!

Костюня закачал головой, мол, ты, парень не промах, тебе пальца в рот не клади!.. Спросил:

— Как живем-можем?..

— Да как?.. И день бы не скушный, каб хлеб был насущный, да в том и беда, что нет иногда! Живу, хоть и без грошей лишненьких, а не займоваю у нищеньких!..

— Поберегай слова-то! Эко из тебя, паря, сыплется! Держи слова в голове, може, лучше станут! — рассмеялся Костюня.

— Э-э! Дядюшка Константин! Моя голова как запертая мастерская: окошечки заколочены, солнышка мало… Если там какие мысли держать, — ржаветь будут! — так и сыплет питерский гость.

— Ну-ну… — Костюня скребет в затылке. — А мое дело: что ни скажу, все, мне кажется, на необтесано полено похоже! Так уж я помолчу лучше!..

— Да ведь и мое дело — только с веселого ума! С утра домашние водочкой потчевали! — смеется Алексей.

— Куда же ты на ночь-то глядя? — хитро жмурится Костюня. — Сказано: «Выпил — посиди, лучше не ходи!..»

— Да память плоха что-то стала, дядюшка Константин: к вечеру домой забываю ходить ночевать!..

Не разговор — игра плутовская, досужная. Ефим с удовольствием следит за ней: он так любит такую вот затейливую русскую речь, всю ночь не сошел бы с места, ловя всякое слово этих насловистых однодеревенцев.

Костюня между тем вытащил из кармана засаленного, старенького шубнячка берестяную тавлинку, угостил себя до слез костромским зеленчаком, расчихался, завертел головой.

— А ты, Ефим, как тут живешь-можешь? — обратился Алексей к Ефиму. — В Питер-то опять не надумал?..

— Нет, не надумал… — Ефим сразу будто погас весь от этого прямого вопроса.

— Ну, бывайте!.. — Алексей опять дернул за козырек своего

картуза, пошагал дальше, уже на ходу обернулся, крикнул: — Заходи, Ефим, ко мне! Про Питер поговорим! Там теперь неспокойно…

— Ладно!.. — кивнул Ефим.

— Сам-то когда теперь в Питер? — крикнул Костюня.

— В великом посту соберемся, как по обыкновению! — откликнулся Алексей, уже не оглядываясь.

— Во, Ефим, мастер! Не просто столяр — художник дерева! Ты заглянул бы к ним, посмотрел! А как он рисует цветными карандашами! Зайди-ка к нему, поинтересуйся!.. Н-да… У Михаилы Беляева все сыновья не лыком шиты! И Серега у него — с головой малый, и Василий!.. И все по городам разъезжаются…

Глядя на снег деревенской улицы, тронутый кровавой искрой заката, проснувшегося меж тучами и лесом, Ефим покивал не Костюниным словам, — своему невеселому раздумью: «Ах, не по Питерам бы им пропадать, а здесь, у себя, в Шаблове работать! Сообща! Собрать бы всех талантливых людей, хотя бы только своей деревни, и сказать им: «Давайте возьмемся все вместе за дело! Давайте строить новую жизнь, новую деревенскую жизнь!» А там бы и другим показали, что получится…

Вот он приехал сюда на печи лежать и шляться от ваших до наших целую зиму… Здесь он себя только гостем чувствует, здесь все для него словно бы ниже его самого, тут он на все с усмешкой смотрит, с превосходством… О таких, помнится, бабушка Прасковья сказала как-то: «Из Питеру завсегда возвращаются люди переделанные, с фасонами, с форсами, с похвальбой, охолоделые…»

— Ну… я тоже пойду… — тихо сказал он Костюне.

— Ты-то куда?!

— Да вот прогуляюсь хоть до Бурдова…

— Ну, ну… — кивнул Костюня.

Оказавшись уже за оврагом, в Савашовском поле, Ефим все словно бы продолжал разговор с самим собой:

«Сам-то вот ты не остыл, не охладел… Не переделал тебя Питер-то… Почему же они-то так?! Почему деревня постоянно теряет свои лучшие силы?.. Может, такие, как этот Алексей, не так сильно любят ее?.. Почему же они-то не награждены такой же сильной любовью к ней, как вот ты сам?.. Значит, надо дать им такую любовь и дать как можно раньше, — до того, как они решаются покинуть ее… Ведь разве же ты сам обязан такой любовью только себе, собственной душе?.. Ведь были же у тебя настоящие учителя — дедушка Самойло, бабушка Прасковья… Они дали тебе сказку деревни, а вместе с ней и любовь ко всему крестьянскому. И теперь ты должен передать ее другим… Это же

так ясно! — Ефим даже улыбнулся вдруг среди дороги. Однако снова помрачнел: — А может, ты похож тут на Дон-Кихота со всеми своими мечтаниями? И все твои усилия будут обречены?.. Может быть, ты будешь тут только посмешищем для тех, кому хочешь отдать самое светлое, что есть у тебя за душой?.. Ну да иного пути тебе не дано, брат Ефим! Понявший должен нести свой крест, какие бы издевки и ругательства ни летели в него со всех сторон…»

10

Наступил рождественский сочельник. Домой на каникулы приехала Саша. Вся семья снова была в сборе. С рождества начинаются сватовство, свадьбы, и в сочельник деревенская молодежь занята ворожбой и гаданьем.

Ефим нарочно, как постемнелось, ушел из дому, чтоб не мешать своим сестрицам-невестам заниматься ворожбой…

Мать с отцом тоже еще в сумерках укатили на Карьке в Илешево — в церковь, на всю ночь.

Вечер выдался чистый, по-настоящему рождественский. Рога месяца были круты — к морозу, но пока стоял вовсе небольшой, не пощипывающий, а словно бы щекочущий морозишко. Для Ефима рождественский сочельник с малых лет тут, в родной деревне, был самым чудесным временем зимы, особенно же — сам вечер. С этого вечера начинались двухнедельные святки, будто встряхивалась вдруг вся округа, сбрасывала с себя зимнюю тихость и сонливость, и начиналась какая-то необыкновенная, живая, бойкая жизнь со свадьбами, гуляньями, с ряжеными…

Но самое тайное и необычайное для Ефима начиналось всегда именно в рождественский сочельник, вечером… Когда в призрачном неверном свете месяца всюду происходило что-то чудесное…

Девки бегали в поле, к воротцам, снимали с себя нижние юбки и забрасывали на воротную верею: куда юбка повесится лямками, оттуда и сваты приедут. Парни частенько подкарауливали девок, и не раз бывало, что юбки становились их добычей…

Лазили девки в овины и выкидывали из них колосники: сколько захватит колосников, не прибавляя и не убавляя, столько и выбросит каждая на гуменную ладонь: если четное число, то в этом году замуж не выйдет, если нечетное — выйдет…

Выглядывали в зеркале жениха или невесту, а чтоб никто не мешал, запирались в комнате или ждали такого момента, когда в

избе никого не было, ставили перед собой на стол зеркальце и, не мигая, до тех пор смотрели в него, пока не померещится чье-то лицо…

А то еще, услышав, что кто-то идет в избу, быстро брались за скобу двери и крепко ее держали, спрашивая: «Кто жених?», или: «Кто невеста?..» И открывали только после ответа…

В стакан с водой опускали кольцо, добавляли несколько капель молока и глядели: если почудится церковь, то, стало быть, вскоре предстоит венчаться, если — крест или гроб, то — умереть…

На сон клали под подушку игральные карты со словами: «Суженый-ряженый, приходи со мной в карты играть!..» Во сне должен явиться *он* — суженый-ряженый…

Девушки ложились спать не на привычном месте со словами: «На новом месте приснись жених невесте…»

Ни один рождественский сочельник не обходится без какой-нибудь потешной или «страшной» истории. Одна такая история была подстроена тетушкой Ефима Александрой, сестрой матери. Тетушка Александра на всякие шутки-выдумки горазда. Как-то в сочельник, уже в сумерках, пришла она домой с поседок. (В Шаблове, кроме беседок и посиделок, по зимам собирались еще и на поседки. Поседки для пожилых и старых, и собираются на них в любое время: и днем, и вечером.)

Захотелось тетушке Александре погреться на печи, а чтоб никто не мешал ей, вышла на крыльцо, наложила на дверь нацепку снаружи и, обойдя двором, вошла в избу, залезла на печь. Задремала было, но вдруг слышит: в избу входит ее сын Павел с двумя дружками… Прошли они в переднюю и стали там уговариваться, что, как постемнеется, пойдут в овин завораживаться.

Тетушка Александра все это услышала и решила над ними подшутить.

Ребята посидели, не зажигая огня, поговорили и снова вышли, наложив на дверь нацепку.

Дождавшись позднего вечера и одевшись потеплей, тетушка Александра пробралась по глубокому снегу к овину, залезла в припелеток, в небольшое земляное углубление, нашарила там метлу и, выбравшись, притаилась за дверным косяком, стала ждать…

Свои шубные рукавицы она вывернула шерстью наружу. А ждать ей долго не пришлось. Услышав похрустывание, перешептывания, она выглянула осторожно из-за косяка и увидела в начале гуменной ладони озаренных лунным светом троих уговорщиков… Парнишки явно робели и решали, кому

идти первому…

Наконец один отделился от них и подошел к дверечкам в овин. Остановился, спустил до колен штаны и стал пятиться, пока не втиснулся в открытые дверечки, и снова замер на самом порожке… Ждет…

Тетушка Александра лохматой рукавицей осторожно притронулась к нему. Парень оробел и дернулся было, но воздержался, не кинулся бежать. Тетушка Александра снова дотронулась осторожно до него лохматой рукавицей и три раза погладила. И только успела руку отвести, как паренек, натягивая на ходу штаны, бросился бежать с криком: «Ой, робят, меня Баба Яга лохматой рукой погладила! Ей-богу! Значит, невеста богатая будет!..»

Вторым пошел сын тетушки Александры. Она погладила его слегка голой рукой. «Ой, а моя невеста будет бедная!..» — подхватился он и убежал к дружкам. Подошел и третий, подпятился… И только шагнул он в овин, как тетушка Александра со всего размаху хлестанула его метлой. Бедняга заорал благим матом: «Ой, ведьма, не тронь меня!» Бросился было наутек, но запутался в штанах, грохнулся в снег и заревел на всю деревню с перепугу… Дружков же его и след простыл! Удрали!

Наутро вся деревня узнала о случившемся. Люди поверили и пожалели беднягу, мол, не надо бы ходить ночью по овинам завораживаться: черт по овинам любит жить!..

И только через год от тетушки Александры узнали, как было дело, и с хохотом не раз пересказывали тот случай…

Эта свадебная пора… Она и Ефимову мать навела на мысли о его женитьбе… Ведь и тут у ее сына было не как у людей!.. Не раз в эти дни она подставала к нему с намеками насчет женитьбы, а как-то, на исходе первой святочной недели, прорвало ее…

Зашла в этот день к ней сестра Александра, и разговор их сам собой сбился все на то же — на свадебное…

Ефим работал в своей комнатушке и не сразу вник в тот разговорец, хоть и хорошо их слышал из-за тесовой переборки. Говорили они о чьей-то свадьбе…

— …И народу-то на свадьбу людно пришло глядеть! — чуть нараспев говорила тетушка Александра. — Пряженики были на столе и всячина! Один сынок-то! Вот — как ваше дело!..

— И невеста-то гожа! — перебила ее мать, видимо торопясь увести разговор от опасного места.

— Ну! Худа ли, сестра! Гожа и невеста! Всяк скажет! И статна, и пригожа, и рукодильна, и домовна!…

— Люди вот устраивают свою жизнь, как лучше… — явно не

сестре, а Ефиму сказала мать со вздохом.

— Да и что говорить, сестрица! — вторила ей тетушка Александра. — Две головни и в поле курятся, а одна и на шестке гаснет!

— Не говори-ко, не говори-ко! — снова вздыхала мать.

И тут тетушку Александру так некстати угораздило спросить:

— А ваш-то молодчик, Ефим-то, не надумал еще?.. Никого не приглядел?..

— Приглядывают-то те, которые глядят! — резко сказала мать. — А наш-то все не туда смотрит! Дожил уж до тюку: четвертый десяток идет, а в голове-то у него все еще — вейхоровей! Я уж — почти старуха, а все кружусь и дом правлю, все еще за большуху в избе!.. Жениться, видно, — не шапку надеть! Вон робята по беседкам ходили, спознались с девицами, вот и оженились уж! На много моложе его! А нашего-то привязало диковинки писать да строить, да с чужими ребятишками возиться! Люди-то, говорю, своих уж давно завели! А его диковинки, вишь, завязали! Оторвался от народу!

«Вот тебе и оценка! — опечаленно усмехнулся Ефим у себя, за переборкой. — «Оторвался от народа!..» Родная мать и дала ее… Ведь по простым-то представлениям — как? Не живешь той самой жизнью, какой живут все вокруг тебя, хоть чем-то отличаешься от остальных, стало быть — отщепенец!.. И дела никому нет до того, что если ты и отстранен от остальных немного, так лишь затем, чтоб работать для них же, больше отдать тому же народу. Потому-то ты и одинок, и не завел семьи, не стремишься стать, как все, что у тебя есть свой завет, свои обязательства перед крестьянским миром… Вот этого-то противоречия тут и не избыть, оно останется… Участь тут одна — служить людям, работать для них не только даром, но еще и на обыкновенное понимание рассчитывать не приходится…»

Настроение было испорчено, уже не до работы было Ефиму. Он подошел к окну, затих, словно бы вглядываясь во что-то скрытое в самой глубине этого меркнущего дня.

Зимний день в деревне какой? Как отобедали, так и дня нет. Правда, на прибыль пошли уже дни, но куриными шажками пока…

После рождественского мороза погода явно собралась перемениться: заметно потеплело, стало как-то настороженно-тихо, мягко. Вон уже и снежинки запорхали перед вечером, надвинулось темное с седыми завитками облако, нахлобучило всю округу. Задурила зима, подняла, закрутила высокие снеговые вихри в деревне и в поле.

Ефим припал разгоряченным лбом к запотевшему оконному

стеклу. Только что под эту непогодь весь он жил в удивительном лесном мире, где-то в верховьях Унжи, на реке Виге… Примнился ему глуховатый летний день в том диковатом углу. Он блуждал там по чащобникам, опечаленный и чуткий… Опять он был Марком Бесчастным…

И вот — все оборвалось, рухнуло… И день словно бы не от надвига тучи померк, не оттого, что к сумеркам уже все приблизилось… Отыскали его в том заповедном углу, вторглись туда, все разрушили, оставили только опустошенность…

За переборкой говорилось уже не о нем. Тетушка Александра под большим секретом, но довольно громко сообщала сестре самую большую новость: оказывается, Татьяну уговаривал позавчера выйти за него замуж бурдовский парень, уже не первый раз приходивший в Шаблово на беседку, спрашивал, можно ли засылать сватов. Татьяна отказала ему. Не по сердцу он ей. Тетушка Александра об этом от нее самой и услышала. Сестры зашушукались вдруг…

Он усмехнулся: «Жизнь всегда так: ворвется, обдаст январской стужей, все двери оставит настежь, настудят душу и — за порог!.. Оставайся, живи дальше, как можешь…»

Родители… Самые близкие люди… Они никогда не понимали, чем, какими мыслями живет их сын… С детских лет они твердили лишь о земле и о своем прокормлении, и это у меня всегда было великой заботой на душе… Учителям и покровителям своим говорил: ведь вот я не один, за мною — хвост. Я никогда не чувствовал себя вольно, чтоб только спокойно учиться, развиваться, совершенствоваться, идти вперед… В каждом письме из дому: «не забывай нас и присылай!» И письма-то родительские боязно было получать: как получишь — только одну печаль на душу положишь… Всякое слово там — будто камень на шею, ни одного легкого шутливого слова, что-де, учись, сын, делай свое дело, добивайся своего, а у нас — все слава богу! Только одна брань и притеснения, и одна заповедь — чтоб женился…

Самые близкие не понимают, самые близкие… Им-то как раз больше, чем кому другому, и хочется, чтоб я отказался от заветов своей души… Ефим снова опечаленно покивал кому-то незримому: «Вот уж действительно: как не видишь своих, так и тошно по них, а увидишь своих, так и лучше без них!..»

Дождавшись ухода тетушки Александры, Ефим молчком оделся и вышел из дому. Постоял у крыльца, не зная, в какую сторону направиться… Ни к кому не хотелось теперь идти в таком состоянии. Махнул рукой, пошагал своим излюбленным путем — в сторону часовни, в сторону Савашовского поля…

Как будто по сговору с этим смеркающимся непогодным часом, на пути у Ефима объявилась ватажка ряженых — традиционная пятерка: гадалка-цыганка, красная девица, пастух, гармонист и Баба Яга…

Ефим и опомниться не успел, а они, словно бесово наваждение, вместе со снежными вихрями закружились вокруг него, заулюлюкали, залопотали на разные лады несвоими голосами.

— А куда молодой-интересный путь держит?! — в самое ухо закричала ему «цыганка». — Вижу: печаль у кавалера на сердце, вижу: тоска кавалера сушит-гложет! Дай погадаю, красавец! Всю правду скажу!..

Ефим даже вздрогнул и отшатнулся: что-то вдруг почудилось ему в этом странном мгновении, будто не просто ряженые обступили его, в которых легко было узнать своих, шабловских, молодых баб, — вихрь, грубый гогочущий вихрь самой бесцеремонной, безоглядно раскрученной жизни, не любящей слишком задумчивых и углубленных в мечты, опахнул его, заплясал вокруг него с одной-единственной целью — завалить шумом и хохотом, криком и бессмыслицей, диким шумырканьем тальянки и звяканьем бубна все, что в эту минуту было в нем так обострено…

— Пошли, пошли с нами, молодчик! — хрипела Баба Яга, дико нарумяненная, с космами из льняных отрепей, выбившимися из-под черного дырявого плата.

— Оставьте меня!.. — Ефим рванулся и, не оглядываясь, пошел прочь, слыша позади визг и хохот ряженых.

11

В метельных, уже густых, сумерках несколько успокоенный прогулкой и освеженный вьюгой, он свернул к избе Михаилы Смирнова. Ему надо было увидеть сына Михаилы — Алексея, «питерщика». К задуманной картине «Город всеобщего благоденствия» нужен был большой прочный подрамник, сделать такой подрамник он и решил попросить Алексея. Хотелось и просто поговорить с ним: как-никак тот был в Питере совсем недавно…

Алексея он застал дома, правда, уже по-праздничному одетого, видимо собравшегося на беседку. «Давай проходи ко мне!..» — пригласил он гостя и провел его в такую же примерно комнатушку-боковушку, в какой обитал и сам Ефим.

В комнатушке приятно пахло деревом, на стенах ее висели

всевозможные принадлежности столярного ремесла: рейсмусы, угольники, фуганки, рубанки, калевки, круглянки, отборники, с полдюжины ножовок и лучковых пил, тут же торчали долота и стамески.

На глаза Ефиму попался кусок липовой доски с вырезанным на ней растительным орнаментом. Он взял, покрутил этот кусок в руках, улыбнулся: прав был Костюня, действительно Алексей — художник по дереву…

— Здорово! Прекрасно!.. — похвалил он работу. — Просто не верится, что это вот… ты…

Алексей хмыкнул, пропустив в стекло лампы тонкую лучинку, прикурил от нее, подмигнул Ефиму:

— Мы все можем! Даже топором часики починим! Только жаль вот: где у часов маятник ходит, туда топор не входит!..

— Я слышал, у тебя рисунки есть… — улыбнулся Ефим: ему нравился этот бойкий, ловкий и на слово и на дело парень.

— Есть немного… — Алексей нехотя поднялся с лавки, сходил в дальний угол комнатушки, скрипнул там, за печкой, крышкой какого-то ящика, вернулся к Ефиму со стопкой листов.

На листах, опять же, были все больше орнаменты, правда, попадались тут куда более сложные композиции, исполненные рукой уверенной и смелой.

— Это все — ты сам или срисовывал с готового?.. — спросил Ефим, разглядывая листы.

— А и свои есть и не свои… Рука на этом уж набита… — Алексей затянулся и, чуть скосив голову, смотрел со стороны на свои листы, как на что-то, нисколько его не касающееся, выпыхивал из себя табачный дым колечками.

— У тебя явный талант… — Ефим тряхнул перед ним пачкой просмотренных листов.

Алексей опять жадно затянулся, выдохнул, из-за дыма глянул вдруг как-то резко, навскидку, будто прицелился:

— Може, и талант… А я вот на тебя посмотрю… Чудной ты, Ефим, какой-то… Право! Эх, мне бы в твоей Академии поучиться! Я бы разве в эту дыру опять забился?! Да ни за какие коврижки! Здесь разве жизнь?! Так, *прозябание*… — Алексей с особым чувством и чуть врастяжку произнес это слово — прозябание… Видимо, он совсем недавно услышал его и освоил, и теперь вот явно щегольнул им, мол, вот я каков: по одному слову меня определить можно — не деревня!..

Ефим сокрушенно покачал головой:

— Ты даже не понимаешь, что говоришь…

— А что, разве я не прав?! Разве не дыра здесь?! Не край света и жизни?!

— Я так вот иначе думаю… — пожал плечами Ефим. — Думаю, что именно здесь не край света, а самая его середка, самый его центр, — усмехнулся Ефим. — Это как посмотреть! Какими глазами!.. Тебе вот, видно, недорого родное-то, ты и считаешь так…

— Х-хы! Дорого!.. Отсюда без оглядки бежать надо тому, у кого на плечах голова есть! Темнота одна и невежество… Дикарями живут… Центр есть центр! Он там — в Питере! Там теперь такие дела творятся! — Алексей весело тряхнул чубатой головой. — Э-эх!.. — И, оглядевшись, будто его мог услышать кто-нибудь еще, кто-нибудь нежелательный для него, понизил голос: — Ты бы посмотрел, что там этим летом было! Ужасть! Целые битвы-сражения!.. — и принялся рассказывать о том, что Ефиму и так было известно. Он клокотал, он поплескивал словами, как кипятком — переполненный самовар.

Ефим слушал его рассеянно. Он больше следил за выражением лица Алексея. Была, чудилась ему, в этом парне какая-то новая дерзость, видимо, и зародившаяся во взбудораженном Питере. И говорил он с усмешкой человека, что-то почуявшего именно там — в центре всех теперешних событий, почуявшего какой-то новый, небывалый, шалый ветерок, пока что лишь исподволь набирающий силу… Потому, видимо, он и судил обо всем так резко, с какой-то дерзкой усмешкой, с чувством собственного превосходства, мол, я что-то такое знаю, о чем никто из живущих в этой глуши, в этой дыре, и понятия не имеет…

Ефим слушал его, уже опустив голову, нервно трогал, мял пальцами свою меховую шапку на коленях. У этого парня есть вкус, любовь к шумным будоражащим событиям, хотя и вряд ли он понимает как надо их смысл и суть… Он, пожалуй что, и умен, и одарен, но есть, видно, в нем изъянец, раз не понимает, не ценит он своего, родного… Ефим невольно вспомнил, с каким уважением говорили с ним о своей деревне и Николай Скобелев, и Алексан Семенов… А вот для этого все тут — трын-трава, ему не понять, чего ради, зачем застрял здесь он, Ефим… Сразу вот и сказал, что считает чудаком, не видящим собственного счастья….

Если бы их разговор пошел в глубину, к сокровенному, то Ефим заговорил бы с ним о многом, глубоко почувствованном и понятом только тут, на родине. Он знает твердо, что есть в этом мире закон, который слабые духом люди предают постоянно, не желая следовать ему, ибо он вроде бы слишком много от них требует… А он — прост и ясен: хочешь улучшения жизни, будь готов для этого отдать свою собственную! И даже не просто будь готов, а отдавай ее каждодневно, постоянно, отдавай ее там, где

живет твое сердце…

И не потребовалось бы неимоверных усилий одиночек, если бы каждый следовал этому закону! Но — если бы!.. В том-то и дело!.. А пока что вот один он тут, посреди Шаблова, со своим пониманием, со своими мечтаниями. И нет у него настоящих союзников… А этот вот, сидящий с ним рядом, он не только не поймет его, но, пожалуй, еще и посмеется над ним…

Расстроенным он ушел от Алексея. Даже и подрамник не стал заказывать.

Поднявшись на крыльцо своей избы, Ефим усмехнулся, вслушавшись в ночную метель: вот от одного непонимания — непонимания своих, близких, — сходил к непониманию другого, вовсе постороннего человека, и опять вернулся к непониманию своих, близких… Круг замкнулся, и не выбраться из него…

12

Изредка по вечерам, при темне, Ефим стал наведываться в дом двоюродного брата матери Степана Скобелева. Тут он узнавал новости, разговаривал с сыном Степана Васильевича Филиппом.

Несмотря на суровость хозяина, в этом доме всегда бывало многолюдно. Все смягчал общительный добрый нрав хозяйки Евдокии Михайловны. И все-таки всякий раз коробил Ефима взгляд, которым встречал его сам хозяин: неодобрительное было в его взгляде, холодно-отчужденное. Чувствовал Ефим, что и тут причина — все в том же непонимании, в неприятии его всего, как чего-то чуждого, непонятного, странного здесь, в Шаблове…

Ефим сдружился с младшим сыном Степана Васильевича — Ваней, десятилетним мальчиком. В наступившем году Ваня должен был закончить Крутецкую трехклассную школу. Был он прилежным, не по-детски серьезным мальчиком, этаким вдумчиво-пристальным маленьким мужичком. Вскоре он стал частым гостем в Ефимовой комнатушке. Бывал он тут и раньше, но — букой, стесняющимся дичком, а тут так освоился, так привык к Ефиму, что тот не уставал удивляться этой его новой открытости и общительности. И уже чудился Ефиму в нем будущий союзник, будущий новый житель нового, зримого пока что лишь им одним, Шаблова…

Однажды, в феврале, Ваня пришел к нему чем-то явно расстроенный. Причина оказалась самой неожиданной…

Ваня сообщил, что вот уже несколько раз в Крутце его останавливал то по дороге в школу, то по дороге домой урядник

Пьяный ноздрян и выпытывал, бывает ли у них в доме Ефим и о чем говорит.

На Ефима эта новость подействовала тяжело: вот он живет своим миром, своими мыслями и мечтами, которые могут быть только во благо жизни, а за ним, оказывается, ведется слежка, как за возможным злоумышленником…

Впрочем, вскоре Ефим махнул на все это рукой: за кем только не следит полицейское недремное око на неспокойной Руси-матушке?! От Филиппа Скобелева Ефим слышал, что в Илешеве опять объявился Иван Панов, что в Бурдове было два «крамольника»: илешевский волостной старшина Василий Самарин и приехавший из Нижнего сормовский рабочий Иван Ефимов… В каждой деревне волости и в каждой волости всего уезда было неспокойно.

В апреле всю волость опять взбудоражило: причиной стал Иван Панов. Снова был обыск в доме его родителей, найдено много запрещенной литературы, а сам Иван арестован.

Вскоре началась весенняя страда, вместе со всеми она захватила, втянула в свой круговорот и Ефима, вновь на полгода он оказался оторванным от своего «займища искусств».

Среди июня из Вичуги Ефим получил коротенькое письмо, которого с тревогой ждал уже давно, понимая, что рано или поздно оно будет послано:

> «Многоуважаемый Ефим Васильевич,
>
> мои братья, сестры и я считаем лишним посылать Вам деньги, ибо Вы не учитесь, а есть такие люди, которым те же деньги нужны на образование. По сему примите к сведению, что деньги Вам высылать скоро не будут.
>
> Может быть, Вы решили избрать другой род занятия? Сообразно с ним приищите себе работу.
>
> *Уважающая Вас Н. Абрамова.*
>
> P. S. За июль деньги будут высланы».

Камнем легло это письмо ему на душу. Итак, он оставался вовсе без средств и попадал в полную зависимость от родителей, которые и без того посматривали на него косо. Теперь вся его жизнь крайне осложнится и, может быть, превратится в сплошную муку… Дело свое он оставить не сможет (вовсе бездоходное и вовсе пустое, по мнению родителей дело), так что легко можно было представить, как все будет у него развиваться и

складываться под родительским кровом…

Незадолго до получения этого письма Ефим пережил тяжелую сцену…

Ваня Скобелев окончил начальную школу, и его, как способного ученика, по ходатайству учительниц Анны Михайловны Пановой и Анны Афанасьевны Корнаушенко и при содействии уездного школьного инспектора Яблочникова должны были послать за казенный счет в Костромскую семинарию для продолжения обучения.

Этой новостью Ваня сразу же поделился с Ефимом, и тот порадовался вместе с ним. Однако новость вовсе не обрадовала Степана Васильевича, он сказал Ване, чтоб тот и думать перестал о дальнейшей учебе, мол, надо не учиться, а работать дома — помогать отцу с матерью.

В дом Скобелевых явились было с уговорами обе Ваниных учительницы, но хозяин прогнал их с бранью и, распалясь, уже на улице, чуть ли не на все Шаблово кричал сыну:

— Ты что же это?! Хочешь быть шалберником, как у моей сестры Василисы сынок?! Он вон нахватался грамоты и приехал домой на отцову шею!..

Ефим, работавший у себя в комнате при открытых окнах, слышал все это…

Ах, как в тот вечер гневно поглядывали на него родители: они, честные труженики, становятся через него на старости лет посмешищем! Их сын — шалберник!.. На всю деревню это было крикнуто! Разве же не позор?!

После того случая Ефим не находил себе места. К Скобелевым он больше не заглядывал, не заходил по вечерам. Ваня тоже не появлялся у него…

Свел их снова один из сенокосных дней на Илейном. Ваня, словно бы прежним дичком, букой, подошел к нему в обеденное время, молча кивнул и тут же отвел взгляд. Но в глубьевой тьме этого напряженного взгляда Ефим успел увидеть напряженную детскую муку.

Они присели на старые пни и какое-то время сидели молчком. Потом Ефим резко поднялся: «Давай-ка малость пройдемся!..»

Направились в сторону Казенной.

— Ну, что, брат, переживаешь?!

— Угу…

— Это уж так… Как не переживать! Сам в таком положении побывал в твои годы… — И Ефим принялся рассказывать, как когда-то сбежал из дому в Кологрив, в уездное училище…

— Учиться, Ваня, надо! У деревни пока нет настоящего

понимания, что без ученья ей никуда не уйти от того, что есть, не покончить с отсталостью… Только, по-моему, раньше большой учебы надо полюбить деревню поглубже!.. Ты любишь ли свое Шаблово? — Ефим с улыбкой посмотрел на шагавшего рядом мальчика. — Любишь ли наши вот места?

— Не знай… Как это их любить?.. — Ваня пожал плечами.

— А так, чтоб вот всем сердцем верить, что нет на белом свете другого такого места, что нет места лучшего, чем твое!.. Твоя деревня! Наше вот Шаблово!..

Где есть такое место, как наше Илейно? Только вот здесь! Где так сладко пахнет цветущей черемухой? Только в нашем Шаблове! Где самый красивый луг? Только под нашим Шабловом!.. Понимаешь?! Чтоб родное было для тебя самым-самым! А без этого никакая твоя учеба не обернется настоящим благом для твоей деревни!.. Люби, Ваня, свою землю! Я ее, любовь эту, в твои годы уже так хорошо слышал в себе!..

Ефим, шагавший впереди Вани, остановился посреди небольшой новочисти, огляделся, на какое-то мгновение явился ему, померещился тот добрый, прекрасный мир, о котором он столько думал с прошлой осени… Новое Илейно…

— Люби, Ваня, свою землю!.. — снова сказал он, повторил, как заклинание. — Тут интересную, прекрасную жизнь можно построить! Ведь наша северная земля не такая уж холодная да бедная. У нас нет вечной мерзлоты, а это немало значит! Будет время, Ваня, а оно, думаю, недалеко, и здесь, у нас, станет расти свой ситный! Люди научатся удобрять поля плодородным камнем, научатся выращивать добрые урожаи! Появится своя пшеница, свой маис! Ученые уже работают над этим. Климат наш, пожалуй, даже благодатный: у нас почти не бывает засух! Нашей земле только знающие, заботливые хозяева нужны… Хлебом мы пока небогаты, зато земной красой не обижены! Ты только посмотри, Ваня, — какая красота кругом! Ах, как любить все это надо! А к любви, Ваня, уже и знания нужны! Именно — к любви! Надо глубоко знать не только то, что может принести практическую пользу! Знать надо глубоко всю историю и большой своей Родины, и малой — вот этих наших кологривских мест, знать их легенды, предания, сказки…

Вот возьми наш Кологрив… Вроде бы лесной глухой городишко… А ведь и у него есть своя интересная история! А как же!.. Были на Руси именитые люди с фамилией Кологривовы…

Ваня зачарованно слушал Ефима. Ни от кого прежде не слышал он таких слов, не слышал, чтоб с такой любовью и добротой говорил тут кто-нибудь о его родных местах.

О письме из Вичуги Ефим пока решил не говорить ни отцу, ни матери, хотелось оттянуть разговор об этом, ведь после него все наверняка сразу обострится, вполне возможно, что родители тут же потребуют, чтоб он совсем, навсегда бросил все свои занятия и впрягся в настоящее крестьянствование.

Он написал ответное письмо Абрамовой, в котором попытался объяснить, что средства, хотя бы и вовсе небольшие, ему необходимы не просто для жизни, но для того, чтобы иметь возможность более или менее спокойно работать, делать свое дело, служить своим целям…

Однако минул уже и август, ответа же не было. Только в июле, как и было обещано Абрамовой, он получил последний денежный перевод.

Год опять выдался неурожайным. На душе у Ефима было неспокойно, он готовил себя к самому худшему, но сдаваться, уступать обстоятельствам не собирался.

В начале минувшего лета сестра Саша окончила курс в женской гимназии и получила звание домашней наставницы, а вместе с ним и место учительницы в Нагорновском начальном народном училище Кузьминской волости.

В июне, почти в один день с письмом, полученным Ефимом от Абрамовой, на имя отца пришло письмо от начальницы Кологривской женской гимназии:

> *«В. Самойлову!*
>
> Считаю долгом уведомить Вас, Милостивый Государь, что дочь Ваша Честнякова Александра Васильевна окончила курс Гимназии с золотой медалью.
>
> Согласно желанию всех награжденных медалями, заявленному письменно, таковые не будут им выданы, а деньги, назначенные на покупку медалей, будут употреблены на увеличение ученической библиотеки Гимназии».

Родители поворчали над тем письмом, однако то, что долгое Сашино обучение наконец-то закончилось так благополучно, успешно, смягчило их недовольство. На лице отца Ефим застал даже горделивое выражение после прочтения письма: как же, его дочь окончила гимназию — неслыханное для Шаблова дело! И как окончила — с золотой медалью!..

В Нагорновское училище Саша уехала в конце сентября. Письмо от нее Ефим получил только в конце года. Саша писала:

«В школе мне дела много: я и пение преподаю, и рукоделие. Дети есть очень славные. Сначала было трудно, пока проходили слияние и выделение звуков, неопытна я еще преподавать, бегала подучиваться к другим тут… Но читать уже в ноябре все научились, а я боялась, что и к Новому году не успеть! По арифметике — похуже…»

Ефим облегченно вздохнул над этим бесхитростным письмом: «Ну, слава богу, хоть у Саши все хорошо!..» У него-то все было — отнюдь, как говорится… Родители на него смотрели теперь вовсе худо…

Иногда он получал письма от Николая Скобелева. Тот учительствовал уже на новом месте, на Нельше, неподалеку от Матвеева.

Среди зимы Ефим с отцом заготавливал лес в Шартановской даче и вывозил его к своему двору. Отец надумал строиться: он не отказался от мысли — взять в дом зятя-примака и хотел подготовиться к этому как следует, лес они и заготавливали на избу для будущих молодых, которую решено было прирубить к своей — притычью, сбоку, чтоб была на одних сенях, с общим входом, чтоб жить всем вместе, но — просторно, без стесненности.

Эта работа надолго отвлекла Ефима от своих занятий, а едва стало пригревать, подоспела новая — плотницкая, надо было браться вместе с отцом за топор. Расстраивался Ефим, горевал о своем заброшенном «займище искусств», о своих лишь намеченных планах, но — что было делать?..

В одно время с ними, но не открыто, а по ночам, потихоньку, заготавливал лес для своей избы Филипп Скобелев. У него была уже своя семья, и он решил отделиться от родителей. Однако средств на постройку новой избы у Филиппа не было, и родители ничем не могли ему помочь (только прошлой зимой выдали замуж младшую, третью дочь, Ксению, да и годы пошли все неурожайные). Вот и пришлось Филиппу становиться самовольным порубщиком, работать по ночам… Бревна вывозил он из лесной дачи лесопромышленника Юдина, его дача от Шаблова неподалеку, как и усадьба. Жил Юдин в своей усадьбе при деревушке Лучкино только по летам, как на даче, а по зимам там оставались лишь стражи его лесных владений — урядник и лесник с семьей. Урядник — высокий, прогонистый, сутуловатый, рыжий. Всякий раз при встрече напоминал он Ефиму гончего пса на длинных кривых ногах. Был урядник трусоват, но бахвалист и

в подпитии частенько кочевряжился: «Я всех мужиков в бараний рог согну и — на каторгу!..» Лесник же был маленьким, щупленьким, горбатеньким мужичонкой. Он и хозяина своего боялся, и всех крестьян окрестных деревень и дрожмя дрожал, когда случалось ему встретиться где-нибудь в лесном урочище с порубщиком. Сам Юдин — красивый, русоволосый, породистый, средних лет. Мужиков он ненавидел, и те платили ему тем же, называя его меж собой то лешаком, то выродком, то распутиной…

И вот у этой компании Филипп ухитрился по ночам вывезти больше сорока бревен. Однако лесник Юдина узнал об этой краже и доложил своему хозяину. Юдин сам явился со своим урядником и лесником к Скобелевым во двор. Ни слова не говоря, лесник стал перерубать наготовленные бревна пополам, а урядник стоял над ним и покрикивал: «Руби! Руби все бревна, Трофимыч!..»

Филипп, вышедший на шум, подбежал к леснику, вырвал у него топор и бросился на «гостей» с криком: «Сейчас всех вас положу тут к такой-то матери! Уходите прочь, дармоеды!..» Так и угнал всю троицу за деревню. Мужики, прибежавшие на шум, тоже были настроены воинственно, тоже, распаляясь: кричали: «Гони, гони, Филипп, отсюдова эту свору! Чтобы она тут не воняла!..»

Но едва «эта свора» скрылась из виду, к Филиппу бросились его родители: «Что же ты наделал, сын?! Ведь теперь всех нас засудят и зашлют в Сибирь!..»

Степан Васильевич с женой тут же отправился в Лучкино, понес уряднику откупное — деньги, кур, яйца… Кое-как уговорили они урядника не заводить против Филиппа уголовного дела.

Но с этого дня урядник измучил бедняг угрозами и поборами. Может быть, через то спустя год и занемог, а затем и покинул этот несправедливый мир Степан Васильевич Скобелев — лучший в Шаблове плотник, твердый, суровонравный хозяин, прямая честная натура которого, наверное, истерзалась от такой несправедливости.

Вся эта история с бревнами произошла на глазах у Ефима, и он долго переживал увиденное: как груб, как нелеп этот мир, где все пронизано враждой, ненавистью, своекорыстием, как нужна, необходима в нем великая, неотложная работа, которая преобразила бы все вокруг… Но даже он, понимающий, видящий эту необходимость, каждодневно мучающийся этим, вынужден всего лишь подчиниться этому неустрою…

Ему жалко было семью Скобелевых, попавшую в такую большую беду, которая изменила даже тетушку Евдокию, всегда

такую приветливую и добронравную… Не осталось в нем и следа от обиды на Степана Васильевича…

Недоброй, недоброй была эта зима для Ефима. Ее холодные, маетные дни спаялись в его сознании в одно, какое-то неподвижное время. А за ней шла страдная весна, за весной — страдное лето, за летом — осень… И невозможно было выйти из заведенного круга… Работать в своем «займище» теперь приходилось ему только урывками. Все свободное от полевых работ время уходило на обустройство новой избы.

Усталый и опечаленный приходил он к себе, словно бы укорно, ожидающе смотрел на него отовсюду — и в передней, и в его комнатушке — многоликий живописный и глиняный мир, создание которого только началось и… приостановилось…

14

Пришел 1909 год. В этот год лето выдалось хорошее, дождики перепадали вовремя, и солнышко хорошо пригревало, так что урожай был на все повсеместный. Скоро и с полей все убрали, и рано перемолотились, и наносили грибов-ягод за лето.

Ефим, втянувшийся в крестьянские дела, с удовольствием отдавался им. И родители заметно подобрели к нему. Ефим как бы впервые увидел вдруг, что отец его, всегда такой немногословный, погруженный в вечные хозяйственные думы-соображения, обладает тонким крестьянским юмором, что взгляд его приметлив, что мать, казавшаяся ему только суровой и властной женщиной, способна и улыбнуться добродушно, и рассмеяться от души… За последнее время он не раз вспоминал свои детские годы, то доброе далекое время, в котором мать его столько перепела песен, столько на-рассказывала ему сказок!..

Все люди вокруг Ефима вдруг стали какими-то иными, бодрыми, шутливыми, добродушно-общительными, и он с радостью думал о том, как был прав, замышляя в своих грезах-фантазиях новую, иную деревню: именно саму жизнь надо устроить иначе, сделать ее доброй, обильной, и тогда всякий человек раскроется по-настоящему, все исполнится доброты, мира, согласия…

Человек прекрасен и добр по самой природе своей, думал Ефим, он только условиями жизни пока так часто ставится на четвереньки, теряет, забывает человеческое в себе…

Началась осень. Пришло тихое бабье лето. Погода стоит

наволочная, но теплая, с нешумными висячими дождями, и Ефиму так отрадно в своей комнатушке снова свободно жить замыслами и мечтами, с головой уходя в свое «займище», он радуется каждому новому дню… Мир опять влечет его легко уловимой в глубине каждого дня добротой, жизнь снова исполнена высокого смысла…

Да, человек прекрасен и добр по природе своей! Все дело только в условиях жизни, в ее общем настроении (ведь и у нее есть свое настроение, как и у природы!). Доброе настроение всей жизни, как радостный светлый день, делает добрым каждого человека, улегчает все вокруг, самая тяжелая работа становится не такой уж и тяжелой…

Ефиму запомнился день в конце минувшего августа. В тот день он сеял и боронил новину на Илейном. С краю новины у него была разложена небольшая теплинка, дымок низко стлался над пашней, тихо было. Ефим отдыхал посреди новины вместе с Карьком. Стоял, глядя в ласковое, чуть мглистое небо… Неожиданно в стороне затрещал валежник, и из-за кустов к теплине вышел с ружьем на плече Николай Нефедович Микулин, его в Шаблове все называют просто дедом Микулой, коренастый плечистый старик, неутомимый охотник за белками и зайцами, за рябками и тетерями.

Изба Микулы в деревне почти напротив Ефимовой, чуть наискосок, за дорогой. Живет в ней Микула со своей женой — бабкой Натальей, старшим сыном Василием и двумя внуками, Арсенькой и Васькой. Для своих внуков да и для других ребятишек Микула делает интересные игрушки из бересты, лыка и соломы — птиц, зверушек, человечков. Этими игрушками Ефим не раз любовался, заходя в избу к Микулиным. Дед Микула — большой мастер по плетению лаптей и ступней, все свое семейство снабжает он этой лыковой обувью и даже — сыновей, живущих от него отдельно. Он бы, наверное, все Шаблово взялся завалить лаптями и ступнями, если бы не отвлекало от этого любимого занятия другое, еще более любимое — охота… Коль застанешь деда Микулу дома, то уж обязательно что-либо плетущим-ковыряющим — то с игрушкой, то с лаптем в руках… Как-то поворчал он при Ефиме:

«Люди, посмотришь, все в сапогах теперь норовят форсить! (Косо, неодобрительно глянул Микула на Ефимовы ноги.) Многи уж и забывать стали, как лапти-то плести!.. А я к сапогам не охоч: и ноге неловко, не вольно, и, видно, мне уж не привыкать к ним!.. В старину лапоть-батюшко для мужика первой обувью был! И всяк делал себе из лыка обувку, какая ему токо по нраву! А ежели кто и не умел, так попросит рукодельного человека, и тот тебе

сделает какую хошь, и возьмет за работу разве что берестов на ступень, а то и ничего не возьмет, а скажет: «Ты, брат, заковырни этим берестом ступни у своей Пелагеи! Этта я видел: шла по грязи в худых ступнях!» Вот каково было-то!..»

У Микулы в Шаблове еще два сына: Иван и Андрей. Все сыновья Микулы взяли себе фамилию Груздевы, лесную фамилию. Иван живет рядом с отцом, выстроился по соседству. Его жена Ульяна, пожалуй, лучшая певунья в деревне. Ефим слышал ее пенье и всякий раз удивлялся: какой сильный и богатый голос!.. Сын Микулы Андрей, отделившись от отца, выстроил себе избу на отшибе от деревни, в поле, по своему характеру: Андрей — молчун и нелюдим, может, сказались в нем одинокие скитания отца по здешним лесным чащобникам… Всех троих братьев в деревне прозвали Микулятами: Василий-Микуленок, Иван-Микуленок, Андрей-Микуленок….

Рядом с Иваном-Микуленком живет Михайло Комаров — многодетный молодой мужик, хороший плотник. И сам он, и жена его Василиса — люди простые, добродушные, «без всяких закомурьев», как говорят в Шаблове. Четверо сыновей у Михаилы и Василисы: Алексей, Семен, Андрей, Василий. Васька — простоватый, чудаковатый, любопытный мальчишка. Прошлой зимой он повадился ходить к Ефиму каждый день. Приходил «посмотреть картины», как важно заявлял он. Ефим нарисовал его портрет. Васька позировал в белом картузе. Когда Ефим закончил портрет и повернул его, чтоб Васька поглядел на свое изображение, тот от восхищения щелкнул пальцами по сырому еще холсту: «А ведь похож, едри его мать!..» Все это было так искренне и так забавно, что Ефим, вместо того чтоб рассердиться на Ваську (он не терпит скоромных слов, а тут ругнулся такой карапуз!), рассмеялся до слез вместе с дружками Васьки, до того сидевшими спокойно в сторонке.

Есть у Комаровых еще и дочери, большая у них семья, так что в их избе всегда шумно и весело. К Комаровым чаще, чем к кому-либо в деревне, собираются по зимам ребятишки на маленькую беседку. Ефим потому тут тоже частый гость: приходил со своими присказулечками, читал сказки, стихи, загадывал загадки… Рядом с крыльцом их избы — небольшая горка, ребятишки катаются с нее на санках и коньках, Ефим не раз катался вместе с ними! Живое, живое тут для него место. В Шаблове, пожалуй, лишь еще одна изба так привлекает его — изба, тоже многодетного, Павла Кукушкина, уцелевшая, как и изба дедушки Федора, еще от старого, прежнего Шаблова. Ефим даже поговорочку для себя придумал: «Тихо в избе — проходи, дети шумят — заходи!..»

Избы Комаровых и Ивана-Микуленка — самые шумные в деревне. Если у Комаровых собирается чаще, чем у других, маленькая беседка, то у Ивана и Ульяны, обычно на всю зиму, до великого поста, девки снимают избу под большую беседку, да и в избе самого деда Микулы постоянно толкучно по зимам: все шабловские старики и пожилые мужики тут — разговоры ведут про старину, про стародавнее…

А в избе тетки Александры, вместе с тремя этими избами составляющей некий единый островок бойкой оживленной жизни, обычно собираются старушки и пожилые бабы на поседки. И весь этот островок напротив окна Ефимовой комнаты, всегда на виду у него, будто самой судьбе было угодно сделать так, чтоб постоянно перед ним был этот мирок — как бы живая часть задуманного им будущего деревенского мира, населенного добродушнейшими, приветливыми, общительными людьми…

И вот один из таких людей, может быть, самый интересный из них, самый необыкновенный, оказался наедине с Ефимом посреди тихого предосеннего Илейна… Ефим так обрадовался этой возможности побыть, поговорить с дедом Микулой именно в таком легком дне и не в деревне, а тут, на кулигах. Он оставил Карька посреди новины и поспешил к старику, приветно улыбающемуся ему из-за дыма теплины.

— Здорово, дедушка Николай! — поклонился он.

— Здорово, Ефим! — ответно кивнул старик. — Озимку посиял?

— Да, вот — бороню…

— Не худо дело… Место здесь гожо! Большая, гляди, новина-то! Я, этта, по рябки ходил… И стадо тут их, небось штук семь, на елки с новины взлетело! Ну, я не больно их и искал. Пусть летают на благодати! Давно уж знаю, что грех обижать божью тварь… Ну, и шабаш, брат, лесовать! Не молодой уж, паря, стал… Пора и о грехах подумать… Свое ружьишко отдам вот кузнецу перековать на серп да на ухват! Во как! Старухе нужней коло печки возиться, и снохе серп нужен… Уж и ружьишко-то немудряще, малодобычливо… — Микула достал кисет, набил трубку. — Топереч тоже про табак сказать… Тоже — не надо бы курить… Оно и правда — баловство… Привычка, верно что, — вовсе пустая… Да ведь где нам, старикам! Привыкнешь — трудно отставать…

Он наклонился с кряхтеньем, выкатил из теплины уголек на ладонь, прикурил, затянулся, окутался дымом, посмотрел с улыбкой на Ефима, прищурившись:

— Все один живешь… Не скушно, парь?..

— Что сделаешь?.. Бывает и скушненько… — Ефим пожал

плечами.

— На вот! Женился бы, да и все!

— Никак не выходит. Дело не позволяет…

— Що и за дело у тебя. Человечков да свистушки из глины лепишь, я слышал, да еще — избушки какие-то… Люди женятся, чтоб ловчее было, а у него — «не позволяет»!.. Чудно тебя слушать… Ты ведь наш, деревенский, родился и воспитывался тут, тут теперь и живешь опять, а мысли у тебя — чудны…

— Я, дедушко Николай, как бы тебе сказать… — Ефим с улыбкой посмотрел на собеседника. — Я, как бы тебе сказать, здесь — сам по себе… вроде бы и не вовсе шабловский… Я — кордонский…

— Как это?! — оторопело уставился на него дед Микула.

— А видишь, сперва я из глины сделал одну избушку, и сидит перед ней дедушко, лапоть плетет, а рядом с ним — баушка сметану пахтает… Избушка эта будто бы в лесу… А маленькие ребятишки сказали: «Это — кордон!..» Потом человечков стало прибывать, и теперь так уже много, что похоже стало на городок. А название все то же — первое: Кордон. И люди там, стало быть, кордонские, и себя называю тоже кордонским, как и свой глиняный народец!

— Ну, и што этот твой Кордон?.. — с интересом спросил дед Микула, словно бы включаясь в какую-нибудь незнакомую вовсе, но захватившую вдруг игру.

— Это, как бы тебе сказать, такой городок будущего, частица будущей жизни, которая должна устроиться на земле, и все там будет на любви и согласии, все, путающее людей, все неверное там отпадет от нашей жизни, как вот отпадают лепестки цветка, когда он оплодотворен. Там исчезнет всякий интерес к роскоши, потому что все люди будут во всем равны. Земля наполнится удобствами культуры до того, что девать их будет некуда, и простой образ жизни будет даже признаком богатства и благородства.

Увлекшись, Ефим принялся рассказывать и о Новом Илейне. Старик слушал его, раскрывши рот, и все-таки, когда Ефим умолк, сказал, покачивая головой:

— Да, парь, да-а… Вижу, тебе не ожениться при таких мыслях!.. Чудно, чудно говоришь…

15

Разговоры о свадьбах, которым быть зимой, на святки, в приунженских деревнях начинаются под самую зиму, после того

как все отмолотятся, управятся с осенними работами.

Этой осенью Ефимовы родители дождались подходящего жениха для Тани. Издалека приехал он свататься — почти за тридцать верст, из сельца Морхинино Архангельской волости, с верховьев Унжи.

Ефим бывал в той стороне раньше. Еще подростком ездил с отцом как-то, по осени, в тамошний Кистереченский казенный кордон, на речку Кисть. Еще тогда так понравились ему селенья Архангельской волости! Муллинское, Опарино, Тетерино, Черменино, Морхинино (самое дальнее из них)… Все эти деревни расположены по высокому правому берегу Унжи, перед каждой из них — овраг, как и перед Шабловом, только те овраги глубже, шире.

Жених Ефиму показался неплохим парнем: высокий, статный, широкоплечий… Вот разве что слишком озорно и задористо поблескивали его глаза из-под нависшего темного кудрявого чуба…

Свадьбу условились сыграть на первой неделе святок. Договорились и о главном: будущий зять и Татьяна останутся в Шаблове, будут жить в недавно отстроенной избе.

После отъезда жениха со сватами Ефим размечтался у себя в комнатушке над листами бумаги, размечтался не о предполагаемой свадьбе — о другой… Эту Танину свадьбу он видел не посреди рождественских холодов, а посреди теплой, погожей, ранней осени:

Выйдешь замуж за валета!
Свадьба будет в бабье лето.
Тихо, сухо и тепло,
И на волюшке светло!
Свадьба будет в ясный день,
Перебудит бряк людей!
Все поедут в свадьбе вашей!
Мир не видел свадьбы краше!
Тарантасы! Ондрецы!
Зазвенят колокольцы,
Брякнут дружно шоргунцы,
И коровьи и ямские,
У кого там есть какие!
Все привяжут, что ни есть!
Вам окажут бряком честь!
Зазвонят вокруг игриво,
Аж услышат в Кологриве!
Побегут толпой к собору,

Встанут на большую гору:
— Что такое?! На-ко-на!
Что за музыка слышна?!
Как на праздник новодревний,
Все столы снесет народ
И поставит вдоль деревни —
От ворот и до ворот!
Ходят бабы и старушки,
Платы, фартуки — чисты.
Все готово для пирушки!
Стол — длиною в полверсты!
Пирогов крупчатых — ряд!
В пирогах же — виноград!
Всюду крась и благодать!
Про ненастья не слыхать!..
. . . . . .

Ах, дивную, невиданную, неслыханную свадьбу сыграли шабловские всей деревней! Ведь деревня — единая семья! Ефим так чувствовал всегда, с самых ранних пор своей жизни, эту единость!.. Все-все тут должно быть единым и на всех — и радостное, и печальное!..

Осенью умер дедушка Федор — самый старый житель Шаблова, с именем которого так много связано в памяти Ефима.

Старик еще среди лета стал плошать, но перемогался все на ногах, все за делами, так и не полежал, не поболел в постели нисколько, не отдохнул перед самой дальней дорогой… До самого последнего мига был в крестьянских делах… Утром встал рано, побрел на волю топор точить. Точило — большой камень-дикарь у крыльца, под желобом-водостоком. Склоненного над тем камнем смерть и подкосила старика…

Суровым по-старозаветному был дедушка Федор, чисто и праведно прожил он свою долгую жизнь.

После похорон дедушки Федора Ефимов отец пригласил к себе свидетелей — шабловских мужиков Захара Вьюгина и Павла Кукушкина и мещанина деревни Крутец Федора Забродина, служащего писарем в волостном правлении, — было составлено духовное завещание.

В последние годы отец часто прихварывал, не единожды заговаривал о своей недальней кончине, и каждый раз разговоры такие оканчивались тяжелым, со вздохами, раздумьем вслух — о

скопленной земле, о наследниках… И вот он поторопился — составил завещание… Да и Татьянино предстоящее замужество поторопило его: надо было выделить будущим «молодым» землю.

Шаблово захлестнуло новостями. Подошло свадебное время — святки. Дома у Ефима тоже суетно и хлопотно, отец из дорог не выходит, мать с ног сбилась: вовсю идет приготовленье к Таниной свадьбе…

И вот наконец сговоры! На третий день рождества к избе Самохичевых подкатило трое саней — приехал из Морхинина жених со своей родней.

Сговоры обычно бывают дня за два до свадьбы, они вроде смотра перед свадьбой, показа, что, мол, к свадьбе все готово, все идет, как надо… Тут же и уговариваются: в какой день состоится сама свадьба, а родные жениха и невесты знакомятся меж собой…

Для Ефима сговоры — самое интересное время во всей предсвадебной и свадебной канители. Под шум оживленного застолья он ждет не дождется, когда же начнется главное: то, чем околдовали его сговоры еще в раннем детстве…

И вот шум вдруг утих… Покашливая, поднялся отец…

— Дорогие сватья и свахоньки, разрешите теперь показать вам, во что наша невеста наряжена…

И тут из Ефимовой комнатушки вышла Ульяна Груздева, наговорщица, вынесла Дивью красоту — небольшую елочку, украшенную разноцветными лентами, бусами, бисером, зажженными свечками. Улыбаясь, заговорила нараспев: «Раздайся, народ! Расшатнися народ! Дивья красота идет!..»

Все повернулись в ее сторону, она же, сначала поклонившись молодым, потом гостям и затем всем глядельщикам, набившимся в избу, и снова повернувшись к застолью, складно заговорила:

Иду я, девица, иду красавица
Из-за печки кирпичной,
Столбушки горемычной,
Из-под полатей высоких,
От дверей широких,
От брусика висучего,
От переборки скрипучей,
От печки голландской —
Походкой крестьянской.
Попрошу я, люди, вас:
Приутихните на час!..

Ефим чувствовал себя на седьмом небе: в родительский дом, пусть и на короткое время, вошла та жизнь, о которой он столько

мечтал… Вокруг него происходило удивительное: простые деревенские люди, словно бы преображенные вдруг, подмененные этим зимним досужным днем, жили вокруг него затейливой необычной жизнью. Все вокруг было включено, вовлечено в этот чудесный обряд…

«Разве же не так вот и должны жить они все, чтоб в самой жизни царило только вот это доброе согласие, чтоб все было затейливо, чтоб жизнь всякий день была настроена на такой вот сказочно-песенный лад! Вся она должна настроиться на него, все вокруг должно жить вот так — чтоб люди разных деревень могли в добром согласии сесть за один стол!.. А уж что говорить об однодеревенцах!.. Они-то вообще должны жить единой семьей, как братья и сестры!..» — Ефим с любовью и приветной улыбкой смотрел на лица людей, наполнивших избу.

Через день, в канун свадьбы, в новой избе собрались Танины подружки, начался новый обряд… Топили баню и мыли сговоренку (так называют невесту после сговоров). При проводах Татьяны в баню и при возвращении из бани девушки, обступив ее, пели ей песни, она же, сглуха накрытая платком, по заведенному обычаю, много причитала и плакала.

В поздних сумерках начался девичник (вечерины). Таня опять причитала и плакала, подружки, заплетая ей косу, пели горемычные песни:

Ты подружка, изменница, изменила, голубушка,
Ты сказала, что я замуж не йду, не йду и не думаю,
Не йду и чужих людей не слушаю.
А теперь Танюша-душа замуж пошла,
Пошла, надумала и чужих людей послушала…

После девичника еще два дня Ефим жил этой внезапно вошедшей в его тихие зимние дни праздничной затейливой суетой. Был в этих днях и наговор насловистого дружки, и выкуп невесты, и благословенье к венцу, и свадебный поезд, и венчание, и одевание кички; были и ряженые, были и песни, и пляски… Ефиму на второй день свадьбы, на отзовинах, когда свадьба опять вернулась в родительский дом, в Шаблово, даже довелось быть за гармониста, поскольку приглашенный гармонист опьянел и пошел играть какую-то раздериху, вроде «запрягу да выпрягу». Когда-то давно (Ефиму не было еще и десяти) отец, вернувшись из Макарьева, куда ходил с плотами, привез ему гармонь. Ефим самоуком научился на ней немного играть, и сначала на маленькой беседке девчонки-ровесницы учились танцевать под

его не очень-то ладную игру, а потом, уже подростком, он бывал с гармонью и на большой беседке, приезжая домой из Кологрива на каникулы и на большие осенние, зимние праздники.

Та гармонь уцелела при пожаре и давно уже стояла неприкасаемая в передней на комоде, на самом видном месте, принакрытая кружевной накидкой, будто какая-нибудь семейная реликвия.

Свадьба отошла, отшумела, а Ефим еще долго жил ею. Он даже задумал написать несколько жанровых картин, на которых было бы и сватовство, и сговоры, и свадьба…

Вспомнился ему рассказ Анны о том, как ее тетка Евгения Эдуардовна в далекой Америке даже на эстрадах разыгрывала русскую крестьянскую свадьбу, и загорелся написать что-то вроде пьесы в стихах, в основе которой была бы верхнеунженская крестьянская свадьба, написать так, чтоб все было и складно, и ладно, чтобы и говор местный в ней был, чтоб живое слово в ней свободно и легко играло, пересыпалось, и живые, натуральные характеры здешних людей раскрывались бы в ней естественно и свободно.

Припомнилось кстати, как еще с дедушкой Самойлом ездили в зимнее время в дальнюю лесную заунженскую деревню Урму на свадьбу к тетушке Аграфене, дедушкиной сестре, выдававшей замуж дочь… Дух еще той, давней, свадьбы, так остро почувствованный им тогда, дух, более близкий к северной старине, хотелось ему поселить в задуманной обрядной пьесе.

Эта пьеса-обряд писалась легко, все шло на бумагу, будто по чьей-нибудь подсказке: с детских лет его душа свободно входила в такие живые словесные игры, купалась в них, жила в них празднично и затейливо. С самых ранних лет, едва Ефим помнить начал себя, жил вокруг него простонародный северный говор… И такие тут, в родной деревне, учителя у него были!..

Вот представилось ему, вообразилось: изба, вечер на самом краю зимы, в избе — чинное, говорливое застолье.

Ф о м а

Выпей, сватушко Кондрат!

К о н д р а т

Сват Фома, а я уж рад,
Что с тобой мы породнились!
А и сами-ти женились

Так, кажись бы, недавно!..
(Ох, гожо у те вино!..)
Детки вот жениться стали…
(То и дело слышно «сват»!)

Ф о м а

Ешь-ко, ешь-ко, сват Кондрат!
Вы с дороги-то устали!..

О л е н а

Сваха-свахонька Матрена!..

М а т р е н а

Кушай, свахонька Олена!
Ну-ко ты! Привел-то бог!
Кто бы думать это мог!
Породнилися с тобой,
Ну, вот ровно — лист с травой!

О л е н а

Сваха — экая годня!
Мы ведь давняя родня!
Еще дедушко Панфилей
И прадедушка Василей
С вашими всегда водились
И по праздникам гостились!

М а т р е н а

Ну, да что уж, что уж… да…
Знались с вами завсегда!
Кушай, свахонька Олена!
Гостья ты, а я ведь дома!
Наливай-ко браги в кружки!
Мы ведь давние подружки!
Помнишь, как дотоль гостила?..

О л е н а

Ну-ко ты сынка взрастила!

Да такого парнека!
И сама еще прытка!

М а т р е н а

Сваха, нет, не таково:
Что уж было, нет того!..

Ефима не покидала мечта о том, что в недалеком будущем он построит в своей деревне, хотя бы и вовсе не большой, народный дом, где у него обязательно будет деревенский театр, для которого он наберет «актеров» из шабловских ребятишек, и они станут разыгрывать перед своими однодеревенцами такие вот небольшие обрядовые сценки, пьесы и сказки, которые он напишет. Перед зрителями театра предстанут живые картины той будущей доброй и согласной жизни, о которой он столько уже передумал…

16

После Таниной свадьбы жить Ефиму в родительском доме стало свободней: родители отдали ему «под картинки» всю переднюю. За четыре с лишним года его жизни в Шаблове только одних живописных работ скопилось немало, так что в своей комнатушке в последнее время он жил крайне стесненно. Теперь же и стены просторной передней были увешаны портретами, этюдами, эскизами. Много тут было жанровых и пейзажных работ, сами названия которых словно бы подчеркивали их простоту: «Въезд в деревню», «Избушку рубят», «Дети», «С гармонью», «С пряхой», «Мужик на санях», «Тарантас с лошадью», «Сгонщики», «Зимница», «Два стога», «Два зарода», «Баня», «Житница», «Амбарушка», «Зимний пейзаж с гумном», «Овин», «Девочка на санках», «Пастушок», «Грибовик»… Среди таких непритязательных этюдных работ было немало и более сложных многофигурных композиций: «К свету», «Кордон», «Сватовство», «На беседке», «На маленькой беседке», «Боян», «Гости»… Правда, все они пока что были выполнены эскизно, но сколько к каждой из них он успел написать акварелью и маслом портретов и фигур, сколько к одному только «Кордону» написал он всевозможных диковинных крестьянских «дворцов» и построек!..

Теперь, днями, Ефим и работал все больше тут же, в передней, имеющей два боковых окна, глядящих на полдень,

кроме двух, глядящих на дорогу, на улицу. Тут было и светлей, и просторней, а это так необходимо для занятий живописью.

Танина свадьба сделала Ефима общительней, он даже зачастил вдруг на большую беседку, само собой, не оттопывал там вместе с парнями и девицами кадрилей, но и не просто сторонним любопытным наблюдателем бывал там: то расскажет что-нибудь, улучив подходящую минуту, то загадку закомуристую загадает, а то и почитает вслух — либо книгу, либо — из своих «сочинюшек».

Как-то девицы попросили его написать для них «складены про любовь», и Ефим с охотой взялся исполнить их просьбу. И вскоре на беседке запели его «складены» под гармонь:

Снежки валят, снежки валят
На чужой на бережок.
Забирает замуж Валю
Лучший в Шаблове дружок!

Я на тикову тальяночку
Навешаю лентей[13],
Чтобы тикова тальяночка
Играла веселей!

Босиком я бегала
До села до Глебова.
Мне сказал там старый дед:
«Никакого Глеба нет!..»

— Погляди в окошко, мать:
На крылечко всходит зять.
— Что ты, доченька, решила?
— Поздно, мама, спрашивать!..
. . . . . .

Потом без новых складен он не появлялся на беседке. Придумал Ефим для беседки игру «женихи-невесты» — целый простонародный роман в лицах: написал акварелью на больших листах, сложенных в гармошку, около сотни парней и девиц («женихов» и «невест»), всем им дал диковинные имена, каких никто и не слыхивал тут, в его родных местах, каждой и каждому придумал любовную легенду. Когда на беседке бывает не слишком шумно, достает он свою карманную галерею «женихов» и «невест», раскладывает ее на столе и начинает рассказывать:

«Вот это — Русавуля, и любит она вот его, Тюна, а он вовсе не

ее любит, а вон кого… Да ведь и этой-то другой нравится, а она даже подружкам об этом не может сказать, стесняется, потому как все тут только для нее одной по-настоящему-то дорого, а другие-то, пожалуй, и на смех подымут, ежели им рассказать, открыться… Настоящее-то в человеке таится, настоящая человеческая жизнь мнительна, она боится чужой потехи над собой!..»

Так говорил Ефим и невдогад ему: и сам-то он чуть ли не в такую же любовную историю вплетен, и тут, на беседке, есть та, что смотрит на него не так, как другие-прочие и никому не открывает она того, что у нее на сердце, чтоб на оказаться просмеянной… И есть еще одна, которой, пожалуй, и дела до него нет, но которую его мать наметила себе в снохи.

Первая — Лиза Серова (племянница Ивана Травина, друга его детства), девица высокая, стройная, по характеру — тихо-задумчивая, на нее-то Ефим и сам поглядывал!

Вторая — Васенка Семертикова… Давно, давно уже Василиса Родионовна приглядела ее, и вовсе неподалеку: изба Михаилы Семертикова чуть ли не за огородцем Самохичевых стоит, так что Васенка на виду выросла. Самая подходящая сноха из нее получилась бы — и скромница, и работящая, и здоровьем бог не обидел… Правда, почти вдвое она моложе Ефима, да ведь лишь бы он-то был согласен ожениться, а уж сосватать смогли бы!.. Однако, как ни намекала в последнее время сыну насчет Васенки, тот лишь отмалчивался да хмурился…

17

В конце зимы Россия готовилась торжественно отметить пятидесятилетний юбилей «высочайшего» освобождения крестьян. Проведение юбилея было задумано в масштабах весьма грандиозных, создание всяческой видимости всеобщего благоденствия и довольства (благо — позади урожайный, благополучный для крестьянства год!), всеобщего спокойствия (к этой поре, так кстати, поулеглись народные волнения по градам и весям!), всеобщей благодарности и признательности (на то есть борзая казенная печать!)… А чтоб не вышло где-нибудь досадной осечки, велась соответственная подготовка…

И вот, не ради ли этой «подготовки», в начале февраля в Шаблово нагрянул пристав третьего стана Молчанов в сопровождении крутецкого урядника Пьяного ноздряна. Прихватив понятых, они учинили обыск не в чьей-нибудь избе, а в избе самого деревенского старосты Алексея Ивановича Семенова,

якобы подозреваемого в распространении вредных антиправительственных настроений среди крестьян Илешевской волости. Однако ни запретных брошюр, ни каких-либо листовок, ничего другого, изобличающего шабловского старосту, при обыске найдено не было. Нагнав на деревню страху, стражи порядка удалились восвояси. Вскоре после этого происшествия Пьяный ноздрян из Крутца был отозван, и вся волость вздохнула с облегчением: четыре года мозолил он тут всем глаза…

Но после обыска Алексан Семенов решил покинуть Шаблово… Уехать он надумал в Сибирь, в Тобольск, где жили его родственники.

Ефим отговаривал друга, убеждал его остаться в родной деревне, но у того решено было все накрепко; дождавшись начала навигации на Унже, он собрался в дальний путь…

При прощании на унженском берегу Ефим всунул ему в карман два листка, сложенных вчетверо.

— Что это? — спросил Алексан.

— Дорогой посмотришь… — словно бы извиняясь за что-то, улыбнулся Ефим.

Уже далеконько отплыв от родного берега, Алексан вспомнил об этих листках, достал их, развернул. По первым же строчкам понял, что за листочки вложил в его карман Ефим, будто обожгли его слова друга:

Селенья нашего достойный житель,
Работник первых просветительских шагов,
Вы оставляете родимую обитель
Старинных дедовских дремливых очагов…
Так тяжело и скучно жить в чересполосной дури…
И нет тут, будто бы, пути к уюту и культуре…
Ходи и разъезжай по сотням аж клочков,
Скотина бродит по лесам средь выскирей, сучков…
И так всегда с Руси стремятся за границы,
Как будто женихи — от бедственной девицы…
Всё уезжают в города, в иные страны,
А на деревне — груз труда и всякие изъяны…

Наш привет прощальный Вам!
С миром отъезжайте!
И пишите чаще к нам,
Нас не забывайте!
То же Вам хотят сказать
Лес, поля и гряды…
А воротитесь назад,

Здесь Вам будут рады!..

Это прощальное стихотворение Алексан перечитывал за долгую дорогу не один раз, и все виделся ему укорный взгляд Ефима… И словно бы возвращал этот взгляд к последнему разговору с ним… Ведь как убеждал его Ефим остаться!.. «Кто же, кто же, Алексан, деревню-то родную будет за нас поднимать?! Кто будет направлять ее к новой-то жизни, если не мы?! Ты же единственный был тут из просвещенных земледельцев, и на вот, поди…» — И растерянно разводил руками, и беспомощно озирался, будто кто-либо посторонний неожиданно мог встрять в их разговор и направить его как надо, чтоб сразу же все прояснилось для его друга, чтоб понял тот… И опять заговорил о хуторах, о своем Новом Илейне…

«Ах мечтатель, все-то ему кажется простым и достижимым! Думает: только взяться всем миром, сообща, навалиться всей деревней!.. — невесело усмехался Алексан, вспоминая. — Думает, что дело только в том, чтоб создать у себя в деревне образец какой-то доброй счастливой жизни, и тогда, глядя на эту жизнь, переиначится и вся остальная жизнь… Легко сказать да придумать такое… А на деле-то как?!

Вот он пишет: «Тут вокруг — простор лесов, мест необозримых…» Про-сто-о-ор… — вздыхал он. — Простор-то, Ефим, только для глаз, а для самого человека, для его жизни — теснота, как в курином залавке… Вся деревня окружена… В самом Шаблове половина огородной земли — перфильевская, за Унжу шагнешь — опять же: либо в перфильевские владенья попадешь, либо — в перескоковские… В другую сторону метнешься — Юдинская вотчина… Вот тебе и «простор лесов»! Весь он давным-давно расхватан и присвоен…»

Но Ефима и таким доводом не собьешь, у него наготове свой, новый:

— Пойми, пойми, Алексан, жизнь наша подошла к большим переменам! Я их всякий день чувствую! Вот и надо готовиться к новой жизни, к просторной жизни! Надо выращивать и в себе самом и вокруг себя это новое! Весь мир скоро должен перемениться! Ведь и в тебе зреет это понимание, это предчувствие, и во многих, даже в нашем Шаблове! Разве же — нет?.. То-то и оно!

— Ну, а какой ты ее мыслишь — новую-то жизнь? — спрашивал он Ефима.

«Какой?! — Лицо Ефима оживало, в один миг он весь преображался. — Я ее вижу, как единую добровольную коммуну!

Я об этом и раньше думал… Правда, вот в последнее время я много думал о хуторах: померещилась мне, Алексан, еще одна интересная форма крестьянской будущей жизни — не общинной, а такой, вовсе свободной, где каждый живет на своей земле, сведенной к одному месту… Может, с этого как раз на первых-то порах все и должно начаться?.. Чересполосное владение землей для начала перейдет в хуторское, и хутора сольются в новую общину, в общину свободных, не стесненных друг другом земледельцев, А для желающих вести хозяйство на началах действительной коммуны, для просвещенных земледельцев, таких вот, как ты, пусть отводятся общие единые участки: они будут первыми опытными образцами, оазисами, что ли, будущего! И с них пойдет развиваться общинное устройство нашей крестьянской жизни вперед, настолько, насколько люди найдут пригодным для жизни! Так все будет идти постепенно, без опасной для жизни ломки, так сказать, по наглядным образцам…

Ведь, может быть, Алексан, одна из главных задач нашей России и состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства поземельной собственности… Наш народ складывался естественно, как пчелы в улье, в определенные общественные отношения, удовлетворяющие требованиям совместной жизни людей. Ты посмотри, везде, где только русские люди ни осаживались без вмешательства правительства, они устанавливали между собой не насильственное, а основанное на взаимном согласии, мирское, с общинным владением землей, управление, которое вполне удовлетворяло требованиям общежития!

И потому русским людям, коль не станет над ними никакого притеснения, нечего и выдумывать какие-то новые формы общежития, которые должны будут заменить прежние, эти формы для меня, например, ясны: это мирское, при равенстве всех членов мира, управление; артельное устройство при промышленных предприятиях и общинное владение землей в деревне. В общем: и для города, и для деревни путь — коммуна! Братское единое, семейное устроение всей жизни!…»

«Ах Ефим, Ефим… — шептал Алексан, все дальше уплывающий от родных мест. — Может, и фантазер ты, но… как это сказано: «Блажен, кто верует…»

Часть пятая

1

С приходом настоящего весеннего тепла Ефим снова целые дни то на пахоте, то на севе. Правда, эта весна была для него полегче: теперь у отца появился еще один помощник — зять.

В уезде снова возобновились утихшие было разговоры о землеустройстве, о хуторах. Объявленная четыре года назад реформа почти никак не сказалась на жизни здешнего крестьянства. Ни из Шаблова, ни из соседних деревень на хутора никто не выделился, только несколько семей записалось в переселенцы и выехало в Сибирь…

Начало землеустройству в губернии положено было в 1907 году открытием шести уездных землеустроительных комиссий. Кологривского уезда оно пока не коснулось. Медленно двигалась эта работа, не спешила забираться в глубь здешних лесных глухоманей.

Узнавая из губернской газеты о том, что организуются показательные хозяйства, поля и участки, огороды, хмельники, сады, Ефим с сожалением вспоминал Алексана Семенова: если бы не уехал, мог бы и он теперь взяться у себя в деревне за такое дело!.. Ведь мечтал же он об этом!..

Увы, что-то новое затевается где-то вдалеке, в родной же деревне по-прежнему только сам он и живет мечтами о ее коренном преобразовании…

Как обычно, под самый сенокос, к родителям своим приехал Николай Скобелев, на этот раз не один, а со своей женой Ольгой Ивановной и сестрой Маней, которая тоже после окончания курсов стала учительницей. Несколько раньше на все время летних каникул приехала домой и сестра Саша.

Для Ефима их приезд — настоящий праздник! В первый же вечер Ефим затащил к себе Николая с женой, ему не терпелось показать им свои работы…

Ольга Ивановна была удивлена, увидев в простой крестьянской избе его живописный и глиняный многоликий мир. И даже сдержанный, уравновешенный Николай изумленно покачивал коротко стриженной крупной головой, хоть для него-то все это и не было неожиданностью. Наконец, во все как следует вглядевшись, даже перетрогав глинянки, негромко сказал:

— Это же все наше, деревенское! Сам дух тут наш,

шабловский!.. — И добавил веско, поставил точку: — Это уж так!

— Да разве то еще было бы! — покраснев от волнения, заговорил Ефим. — Эх, если бы я не был связан с этим ломовизмом!.. Ведь сколько времени, Николай, уходит совсем не на то, чему хотел бы отдать себя без остатка! И какого времени! Летнего, когда свету много, тепла, когда вся природа живет радостью!.. А это все наработано лишь урывками да среди холодов, да все больше — при лампе, при скупом зимнем свете, да в тесноте… Ведь в передней-то я обосновался совсем недавно… Эх, Николай, мне бы настоящую мастерскую, просторную, с верхним светом!.. Ведь какие картины задуманы! Им бы простор настоящий нужен!.. И — свет!..

На другой день после праздничного молебна у часовни и крестного хода вокруг деревни Ефим, как было почти всегда, задержался один на рёлке. Он с легкой улыбкой смотрел вслед своим однодеревенцам, уже перешедшим овраг и разлившимся по деревенской улице во всю ее ширину. Ярко пестрели, горели на солнце сарафаны и рубахи, а тут еще теплый легкий ветер набежал на деревню, и заликовали над ней шумнолистые деревья: ах, празднично, ах, дивно им на этом ветру!.. И взгляд Ефима будто вместе с этим легким ветром перелетел к мягким куревам и маревам лесного Заунжья. Единым праздником было все вокруг! Целый мир был наполнен его духом. Каждая березка, каждая елочка словно бы отсвечивала праздничным светом!..

А вдали-то, а вдали-то!.. Золотисто сияли там закрайки реденьких кипневых облаков, и голубой край неба был таким живым и как будто трепещущим, а под ним, словно ласкаясь к нему, растеклась и чуть выгнулась яркая густая синева самых дальних боров, и мягко курчавились зеленые теплые зыби — ближних, подступающих к самой Унже…

Ефим даже глаза прикрыл, точно с горы, с этого самого высокого места во всем Поунжье, увидел он въяве некую сказочную даль желанного доброго быта северной русской деревни, живущей в вечном союзе с природой… Что-то радостное и вольное вдруг поднялось из самой глубины его души и памяти и зашумело над ним ликующе, и зажила всюду чудесная небесная музыка, и вознесла его над землей…

А в деревне встретило его неслыханное здесь. Все сбились под окнами избы дядюшки Семена Скобелева, среднее окно ее было распахнуто, и из него выглядывал, будто зев какого-то исполинского оранжевого цветка, раструб граммофонной трубы, изливая на восхищенно застывшую толпу звуки бравурного марша…

Потом зазвучала разудалая плясовая, и ребятишки, поначалу потрясенные диковинкой, один за другим запритопывали с музыкой в лад и, глядя на них, оживились, заахали, закачали головами взрослые. Деревня впервые слушала настоящую музыку, непонятным образом вылетающую из огромной оранжевой трубы…

К вечеру Ефима опять потянуло на гору Скатерки — подальше от колготы и шума. Предзакатный час был теплым и тихим. Ефим остановился на том самом месте, где в полдень пережил такие чудесные минуты, будто надеясь, что все может повториться… Но все уже переменилось. Сам воздух был теперь не тем, и освещено все было по-новому. Мир как бы сузился и приглашал не к восторгу, не к взлету, а к спокойной мечтательности, к доброму забывчивому созерцанию…

Ниже того места, где он остановился, шумела вода — бил выбегающий из горы ключик… А левее, в овраге, тоже неподалеку, слышались голоса ребятишек. То ли играли они во что-то, то ли бродили просто так…

Ефим прислушался к голосам детей, перекликающихся в елошниковых зарослях. На губах его замерла еле заметная улыбка… Каким добрым, каким спокойным и светлым может быть этот мир, в котором столько раз его сердце разрывалось от скорби и боли… Ах, если бы он навсегда остался озаренным вот этим предзакатным золотистым спокойным милосердным светом!.. Ах, если бы всегда звучали тут только эти вот чистые голоса!..

Прикрыв глаза, Ефим зашептал то ли самому себе, то ли детям, перекликающимся у ручья, на дне оврага, то ли просто — всему вокруг…

Будто расслышав его шепот, ребятишки поднялись к нему наверх и обрадовались, увидев его: у дяди Ефима всегда найдутся для них какие-нибудь рассказы или сказки!.. А плохо ли в такой час, тут, на хорошо прогретом высоком месте, просто посидеть и послушать после долгого шумливого, будоражного праздничного дня?!

И вот Ефим придумал для них, шести-, семилетних, потешную игру… Вроде той, которую он не раз затевал на большой беседке минувшей зимой…

— Поедешь в Глебово, на Захарову мельницу, — с улыбкой «пророчит» Ефим Ваське Груздеву, ожидающе хлопающему глазами. — И приедет туда молоть молодая смоленка из ихней деревни. Понравится тебе, и как вернешься домой, станешь просить своих ехать туда свататься. Поедете на другой день, усватаетесь. Невеста подарит тебе полотенце с тамошними узорами. Через две недели свадьба! Приедут к нам в Шаблово

твоя невеста с родней на санях своего изделия, с узорами, заиграют на самодельных дудках и скрипках! Будет весело!..

— А мне! А мне наворожи! Дядя Ефим!.. — дергает его нетерпеливая ручонка. Ефим смотрит с улыбкой: Ванюшка — сынишка Бориса Скобелева… Глазенки горят, ждут с нетерпением «ворожбы» для себя… Мал еще, а уже тянется к рисованию, слышал про него Ефим. Минувшей зимой соседи Милютины купили в Кологриве красивый абажур для лампы, расписанный яркими цветами, и богатую выездную сбрую, так этот Ванюшка повадился ходить к ним в горницу по нескольку раз на дню — смотреть на красивые покупки…

Ефим посмотрел на него с улыбкой:

— А твоя невеста вся в тебя растет: искусница будет, рукодельница! Днем по зимам и в светлые ночи она, как и ты, прикладывает бумажки к морозным стеклам: срисовывает узоры. По рукодельям прославится в народе. А встретитесь вы так…

Пойдешь ты на плотах и по случаю ветров хватишься о косу пониже Паломы. И туда же причалит заволоцкий мужик Коровин. Покажется тебе ихняя девица. Потом ваши и заволоцкие отвалят вместе и так доплывете до Макарья. С плотов пойдешь с заволоцкими в одной артели, со своей невестой. В Шаблове она зайдет с братом к вам в избу, посмотреть… Свадьба ваша будет в начале зимы, придут ихние к вам в гости в дубленых полушубках с оторочками. А вы в Заволочье поедете в гости на масленицу. И пойдет у нас в Шаблове мода на белые кафтаны с нашивками по подолу и на рукавах, и начнется знакомство с заволоцкими: будут и жениться наши на тамошних, и выдавать туда. Появятся у нас пестерья, с круглой закрышкой, лапти (берестенники — по-ихнему), и новые слова в разговорах, и в кушаньях наших будет кое-что по-заволоцки…

Притихли Ефимовы слушатели, иной только фыркнет: диковинно в такие-то годы о собственной женитьбе слушать!..

Ефим же рассказывает, а у самого в мыслях план: пускай приучаются видеть свою будущую жизнь затейливо, вроде сказки, авось и потянутся, когда подрастут, к красоте, ко всему такому, без чего жизнь пуста и бесцветна. И надо такое сказать каждому из них, чтоб не просто выдумка была, а скорее отгадка того, что должно бы получиться у того же вот Вани Скобелева, сложись жизнь деревни так, как мечтается ему, Ефиму Честнякову…

Ефим за рассказами своими и не заметил, когда подошли ребятишки повзрослее. Тоже присели рядом, слушают…

Красивый, славный подросток Ваня Черногубов… Дворянин! Ну, да и ему можно крестьянскую судьбу предсказать! Пусть его послушает! Все-таки в деревенской бытности вырос! И сам сказки

маленьким рассказывать любит, и на гармони уже хорошо играет!.. И Ефим, улыбаясь, «пророчит» ему:

— Дом твой будет на Симановой кулиге. Построишь до женитьбы. В теплый, как вот этот, ясный день, когда со всеми работами управишься, привезешь снопы на гумно, сядешь со свирелью у избушки на солнечной стороне, станешь играть-поигрывать. А девицы пойдут по ягоды… Одна так тебе покажется, что тут же решишь свататься. И на другой день поедешь на ондреце, усватаешь. А через две недели — свадьба. Красный стол осередь кулиги поставишь, наделаешь скамеек на вилашках. Вы, молодые, будете сидеть за столами, угощаться, толковать всякие любезные разговоры, а клесты будут над вами на елках чивиликать!

И будет у вас только избушка и больше — ничего, ни саду, ни огороду, ни полосок… Одни пеньки да грибки, да дикая земляничка, костяничка, смородинка. И оба с женой станете только посиживать. И ни прясть, ни ткать она не будет, и ты даже лаптей себе не сплетешь, и обор не совьешь. Будете ходить босые и кое-чем оболокаться. На холодное время станете собирать ошметки, которые бросают на кулигах или где в лесу, на тропе, грибовики, за ненадобностью: и домой их нести не стоит, и идти в них неловко…

Вокруг Вани смех: вот так наворожил тебе дядя Ефим!.. И, разожженные этой забавной игрой, ребятишки наперебой просят Ефима «поворожить» еще…

2

Год опять выдался хороший, управный. С легкой душой шабловские встречали приближающуюся осень.

Ефим задумал подготовить небольшое уличное представление. Он набрал «артистов» из ребятишек, сам нашил им пестрых костюмов из цветных лоскутков, которых они натащили ему целый ворох, сделал простенькие картонные и бумажные маски, шляпы диковинных фасонов, себе шляпу смастерил высокую, бураком, наподобие такой, как у Костюни Матвеева, из картона же и бумаги вырезал несколько огромных подсолнухов и цветов, зонт, секиру, прикрепил все это к палкам…

Странное, невиданное зрелище предстало перед шабловскими… Посреди деревни, появившись со стороны оврага, вышагивала ватажка каких-то маленьких человечков, возглавляемая высоким стариком с кудрявой бородой из кудели, в диковинной шляпе бураком, с гармонью в руках. Над ватажкой

колыхались ярко раскрашенные бумажные подсолнухи, цветы, зонт, секира… Вся компания дула в глиняные свистки и дудки, на каждом были бумажные маски, тоже ярко расписанные и раскрашенные. Самый маленький усердно колотил в бубен. У каждого человечка в руке было еще и по колокольчику. Разладному свисту и звяканью старик подыгрывал на тальянке…

Все шабловские от мала до велика повысыпали на улицу, в изумлении смотрели на ряженых.

Ватажка между тем остановилась посреди гулянка, «старик» что-то негромко скомандовал, человечки образовали кольцо и, притопывая, позвякивая в колокольчики, стали ходить по кругу. «Старик» стоял в центре и не шибко умело подыгрывал им на своей гармони, потом он снова что-то негромко сказал, и человечки выстроились в линейку за спиной у него, он же стал посредине их цепочки, начал изображать норовистого коня, крутил и мотал головой, бил правой ногой, будто копытом…

И вдруг вся компания по его сигналу враз брякнула шоргунцами и, сорвавшись с места, вприпрыжку, вприскочь помчалась в дальний конец деревни…

Все это было так забавно и необычно, так весело, что вся деревня хохотала до упаду. Все были настроены на добродушно-веселый лад, все сразу оживились, громко заразговаривали: «Ну, Ефим! Ну, Ефим! Ну, выдумщик! На-ко! На-ко! Что придумал!..»

А у Ефима в голове засела не новая для него мечта: «Нужен, нужен деревне свой театр! Вот бы все-таки построить его!.. Разве же такие представления можно было показать тогда!..» Он хотел бы сдружить прекрасное с обыкновенной, повседневной жизнью родной деревни! И театр был бы у него в этом деле первым помощником! Так оживилась бы сразу вся его работа!..

Но как подступиться к этому непростому делу? С чего начать, не имея почти ни копейки?.. Может быть, выступить на каком-нибудь ближайшем сходе перед мужиками и сказать о своей затее, мол, она — для вас же, для ваших детей?.. Может быть, поймут они его?.. Ведь если бы поняли, то всем-то миром разве же трудно было бы срубить большой просторный дом?! А уж все остальное он сам с ребятишками сделал бы… Да разве же уговоришь мужиков на такое дело!.. Только на смех себя выставишь…

С приходом настоящей осени, после того как семья управилась с молотьбой, Ефим вернулся к своим занятиям. Он снова проводит дни напролет и долгие вечера у себя в комнатушке. Занятия живописью пока отложил, глинянки — тоже. Весь он ушел в работу над романом «Марко Бесчастный».

Начал Ефим этот роман в трудный для деревни год, сам он тогда только еще вживался заново в быт Шаблова, и его герой-двойник в первых главах был замкнутым, тоскующим мечтательным юношей, измученным тяжелыми думами. Он блуждал в здешних лесах и чаще всего пел песни тоски и печали…

Тогда и Кордон еще только-только был начат, многое было лишь задумано, но зыбко и шатко из-за того, что было такое бедственное для деревни время.

Теперь же Ефим ясно видел свой путь, и его Марко Бесчастный стал другим — деятельным, дальновидным преобразователем деревни, творцом новых форм ее жизни, даже ученым…

Когда пренебрегают нами,
Что не блистаем галунами,
Вокруг смелее поглядим,
Своих Горацьев создадим! —

провозгласил его теперешний Марко Бесчастный. Он больше не одиночка, рядом с ним работают его друзья-помощники, юные жители Кордона. Всех шабловских ребятишек Ефим вообразил ими, каждому дал новое имя. Ведь и Кордон не просто какое-то примечтавшееся ему поселение будущего, а завтрашняя родная деревня, вернее, полудеревня-полугород, и сегодняшние шабловские ребятишки — ее завтрашние хозяева… Он просто опередил время, ведь его Марко Бесчастный — человек Будущего!..

Незримо для однодеревенцев Ефим создал тут, на месте родной деревни, совсем иную, невиданную деревню, такой еще никогда и нигде не бывало на земле… И теперь, проходя по осеннему Шаблову, даже в дождливый сумеречный день, он всякий раз видит не серые избы, темноглазо глядящие на белый свет, а свои диковинные постройки, является ему его Кордон…

И на том месте, где дом Черногубовых, где когда-то возвышались хоромы Силы Иванова, видит он белокаменное огромное здание с колоннами, увенчанное куполом — Коллегию наук и искусств Марка Бесчастного…

Все это не один чистый вымысел. Кордон уже существует, он есть, стоит в его комнатушке на широкой полке, вылепленный, обожженный, раскрашенный, он продолжает разрастаться. Пока что это всего лишь игрушечный мирок, но он уже есть, его уже можно увидеть, потрогать руками! И разве сложно все это воплотить в больших размерах?! Нужно только понимание тех,

для кого он сделан, нужна их поддержка…

Ефим даже «проекты» разработал всех своих построек, сделал чертежи, подумал о практической стороне дела… Почти все дома Кордона будут каменными, а не деревянными: одни — из кирпича, другие — из крупных глиняных обожженных блоков, третьи — цельно-глиняные. Способ обжига таких построек Ефим тоже обдумал. Глина будет основным строительным материалом при сооружении Кордона. Здешний край глинами необыкновенно богат. Только копай и делай из нее, что душе угодно! К тому же и леса надо беречь. Вон их как за последнюю полсотню лет поразграбили!.. Ведь какие боры стояли, по рассказам стариков, совсем рядом с Шабловом!.. Да и в противопожарном смысле дом из кирпича или же из обожженных глиняных глыб, или же цельноглиняный куда лучше рубленого.

Бревенчатая деревянная деревня должна уступить место новой — глиняной, кирпичной. Разве не хороший урок получили шабловские, пережив не такой уж и давний пожар, спаливший натло почти всю деревню?.. А ведь опять срубили все из леса. Привыкли думать: в лесу живем, так, стало быть, чего и мудрить — руби его и строй, что хочется! И не желают оглядеться вокруг себя, а ведь увидели бы, что отступает, все дальше и дальше от этого берега Унжи уходит лес…

Привычка, косность, нежелание задуматься над всей окружающей жизнью, увидеть ее взаимосвязи — вот беда!..

Но кто-то должен об этом задуматься, заговорить, кому-то надо положить начало новому…

Кирпичные, глиняные дома и долговечней были бы, и построить их можно затейливей, любые формы придать им можно, отойти от шаблона, и какие узоры можно вылепить!..

Но — косность, косность всей этой жизни… Удастся ли ему победить ее, передать свои мысли и идеи людям, живущим рядом, в одной с ним деревне?.. Захотят ли они прислушаться к его слову, понять его?.. Или он натолкнется лишь на эту их косность?.. А как сделать, чтоб поняли и услышали?! Вечно, вечно недоверие у крестьянина ко всему новому…

Ефим с горечью вспомнил, как хотел заговорить о своих мечтах и планах с зятем… Пригласил его к себе, завел было разговор, но тот только ухмылялся и покачивал головой, насмешливо смотрел на все, сделанное им, чему было отдано столько души и сил!.. Пустым делом представлялось, виделось ему все это. И даже чувство явного превосходства светилось на его гладком красивом лице, и глаза смотрели дерзко, вызывающе… И понял вдруг Ефим, что насторожило его в этом молодом крестьянине, приехавшем в их дом из чужой деревни,

еще при первом взгляде на него, тогда, при сватовстве, хотя внешне-то тот ему и понравился, — именно эта глубоко сидящая в нем чуждость, дерзкая, усмешливая чуждость, которой не преодолеть, не победить… Грубый реализм крестьянской натуры, вовсе незнакомой с тем, что владело самим Ефимом с самого раннего детства, усмехался в темной глубине его глаз…

Да и самые близкие Ефиму люди — отец, мать, сестра Таня — разве понимают его?.. Саша всегда ему сочувствовала, но понимать… тоже не понимала, как надо бы… А что говорить о других?!

Ах эта растреклятая косность!.. Ефим порой ощущал ее, как живое, реальное существо, даже облик ее мерещился ему в иные мгновения… Ухмылку ее он не раз видел перед собой…

Чудовищами окружен он, творящий свой светлый мир, они наползают на него, хотят отравить его душу своим губительным дыханьем, хотят обессилить его, подмять под себя, раздавить…

Победить бы, преодолеть эту косность!.. Или же она — непобедимая вечная сила, опутавшая жизнь, будто паутина в лесу живую зеленую ветвь?..

И невежества так много в этой глухой лесной жизни. Где они, просвещенные люди деревни? Вроде бы начали появляться, выходить из нее. Но в том-то и дело, что выходить!.. Просвещение уводит людей из родной деревни… Где Алексан Семенов? Где его брат Иван? Где Николай Скобелев и его сестра Мария? Где сестра Саша?.. Их нет тут, в Шаблове, а они могли бы стать для него незаменимыми союзниками… Они не нашли тут, к чему приложить свои знания… Жизнь деревни не готова принять их… Ее надо менять, для нее надо искать новые пути… Эта мысль всечасно владеет им…

Вот, как в пеньках, среди народа
Лежит невежества колода.
Криво жизнь давно бежит,
А колода… все лежит!..
Рядом ходят, рассуждают,
Как бы средство им найти…
Но себя не утруждают, —
Чтобы к делу подойти,
Разобраться в мелочах
И разумно на плечах
Им колоду приподнять,
Чтобы больше не пенять!
И течение кривое
Той колодой заложить,

А для речки бы другое,
Поновее, проложить!
Чтобы новое русло
Попрямее к цели шло!..

Ему-то самому кажется, что он знает, как приступить к этому делу, хотя бы у себя в деревне. Новую, иную жизнь он создает тут ежедневно…

3

Ветреный осенний вечер. Тьма вздыхает за окнами и хлещет по мокрым стеклам ветками черемух, будто просится в комнатушку Ефима, где он сидит за столом при свете керосиновой лампы… Но ничего вокруг не слышит Ефим. Весь он ушел в чтение черновой рукописи своего фантастического романа… Его мысли — вне комнаты, но и не среди этого вечера, и сам он — не он, а — Марко Бесчастный…

Вот с компанией молодых жителей Кордона Марко пришел посмотреть, как идет строительство большого дома на окраине деревни, и разговаривает с мастерами…

«М а р к о. Уже мы видим здесь начало украшений и желаем, чтобы они покоились на крепких основаньях, и было б все в гармонии спокойной, и сила с мыслями и чувствами ни в чем не враждовала. Да будут все удобства и простор в построенных покоях, и чтоб ничто тут не пугало нас возможным разрушеньем, и чувств не беспокоило уродливостью форм, и чтобы видели, что здание готово нам служить века, тысячелетья, как добрый и разумный друг, всегда приветливый, надежный, чтобы строителей потомки благодарно в чувствах вспоминали…

М а с т е р. Домина будет всем на диво! Известка добрая, цемент весьма отлично превосходен, хоть и из местных он пород. Измыслил ты рецепт нехудо. Бетон, твое изобретенье, твердеет крепче, чем чугун! Послужит он тысячелетья, и ни вода, и ни огонь состав твой вечно не разрушит, он тоже — из своей земли! И как тебе пришло на ум — найти все средства тут, у нас?! Ходили мы везде, как стадо, по нашей матушке-земле, не знали, что она, к чему… Опять — твои же обжигальни… Из

глины нашей кирпичи и формы разные лепные железа крепче будут! Честь и слава, Марк, тебе!

Д р у г о й м а с т е р. Мастер ты — на всяк фасон! Славься, русский Эдиссон!

М а р к о. Друзья, хвалы такой не стою! О деле будем толковать. До Эдиссона нам далеко… И в нашей бедственной глуши возможен только Робинзон… Мы просто кое-что нашли…

(После посещения строителей Марко говорит со своими юными сподвижниками об очередных делах и работах…)

К компании подошли незнакомые люди и стали расспрашивать Марка о Кордоне…

М а р к о. Сегодня вся деревня работает с рассвета кирпичи. Народу — сотни две с подростками. Дела идут недурно: копают, месят, возят. Кто делает простые кирпичи, лишь в форму вкладывает глину, иные же манер им придают узорный, готовят глиняные глыбы разных форм и величин, и маленькие есть, как детские игрушки, и большие, такие, которые и возмужалый человек едва-едва подымет только! Или такой величины, что нужно их распиливать на части, чтобы поднять, перенести, а также — чтобы высохнуть могли легко, без трещин.

Иные лепят опыты построек, модели разные: и маленькие есть, и есть большие, такие, что входить в них могут и взрослые, не только дети. Когда постройки вылепят, на части их распилят для обжиганья и удобства переноски, и получается как будто сказкин городок построек интересных из глиняных частей, отлично обожженных, настолько, что не боятся даже и дождя.

Потом имеем мы намеренье постройки эти воплотить в больших сооруженьях и взамен своей деревни мы получим городок из глины обожженной, настолько будет необычным он, что на земле подобного нигде вы не найдете! Не то я высказать хочу, что будет лучшим он на свете, но то, что он — вполне наш, здешний, имеет образ свой и взор лелеет, и душу оживляет, и интересен будет всем — своим и иностранцам. Манер, работа, матерьялы — все наше, здешнее, свое. И городок наполнится своей работы изваяньями, фигурами людей всех возрастов, в костюмах разных, манер их вылеплен уже в размерах небольших.

И все у нас занятия имеют — подростки, взрослые и дети: кто что желает, кто что может, в работе принужденья нет. Есть дедко Яков-старичок: играет днями в балалайку и ест лепешки да блины… Он не слыхал ни от кого ни слова укоризны. Его улыбками и шутками встречают и говорят, что с ним работать веселей.

М а р к о обратился к своей компании:

— А вы, друзья, ходили нынче на плотину?

К у з ь м а. Да, были там, немного помогли, возили землю и каменья.

М а р к о (снова заговорив с незнакомцами). Это, видите ли, мы хотим овраг загатить капитально, чтоб получить большой подъем воды от нашего ручья для мельничной турбины и чтоб вполне достаточно воды в запруде было для всяких рыб, для уток и гусей, для опытных и детских кораблей и лодочек, и пароходов маленьких, которые намерены устраивать себе для наученья, на пользу детям и большим, и на забаву вместе.

Потом мы думаем и Унжу нашу гигантскою плотиною загатить и будет озеро воды, обширностью похожее на море, чтоб пароходы плавать в нем могли. И от реки получится могучий водопад. Устроить можно будет мельницу такую, что сразу засыпай хоть тысячу мешков и с желоба посыплется мука как будто из мешка, и лесопильня тут же тоже будет.

И по плотине мост пойдет со звездочками и месяцами на столбах длиною на семь верст и шириной саженей на сто. В средине будет два железнодорожных пути для поездов тяжелых, чтоб могли туда-обратно мчаться одновременно, и рядом с ними, с каждой стороны, по два пути для легких поездов, а рядом с теми — рельсы для трамваев, а дальше — путь автомобилей. Еще подальше — для вагонов конных, а рядом с ними — путь телегам ломовым, потом — для экипажей легкого проезда, чтобы могли бежать туда-обратно тройки. Дальше — путь велосипедам. Потом ручным вагонам путь, потом — ручные экипажи, и путь для них — уже без рельсов. Потом — нейтральное пространство и путь широкий по краям — ходить туда-обратно пешеходам.

Еще турбины от такого водопада электрической энергией осветят и согреют деревню всю и приведут в

движенье машины всех работ, труд наш ломовой они заменят в полях, лесах и на заводах!..

Н е з н а к о м е ц. Но нет таких мостов, нам кажется, и в городах с мильонным населеньем. Откуда вы возьмете столько научной и рабочей силы, чтоб замысел такой осуществить? Какие поезда, трамваи и вагоны возможны в вашей деревушке? Она должна как город быть и население иметь побольше миллиона. И потом: сооруженья капитальные такие столь много наработают продукта, что вся деревня ваша завалена им будет, как таракан на фабрике большой!

Мы думаем, что вы о том сказали — для красоты, чтобы картиною воображение потешить! Как видно, любите деревню и в то же время прельщаетесь культурой городов… Похоже будто бы на то, как ежели б желали видеть вы, чтоб плавал в вашем ручейке морской гигантский пароход! На русских это все похоже: увидят, что на городах заведено, и к деревянным избам примеряют… И в деревенских хижинах от этого красы не пребывает, но только больше все нужды…

М а р к о. Отчасти так… и в этом роде… Но! В грезах может быть и смысл, и назиданье… Да, мы культуру городов хотели бы к себе перенести, но только так, чтобы без грязи, которую заводы изрыгают… Предвидя будущее, плачем, чтоб девственная чистота ручьев и речек наших культурой грешною не загрязнилась… Итак по-разному машинные затеи примеряем и все пугаемся, что сильная культура, возможно, истребит родную нашу бытность… И ищем мы путей к культура той великой, которая хранила бы родное!..

Нам трудно жить в нужде и неустрое, мы топчемся, как стадо в огороде, и ищем, как работу нашу ломовую облегчить, и слышим голоса различных пастухов, но все они вокруг да около лишь бродят или совсем далеко так, что нашей бытности не знают. Таких же очень мало видно, которые решились бы здесь с нами потоптаться не месяц-два, а лет с десяток, тогда лишь только бы они расчухали немножко, увидели бы, может, родную красоту! А открывается она достойным только!..

В машинах, зданьях, матерьялах всяких — культура внешняя. Духовная культура наша строит путь к обителям небесным, они прекрасны нереченно!..

Н е з н а к о м е ц. Мы слыхали, мол, жернова у вас на мельнице имеются особого устройства для размола

овощей и ягод. Значит, вы имеете таких плодов довольно?..

М а р к о. О да! Угодно если выслушать…

Взгляните вдаль! Вы видите кирпичные сараи у оврага и часть оврага, обращенную на полдень. Там у нас большие рамы поднимаются на крышах в теплую погоду и опускаются на время холодов, и получилась так у нас обширная оранжерея, и растут прекрасно там не только местные породы ягод, но даже виноград и фрукты разные. Мы клали свой изюм в пирог, что стряпали для хаповских в гостинец, да и в деревне многие плоды произрастают. Кирпичною стеною деревню обнесли и на столбах кирпичных крышу утвердили, изобрели материю прозрачнее стекла, так что ее мы можем свертывать и в свитки, подобно полотну. Похоже, как у древних египтян. И вот покрыли всю деревню тканью той чудесной, устроили двойные рамы на случай зимних холодов, и между рамами для таяния снега наверху из труб особенных пускаем теплый воздух, и талая вода стекает в водоемы и потом, сквозь специальные решета, идет для орошения деревьев и цветов, что зеленеют и цветут среди деревни нашей и зимою.

В одном конце деревни, на высоком месте — башня-водокачка сложена из кирпичей своей работы. Мы электрической энергией качаем воду, а прежде так качали — паровой и отоплялися дровами, когда энергии от мельничных турбин не получали.

От водокачки вдоль деревни мы прокопали русло и выложили плотно кирпичами. И вот бежит ручей иль речка вдоль деревни, то сильней, то тише, по нашему желанью, на сколько краны мы откроем и пустим в ход насос, который воду нам в деревню из речки поднимает. Течет ручей в прекрасных берегах, мы камушков на дно наклали для красы, насыпали песочку. Местами вдоль ручья растут цветы с кустами, лужайки зеленеют. Ребята малые купаются в ручье и лодочки пускают. Когда воды побольше пустят, тогда на лодках даже плавать можно вдоль всей деревни.

И улица в деревне мощена плитами. Они, опять же, — нашего изделья. Мы обсушили улицу, дренажные прокладывая трубы. А возле изб везде у нас лужайки. И рядом с мостовою гладкой, как карта, выложено мелкое русло для грязи, на случай, — про любителей ходить по грязному пути.

В ночное время в то русло мы пускаем воду струею сильной, чтобы грязь не заражала воздух душным испареньем, не зарождала бы миазмов смертоносных. Она уносится водою. А перед утром телегу не одну земли хорошей привезут и высыплют в русло, у водокачки, которое назначено для грязи, и выпустят достаточно воды из кранов, чтоб землю разнести вдоль этого русла. Когда получат грязную дорогу вдоль мостовой, совсем почти закроют краны, оставят лишь для струйки малой, чтобы она, земли не унося, лишь смачивала грязь, и с гладкой мостовой и пыль, и сор сметают все туда же.

Вначале грязною дорогою немногие ходили по привычке старой. Когда ж таких совсем не стало, всю грязь мы вовсе смыли.

И если, кстати тут сказать, для нечистот мы держим ящики большие, которые сменяем ежедневно. Машиною передвигаются они по назначению — в нарочные сушильни, где нечистоты сушатся поспешно, потом дробятся в мелкий порошок, в дробильнях специальных, и поступают на храненье в сухое помещенье, где до весны хранятся, а там идут на удобрение полей, садов и огородов. И запахов от грязных нечистот в жилищах и снаружи нет совершенно. А над сушильнею высокая труба для выхода паров и газов.

На улице теперь тепло у нас, как летом, и даже устилать постели стали на ночь на лужочках около изб, и стены изб снаружи стали украшать картинками.

Н е з н а к о м е ц. Еще мы слышали: построен общий дом длиной во всю деревню, и вроде бы и гумна, и овины у вас в том доме… Овес и рожь вы возите туда. А еще: вы столько много получили от машин, что труд у вас уже с игрою стал мешаться, и отличать уже не стали, как разграничивать забаву и работу…

2 - й н е з н а к о м е ц. Ну, если так, то переход детей от игр к трудам у вас весьма исподволен, настолько даже, что они того и не заметят, всегда увлечены занятьем интересным…

М а р к о. Да, дом большой со множеством покоев. И там есть комнаты палат великолепных и стены черные избушек бедных. Там — зима и лето, холод и тепло меняются по нашему желанью.

Мы много думали, как сохранить в культуре нашу бытность, чтоб новыми затеями уклада старины не потревожить. Среди деревни, например, стояла древняя

избушка бабушки Варвары. Так мы готовили в заводах наших долго особую великую лопату, чтоб в этот дом перенести избушку с пластом земли, с лужком, с полененкою дров, чтобы тишайшим образом, никак не потревожить ни бревнышка и ни ступеньки… Когда лопату приготовили, ее сперва в работе испытали. Она катится на колесах, как будто автомобиль величиной с порядочный завод. И убедившись, что она вполне пригодна, с лопатою к избушке подкатились. И подняла она Варварин дом, как детскую игрушку на ладони. И по широкому подъезду, который возвышается исподвольно, в дом ввезли, и там при помощи машин подъемных водворили. И вот стоит она в большом прекрасном зале, как будто все на старом месте, с лужком своим, с полененкою дров, Над нею крыша из прозрачной ткани и — солнышко в безоблачные дни. А бабушка Варвара прежней бытностью живет и замечает только лишь, что вроде бы покойней стало. И над избушкою устроили трубу, чтоб дым наружу выходил, когда она затопит печку.

Лопата же нам служит превосходно, она все время при делах: то надо выровнять холмы, то завалить овраги, плотины можно ею строить…

А на предмет разнообразия покоев в доме нашем, скажу вам например: вот отворили двери — зал большой, увидите людей в костюмах разных, еще одни открыли, перед вами — лето, летний лес глухой, осины и березы, елки, сосны… Журчат ручьи, шмели и пчелы, мотыльки летают, и пташки там поют. Сидят рябки, тетерева на сучьях…

И вот открылась дверь: зима за ней в лесу. Деревья все стоят покрыты снегом, и видишь: в холстенике старик на лыжах катит. То — дядя Савостьян, охотник.

Вдруг выйдешь на поляну, и ветерок откуда-то подует, и вьюга вдруг поднимется большая, такая, что и свету вольного не видно! Подумать можно, что и впрямь в большом лесу блуждаешь… Но вьюга поутихнет, и различишь: на маленькой полянке стоит стог сена, и ровно двери в стоге… Дотронешься — откроются, и светом осияет, и опахнет живым теплом… И видишь: стог — из глины обожженной, и весь он полый изнутри, и лесенка куда-то вниз ведет, а снизу, свет таинственный исходит…

Сошел по лесенке и видишь: грот чудес, и свет

цветной идет из камней самоцветных, то ль сами светятся, то ль электричество туда проведено… Внутри — уютные покои, они уходят в глубь земли.

Еще откроешь дверь в стене и видишь: театр, и зрители сидят, глядят на представленье…

И дальше вы блуждаете… Опять пред вами двери вдруг открылись, за ними — маленькое поле. Весна… Журчат потоки. Лишь кое-где белеются снежки. И жаворонки звонко распевают, и хижинка из дерева стоит, и у черемухи — на жердочке скворечник. Скворцы поют. Ребята маленькие слушают их пенье и ходят по полоскам: в лукошки собирают ранние песты…

И если вы смущаетесь вопросом: «А как же стены? Они мешают впечатленью…» — отвечу я: они расписаны по назначению покоев, и живопись довольно превосходно натуры впечатленье дополняет. А комнаты величиною с огородец, и двери незаметны на картинах, и проводник лишь знает, какую кнопку следует нажать, чтоб их открыть…

Другой покой… Там — озеро воды, в него ручей впадает, и речка из него течет, и рыбы плавают, и птицы водяные.

Отворишь дверь еще: за нею — ночь морозная и снег. На небе ясном полная луна, мерцают звезды. Окошки светятся в избушке: беседка молодежи там, девицы с прялками сидят и мягкий белый лен прядут, и песни распевают, плетут ребята ступни, лапти и на гармониках играют.

В другую комнату вошли: три солнышка на небе — голубое, желтое и розового цвета, растения растут как будто неземные, порхают птицы по ветвям в красивом оперенье…

Вошли в другую залу и очутилися в саду деревьев плодоносных и кустов, и виноградy полными кистями там манят взор…

А вот еще большая зала: стоит один овин в натуре, и нарисовано еще овина три, и кучи хлебные, чтобы полнее было впечатленье. В овине этом мало мы молотим, стоит он больше для красы. И дедушки, по старине скучая, приходят иногда в овине ночевать. Там теплину разложат, хоть он и не был бы насажен, и говорят про старину.

Молотим же мы хлебные растенья машиной специальной и сушим в помещенье нового устройства,

построено оно из кирпичей, и электричеством его мы нагреваем.

Покоев много в доме нашем, не перечислить всех приспособлений.

Н е з н а к о м е ц. Мы слышали: у вас имеется большое подземелье и посреди деревни вход в него, снаружи незаметный… И открывается он только ночью — для посвященных…

М а р к о. Да, нужно встать пред дверью той незримой, произнести пароль заветный, тогда откроется таинственная дверь и воссияет свет прекрасный! Под землю лестница ведет с узорными коврами, и самоцветными камнями там выложены своды. И там у нас хранятся предметы драгоценные красы чудесной.

У нас идет так много глины для обжига, что получились катакомбы, как будто в Риме, достаточно обширные и с гротами подземными они имеют сообщенья. И то — обители покоя вдали от суетного мира.

Н е з н а к о м е ц. Скажите нам: имеются ль у вас аэропланы?

М а р к о. А как же! Всех размеров и систем: есть грузовые, есть и для людей, почти летучие дома, есть одиночки. И очень легкие складные перелетки, чтоб за реку перелетать, на небольшие расстоянья. Их можно брать с собою в путешествие пешком, как принадлежность багажа. И если бы случилось при полете поврежденье, то есть приспособления у них, и человек упасть никак не может, но тихо опускается на землю, как будто он — перо от птицы. И движенье вниз ускорить можно или же — замедлить по желанью. А захотите, можете остаться в воздухе в спокойном состоянье. А также есть такие, которые посредством ног одних приводятся в движенье, при помощи особых механизмов, и крылья их — из самых легких матерьялов, и площадью такой, чтоб человек мог в воздухе держаться без затраты силы, подобно ястребу, когда высоко он парит, крыла расправивши горизонтально. При небольшом нажиме на педаль ногой работает пропеллер для движения вперед или назад, нога же управляет направленьем, а руки могут что-нибудь писать, держать что-либо, рисовать картину… На случай ветра крылья механизмом особым могут складываться быстро, и человек исподвольно спускается на землю, и механизм особый же тогда

работать начинает, легко предохраняя от паденья.

Над домом нашим — непростая крыша: с перилами, с платформой. Она обширна, будто поле, и служит для отлета и прилета. На ней имеются удобства все. Есть поле на земле, как карта, для разбега и посадки аэропланов наших, есть помещенья теплые для этих «птиц» со множеством ворот широких.

И кстати тут скажу, что не напрасно ли оспаривать моря борьбой… Мы подошли к эпохе сообщений в воздушном океане, и города приморские терять свое значенье скоро будут, и новые возникнут города на континенте, безотносительно к тому: далеко ли они от моря. На аэропланах люди с большею свободой себе места для жительства подыщут. Появятся на свете новые столицы. Они отцами будут для городов воздушных в грядущем недалеком. Столицы нынешние — дедушки для них.

Незнакомец. Еще мы слышали, что речки небольшие загатили вы все с горами вровень, и спор воды уходит далеко в верховья…

Марко. И получились полноводные каналы на много верст длиною в причудливых изгибах берегов с лужками и ландшафтами. И пароходики манеров всевозможных там плавают у нас и пристают к окрестным деревенькам, и заплывают даже на кулиги, и дедушки, и малые ребята по ягоды и по грибы на них куда угодно плавают… И при речных плотинах устроены турбины всюду, и мелят мельницы, и толчеи толкут. Движенье, освещение, тепло — все, все от сил высокого паденья речной воды…

Незнакомец. Действительность у вас с фантазией смешалась, и мы выслушиваем сказку…

Но вы как будто позабыли, что есть на свете деревни кроме вашей… Скажите, как понравится соседям, которые живут коло реки, в верховьях, когда вода затопит их луга и поселенья, и вместо непрерывного пути водою по реке плотам и баркам, лодкам, пароходам придется остановку делать у плотины, чтобы при помощи каких-то шлюзов туда-обратно им перебираться?.. Да и технические средства так ничтожны, что невозможно шлюзы те устроить… Мы знаем, что в Америке их нет при Ниагарском водопаде…

И что же будет, если вслед за вами другие поселенья, города подобное устроить пожелают, и река

собой представит цепь высоких водопадов?..

М а р к о. По духу самому речей моих смешенье с грядущим настоящего значения обыденного не имеет, рисуем мы картины грез, описываем то, как быть должно, строительство игрушечное как бы… Но люди в знаниях и действиях своих похожи на детей вначале. Фантазия несется впереди практического дела. В духовном мире есть все наши измышленья, и воплотятся все они потом. Не следует в познаньях гордо пред бедностью убогой заноситься, но надо все предвидеть наперед.

Возьмем родную старину, ее вообразив среди нововведений разных. Вот вижу я: запруда наша затопляет мирные могилы родного кладбища, и храм стоит на низком берегу… И жаль мне их и нашу трудовую жизнь с укладом вековым, рыдания сжимают грудь, и вижу я умерших и живых перед собою… И тогда не знаю: строить иль не строить, хотя бы самое великое возможно было… Как лучше быть?.. Пугает нас культура городов: она имеет примеси греха…»

Шумит, хлещет мокрыми ветками черемух по темным окнам, по бревнам стен уже полуночный ветер… Ефим оторвал взгляд от рукописи, вслушался в сырую непроглядную ночь, будто и не было вокруг него никаких стен…

Как это бывает, когда живешь в местах, где прошли все твои самые ранние годы, где жил весь твой крестьянский род… Вдруг видишь окружающее не таким, как оно есть в данную минуту, видишь то, что было когда-то… Видишь со многих сторон… И почудилось Ефиму: из тьмы этой ночи смотрят на него те, кто жил тут, в его деревне, задолго до него, смотрят пристально… И Ефим вдруг замер… Кто он? Кто он — перед этими темными глазами?.. Кто он — со своими фантазиями?.. Осуждающе или по-доброму, с надеждой, смотрит на него дремучая шабловская старь?..

Время, время… И быстро текущее, и неподатливое одновременно. Увидеть бы его глубину на много лет вперед!.. Что там кроется в ней?.. Что будет вот с этой деревней?.. Или все его фантазии — только тщетные, напрасные усилия одинокого и совсем-совсем беспомощного ума?..

В холодный ноябрьский вечер пришло известие: умер Толстой… Оно потрясло Ефима: умер тот, кто столько дал ему… Умер не просто великий писатель, прекратила свое течение, оборвалась вдруг мощная, великая спасительная мысль об этом мире, мучительно пробивавшаяся к людям сквозь всяческую косность, зажигавшая в их сердцах свет и чистую веру в высокое предназначение человека… От нее так много тепла и света перешло на самого Ефима…

Уйдя в сумерках к оврагу, за деревню, он долго шагал взад-вперед по дороге и все не мог успокоиться, прийти в себя. От темного предночного леса, от замерзшей уже Унжи, от ее смутно белеющейся поймы веяло тревогой и скорбью, будто вся земля дышала вестью об этой утрате…

С болью Ефим вспоминал о том, как, еще будучи тенившевцем, собирался сходить в Ясную Поляну: мечталось не поговорить даже с великим человеком (это было бы верхом возможного!), мечталось увидеть само место, где тот обитает…

Вспоминал он и демонстрацию на площади перед Казанским собором в Питере против отлучения Толстого от церкви… Вспоминал, как зачитывался его книгами вместе с другими тенишевцами, как горячо обсуждалось в их мастерской каждое новое печатное выступление писателя.

В самых важных для себя мыслях и замыслах, в нравственных и духовных исканиях Ефим находил опору и поддержку именно в толстовском учении.

Для себя у Толстого он нашел все, что могло укрепить, утвердить и наставить. Порой ему даже казалось, именно к нему обращался Толстой…

> «…Встань рядом с теми, которые кормят голодных, одевают холодных, не бойся ничего, — хуже не будет, а будет лучше во всех отношениях… Стань в ряд, возьмись неумелыми, слабыми руками за то правое дело, которое кормит голодных, одевает холодных, — за хлебный труд, за борьбу с природой, — и ты почувствуешь в первый раз ту твердую почву под ногами, почувствуешь то, что ты дома, что тебе свободно, прочно, идти больше некуда, и ты испытаешь те цельные, неотравленные радости, которых ты не найдешь нигде, ни за какими дверьми…»

Да, все это было как будто именно к нему обращено, именно для него одного сказано…

Не из гордыни, какой-нибудь Ефим порою даже так чувствовал истинность своей связи с толстовским учением, что доходил до мысли, может быть, и слишком дерзкой: уж не один

ли он в этом мире и есть истинный союзник Толстого?..

Ведь не встречал, не видел он пока ни единого человека на своем пути, который так же, как он сам, всей судьбой своей, на деле, а не на словах, исповедовал бы истины, провозглашенные Толстым.

Встречались, попадались ему люди, считавшие себя толстовцами: они не ели убоины, пили отварной взвар вместо чаю, пытались даже и землю пахать, да скоро бросали, не выдерживали… Такое толстовство — от поверхностно понятой огромной глубокой истины, которой служить надо не так совсем, а всей душой и жизнью своей, ибо и вся-то она обращена к сознанию человека, желающего и ищущего не какого-нибудь эгоистического одиночного спасения для себя, для своей души, а истинной и действительной помощи самой жизни, народу…

5

В начале зимы у Татьяны родился сын. Назвали его Владимиром, Волеем по-шабловскому.

Угодили молодые Василию Самойловичу: наследника ждал от них и вот — дождался! На радостях он решил подарить зятю половину всей своей надельной земли.

На третий день рождества вдвоем с зятем они поехали в Кологрив к нотариусу Лебедеву и заключили там договор дарственной записи, по которому зятю было подарено семь с половиной десятин надельной пахотной земли, половина земли усадебной оседлости, половина выгонной и покосной земли, а кроме того, — новая изба с надворными и гуменными постройками, лошадь…

После заключения договора вернулись они из Кологрива довольные друг другом, весело-оживленные, с морозу и после быстрой езды раскрасневшиеся.

По случаю такого важного дела устроили чаепитие в новой избе. Отец за чаем много шутил в этот вечер, и когда речь у них с зятем зашла о покупке еще одной лошади, и зять спросил его, какую бы хотел он иметь лошадь взамен Карька, отец, подувая на курящееся паром блюдечко, хитровато сощурился:

— А какую бы… Да такую, чтоб была не молодая и не старая, а в годах, чтоб была большая и пузатая, на толстых низеньких ногах, чтоб башкой не вертела и чтоб нижняя губа висела, как вот блин, и чтоб быстро не бегала, а тянула бы любой воз! Во какая лошадь нужна настоящему-то крестьянину!..

Отец всегда был исправным умным крестьянином, хозяйство

держал в порядке, а тут два года к ряду выдались урожайными, в семье появился здоровый крепкий помощник — зять, Ефим тоже втянулся-таки в крестьянские дела, народился внук, наследник… Ожил старик, теперь и шутки от него можно было услышать…

Мирным, добрым получился семейный вечер. Ефим сидел, слушая разговоры родных, отпивал из блюдца. На столе пошумливал самовар. В его сияющих боках весь избяной мир распялился, исказился, запылал по-пожарному. В детстве Ефим так любил глазеть на отражения в самоваре, все на его боках становилось каким-то медно-добродушным… Приятные воспоминания, пришедшие под шумок самовара, оставили долгую улыбку на лице Ефима, он чувствовал какую-то легкую размягченность: вот так бы и жили все они — по-доброму!..

Но благостного семейного настроения хватило не надолго… Убирая со стола посуду, мать вздохнула:

— Вон свадьбы у людей-то затеваются… Ефим, и твое бы дело такое… Давно уж пора… Вон Васенка-то!..

Ефим вспыхнул: снова его пытаются подтолкнуть совсем в другую сторону!.. Зачем ему эта Васенка?! Зачем вообще все эти разговоры о его женитьбе?!

6

С нового года Ефим опять стал похаживать на большую беседку. Теперь его тянуло сюда не одно только желание побыть на людях… Уже дважды он провожал с беседки Лизу Серову…

Эта девушка, всегда тихая, застенчивая, нравится ему, есть в ней что-то тайное, что не для любых глаз открыто… Это тайное, загадочное он всегда искал в людях, если находил в ком-то, то и по-особенному смотрел на такого человека — как на своего духовного родственника.

Вот и в Марьке Веселовой он когда-то увидел все это… Но не суждено было духовному-то родству закрепиться через супружество…

А теперь он не может уже ни на ком жениться. Жениться теперь — предать свой мир, свои мечты и замыслы. Не может, не должен он связать себя семьей, нельзя, преступно даже, утопить в непролазных крестьянских заботах создаваемый светлый мир…

Стало быть, не должен бы он и встречаться с Лизой, бывать с ней вдвоем, не должен давать ей никакого повода для надежды… Но отказаться хотя бы и вовсе от немногих встреч он не может: истосковался по женской доверчивой душе. За все эти годы не было у него в Шаблове человека, кому мог бы открыться во всем.

Да и вообще случалось так, что месяцами разговаривал лишь с самим собой по-настоящему-то… Так было, что душу в разговорах доводилось освободить только в общении с детьми. Были беседы с Алексаном, с Николаем, с Костюней Матвеевым, но ни в одной из них он не был полностью свободен. Только в разговоре с женщиной он чувствовал себя всегда раскованней, проще. Само собой — не со всякой женщиной, а только с той, в которой видел веры и увлеченности больше, чем холодного рассудка… Так было у него и с Марькой, и с Анной… И вот теперь, так запоздало, появилась еще одна…

Лунная, ясная святочная ночь стоит над Шабловом, холодным голубым огнем сияют снега. Поздний уже час, разбредается с беседки молодежь, кое-где в деревне светятся окна…

Ефим с Лизой остановились под окнами ее избы, надо бы и прощаться, а их что-то держит друг возле друга…

— Может быть, прогуляемся еще немного… — предлагает Ефим. — Такая ночь!..

Лиза кивает, и они идут на дорогу, сворачивают и направляются к северным воротцам деревни.

Шагают молча, в какой-то крайней сосредоточенности, только снег под ногами поскрипывает. За воротцами остановились. Постояли, прислушиваясь к тишине. Ефим, улыбнувшись чему-то своему, вдруг заговорил чуть нараспев:

— Вот мысль о будущем земли… Исподвольно охлаждаясь, земля до центра будет вырыта людьми и станет вроде полого ореха со множеством внутри покоев всевозможных, уютных и прекрасных несказанно, как будто муравьище… И над землей воздушные жилища летать свободно будут! И неречными путями миры соединятся!..

Лиза слушает его, чуть склонив голову набок, и украдкой посматривает на его лицо, запрокинутое к чистому звездному небу, и тоже начинает глядеть туда же — в веселую сияющую пустоту неба, где мреют, переплескиваются россыпи звезд…

Необычные слова говорит ей Ефим, или и не ей вовсе, а огромному внимательному чуткому небу, легко и вольно дышащему над зимними настуженными просторами… Необыкновенный, непростой человек говорит с ней… Это-то она понимает, чувствует. Другого такого нет тут, в их глуши. Он один такой… И что она для него?! Полуграмотная, простая деревенская девица… А он образованный, в Питере долго жил… Вон ведь как говорит!.. О звездах, о каких-то невиданных мирах…

Непонятно все это, но странно теснит дух от таких слов, от его голоса, будто тесно сердцу в груди и оно вместе с душой

хочет выбиться, вырваться на волю, улететь к сияющим звездам и полной луне…

И как хорош Ефим… Ему сейчас можно дать не больше двадцати, будто он ее одногодок… Совсем-совсем молодое у него лицо… Да он и всегда-то выглядит молодо, глаза какие-то такие… И голос чистый, добрый, никакой грубости в нем… Она готова слушать и слушать этот голос, хоть и не совсем понимает то, о чем говорит Ефим…

Сам же Ефим забыл как будто, что перед ним всего лишь простая шабловская девушка… Он говорит ей о своем сокровенном, о наболевшем, о душе художника, которой так нелегко, так непросто в мире, о своей собственной душе…

Лиза в растерянности и смущении слушала его, и только когда он умолк, тихо сказала:

— Я, наверно, ничего не понимаю… Ведь я и не знаю о вас почти ничего… Вот только что в деревне говорят…

Ефим лишь усмехнулся в ответ, мол, что могут знать обо мне в деревне?!

И Лиза потупилась. Нет, непонятен он и ей, совсем-совсем какой-то не такой он, не как все… И все же тянет ее к нему… Разве же от кого-нибудь другого она услышал бы такие слова тут, в своей деревне?! И голос у него какой-то особенный, и весь он особенный, непростой…

7

Эту зиму Ефим работал над своим фантастическим романом, сделал к нему много рисунков пером и акварелей. Написал он и несколько новых сказок: «Сергиюшко», «Иванушко», «Чудесный яблок»… К ним тоже сделал много иллюстраций.

Всерьез решил он взяться за постройку в Шаблове своего деревенского театра, и уже приглядел для него две заброшенные избы. Хозяева этих изб Иван Новожилов и Федор Можайский прошлой весной насовсем уехали в Сибирь.

Ефим поговорил со старостой Алексеем Ивановичем Семеновым насчет этих изб, мол, они ему нужны не для себя, а для деревенского театра. Тот хоть и усмехнулся, услышав об этом, однако на ближайшем сходе поговорил с мужиками насчет Ефимовой затеи. И вот теперь основа для задуманного у Ефима появилась реальная.

Еще до вешней распутицы он устроил помочь, брошенные избы сломали и перевезли на зады, свалили у Самохичевых за баней. Пока ломали и перевозили, не раз к мужикам, помогавшим

Ефиму, подставали с вопросцами любопытные:

— Куда такое гнилье-то — на дрова?..

— Да вон Ефиму Самохичеву на постройку!.. — отвечал кто-нибудь.

— А чего бы строить-то хочет?..

— Киятру!..

— Киятру?! Слыхано ли дело!.. Зачем?..

— Робятишек будет там развлекать…

— Чудно…

— Знамо — чудно!

Ефим лишь молча хмурился, когда такие разговорцы заводились при нем… Деревенские мужики, посмеиваясь, великодушно позволили ему кое-что осуществить из задуманного, но они смотрели при этом на затеянное им лишь как на баловство какое-нибудь, не как на большое настоящее дело…

Однако как бы там ни было, а дело-то сдвинулось! И Ефим уже воплощенной видит свою идею! Он нарисовал и вычертил будущий деревенский народный дом. Построить дом решил в два этажа: на первом — театр, на втором — мастерская и маленькая комнатушка, где он будет жить вовсе отдельно от родителей, так ему будет спокойней. Вон совсем недавно мать устроила снова скандал, на чем свет стоит честила его… Василису, которую она прочила Ефиму в жены, посватал молодой парень из деревни Окатово, легкомысленный, болтливый, девка, однако, согласилась…

Темная, сырая ночь. Ефим размечтался в своей комнатушке над только что написанной главой романа… Ему представилось, как выйдет он к однодеревенцам из-за кулис и окинет взглядом ряды, и заговорит о необыкновенном, о таком, что и в мысли-то никому из них не приходило… Он будет Марком Бесчастным — первым человеком Будущего!..

И вот словно бы ожило перед ним то, что пока лишь осталось на листах, лежащих перед ним…

…Сцена представляет собой часть сада перед большим каменным зданием, украшенным снаружи фресками, лепными украшениями. На фронтоне его крупными буквами написано:

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОЛЛЕГИЯ М. Б.

Всюду необыкновенная чистота, дорожки, ведущие к дому,

выстланы гладкими плитами. Везде цветы, фонтаны, искусственные ручьи, едва-едва слышны напевы и музыка, они не мешают разговору, и не определить, откуда исходят… Меж клумб ходит старик-садовник с лейкой в руках, поливает цветы…

«С а д о в н и к. Затихло все. Ученые в науки погрузились… Искусства там у них… Творят красивые картины, из мрамора статуи высекают, и чудно так у них выходит!.. И что наука им откроет, они по планам строят все, и ходят, и толкуют по садам, и всякие диковины в театрах представляют.

Все племена и все народы в своей одежде там у них…

Теперечь, в немного лет, наш край они преобразили! Невиданны богатства от земли… Неслыханные речи и слова занятны так и мудрены, что впору всякому послушать! И всем найдут сказать какое слово… Хотя бы вот и мне… Охотно мне в компанье этой!..

Теперечь наша молодежь на славу зажила. Все учатся в Коллегии наукам разным и искусствам, и делам — играть и петь, и зданья строить, машины разные, заводы! И сеять хлеб, и всякие растенья, и разбивать сады, мосты, воздушные дороги строить, и украшать жилища и землю всю диковинами всеми. Теперечь кто чего лишь пожелает, того и достигает без помех. И взрослые, и дети, мужчины, женщины — тут все равны. Здесь жизнь старинная и новая живут, друг друга дополняя. И, нету слов, занятны все, и все в одеждах ходят разных. И легче, кажется, самой кормилице-земле теперечь стало! Она добрее к нам и веселей! И хлебом, и цветами осыпает нас с избытком!

Ведь с незапамятных времен мы грудь ее сохою бороздили и ломовым трудом искали хлеб… Ученые все изменили здесь. И вижу я, как мудры их приспособленья, и кажется: с самой землей беседуют они, и у нее же вопрошают, чего и как достигнуть лучше им… И я не узнаю своей отчизны: так плодородна и свежа! *(Прислушивается.)* Пришли!.. Я слышу детский смех и шамканье старушки-няни… Детки там… Они в красивые деньки по саду погулять сюда приходят и любят здесь при солнышке играть на изумрудных луговинках и на песочке у воды, где ручеек из сада вытекает…

Вбегают д е т и.

Д е в о ч к а. Садовник, добрый господин, сорви мне яблочек вон тот!..

С а д о в н и к. А ты повадилась, плутовка… Который яблочек прельстил, скажи-ка, маленькая Ева?..

Д е в о ч к а. А вон!.. На веточке вон той висит!..

С а д о в н и к *(срывает яблоко, подает. Девочка убегает)*. Ну мне, пожалуй, не до вас… Делов довольно мне по саду…

Появляется с т а р у ш к а - н я н я.

Н я н я. Ты, старый баловень детей, даешь игрушки непростые! Приставлен ты блюсти за садом…

С а д о в н и к. А, баять нечего, ты, бабка, видишь: яблочек один что значит в этом изобилье?! Вот с лучшей яблоньки сорву для старой няни…

Н я н я. Ну, вот! Ты выдумай еще зорить кужлявку золотую!..

С а д о в н и к. Вот, бабка, мы с тобою, старые, забыли, что этот сад общественный у нас! Цветы и зелень, и плоды любые равно принадлежат тебе и мне, и деткам ясноглазым, и поселянам, и ученым нашим… Все бедность лет былых никак забыть не можем и по привычке к изобилью не подходим…

Н я н я. Да нужды нет, ты старый греховодник!..

С а д о в н и к. И правда то, что нужды нет… Ведь все вы ходите в садах, и яблоки срывать никто не запрещает!.. *(Срывает яблоко и подает старушке.)*

Н я н я. Спасибо те, садовник-господин… Вот разве деткам отнести…»

Ефим долго смотрит на темное боковое окно, на его лице — счастливая улыбка, не вдруг, не сразу происходит возвращение к действительности… Словно кому-то, незримо наблюдающему за ним из глубины этой темной заоконной ночи, он шепчет: «Край изобилия и привольности, край самобытной чистой культуры — вот Россия моя!.. верую, всей душой верую: все это будет! Все это обязательно будет!..»

8

Неведомо Ефиму, ушедшему с головой в свои сочинения, в

думы-фантазии, что творится на сердце у Лизы Серовой…

После той святочной ночи он провожал ее еще не один раз, но потом на беседке появляться стал все реже и заглядывал не надолго… На масленой неделе заглянул в последний раз, постоял у порога и ушел, даже не посмотрев в сторону Лизы. Потом начался великий пост, молодежь на беседку больше не собиралась… Не видела Лиза Ефима нигде в деревне, только попадался на глаза в те дни, когда ломали и перевозили старые избы для его затеи… В те дни имя Ефима часто поминали в каждой избе, само собой, с усмешкой (все-то у него на уме не то, что у людей!), и всякий раз сердце Лизы замирало: о нем говорили, вовсе не знавшие, не понимавшие его.

В мир ее девической души в те чистые январские ночи вошло что-то неведомое ей, поначалу смутно тревожащее, и вот теперь разросшееся, превратившееся в глубокую, неизбывную сердечную муку, в боль…

Ефим лишь приоткрыл перед ней свою душу, она увидела такой чистый, такой манящий свет и, еще неосознанно, потянулась к нему… Но вдруг замкнулась перед нею его душа, и она осталась одна перед какой-то пустотой, перед холодной и темной неопределенностью, не зная, увидит ли хотя бы еще раз тот чудесный, так внезапно открывшийся перед нею свет…

За короткое время ее душа так изменилась благодаря Ефиму… Его голос, его присказулечки, сочинюшки звучали для нее и во снах…

При последнем провожании Ефим стал рассказывать ей про какой-то огромный чудесный мост, который некто Марко Бесчастный вроде бы уже построил тут у них — под Шабловом…

> «Вначале этот мост явился лишь у нас. И так желали на него взглянуть, что многие решались делать крюк, хотя бы верст в пятьсот, чтобы проехать только нашим мостом!
>
> — Отколе, деды, и куда?
>
> — Из Тодина мы едем в Кологрив!..
>
> — А вы отколе?
>
> — Из Солюга — на Урму!..
>
> — А вы, почтенные?..
>
> — Из Буя — во Кадый!..
>
> — А вы?..
>
> — Из Куроносова — в Хмелевку!..
>
> — А вы?..
>
> — Из Кинешмы — на Кострому!..»

Ефим тогда так увлекся своим рассказом, что наверное и

позабыл вовсе, что она рядом… И, захваченная этой его выдумкой, Лиза глядела на него с удивлением и тайной печалью: так увидела вдруг, так поняла своим девичьим сердцем, что вот то, о чем он уже столько вечеров ей говорит, и есть для него в с е… И ничто, и никто не может соперничать в его душе с этим…

Больше не было ни встреч, ни разговоров… Лиза пыталась хоть как-то вразумить себя, внушить себе, что вовсе это не любовь у нее, что и не может быть никакой любви: разве пара они?.. И старше он ее намного, и образованней, и вообще слишком весь он какой-то другой… Но тут-то сердце и начинало перебивать сознание, заставляя его вовсе умолкнуть… И перед глазами возникало лицо Ефима, такое молодое, не по его возрасту, всегда чуть печальное, даже в веселую минуту эта печаль словно бы сквозила в нем… И темно-карие глаза Ефима смотрели на нее пристально, неотступно, и слышала, слышала она его молодой, чистый голос, не испорченный ни грубостью, ни куревом, ни вином, ни черным словом…

Совсем, совсем извелась Лиза от неотступных дум об Ефиме и не видела перед собой никакого выхода…

Ах, какой вечер выдался для ворожбы наговорной! Теплом дышит-пышит, сочным воздухом вливается в тело и ходит там, кровь разжигает… И ползут тихо-тихо по небу, позолоченному закатом, робкие весенние облачка.

Снег на полях сел, на угорьях черепками лежит, во многих местах истаял вовсе, проглянули озими, расправляя зеленые перья. На полянах тетерева затокали. В лесу наст испятнан: зайцы играют, свадьбы справляют. На елях да на соснах в бору нежно-зеленые кончики побегов тянутся к солнышку, вот-вот цвет дадут, свечку выкинут…

И ветерок-то какой: в лицо кидается, а в сердце влетает!.. И дорога под ногами вся побурела, вся в провалинах, вся перемешана в кашу…

Остановилась Лиза на краю небольшой полянки, окруженной густым темным ельничком, перевела дух, огляделась, замерла, стараясь утишить стук сердца…

Повернулась лицом к заре, зашептала наговорные слова:

— Лягу я, помолясь, встану, благословись, умоюсь я росою, утрусь я престольной поляной, выйду я на чисто поле, взгляну на зелено поморье, где красно солнышко светит, припекает мхи и болота… Так чтобы припекло раба божия Ефима, чтобы он спать не спал, гулять не гулял…

Печально лицо шепчущей среди ельников Лизы. В силу

своего шепота, этих слов не верится ей: слишком робко шепчет она, слишком непослушны ее губы…

Махнула Лиза пучком травы приворотной на закат, к золотой заре, и опять зашептала с колотящимся сердцем, и шепот ее среди елей какой-то сухой, накаленный, и тени вокруг нее вечерние вроде бы шевелятся, покачиваясь, ползут к ней, обступая…

Ах, не чистое дело — этот наговор, да как быть, коль по-чистому-то любовь милого не приходит сама…

Этому наговору Куфара научила, работница Черногубовская, баба — чистая еретница. Вроде бы и нет чертовщинки в словах ее наговора, а что-то дурманом обносит голову лесной воздух, жилки на висках колотятся…

«Ох, Ефим-Ефим… И чегой-то ты не такой, как все?..» — громко вышептала вдруг Лиза, почти в полный голос спросила и голоса своего испугалась, и почудилось ей, будто из-за темных вечерних елочек выглянула вдруг сама Куфара и шепчет ей, будто боится, что кто-то еще услышит: «Ой, девка, зря ты свое сердчушко травишь! Зря себя сушишь! Совсем, совсем другой он человек! Не твоего он поля ягодка! Мысли-думы у него не о тебе! Непростые у него мысли-то!..»

9

С весны до глубокой осени Ефим опять утопал в крестьянских погоняющих друг дружку делах.

Осень принесла несколько новостей, которые словно бы подстегнули в нем его затею с театром. Рядом, в соседней деревне Бурдово, построили новую земскую школу, в Кологриве вместо уездного училища, которое он сам когда-то окончил, открылась мужская гимназия, там же открыли два новых училища (Баруздинское техническое училище на улице Нижней и Высшее начальное училище на улице Верхней)…

Летом в Илешевской волости работала земельная комиссия по переделу земли — тоже немалое событие… Ефим с нетерпением поглядывал на огромный костер из серых бревен, сваленных за двором, за баней…

Помочь он собрал, когда бабье лето только отошло, Погода стояла нехолодная. Утро выдалось серенькое, безветренное. Чувствовал себя Ефим именинником: наконец-то он подошел к задуманному не только как мечтатель, но и как практик!..

Первым из строителей на помочь явился Василий Шаблов, мужик с бритым лицом, тепло, не по погоде одетый. Из-под картуза торчат жиденькие прядки за ушами, козырек надвинут на

самые глаза, на шее белый платок завязан «зайчиком» (простужено у Василия горло). Из-под козырька смотрит обычно Василий так, будто его вот-вот должны обмануть в каком-то важном деле…

Подошел Василий к Ефиму, с усмешкой дернул за козырек:

— Здоров, Ефим!..

— Здравствуй, Василий Матвеевич! — заулыбался Ефим и радостно поглядел вокруг, как бы приглашая угрюмоватого Василия поздороваться и с целым белым светом. — Утро-то, утро-то какое! Тихо, тепло, спокойно! Как и не осень!..

— Утро бы ничего… — хмуровато согласился Василий, врубив носочком топор в некрепкое старое дерево коротенького бревешка, валявшегося под ногами, — утро бы ничего… — усмехнулся он. — Вот лесок-то у те, парь, гниловат… Недолго простоят твои хоромы…

— Да уж сколько простоят… — виновато улыбнулся Ефим. И поморщился, как от зубной внезапной боли: ах, люди, вечно они хотят все испортить своими словами…

— Ну, разве что так, коли… — хмыкнул Василий.

Подошли с топорами на плечах братья Скобелевы — Борис и Петр, вместе с ними и Ваня — сын Степана Скобелева. После того, как ему было запрещено отцом дальнейшее ученье, он начал плотничать помаленьку со своим зятем. Его появлению Ефим особенно обрадовался.

Пришел и лучший плотник в деревне Михайло Комаров, мужик необыкновенно добродушный и трудолюбивый, он и взялся всем руководить тут же, не мешкая. Подошли и еще мужики: Захар Вьюгин, Ефим Савостьянов, Арсений Кукушкин, Иван Честняков, Павел Рыжов…

Вышли с топорами и отец с зятем, дай сам Ефим не созерцателем тут был, тоже с топором в руках. Плотницкое дело за эти годы он немного освоил, топор приходилось в руках держать часто: и в лесу работал, и дом для Татьяны рубил наравне с другими строителями…

Прибежали и вовсе малые ребятишки. Эти раздергивали, щипали мох. Их помощи Ефим был особенно рад, ведь и строился-то не какой-нибудь дом, а театр, и прежде всего — для них, малолетков!..

Когда над землей поднялись первые венцы, Ефим сходил к себе, вернулся к строителям с фотоаппаратом, заснял их: хотелось, чтоб осталась память об этом дне…

Работа у строителей пошла быстро. Правда, много зауголков было гнилых, плотники хотели заменить их, но Ефим не разрешил: «Не надо! Оберните их берестом, так и кладите!..» На

новые зауголки у него не было денег…

Сруб в два этажа стоял на месте уже к вечеру следующего дня, а еще через два дня были готовы и крыша, и полы, и потолки. Осталось сделать двери, оконные рамы, сложить печи, но такую работу на помочи не делают, за нее надо было платить… Дело приостановилось на неопределенное время…

10

Новый год принес Ефиму известие: в конце декабря и начале января в Петербурге собирался Всероссийский съезд художников. Событие это ему показалось значительным, он долго думал о том, что вот уже сколько лет работает в одиночку, вовсе на отшибе, в полной безвестности, другие же между тем общаются меж собой, обмениваются мыслями и идеями…

За годы, прожитые в глуши, в деревне, у него так много всего накопилось, столько им сделано, но все это — без необходимого художнику творческого общения, без проверки чьим-то авторитетным взглядом, мнением…

Надо было какими-то путями-способами выбраться, хотя бы и не надолго, в столицу, свозить туда свои основные работы, показать их там…

Много накопилось и литературных сочинений — стихов, сказок… Фантастический роман «Марко Бесчестный» тоже разросся уже порядком…

Но где было взять средства на такую поездку?.. Оставался по-прежнему только один выход — написать все той же Наталье Александровне Абрамовой, вичугской благодетельнице…

Легко сказать — написать!.. После письма, которое он послал Абрамовой в ответ на ее, связь с Вичугой и Кинешмой оборвалась, вот уже более четырех лет прошло с того лета… О нем, пожалуй, там и думать давно перестали…

И все-таки за письмо к Абрамовой надо садиться… Поездка в Петербург была нужна. У него давно на исходе запасы масляных и акварельных красок, других материалов, необходимых художнику в работе… И теперь еще мучила неотступно печаль: его театр так и стоял недостроенным, без окон, без дверей… На достройку требовались деньги, нужны они были и на всякое обзаведение для театра.

Если бы состоялась поездка в Петербург, думал Ефим, то там, возможно, ему удалось бы что-либо продать из своих живописных работ или же кое-что издать из стихов и сказок, таким образом могли бы появиться у него хоть какие-то деньги… Но едва Ефим

начинал строить такие планы, как тут же спохватывался: как он может думать об этом?! Разве он вправе расчленять созданное, вырывать из него целые живые куски и продавать их?.. Печатать стихи, сказки — это еще можно, тут никакого ущерба для его дела, но вот продавать живописные работы?!

В начале весны Ефим написал Абрамовой небольшое письмо, в котором каждое слово далось ему с великим трудом. Коротко он сообщил о себе, о положении своих дел, о необходимости поездки в столицу.

И вот прошел месяц, а от Абрамовой не было ни строчки… Ефим мучился в догадках: почему?.. Наконец, не выдержав, написал еще одно письмо, в котором попытался объяснить свое положение:

«Многоуважаемая Наталья Александровна!

Месяц назад я послал Вам с Сергеем Александровичем письмо с уведомлением, когда нужно мне отъезжать в Петербург, если будет возможность в средствах. От Вашего круга я не имел после того никаких вестей. Может быть, мое письмо произвело неблагоприятное впечатление. Например, писал о пресловутой непродаже своих работ…

Я имею много невысказанного, и чем дальше, тем больше во мне это накопляется, и мне все труднее высказываться, и я как бы приковываюсь к одному месту, и все больше лишаюсь возможности получать практические средства, в этом отношении становлюсь все беспомощней, мои работы и мысли меня никак от себя не отпускают в практическую жизнь для приобретения каких-то средств.

В моих работах — прямые проекты для улучшения практической жизни (не в грошевом отношении, но — в коренном и настолько капитальном, насколько создает фантазия, опирающаяся на реальную жизнь). Только я не говорю об этом пока по всевозможным путающим причинам. И что я кажу или высказываю, то — лишь отрывки… Чтоб мог я высказаться больше, требуется время и место.

В Петербург я тогда не поехал по многим причинам. Я вообще на всей земле не вижу спокойного места, и если я остался в деревне, то это не значит, что все мне здесь нравится (да нет же!).

У меня же — всякие проекты для преобразования именно деревни, и мне даже очень бы хотелось пожить в

избушке с лучиной за своими работами, но это — только временно, для покоя.

Если мы человека не выслушаем и ее поглядим на него и его обстановку, то и знать его будем мало. Положение мое сейчас таково, что я со своими творениями похож на семейного человека. И забочусь, как бы создать хранилище и провести в мир, воплотить желания свои. Создается новый город, я вижу во всевозможных размерах и комбинациях на земле те формы, которые пока умещаются в корзинке, кармане или в книжке. Создается мир детей…

Что мне нужно?.. Немножко средств и чтоб не было стеснения. А у нас — разве так?.. Что значит «немного средств»? Да 5 рублей или 3 рубля в месяц. (Ведь было много месяцев и совсем без копейки.) Помещение — избушка. Пища — огородчик с капустой и луком и прочими овощами, которые и возделывать смогу сам. Великолепная мастерская со стеклянной крышей будет построена и потом, хотя бы не после смерти… Худо ли бы — теперь, да вот — еще не приходится и мечтать… В этом мире жить бедно — плохо, и если богато, то тоже плохо: завидуют…

Но дело делать без средств невозможно. Я не знаю, как мне поступить… Обращаться ли еще за помощью к Вашему кругу или нет… Полагаюсь на Вас: как Вам будет угодно… Если вышлите, то приму с благодарностью, а если нет, то, значит, и не следует, и буду искать другого выхода. Если не на поездку в Питер, то, хотя бы, — на постройку помещения рублей 50 или 25—30… В помещении у меня теперь — главная нужда, без него мне теперь неудобно аж до невозможности. А душа моя тоскует всегда, что лучшие годы идут, а условий для моей работы так мало…

К «Марку Бесчастному», о котором писал Вам в предыдущем письме, написано уже много, не меньше трехсот машинописных страниц. Вещь такая: стихи чередуются с прозой, и проза выходит стихами… Может быть, окончательно выйдет все в драматической форме… Дети играют первые роли. Уже иллюстраций много сделал, и всем нравятся. И они будут роскошны, как картины, пишу их и акварелью, и масляными красками. Обещался Вам послать заказным письмом рисунки и выписки из «Марка Бесчастного», но обещание пока осталось за мной… Здесь посылаю рисунки-эскизы к

«Марку Бесчастному»…

Отправив это письмо; Ефим не мог ни на чем сосредоточиться, все его мысли превратились в одно нетерпеливое ожидание: ответит ли Абрамова и что ответит?..

11

Долгожданное письмо от Абрамовой Ефим получил лишь в середине мая. В нем Наталья Александровна извинялась за долгое молчание, ссылаясь на то, что не вдруг удалось ей собрать деньги для его поездки в столицу…

У Ефима отлегло от сердца. А он-то уже сам надумал отправиться в Кинешму и Вичугу, пока в Унже держалась большая вода, пока ходили пароходы… Даже письмо Николаю Скобелеву отправил на Нельшу с просьбой выслать взаймы рублей пять — на дорогу до Кинешмы.

От Абрамовой, вслед за письмом, пришел и денежный перевод. Однако отправиться в Петербург тут же не было никакой возможности: началась весенняя крестьянская страда, надо было пахать и сеять, к тому же и в Петербурге наступило самое неподходящее для его появления там время — дачный сезон…

В крестьянских работах у Ефима прошли еще одна весна, еще одно лето, еще одна осень… Только уже при снеге он опять получил желанную свободу и начал готовиться к отъезду.

Надо было отобрать самые лучшие работы, подготовить их к перевозке, все уложить как следует, надо было кое-что дописать, поправить, переделать некоторые иллюстрации к своим литературным сочинениям. Работы набралось не на один месяц…

Ефим вдруг увидел, что многое пока что осталось лишь начатым, намеченным… Все рвался успеть высказаться, реализовать свои замыслы… Но семейные неурядицы, но нехватки-недостатки… Все, все сказалось…

Кроме живописных работ, литературных сочинений и иллюстраций к ним, он решил взять с собой и половину своего глиняного Кордона. Пока не застыла земля, он отобрал самые удачные из глинянок, сложил их в большой пестерь, пересыпал сухим мхом, чтоб при перевозке не побились. Остальные, тоже аккуратно уложив в старый, бросовый пестерь, закопал за двором, неподалеку от недостроенного овинообразного народного дома.

Сосед Андрей Милютин, сын покойного дедушки Федора, застал его за этим делом, подошел, полюбопытствовал: «Ты это зачем, парь?» — «Да вот тесновато стало жить…» — невесело пошутил Ефим, и ему почудилось, он хоронит что-то живое…

Не от тесноты закопал — ради сохранности: и пожар опять мог тут без него случиться, и подросший Волик, проказливый, шустрый бутуз, несколько раз уже добирался до Кордона… Татьяна же смотрела на это легко: чем бы дитя ни тешилось,

лишь бы не плакало!.. Если бы Волик перебил весь Кордон, она бы лишь посмеялась: «Да что с ним делать-то, с таким резвуном?! Уж такой резвун, уж такой резвун! Округ вон столба ему бегать, так самого себя догонит! Уж такой резвун!..»

За подготовкой к отъезду прошло еще немало дней. Наступил уже 1913 год. И опять на пути в Петербург возникло перед Ефимом препятствие — трехсотлетие дома Романовых… Новый шумный юбилей накатывал на страну, будто какой-нибудь неудержимый вал, и надо было переждать, когда он прокатится…

Наконец, уже в конце февраля Ефим собрался в дорогу. От Кологрива до Мантурова можно было нанять ямщика, а там до самого Петербурга — железная дорога, прямой, без пересадок путь.

До Кологрива Ефима, с его немалым и несподручным багажом, взялся довезти отец. В дорогу собрались ранним сырым утром. Картины и пестерь с глинянками были уложены уже в сани. Осталось присесть, помолчать перед дорогой… И тут на Ефима нашло вдруг какое-то странное состояние: ему захотелось еще помедлить с отъездом, которым он жил все последнее время… Внезапно охватило мучительное беспокойство, связанное сразу со многим: с неизвестностью впереди, с трудностью оторваться от того, что стало родным и привычным снова…

Он даже вздрогнул, когда рядом с ним, широко закрестившись, с лавки поднялся отец: так хотелось продлить это предотъездное время!..

Отъезжая от родного крыльца, он оглянулся на стоявших на тропе мать и сестру, державшую Волика на руках, на родную избу, на приткнувшуюся к ней новую избу, в которой жила семья Татьяны…

Чуть в сторонке, за двором, за баней, в заметно поредевших утренних сумерках виднелся недостроенный народный дом… Укорно глянули ему вослед зашитые старыми полугнилыми досками окна… Он уезжал от незавершенных дел, от неосуществленных замыслов, уезжал, не зная сам: на сколько…

Не видел он, проезжая деревней, как в одном из ее темных окон смутно белелось девическое лицо, как провожали его измученные не одной бессонной ночью глаза…

12

Сразу же по приезде в Петербург, оставив свои вещи в багажном отделении на вокзале, Ефим отправился в Академию в

надежде встретить там кого-нибудь из прежних знакомых.

Он шел по городу, словно бы заново знакомясь с ним. Петербург, как всегда, суетился, куда-то спешил, никто тут не помнил о тех кровавых событиях, из-за которых Ефим и уехал отсюда тогда… Но это только так казалось… В вагоне, от случайного попутчика, с которым Ефим разговорился и сблизился, он услышал, какими забастовками и демонстрациями отмечал Петербург в минувшем январе годовщину тех событий: дело дошло до баррикадных боев…

С любопытством Ефим озирался вокруг. Почти восемь лет прожил он в деревне, в глуши. Питер заметно изменился за эти годы. По нему уже мчались трамваи, вагоны конки исчезли, немало было уже и автомобилей. Появилось много зданий новой архитектуры, в которой господствовали водорослевые линии «либерти», их можно было увидеть в лепке, в решетках, в мирискуснических витражах, всюду — подчеркнутая неопределенность художественной формы, аморфное перетекание объемов, расплывчатость силуэтов, блеклость цвета, асимметрия, нарочитая неуравновешенность… Весь этот модерн бросался в глаза…

Ему повезло: в Академии он встретил «кардовца» Василия Порфирьевича Тиморева, с которым так близко сошелся в 905-м. Да и с его женой, Юлией Андреевной (в девичестве Поповой), он был хорошо знаком по Тенишевской студии.

Тиморев встрече искренне обрадовался и, узнав, что Ефим прямо с колес и пока не успел найти себе в городе никакого пристанища, предложил ему пожить у них. Ефим согласился.

В беглом разговоре на ходу он узнал от Василия Порфирьевича, что тот является секретарем Нового общества художников, коротко называемого просто НОХ. Ефим слышал об этом обществе, оно было организовано еще за два года до его отъезда в деревню. Основной целью общества было оказание помощи молодым художникам в начале их самостоятельного творческого пути. Организовал общество Кардовский, он же с самого начала был его бессменным председателем, даже свои работы Кардовский выставлял исключительно на выставках НОХ.

Встреча с Тиморевым была для Ефима удачей: она не только сразу же решила (пускай и временно) его квартирную проблему, Василий Порфирьевич находился в самой гуще художественной жизни столицы, так что на первых же порах у Ефима появился осведомленный, сведущий руководитель.

Вечером Ефим уже сидел у Тиморевых, жадно расспрашивая их о столичных новостях. Особенно его интересовал

Всероссийский съезд художников, собиравшийся здесь в прошлом году.

— Ну, что съезд… Съезд, Ефим Васильевич, был довольно многолюдным и разномастным по составу участников… — принялся рассказывать Тиморев. — Выявилось на нем несколько противоборствующих направлений… — Тут он усмехнулся. — Бенуа, например, призывал к неоклассицизму, представитель «Ослиного хвоста» уличал Врубеля в консерватизме, Кандинский выступил с громкой проповедью в пользу абстракционизма…

— Постойте… Я, видно, вовсе отстал у себя, в деревне… — Ефим непонимающе посмотрел на хозяина. — Как вы сказали?.. Абстракционизм?.. «Ослиный хвост»?.. Что это такое?..

— Ну, это вы теперь тут сами все увидите и поймете!.. — усмехнулся Василий Порфирьевич. — Такое словами не передашь! Вон побывайте на выставке мирискусников, полюбопытствуйте! Там есть залы, именуемые публикой «комнатами диких»… Какой-то голый крайний формализм…

Тут все это началось примерно с десятого года… Объявились целые группы: «Бубновый валет», «Голубая роза»… За ними — вот этот самый… «Ослиный хвост»…

Ориентация у многих теперь на последнее слово, сказанное в Париже…

— А о футуристах, Ефим Васильевич, вы что-нибудь слышали?.. — спросила Юлия Андреевна.

— Откуда же?.. — Ефим растерянно посмотрел на нее.

— Эти от литературы! Присвоили себе право кричать от имени будущего… — улыбнулась Юлия Андреевна, увидев его растерянное лицо. — В прошлом году они выступили уже со своей программой-декларацией!..

— Ну… и что же они… провозглашают?..

— Призывают чтить права поэтов на увеличение словаря за счет всяческих произвольных и производных словечек и… — на непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку… Вы понимаете: на непреодолимую ненависть?!

— Кто же они?.. Откуда взялись?.. Неужели все они — русские люди?! Не может быть! — Ефим даже на стуле не усидел, резко поднялся, заходил по комнате. — Это же разрушители! Разве вы не понимаете?! Им же, как видно, ничто не дорого, ежели они и сам русский язык ненавидят!.. — Ефим остановился посредине комнаты, непонимающе глядя то на хозяйку, то на хозяина. Он-то у себя в деревне строил такие планы, так явственно видел будущее родной земли!.. И мечтал он не просто о будущем, а о будущем, породненном с национальными основами и традициями, о будущем, бережно сохранившем все

родное, а не отвернувшемся от своих истоков с ненавистью… Он болел за сохранение родного языка в его первородной свежести, а тут, оказывается, нашлись люди, которые призывают ненавидеть его… — Что же это такое?.. Откуда это?.. Ведь убить, исковеркать язык — убить, исковеркать саму нацию!.. Только злоумышленно можно дойти до громкого провозглашения такого!..

— Ну, что ж… — пожал плечами Василий Порфирьевич. — Искусство всегда показывает духовную температуру общества… Так вот судя хотя бы по такому явлению, можно заключить, что общество наше явно температурит…

Это ироническое замечание не удовлетворило Ефима. Не с иронией тут надо говорить — с гневом и болью!.. Он никак не мог успокоиться… Он досадовал на себя: «Эти петербуржцы… Они ко всему привыкли, ничто их не насторожит, любое коварство примут за модное, безобидное течение и будут говорить о нем вот так — иронически посмеиваясь, и не заметят, как им подсунут под шумок такую модную идейку, что потом сто лет от грязи и позора не отмоешься…

— Ну, ладно об этом… — Василий Порфирьевич положил руку ему на плечо, успокаивающе похлопал. — Вы лучше о себе нам расскажите! Ведь столько лет ни слуху ни духу, и вдруг — вот он я!..

Ефим усмехнулся:

— Что о себе?.. Жил трудно… Было так, что от снегу и до снегу дня досужного мне не было, и за художества свои я садился лишь зимой, да и то не всегда, и зимой-то мне не бывало спокойно: то надо по сено в мороз ехать, то привезти из лесу дров, испилить их, переколоть, то рожь на мельницу в другую деревню отвезти, смолоть. Не одна сотня полос-полосок вспахана моими руками за эти годы, сколько верст изгороди изгорожено кругом полей, сколько остожий сделано на нашем Илейне, на бору… А наша чересполосная колобродица!.. Вы не знаете, что это такое?.. А сколько ржи-овса серпом сжато, сколько суслонов ставлено, сколько на гумно снопов свожено и сушено в дымном овине, измолочено… Ворохов хлебных сколько провеяно, тяжелых мешков на спине ношено… А душа все болела: как свое главное-то дело делать?.. Ведь средств никаких у меня…

— Н-да… — покивал Василий Порфирьевич. — Вы с собой-то что-то, наверное, привезли… — Он кивнул на Ефимов багаж, сложенный в уголке, возле дверей.

— Привез… — Ефим подошел к своим вещам, взял внушительных размеров трубообразный сверток, начал его развязывать, раскутывать, потом принялся расстилать холсты прямо на полу, рассказывая спотыкающимся от волнения

голосом:

— Меня занимает положение деревни вообще, и я хочу преобразования во всем, не только в своих художествах, но и в промышленности, в постройке домов, мостов, дорог, музыкальных инструментов, в садоводстве, огородничестве, земледелии… Мечтаю… Как это у Некрасова… «Пускай мечтатели осмеяны давно. Пускай в них многое действительно смешно…»

Я, видите ли, тянусь к русской самобытной культуре, потому и гляжу не только вперед, но и назад, обращаюсь к старине, ибо только поняв истоки своей культуры, можно увидеть истинно национальное, наше в его дальнейшем развитии… Деятельность моя — детский мир в основном. Верю, что только через душу детей можно прийти к будущему. Надо ее напитать сказкой завтрашнего дня!.. Вот видите, это «Детский город», это «Радость семьи Назар» или «Чудесный яблок»… А вот «Избушка зверей»… А это «Сказка, сказка»…

— Н-да… — Тиморев помял подбородок, будто в какой-то внезапной забывчивости, и вдруг улыбнулся жене: — Послушай, Юля… Такого мы ни у кого еще не видели… Это что-то крайне оригинальное.

— Одновременно — и оригинальное, и простое… — Юлия Андреевна перевела пристальный взгляд с картин, устилавших пол, на Ефима, словно только теперь увидела его по-настоящему. — И какое же тут все крестьянское, истинно крестьянское!.. И дух, дух каков! Я никогда не бывала в ваших местах, Ефим Васильевич, но вот через все это ощущаю их… Это волшебство только истинному художнику дается…

Покраснев от таких слов, Ефим наклонился вроде бы затем, чтоб поправить чуть перекошенно лежавший перед ним холст, заговорил, глухо покашливая от внутренней напряженности:

— Работы мои в основном остаются незавершенными… Думаю, что и незаконченные могут содержать то, о чем тороплюсь сказать… Знаете, мне порой даже кажется, что незавершенность, пожалуй, тут ближе к истинности… Главное — чистота и ясность замысла, а незавершенность пусть говорит о его беспредельности…

Вот ведь что такое гармония?.. Это когда самое тонкое, самое прекрасное, а значит, и самое сложное, едва улавливаемое нами порой, в какие-то счастливые краткие мгновения, как догадка об истинном в мире, существует во всей завершенности, но существует так просто, как прост сам воздух вот, как проста вода… Гармония прячется от нас где-то в глубине этого мира, и художнику можно лишь попытаться дать представление о ней…

Тут возможна лишь догадка, а она ближе к этюду… Именно просто, не изощряясь, без чрезмерной изобразительности, даже чуть по-детски только и можно об этом говорить в картинах-то… Ведь именно это чувствовали создатели древних фресок. Фреска — не скупость, не упрощение! Это трепет, бережность, робость перед гармонией…

— Да, в ваших работах что-то есть именно от фресок… — кивнул Василий Порфирьевич. — Обобщенность, цельность…

— Ну, и потом есть ведь стиль человеческой души… — кивнув на замечание хозяина, продолжал Ефим. — Стиль души должен быть ощутим у всякого настоящего художника… Именно вот так, а не иначе мог писать Гоголь, Толстой, Достоевский… — Тут Ефим виновато улыбнулся. — Я понимаю, что слишком высоко взял… но это для того, чтоб лучше объяснить…

Так получалось, что мои мысли, идеи уводили меня от подробностей… Но думаю, большинство картин, если и не будут далее разрабатываться, то и в таком виде имеют значение: в них показан путь. А путь, по-моему, который должно показывать искусство, — путь к высокому, и чем больше искусство будет уклоняться в сторону низкого, всяческой обыденщины, тем меньше оно станет иметь созидательного значения, на этом пути оно и само может умереть…

Ну, и потом… ведь моя живопись — не сама по себе… Она у меня без моей словесности не живет… У меня почти нет картин, эскизов самоценных, что ли… У меня любая хотя бы вот из этих вещей — лишь часть одного общего… Это… как бы один замысел, осуществленный многими путями, во множестве картин… Так что нельзя изъять ни одной, не повредив общему… Это мой единый, неделимый мир. Тут меня не всякий поймет… Чтоб понять, надо понять мои идеи, мои воззрения… надо знать, что у меня написано: какие сказки, сцены, стихи… Это все — в единстве… Вот в чем сложность… Люди отказались от такой цельности, такой взгляд на искусство кажется им древним… К единству, к единству должны стремиться все искусства! Я в этом уверен!

А у нас разве так? Мало того что все искусства так разрознены, они и в отдельности еще начинают дробиться на всевозможные уровни… Нелепо, но именно искусство разных уровней укореняется среди людей… Не может быть, чтоб это продолжалось бесконечно!.. Единство должно вернуться, как и единство всей жизни. Ведь потому и произошел этот раскол в искусстве, что расслоением теперь затронуто все в самой жизни… А ведь еще во времена Сократа любой человек рассмеялся бы при мысли, что можно общаться, разговаривать людям на двух-трех уровнях… Был один — на всех! Равенство возможно лишь там,

где существует не формальное, не буквой закона лишь утвержденное равенство, а равенство на уровне души, на уровне человеческого самосознания!.. К единству, к единству надо все возвратить! Надо покончить с расслоением жизни, людей! Искусство тут должно стать примером!..

Ефим вдруг осекся, потер лоб, пробормотал:

— Я, наверное, утомил вас своими рассуждениями. Ведь целые годы не с кем мне было по-настоящему поговорить, а столько всяких мыслей в голове толклось, искало выхода… Порой невыносимо было…

— Ну, что вы, Ефим Васильевич!.. Мы с интересом слушаем вас! — улыбнулась ему хозяйка. — Это все так интересно и работы ваши, и слова…

— Да, да… Очень интересно!.. — кивнул сам хозяин. — И такой во всем этом ответ вот всему тому, о чем мы заговорили вначале: всяким групповщинам-группировочкам… Слушайте, Ефим Васильевич! — Он положил руку Ефиму на плечо. — Теперь вы опоздали, уже не сможете участвовать в выставках… Но вот в январе будущего года будет открыта девятая выставка нашего общества… Вот и поучаствуйте в ней!..

— Не знаю… — Ефим пожал плечами. — Ведь мои работы, я уже сказал, будто и не картины… Я их вижу как бы не туда относящимися…

Возникла неловкая пауза: один не то как будто предложил, другой от предложенного вроде бы отказался…

— Да! Чуть не забыла! Ефим Васильевич! — всплеснула руками Юлия Андреевна. — Ведь Анна Конрадовна теперь опять в Питере, здесь!.. Совсем недавно вернулась из Лондона, в начале февраля… Я ее встретила на Второй кустарной выставке… Она ведь всегда именно этим интересовалась… О, такая деятельная дама она теперь! Замужем, между прочим… Статьи об искусстве прикладном пишет… Я слышала, ее маман, Александра Логиновна, занимается теперь еще и переводами русских песен на английский…

Ефим не нашелся, что ответить, только пробормотал чуть слышно «вот как…» И тут же обратился к Василию Порфирьевичу:

— Мне бы надо встретиться либо с Репиным, либо с Кардовским… Я бы хотел позаниматься у кого-нибудь из них в мастерской до конца этого учебного года… Столько ведь лет работал безо всякого руководства…

— Я думаю, что любой из них вам скажет, посмотрев ваши работы, что вы уже сложились как художник… У вас уже есть свое направление, свой стиль… Ученичество вы уже перешагнули. — Тиморев кивнул на разложенные на полу холсты. — А Репин

давно уже мастерскую свою академическую оставил… Разве вы не слышали об этом?..

— В деревне моей не мудрено… — усмехнулся Ефим.

— Ах, да!.. — рассмеялся Василий Порфирьевич. — Ну, так Репин, я говорю, еще в девятьсот седьмом году вышел из профессоров-руководителей и осел у себя в Пенатах. А профессором-руководителем в его мастерской стал Дмитрий Николаевич, он вот уже на второе пятилетие утвержден в этой должности…

— Ефим Васильевич, вы слышали о порче картины Репина «Иван Грозный и его сын Иван»? — спросила Юлия Андреевна.

Ефим в тоскливой рассеянности посмотрел на нее (он-то ехал сюда в надежде на поддержку Репина…), она же, поняв выражение его лица по-своему, принялась рассказывать об «ужасной истории», случившейся в Москве месяца полтора тому назад, о каком-то Балашове, который в припадке нервного расстройства бросился на картину Репина с ножом…

13

Гостеприимные Тиморевы отвели Ефиму даже вовсе отдельную комнату. На следующий же день Василий Порфирьевич проводил его в Академию, где они вместе побывали в мастерской Кардовского и поговорили с ним самим. Тот посмотрел работы Ефима и сказал ему почти те же слова, что и Тиморев накануне: «Вы уже сложились как самобытный, интересный, вполне самостоятельный художник. Вы имеете главное — свой стиль, свое направление, свой мир… Это больше, чем благоприобретенное мастерство! Учить вас, собственно, мне нечему! Учить вас — только портить!..»

И все-таки Ефим попросил у него разрешения заниматься в его мастерской. Он соскучился по самому воздуху мастерской, по ее духу, по ее особенной атмосфере. Да и обнаженная натура все эти годы была для него недоступна.

Как ни гостеприимны и ни добры были к нему Тиморевы, все же он решил, что лучше побыстрее найти квартиру. Каждый день, в свободное от занятий в мастерской время, он отправлялся ее искать на Васильевский остров, чтоб жить не слишком далеко от Академии, но ему все не везло. Как-то вечером, после очередного неудачного поиска, он писал:

Приехал к Невским берегам.
Везде — движенье, шум и гам.

Я стал искать себе приют
В мильонах питерских кают.
Все мокро. Льет вода из труб.
Угрюмый дворник. Голос груб:
— Что нужно?!
— Комната вот тут…
— Но тут тебе не отдадут!..

Беспокоила его и денежная проблема. Деньги были на исходе. Отправляясь в Питер, он надеялся, что в столице найдет сочувствие своим планам и устремлениям, заинтересует ими людей, которые имеют возможность помочь… Конкретно он не знал, что это за люди будут… Надеялся весьма на протекцию Репина, который всегда так горячо говорил о служении родному народу… И вот сразу же выяснилось, что Репина в Петербурге давным-давно нет…

Ефим решил сам искать таких людей, которые «имеют возможность помочь». Казалось реальным такое: он покажет им свои работы, расскажет о своих устремлениях, почитает что-либо из написанного, и все это найдет поддержку и одобрение, ведь должны же они понять, что для конкретной деятельности ему нужны средства, что и созданное уже стоило ему не только труда, но и средств…

Опять-таки через Тиморевых он связался со многими прежними своими знакомыми, добыл их адреса и стал бывать «с грузом своих работ» ежедневно в нескольких местах. Однако пользы от этих хождений почти не было, он лишь обрастал все новыми адресами, ему вручали все новые визитные карточки с неизменной вежливой просьбой «заглянуть как-нибудь»… Он «заглядывал», приходил, развязывал, раскладывал принесенное с собой, говорил о своих целях, читал свои стихи, сказки… И смотрели, и слушали вроде с интересом, но… никто, никто не догадался ни разу спросить именно о средствах… Сам же он не умел даже заговорить об этом…

В эти дни Ефим побывал на нескольких весенних выставках. Все они были отмечены одним духом: модернизм слишком ощутимо преобладал на них…

Сходил он и на Вторую кустарную выставку. Была у него при этом тайная надежда — увидеть Анну… Не встретиться с ней, а именно увидеть ее со стороны, так, чтоб она-то его не заметила… Не увидел…

Вечером, на третий день после его посещения выставки, Юлия Андреевна, просматривая газеты перед вечерним чаем,

вдруг воскликнула:

— Ефим Васильевич! Посмотрите-ка! Вот тут Анна Конрадовна целой статьей разразилась по поводу кустарной выставки!..

Покраснев, Ефим взял протянутую ему газету, отошел в сторонку. От какой-то, чуть ли не мальчишеской смятенности не смог сразу войти в смысл того, о чем писала Анна. Понимал лишь, что это не чьи-то, а именно ее слова…

> «…Старинные материалы, рисунки, цвета и самые способы работы уступают место дешевой дряни, купленной в городской лавке, плохие немецкие рисунки попадают в деревню через посредство городских мещанок, с помощью дешевых иллюстрированных изданий, перемешиваются с кое-какими остатками старины; вместо растительных красок распространяются ализариновые яркие и линючие цвета, бумажная машинная пряжа заменяет льняную ручную, появляются безобразные по цвету и рисунку виноградные ветки и петушки, а в подгородных местностях можно встретить уже рисунки «крестиком» по ситцу и прочим малоподходящим материалам, которые волей-неволей заставляют изменять и старинному изящному способу выполнения рисунков…»

Медленно свернув газету, Ефим подошел к окну, за которым уже стояла набухлая мартовская тьма, прижался лбом к запотевшему стеклу… Вгляделся в зыбкую электрическую поземку дальних городских огней… Где-то в этом темном вечере, в этом городе была Анна…

«Ну, о чем тут размышляет мой кинешемский брат? По глазам вижу: томится, аки в неволе, и замышляет очередной побег! Но на этот раз мы убежим вместе!..» — вспомнилось вдруг, вырвалось из давнего предновогоднего вечера…

Анна… Порывистая, быстрая, вся словно бы от свежего крепкого ветра… Память своевольничала… Он увидел вдруг Анну среди другого, февральского, вечера, среди мокрой февральской метели, идущую рядом с ним, увидел ее повернутое к нему счастливое, смеющееся лицо с мягкими темными прядками, выбившимися из-под собольей шапочки и прилипшими к влажным от снега щекам:

«Вы слышите?! Вы слышите, как… нас… уносит… этим… ветром… на двести лет… назад?! К началу Петербурга?! Чувствуете, как еще… молода… Россия?!»

Ефим прикрыл глаза, будто ослепленный собственной

памятью… Словно бы договариваясь с самим собой о чем-то, еле заметно покивал… Нет, он не должен теперь искать с ней встречи. Пусть Анна останется той, которую он встретил здесь много лет назад… Ведь та прежняя музыка уже невозможна…

14

Шла вторая неделя пребывания Ефима в столице. Как-то в конце дня он брел по Васильевскому острову, безучастный ко всему вокруг: возвращался после напрасных поисков квартиры… И вдруг на углу Восемнадцатой линии и Среднего проспекта столкнулся с Юрием Ильичом Репиным.

— Батюшки! Ефим Васильевич!.. — поднял тот обе руки и остановился, будто в ожидании, когда Ефим бросится к нему с объятьями. — Слышал, слышал, что вы объявились! Ну, рассказывайте: что, как?..

Одет Юрий Ильич был франтовато, по-весеннему, все на нем было с иголочки и по последнему слову моды, однако этот щегольской вид, особенно же при резком прямом предзакатном свете, не скрыл от Ефима явной перемены во всем облике Репина: за эти годы он погрузнел и обрюзг и вообще вид имел нездоровый.

Узнав в разговоре на ходу о здешних неудачах Ефима, Юрий Ильич предложил ему до подыскания квартиры перебраться к себе, не откладывая, а затем посулил кое-какое содействие, пообещал устроить встречу с отцом, свести его с «полезными деятелями»…

Ефим его предложение переехать принял: как ни добры были к нему Тиморевы, стеснять их слишком долго он не хотел…

Юрий Ильич вручил ему свою визитную карточку и, договорившись о том, что Ефим завтра же с утра переберется к нему, простился, вдруг заторопившись…

На следующий день Ефим покинул гостеприимную квартиру Тиморевых. Обосновавшись на новом месте, он показал Юрию Ильичу все привезенное с собой из деревни, рассказал о своих целях и планах.

Юрий Ильич не остался в долгу — тоже показал свои работы… На Ефима они подействовали тяжело… Какое-то мрачное, болезненно-мрачное состояние угадывалось в каждой из них, все было исполнено как будто наспех и в тревожно-свинцовых тонах, болезненная разбеленность, размытость красок сочеталась почти всюду с грязно-кровавыми резкими пятнами, вроде бы кровоподтеками, на многих холстах изображенное было

таким неопределенным, неясным, что невозможно было ничего понять… Ноябрьской стылостью и мертвизной повеяло на Ефима…

И заговорил Юрий Ильич после показа своих работ с какой-то резкой нервозностью, широко шагая перед Ефимом, молчаливым и подавленно притихшим:

— Моя жизнь — стремление к невозможному… Видимо, и ваша такова же… Я это почувствовал, хотя у вас-то все вовсе не так… Прекрасное неопределимо, поскольку оно — факт чувств, а не мышления… Оно не поддается обобщениям. Нам доступны лишь попытки! Картины — вчерашний день дилетантов! Мы с вами уже поняли интуитивно, что картина — ложь! Только эскиз, только этюд возможен в искусстве!.. Только на уровне попытки что-то можно выразить… — Юрий Ильич метнул взгляд куда-то за окно. — А люди… люди, не понимая этого, оставаясь во власти косных устарелых представлений, толкуют все о шедеврах!.. Они и не подозревают, что для творца даже лучшее его творение всегда остается лишь слабой попыткой выразить себя… Там, где другие видят шедевр, сам создатель видит лишь попытку… Самое подлинное, самое глубокое невыразимо, оно вечно мучает художника-творца, едва-едва намечаясь перед ним где-то впереди… Человеку, ограниченному тьмой условностей, заблуждений, никогда не добраться тут, на земле, до самого себя, подлинного, глубинного… Есть один выход у художника — уйти в мир мечты, уйти в заоблачные дивинации, отказаться от создания картин, раз уж материальными средствами все равно себя не выразить совершенно. Все — тщета… Только воображение и чувство в чистом виде — настоящая высокая реальность. Не картины — этюды надо создавать всюду: в живописи, в скульптуре, в музыке, в литературе!.. Лишь намеки! И то лишь ради того, чтоб хоть что-то удержать… Вернее — попытаться удержать… Художник не должен делать больших попыток!..

И вы правы, Ефим Васильевич, в том, что делаете, ибо душа должна принадлежать идеалу, она должна стремиться к нему сквозь все преграды. Путь к идеалу — путь к истинной свободе, к истинной радости! Человек несет в себе бессмертную душу как свое послание в будущее! Без воображения ему нельзя!.. Но… увы, большинству впору лишь традиционная банальность… Не хотят люди смотреть дальше глухой стены окружающей их повседневности… И столько косности вокруг, столько дикости!.. Гнусно, гнусно все в мире… Подлость, ханжество, лицемерие не убывают, они все изощренней и могущественней предстают перед личностью, они превращаются в силу всеподавляющую…

Ефим все в той же напряженности слушал Репина. С ним

говорил человек явно мечущийся, путающийся в каких-то огромных, громоздких мыслях…

Юрий Ильич говорил еще долго. Наконец он как будто устал, опустился на стул рядом с Ефимом, нервно побарабанил пальцами по краю стола, исподлобья, покусывая губы, глянул на гостя, будто только-только и увидел его перед собой:

— Вы уж извините… Заговорил я вас… Знаете, этот Питер… Народу — тьма, а заговорить с кем-то о своем почти невозможно… Вот и набрасываюсь на свежего человека. Вы-то сами как будто не путаетесь, как вот я… У вас все ясно…

— Да… как идея… ежели… Но вот — осуществление… — Ефим попытался усмехнуться. — Теперь вот нахожусь в таком жалком положении: желал бы совершенствовать свои произведения, работать над новыми, столько замыслов, идей… Но… совсем нет средств… Вот и вынужден был приехать сюда опять… Ищу тут художественного труда, но если такой тут для меня невозможен, то согласен и на любой труд, даже физический… Я дошел уже до того, что просто ищу хлеба… И теперь вот согласен бы исполнять хотя бы и розничную, малую работу: то — здесь, то — там, у одного — на рубль, у другого — на полтинник, у третьего — на четвертак… Конечные же цели у меня одни — деятельность у себя в деревне.

— Это я уже понял… — кивнул Юрий Ильич и с сомнением посмотрел на Ефима. — И вы всерьез верите, что с помощью искусства можно изменить эту жизнь?..

Вопрос был задан слишком прямо… Ефим не сразу смог ответить утвердительно:

— Я верю… Ведь основная масса крестьян каких-то полвека тому назад находилась под «крепостью»… Еще мои отец-мать были крепостными, и сам я вырос среди живой памяти о ней… А образованные слои общества в большинстве так и продолжали смотреть на крестьянство только как на рабочую силу и говорили, что впредь крестьянство не надо ни просвещать, ни даже просто учить грамоте… Все — через народ и ничего — для народа… Вот ведь какое положение… Разве же это нормально?.. Надо, надо все это менять…

Я с детства видел: в основе народной жизни — стремление к прекрасному! Вон послушаешь сказки, песни народные, обряды, на гуляньях, на свадьбах побываешь… Везде — искусство! Везде — тяга к чему-то непростому, затейливому, чудесному!.. Какая же сила, кроме искусства, поможет этому стремлению?.. Вон и Толстого возьмите… Он пишет: «Искусство есть одно из средств общения людей между собой…» Искусство, Юрий Ильич, в основе всего! Возьмите ремесла, строительство, преподавание…

Везде — искусство! Там, где совершается неповторимое, неподражаемое, — везде оно! Оно для меня — самая живая, самая человечная сила, способная на чудеса!.. Верю, если в жизни деревни победит именно оно (имею в виду, что оно будет и в строительстве, и в укладе жизни, и во всем, во всем до мелочей!), то это и будет идеальная лучшая жизнь на земле!.. Ради этого я и работаю…

Проговорили они до позднего часа.

15

Через день, в среду, вместе отправились в Пенаты. Вышли на станции Куоккала. Две версты прошли пешком по хорошей дороге, по бокам которой возвышались густые ели и сосны… Скоро их обогнали другие гости, пожелавшие добраться до Пенат на извозчике. От Юрия Ильича Ефим уже знал, что к Репину можно приехать только в среду, и то не с утра, а к трем часам. Первую половину дня и по средам Репин работает в мастерской, но к трем часам, когда гости начинают подъезжать, спускается вниз, чтоб переодеться и встретить их.

К этому времени над домом взвивается голубой флаг, оповещая гостей, что их ждут.

Флаг, как и многое другое, был «учрежден» женой Репина — Натальей Борисовной Нордман-Северовой…

Дорогой Юрий Ильич, посмеиваясь, рассказывал Ефиму о своей мачехе, об ее убеждениях и идеях совершенствования через вегетарианство, самообслуживание, благотворительность…

Вокруг самого стареющего Репина она создала весьма вычурный, надуманный уклад жизни, чуть ли не вовсе отгородивший художника от всего остального мира…

— Ты ведь еще не видывал эту даму?.. Ну, вот сейчас придем — увидишь!.. — Юрий Ильич громко расхохотался, словно бы от одного предощущения: вот-вот Ефим увидит «эту даму»!..

Резко оборвав смех, он продолжал:

— Нордманша просто начинена всевозможными идеями!.. Благо у нее, благодаря отцу, по крайней мере два раза в неделю есть целая толпа слушателей, перед которыми она может развивать эти «идеи»! Увы, ее вынуждены слушать!.. Ей внимают со смирением, ибо она — хозяйка!.. О, как она говорит!.. — Юрий Ильич вздернул нос, принял менторскую позу и тоном классной дамы, чуть грассируя, стал на ходу передразнивать свою мачеху:

— «В России ныне вегетарианство сделало большие, успехи!

Современная медицина, господа, доказала, насколько вредна мясная пища! Кроме того, химические анализы рыбной и мясной пищи доказали, что в рыбе и мясе кроется масса ядов, пагубно отражающихся на организме человека! Главный враг человечества — аммиачность! Ею изобилуют блюда, приготовленные из трупов рыб и животных! Кроме того, известно, что рыба и мясо нуждаются в большом количестве всяких острых приправ: в уксусе, перце, горчице и прочем! А это значит, господа, что надо пить! А жидкости, господа, крайне вредно влияют на желудок и кишечник!..»

Юрий Ильич опять расхохотался. Не удержался, рассмеялся и Ефим.

Между тем, впереди, меж сосен завиднелись Пенаты… Над крышей там развевался голубой флаг…

Дом Репина восхитил Ефима. Построен он был с какой-то веселой затейливой прихотливостью, и, разглядывая его со стороны, Ефим невольно подумал о том, что будь у него возможность, он и сам у себя в Шаблове построил бы что-нибудь такое… С завистью глядел он на стеклянную крышу над мастерской Репина, острым сияющим клином врубившуюся в мартовскую живую синеву неба…

Оказавшись в прихожей среди гостей Репина, Ефим заозирался. Прихожая была небольшим светлым помещением с большим узорным окном на полдень, почти вся южная стена и была этим окном. У окна висел медный гонг. Плакат под ним гласил: «Самопомощь. Сами снимайте пальто, калоши. Бейте весело, крепче в там-там. Открывайте дверь в столовую сами…»

Вычурный дух хозяйки дома сразу же заявлял о себе…

Юрий Ильич обошел гостей, здороваясь с каждым за руку, как обычно здоровался его отец, попутно он знакомил с ними Ефима.

Репин вошел незаметно, тихо, так всегда он появлялся и в студии на Галерной… Гости сразу окружили его. Ефим с Юрием Ильичом остались чуть в стороне.

Ефим смотрел на Репина, думая: сколько же ему?.. Почти семьдесят, а еще легок, подвижен и бодр, хотя уже весь побелел…

Наконец Илья Ефимович посмотрел в их сторону, и Юрий Ильич поклонившись отцу, подтолкнул к нему Ефима:

— Вот, папа, Ефим Васильевич Честняков… Твой бывший ученик! Узнаешь?..

Репин, прищурив левый глаз, пристально, как-то по-птичьи посмотрел на Ефима и быстро протянул ему руку.

— Весьма рад, весьма рад!.. — сказал он негромко и

повернулся к другим гостям, видимо тут же и забыв об Ефиме (так тому показалось).

— Ну-с… Ефим Васильевич, вы тут пока осваивайтесь, чувствуйте себя как дома, а я отлучусь не надолго… — Юрий Ильич тоже оставил его.

Среди гостей рядом с Репиным появилась довольно рослая пожилая дама с высокой прической и бледным нездоровым лицом. Голова ее была горделиво откинута, взгляд показался Ефиму каким-то холодным, неживым… «Это и есть Нордманша…» — догадался он и тут же поймал себя на том, что назвал ее так же, как называет мачеху Юрий Ильич…

Из гостей Ефим выделил чернявого толстогубого и носатого человека лет тридцати. В доме Репина он, видимо, был завсегдатаем, со всеми держался запросто, непринужденно, с каким-то чуть насмешливым дружелюбием. Лицо его сразу же привлекло к себе Ефима, сразу же запомнилось и его имя — Корней… Редкое имя… Оно забавно сочеталось с фамилией Чуковский… Корней Чуковский…

Особенно выдающихся людей среди гостей не оказалось. Народец в основном был такой, который, как заметил Юрий Ильич, «всегда начинает кружиться вокруг всего, признанного великим». Ефим досадливо хмурился, приглядываясь к этой публике: она приехала сюда просто так, чтоб несколько часов провести рядом со знаменитостью…

Хозяйка пригласила всех в гостиную. Там Юрий Ильич снова оказался рядом с Ефимом, усмехнувшись, он зашептал Ефиму на ухо:

— А ты знаешь, как Нордманша называет вот эту комнату? «Комната Венеры»! Она тут себе кабинет устроила, вот потому и — «Комната Венеры»! А вон эта копийка Венеры Милосской тут ни при чем…

Ефим чуть не фыркнул, уловив суть: кого-кого, а Венеру Нордманша напоминала разве что принадлежностью к женскому роду…

Вместе с Юрием Ильичом они были оставлены на обед. Вообще-то, у Репина обедают всегда только близкие знакомые, но поскольку Ефим приехал сюда с младшим Репиным, он был за гостя.

Этот обед точнее было бы называть ужином, начинался он в шесть часов вечера.

После обеда Юрий Ильич подошел к отцу и сказал ему о том, что его друг хотел бы поговорить с ним, Репин тут же пригласил Ефима в свой кабинет — большую комнату нижнего этажа,

комнату-фонарь. За окнами виднелся по-предзакатному освещенный парк, и в комнате стоял чуть подбагренный полусумрак. Репин восседал на высоком подиуме у письменного стола, полуобернувшись к Ефиму и ожидающе улыбаясь, дескать, я слушаю, говорите, что там у вас ко мне…

Ефим заговорил не сразу, он стоял перед Репиным, оглядывая кабинет…

— Давненько я вас не видел… — первым заговорил Репин. — Где теперь и что вы?..

— Да где?.. Уехал в деревню к себе тогда, в девятьсот пятом, так с тех пор там и жил… За эти годы у меня накопилось много работ. Есть лепные: фигурки людей всех возрастов в разных костюмах, картины, иллюстрации к своим сочинениям, ну, стало быть, и сочинения: стихи, сказки… Пишу, давно уже, даже что-то вроде романа…

Вот приехал в Петербург, хотелось бы показать все это… Мне нужна не только оценка, но и поддержка, поскольку я разработал целую программу преобразования деревни… — Тут Ефим умолк: слишком уж, пожалуй, громко он это сказал — «целую программу преобразования деревни»…

— Так-так!.. — кивнул Репин, поощряюще улыбнувшись ему.

— В общем… вот… — Ефим пожал плечами. — Хотел бы просить вас посмотреть все это… Ну, то есть не все, а только глинянки и живопись… Уж простите, что по-прежнему делаю это так непременно и прямо… Положение у меня такое: не терпит…

— Ну, что же… — Репин вроде бы с пониманием кивнул ему. — Вот приезжайте к нам на будущую среду, привозите, сообща тут и посмотрим, может быть, даже и почитаете что-нибудь публике. Кстати, обещали наведаться писатели… С Корнеем Ивановичем Чуковским вы не познакомились тут? — вдруг спросил он.

— Нет, только так — представились друг другу…

— Ну, так познакомьтесь поближе в следующий раз: он как раз литератор… В общем, приезжайте! — Репин как-то по-мальчишески спрыгнул со своего подиума, прошелся перед Ефимом. — Всего полтора часа по железной дороге, и вот тут у нас пешочком прогуляетесь от станции! Одно удовольствие! Очень рекомендовал бы! Весьма здорово на таком-то воздухе после Питера и вагона! — неожиданно он хохотнул и, разгладив седые, но все еще пышные усы сгибом правой руки, подмигнул Ефиму: — Ну, а тут у нас — радушный прием и лекарственность нашей безубойной пищи, если останетесь, как сегодня, обедать!..

— Обязательно приеду, Илья Ефимович! — Ефим с благодарностью пожал руку Репина, протянутую ему на

прощанье.

16

Наконец-то квартира была найдена. Ефим опять стал обитателем Васильевского острова. На этот раз поселился на Девятой линии в большом пятиэтажном доме, на самом верхнем этаже, в отдельной, небольшой, но светлой и чистой комнатке. Хозяева квартиры сдавали еще несколько комнат троим учащимся консерватории и двоим курсистам. За свою комнату Ефим должен был платить ежемесячно одиннадцать рублей с полтиной. Денег у него между тем не хватило и на небольшой задаток, на прожитие оставалась вовсе мелочь…

Не дожидаясь новой «репинской среды», Ефим продолжал ездить по всевозможным адресам: пассивно ждать целую неделю он не мог.

В субботу отправился на Введенскую к литератору Алексею Степановичу Пругавину, с которым познакомился накануне. Со своими сумками и мешками втиснулся в вагон трамвая, присел на скамье недалеко от входа. Подошел кондуктор, остроносенький мужичок с цепкими быстрыми глазенками, оторвав Ефиму билет, окинул его неприязненным взглядом, проворчал:

— С такими вещичками перейдите на переднюю площадку!..

— Хорошо-хорошо… — Ефим положил билет в нагрудный карман пиджака и остался сидеть на прежнем месте: он никому не мешал в полупустом вагоне… Кондуктор, однако, возвратился и повторил громче:

— Перейдите на переднюю площадку!..

— Хорошо-хорошо… — Ефим рассеянно посмотрел на него и попытался улыбнуться: — Немного народу-то, мест хватает…

Но кондуктор уже закричал:

— «Хорошо-хорошо!» А сам не идет!..

Ввязался ехавший рядом здоровенный молодой мужчина:

— Ну, тебе говорят али не тебе?!

И Ефима покоробило: столько непонятной неприязни послышалось ему в голосе этого вовсе незнакомого человека, и мелькнула мысль: вот так всегда — само зло ополчается против того, у кого и так на душе кошки скребут… Он вынужден был подняться и перейти со всеми своими мешками и сумками на переднюю площадку. Настроение его вовсе было испорчено…

Поездка опять оказалась зряшной… А на обратном пути в вагоне трамвая было толкучно и тесно. Позади обвешанного сумками и мешками Ефима какой-то человек развернул, несмотря

на тесноту, замасленную газету и стал просматривать ее, положив руки вместе с газетой Ефиму на спину… Впереди же другой в грязной одежде был прижат к нему массой других пассажиров, к тому же он курил махорку и ветром весь дым вроде бы одному Ефиму и доставался, деться же ему было некуда…

Добравшись до квартиры, он почувствовал себя вовсе разбитым: все-все в этом дне было пусто и ничтожно… Опять, опять убит целый день!.. Разве же затем он приехал сюда со своим миром, со своими работами, чтоб вот так, впустую, пропадали его дни?.. Во всем этом была какая-то непостижимая несправедливость… Он привез сюда свои грезы-фантазии, свой свет, но все это вроде бы никому тут и не нужно… Снова с горькими мыслями он просидел целый вечер в своей комнатушке над листами бумаги…

Пути для дела ищешь ты,
Но все своими заняты…
Для соисканья всяких благ
Давно стоят на всех углах.
Всегда душой своей больной
Переношуся в край родной,
Я там оставил свой мирок
И сам не знаю, где мой срок…
Но что оставлено — живет
И каждый час меня зовет!
И маюсь с горькою тоской
В юдоли жизни городской…
Давно по городу брожу,
Но толку все не нахожу…

17

В следующую среду Ефим приехал в Пенаты уже без Юрия Ильича. На этот раз он был обременен своими сумками и мешками, и Репин, заставший его в прихожей в таком виде, с удивлением посмотрел на него, будто на что-то диковинное.

— Мы вас ждем! — улыбнулся он.

В гостиной Репин обратился к своим гостям:

— Господа! Сегодня у нас интересный гость из далекой северной деревни… Мой ученик… — Тут он запнулся, — Ефим Васильевич Честняков. Много лет господин Честняков работал у себя в деревне и вот приехал в столицу, привез свои работы… Я

думаю, что мы с удовольствием посмотрим их и послушаем самого господина Честнякова… — Он повернулся к Ефиму и кивнул ему, мол, все мы — внимание…

Побледневший от волнения Ефим выступил вперед, кивнул собравшимся, молча принялся развязывать свои сумки и мешки, развязав, попросил, чтоб кто-нибудь из публики помог ему…

Репин подсказал, что картины можно прикреплять кнопками к бревенчатой стене, и кивнул молодому человеку, стоявшему рядом:

— Степан Федорович, сходите, пожалуйста, ко мне в кабинет, принесите коробку с кнопками, она на моем столе…

Ефим принялся расставлять глинянки и развешивать свои работы с помощью все того же молодого человека. За спиной он слышал слова:

— Это как будто раскрашенная и обожженная глина… Интересно.

— Русский Танагра…[14]

— Вроде того… Только там терракота…

— Но дух, дух совсем иной, господа!.. Это же крестьянское, наше, русское!..

— И живопись весьма любопытна!.. Весьма!.. Что-то необычное…

— Есть что-то от фресок…

— Да, фресковость, пожалуй, есть… Обобщенность, графичность…

Ефим наконец-то повернулся лицом к публике, помолчал, усмиряя слишком уж громко стучавшее сердце, покашливая, заговорил:

— Сегодня весь приход — по копеечке за вход!.. — Он решил сразу же намекнуть собравшимся, дескать, рассчитывает не только на одно благосклонное внимание публики… — Вы, господа, простите за такое неожиданное начало… Перед вами не капиталист… Приехал я, как уже было тут сказано, издалека, из деревни… Знакомлю петербургскую публику в таких вот частных встречах-беседах со своими работами и идеями… Но ищу я не только внимания… — Он многозначительно оглядел стоявших перед ним полукольцом людей, перевел дух. — Я ищу сочувствия и поддержки, а также хотел бы, чтоб и город открыл мне многое для моей дальнейшей деятельности в деревне. Меня интересует не только живопись, не только скульптура, но и музыка, и театр, и архитектура, и машиностроение, и астрономия, и кинематограф, и прочее… Ведь все это должно прийти и в деревню! Я в это верю и вот создаю свои картины, сказки, фантазирую… Но ведь фантазия, она — реальна! Когда фантазия

сказку рисует, — это уже действительность, которая потом войдет в обиход жизни. Жизнь, в конце концов, будет именно такой, какой ее рисует наша фантазия, и даже превзойдет нашу фантазию, поскольку не знаем еще мы очень многого, еще многое не открыто. Гляди вперед и показывай людям свои грезы — вот моя цель практическая!..

Говоря, Ефим словно бы воспламенялся весь, впадая чуть ли не в восторг, и как бы неожиданно стихал, едва замечал, что в чьем-то лице вместо живого отклика — ирония или усмешка… Но опять выправлялась его речь, опять он загорался, забывая обо всем вокруг, рассказывал о своих целях и замыслах…

На показание работ ушло около двух часов. Когда Ефим поклонился публике и поблагодарил ее за внимание, первым заговорил сам Репин:

— Ну что ж… Все это, как мне кажется, — интересно, любопытно и талантливо… Вы идете своей дорогой, именно своей, она не похожа ни на какую другую! Это хорошо! Ваш путь настолько уже самостоятелен, что я вас, пожалуй, только могу испортить, если вы ждете от меня какого-то руководства, каких-то наставлений… У вас совсем особенное направление, повторюсь. Вот и продолжайте дальше, как сами желаете! Вы уже художник! Это огонь! Этого уже ничем не удержишь!.. Что еще сказать вам?.. Участвуйте на выставках, создавайте себе имя, выставляйте на «Мир искусства»… Я бы даже посоветовал кое-что поместить в музей… Могу поговорить с заведующим отделом скульптуры Императорского Эрмитажа, думаю, что ваши глинянки, как вы их называете, вполне могут его заинтересовать… Но, может быть, сначала их попробовать выставить на Парижской выставке — в Салоне… Думаю, что вполне реальное дело: работа редчайшая, уникальная, удивительная по замыслу! Подумайте! Дело вполне возможное!

— Да, да! — раздались голоса. — Все это по-настоящему интересно.

— Может быть, — продолжал Репин, — Вам и самому не худо бы поехать в Париж, поучиться… Здесь вам учиться не у кого…

Ефим при этих словах не мог не усмехнуться про себя: Репин как будто и не догадывался, что перед ним человек, не имеющий даже на прожитие…

— Скажите, а это продается? Можно что-нибудь из представленного здесь купить? — спросил Ефима кто-то.

— Глинянки не продажны совсем, а из живописных работ можно продать разве что некоторые… — ответил Ефим.

— Но, простите, ведь вам надо как-то существовать… Все художники, даже самые великие, продавали свои работы!.. Даже

искали такой возможности!..

— Если какую-то работу мне закажут исполнить за плату, я, пожалуй, тоже не откажусь, хотя это, само собой, и помешает основной работе, возьмет время и силы, но то, что перед вами — это не товар…

Практическим делам, вроде исполнения заказов, мешает моя программа… Она издавна разрабатывается в моей душе и все более утверждается, и мне кажется, что наступит полное отрешение от того, что называют практичностью в обыкновенном понимании, а представляется, что я буду жить на участке земли с пятью грядками, и эти грядки мне будут давать необходимую пищу… — Ефим невесело улыбнулся. — Такой вот выход, пожалуй, наиболее возможен для сохранения моих заветов. Если практическая наша жизнь может дать средства существования только ценою вреда моему делу, то такая практика для меня весьма нежелательна и безрадостна… Изобретатель оригинального нуждается потому, что его не удовлетворяют те шаблоны, в которых живет практика. И если ему предложат деньги, за то, что он отдаст начатое изобретение, и скажут, мол, тогда-то ты и получишь возможность выполнить свое дело, то это неправда: ведь таким образом его работа закрывается и удаляется от него…

Люди, с которыми я уже беседовал тут, в столице, недостаточно осведомляются о моих желаниях и целях и, не зная моего дела, поспешно указывают старинные неуклюжие пути будто бы для его осуществления — именно продажу сделанного!.. Если бы я поступил именно так, то я оказался бы в беспомощном положении. Скажите, что бы стало делать Человечество, если бы оно продало жителям какого-нибудь Марса продукты своего творчества? Ведь это же немыслимо!.. А в случае с отдельным человеком, занятым не шаблонной деятельностью, разве не так же?.. Ведь через свои работы я намерен беседовать со своей публикой, да и дальнейшее мое творчество зависит от их наличности, так сказать… И если не будет у меня моих картин, это разлучит меня и с моей публикой…

Если тут говорят о продаже моих глинянок, например, то значит не понимают того, как и для чего они появились, хотя я тут и объяснял, объяснял и то, что должно следовать за появлением этих глинянок… Само их явление и мое дальнейшее дело — связаны. Не только, стало быть, продукты перед вами, но и средство! Оригиналы нельзя смешивать с шаблонами… Вы уж меня извините, если я тут высказал какие-нибудь резкие суждения, но мной давно уже владеет идея цельности и неделимости всего труда художника, творца. Художник не вправе

расчленять свой труд, поступаться частями своего труда, распродавать свои творения ради житейского благополучия, мир художника должен находиться в постоянном совершенствовании, уже созданное им есть лишь фрагмент цельного его мира, и этот фрагмент нельзя выламывать из целого, не повредив общему замыслу…

Ефим умолк, почувствовав вдруг, что молчание сидевших и стоявших перед ним людей становится каким-то напряженным, тяжелым. Мелькнула догадка: ведь то, что он тут говорит, должно быть, больно задевает многих, не исключая и самого Репина…

— Позвольте… — солидно кашлянув, обратился к Ефиму представительный тучноватый господин в пенсне. — Но ведь какие-то оригиналы, как вы изволите выражаться, могут быть использованы безо всякого ущерба для них, для самого их создателя, а даже и с пользой, с пользой и для создателя-творца, и для самой обыкновеннейшей практики… Вот я, например, хотел бы предложить вам такую возможность… Многие из ваших глиняных скульптурок и построек вполне годятся для того, чтоб их предложить фарфоровому заводу на предмет серийного производства… Это бы хорошо пошло, я уверен! Сейчас обострилось внимание к крестьянскому искусству, и ваши работы были бы очень кстати… Должны получиться превосходные фарфоровые вещицы!.. Если вы согласны, то я готов поспособствовать со своей стороны!..

Ефим даже покраснел, пока слушал этого важного господина…

— Стало быть, вы совсем не почувствовали того, что такое мои глинянки… — глядя себе под ноги, сказал он. — Превратить их в фарфоровые безделушки, превратить все это в серию… Это же гибель для моей идеи, для моего Кордона… Разве вы этого не понимаете?.. Ведь перед вами — идея преобразования деревни… А вы ее хотите подать, как фарфоровый пустячок…

Возникла неловкая пауза, и наверное ради того, чтоб побыстрее прервать ее, к Ефиму обратилась сама хозяйка, сама Наталья Борисовна Нордман:

— Но тогда, может быть, вам, имеющему свою программу, стоит подумать о выступлениях перед широкой публикой?.. Можно, например, устроить платные вечера-беседы с показом ваших работ… Ведь вы и сами примерно о том же говорите!..

Ефим пожал плечами:

— Выступление перед широкой городской публикой будет вовлекать в суету, действовать огрубляюще, отнимать время, которого и так не хватает, мешать делу, так что в конце концов самого себя не узнаешь… Все затопчется, сама атмосфера будет

не той… Ведь это рассчитано на деревенских людей — вот что надо помнить… А в городских условиях на все мое будут смотреть лишь как на какую-нибудь забаву… — Ефим расстроенно глянул на расплывающийся прямоугольник окна, будто взгляду его вдруг стало тесно в этой «Комнате Венеры», и уже совсем тихим голосом, словно бы севшим или поугасшим, заговорил: — Я бы хотел рассчитывать лишь на поддержку людей, понимающих мои цели, желающих мне помочь… Положение мое весьма неудобно… При отсутствии средств я стараюсь создать свою деревенскую культуру и забочусь о ее сохранении, тогда как у меня нет никакого помещения, мне некуда деваться со своими работами, а их все больше накопляется… Один глиняный городок, и тот требует порядочно места, ведь тут — только часть его… — Он посмотрел на Репина. — Вы, Илья Ефимович, говорите о помещении моих глинянок в музей… Я считаю эти свои вещи не туда относящимися, хотя и благодарен за такую честь… Множество людей делает что-то для своего пропитания, мало думая о более существенном, неслучайном… Много ряби на поверхности вод и ею-то занимается большинство, может быть… И душа исстрадалась, что мало делается для коренного воздействия на жизнь. Кругом пасти и ловушки для всех, чтобы ни от кого не было капитального служения, чтобы не шли дальше ремесленного творчества… И так жизнь мало совершенствуется, тянется по кочкам и болотам, тогда как давно, давно пора устраивать настоящие широкие пути и дороги, создавать могучую универсальную культуру…

Ефим умолк, и Репин как-то торопливо спросил его:

— Вы прошлый раз говорили, что у вас есть собственные сочинения литературные… С собой вы что-нибудь взяли?..

— Да есть кое-что… — Ефим наклонился было над сумкой, в которой у него лежали тетради со стихами и сказками…

— Но, господа, уже почти шесть! — словно бы спохватившись, громко сказала вдруг хозяйка, поднимаясь со стула. — Мы заговорились. Прошу — к обеду! — и повернулась к Ефиму, растерянно и одинока стоявшему у стены. — Я думаю, что мы должны поблагодарить Ефима… э-э… Васильевича, все рассказанное и показанное им было в высшей степени интересно!..

— Да, да! Конечно! — послышались голоса.

Гости оживились, одни из них двинулись в столовую — обедать, другие — в прихожую, одеваться. Один Ефим остался на месте. Репин подошел к нему, пожал руку.

— Большое спасибо!.. Очень-очень все любопытно… Н-да… — И, оглянувшись вдруг на выходивших из гостиной, как-то быстро

и неловко достал из кармана пятирублевую кредитку, протянул ее Ефиму. — Я понимаю ваше положение… Вот примите… хотя это и пустяки…

Ефим даже отшатнулся от него: так это нехорошо было, будто ему протягивали милостыню втайне от людей, которые, впрочем, словно бы и знали, что эта милостыня, именно в эту минуту, будет ему подана и отвернулись деликатно, заспешили… прочь… А ведь не на подачку Ефим намекал давеча!.. Если бы все было иначе, если бы кто-то один из слушавших его и смотревших его работы каким-то деликатным образом организовал сбор средств, и не таясь, а при всех же, в конце, преподнес ему собранное, как средства для продолжения дела, о котором он и говорил тут, это было бы вовсе не унизительно…

Да если бы и сам Репин теперь поговорил бы с ним, расспросил его о жизни, проявил бы настоящий интерес к его судьбе и делу, а потом предложил бы не подачку, а помощь, он, пожалуй, и принял бы ее… Но тут-то была именно подачка…

Ефим нахмурился и посмотрел на Репина укорно:

— Зачем вы так, Илья Ефимович?..

Репин стушевался, как-то по-мальчишески завертел головой и, пробормотав «ну, извините…», положил кредитку опять в свой карман, с виноватой улыбкой коснулся кончиками пальцев локтя Ефима:

— По крайней мере от обеда-то уж не отказывайтесь!..

— Спасибо! Не откажусь!.. — тихо сказал Ефим и принялся укладывать свои работы.

— А знаете… — глядя на него все с той же улыбкой, сказал Репин, — мне бы очень хотелось написать ваш портрет… Таким бы, каким я увидел сегодня вас, когда вы вошли к нам со всеми этими мешками и котомками… Весьма интересный получился бы портрет… Весьма… Художник-странник… Русский крестьянский художник, несущий людям свое искусство… Да-а… весьма интересно могло бы получиться… Вы не согласились бы попозировать?..

Ефим вместо ответа опять посмотрел на Репина укорно и словно бы с каким-то глубоким сожалением…

— Ну, потом, потом об этом… — Репин повернулся и, ничего больше не сказав, пошел в столовую.

Ефим так и проводил его укорным, сожалеющим взглядом… Возле Репина он хотел бы побыть, проникаясь силой его таланта. Может быть, именно во время позирования это и было бы возможно… Ведь он и в Петербург-то приехал с надеждой встретиться именно с Репиным, именно на его поддержку он опять рассчитывал, на его понимание… Но вот… увидел и понял,

почувствовал: нет у Репина настоящего интереса к его делу…

«Поверхностно он меня разглядел, как подходящую натуру, а в глубине-то я для него, видно, неинтересен вовсе, неведом… Для него естественней общение со средой, которая его тут окружает…» — с невеселой усмешкой Ефим покивал головой над своими мешками и сумками, снова готовыми для переноски…

После обеда Ефим вышел в прихожую, стал собираться в обратную дорогу. К нему подошел Корней Чуковский, запомнившийся ему еще по прошлому приезду в Пенаты.

— Вы меня заинтересовали… — улыбаясь, заговорил он. — Все, что вы делаете, крайне любопытно!.. Я бы хотел посмотреть ваши литературные сочинения… Если можно, теперь же…

Перехватив недоуменный взгляд Ефима, он пояснил:

— Я, видите ли, литератор… Сосед Ильи Ефимовича, живу тут неподалеку…

Ефим достал из сумки толстую тетрадь в матерчатом переплете, протянул ее Чуковскому:

— Рукописи у меня все вот такие, в форме книжек с рисунками…

Чуковский принялся листать рукопись.

— Какие все занятные рисунки! — похвалил он. — И язык у вас очень интересный — коренной, простонародный…

Ефим усмехнулся:

— Такое я обо всем этом слышал уже… Хвалят… Приехал вот в Питер, хожу со своими работами по городу… Идешь вот с такими тяжестями по улицам, поднимаешься по высоким лестницам, распаковываешь, раскладываешь, опять упаковываешь… А слышишь только «ничего-ничего» да «пожалуйста»… И результат всюду один и тот же: вручают карточку от Петра к Ивану, от Ивана к Степану… Так можно окончательно истощить человека, нарочно приехавшего для своего дела. Дорога ему дорого стоила, прожитие в городе — тоже недешево… А передвижение по городу, а трата времени!.. Приехал, ознакомил бесплатно именитых горожан со своим деревенским творчеством и отправляйся восвояси, как знаешь… Вон даже сам Репин, на поддержку которого я так надеялся, готов принять меня лишь за странника и желал бы написать с меня портрет именно такой…

Чуковский рассмеялся:

— Ну, это вы напрасно!.. Репин предложил человеку попозировать, а человек обиделся!.. Да это же самое приятное, что может сказать Илья Ефимович любому из окружающих! Люди за счастье такое почитают!..

— Так я же вовсе не за тем сюда приехал!.. — чуть слышно

сказал Ефим: нет, и этот человек не хотел понять его…

18

До мая Ефим занимался в Академии часа по полтора в день. Дела его по-прежнему были неопределенными. Сколько он переписал писем, в которых было примерно одно и то же: «Милостивый Государь… нет ли у Вас каких-либо занятий и не угодно ли Вам посмотреть мои работы: у меня много живописных и лепных вещей…». «Милостивые Государи» обычно отвечали, что им «угодно», но… Сколько хождений было по всевозможным адресам, а много ли выходил?! Почти на том только и держался, что одалживался по мелочи у знакомых да приискивал пустячные случайные заработки.

Встретил он как-то своего соученика по Тенишевской студии Владимира Левицкого. Тот уже несколько лет работал художником в издательстве «Грядущий день». Узнав о бедственном положении Ефима, Левицкий пообещал помочь ему — подобрать для него «какого-нибудь автора на предмет иллюстрирования».

Через Левицкого Ефим познакомился и вскоре близко сошелся с литератором Алексеем Павловичем Чапыгиным. Как оказалось, тот тоже был из крестьян и тоже из северной деревни.

Как-то среди лета Чапыгин пригласил Ефима к себе в гости… Они приехали на Бармалееву улицу, Чапыгин снимал тут холодную сумеречную комнатушку.

— Писать в этом погребке почти невозможно… — сказал он, оглядев свое неуютное, явно холостяцкое жилье.

— Вы один живете?.. — спросил Ефим.

— Да, бобылем живу, бобылем, видать, и помру… — усмехнулся Чапыгин. — Семья и искусство, Ефим Васильевич, для нас, бедняков, несовместимы… Семья, брат, по своей сложности с любым искусством поспорит и переспорит его, подомнет… Нет уж, ежели нам серьезно смотреть на свое дело, так уж лучше идти в одиночку, не связывать себе рук…

— Я так же смотрю… — кивнул Ефим.

Вдруг широко распахнулась дверь, и со двора в комнату вбежал, как к себе домой, бедно одетый мальчик. Увидев незнакомого человека, он нахмурился, набычился и так, набычившись, допятился до самой двери, снова распахнул ее и — был таков… И напрасно крикнул ему вслед хозяин: «Федя! Да куда же ты?!»

— Вот… чужие детишки ко мне забегают… — усмехнулся

Чапыгин. — Говорю с ними, пою, сказки им рассказываю…

Ефим, обрадованно покивав (разве он сам не таков же?!), улыбнулся. Когда ехали сюда, в вагоне трамвая оказалось несколько ребятишек, все они глаз не сводили с Чапыгина, тот забавлял их, будто в вагоне, кроме него и детей, никого и не было… Посвистывал по-птичьи, рычал, мяукал, гримасничал…

Чапыгин стоял среди комнаты, хмуря кустистые брови, потирал ладонью крупную наголо остриженную голову.

— Да… да, Ефим Васильевич, не проста эта дорожка… Вот уже сколько лет иду по ней с таким трудом, столько всего натерпелся… А первую книжечку только теперь вот тоже издал…

— Мое дело еще хуже, пожалуй… — тихо заговорил Ефим. — Бесправный человек томится и ищет, ждет деятельности… А жизнь ему предлагает всякие пустяки, вместо настоящего дела… Мог бы сказать о себе, что являюсь представителем запросов деревни тут, в столице, если бы не опасался встретить в людях усмешку: «Ах, как же узнать в наше время, что это действительно так?! Все прикрываются этим самозваным представительством! Кто вас-то, скажите, так называет?!»

Всяк по-своему понимает служение… Можно бы мне избрать известный путь — продажу своих произведений в частные руки и в городские хранилища — музеи… Это не мой путь, не мне по нему идти, таких и без меня здесь много. Для меня же в этом — измена деревне. Если ступить на такой путь, то окажусь в стороне от нужд деревни…

Люди, с которыми беседую, встречаюсь тут, мало осведомляются о моих желаниях и целях. Дают советы, подобные ореховой скорлупе без самого ядра, вовсе не соответствующие моему делу, потому что его не знают и узнать не стремятся… Беседы эти не затрагивают ничего и похожи на поверхностную рябь воды… Всякому же невозможно раскрыть свой мир…

Я мучаюсь, видя, как результаты усилий деревни поглощают богатые… У деревни только берут и берут… И смотрят на нее свысока… По какому праву?..

Город… — Ефим гневно глянул в сторону окна. — Сколько тут скопилось всего чудовищного, порочного… Даже те, кто почитается за знаменитостей, являются, вольно или невольно, как бы агентами такого города, его служителями, находясь всегда в нем и не выезжая из него, варясь в этой ненасытной грубой среде, которая зловонным ядром скопляется тут… Они обслуживают эту среду, получая за это всяческие блага… Они подобны лишь бутафорам и клоунам и напрасно изображают из себя служителей справедливости. Для них уже давно непонятны и недоступны прекрасные высшие формы жизни, они распинают жизнь и,

находясь постоянно в порочной среде, уже испортили свою натуру, окруженные лживыми людьми, уже не слышат и не видят правды и о себе заблуждаются, пораженные слепотой, как Нерон, воображавший, что он лучший из людей и исполнен всяческих совершенств…

Посмотрите, Алексей Павлович, на таких людей попристальней!.. Они считают себя деятельными, а сколько в каждом из них, агрессивности по отношению к ближнему! Они уже, не способны видеть чужую судьбу как мир, в который надо входить с замиранием… Они вламываются в него, забыв о деликатности и доброте…

Чапыгин, кашлянув заметил:

— И все-таки, Ефим Васильевич, город не только плох… Он, именно он, выявляет наши способности, открывает наши глаза на мир! Здесь, в городе, мы встречаем многосторонних, многознающих людей.

— Да разве же я этого не вижу?! — воскликнул Ефим. — Я же потому об этом и говорю, что хочу видеть истинный чистый добрый союз города с деревней! Но столько всего мешает этому!.. И раскол как будто не сглаживается, а лишь усугубляется…

У Чапыгина Ефим пробыл до позднего часа. Пожалуй, впервые тут, в Питере, за все это время, он разговаривал с человеком, по-настоящему внимательным к нему.

Прощаясь с Ефимом, Чапыгин задержал его руку:

— Я подумаю, как вам помочь… Жаль теперь — лето… Редакционные дела приостановились, редакторы разъехались на дачи, а секретари разве знают, какой дать ответ автору?.. Но вот как-нибудь по осени мы наведаемся с вами кое-куда… Вы тут кстати появились: деревенское теперь в литературе у нас снова поднимают…

Ефим унес от Чапыгина книжки журнала «Русская мысль», в которых был напечатан роман Чапыгина «Белый скит». Не откладывая, прочитал этот роман. Написан он был сильно, но душа Ефима сопротивлялась за чтением: слишком уж много жестокого было в этом романе о деревне, чуть ли не на каждой странице кипела, клокотала драка за существование… Две соседние деревни были переполнены ненавистью друг к другу… Нет, у себя, на Унже, Ефим такой ненависти, такого раздора не знал. Сердце его не соглашалось с прочитанным. Разве же враждовало когда-нибудь его родное Шаблово с соседними деревнями — с Бурдовом или Крутцом?! Никогда этого не было!.. Да и зачем, чего ради надо было живописать всю эту вражду и ненависть?.. В своем творчестве художник должен быть постоянно

обращен не ко злу лицом, а к добру! В это Ефим всегда верил крепко.

19

Новый год начался для Ефима куда удачней, чем минувший. Чапыгин свое обещание сдержал, при его содействии сразу в двух местах были приняты сказки Ефима и рисунки пером к ним — в детском журнале «Солнышко» и в детском издательстве «Медвежонок». И там и там Ефиму выдали аванс. Наконец-то он мог вздохнуть, посвободнее, нужда пока отступила от него, он даже смог купить волшебный фонарь и перфескоп для своей будущей работы в деревне.

Еще с осени, по предложению Тиморева и самого Кардовского, Ефим начал готовиться к очередной выставке НОХ, которая, как обычно, должна была открыться среди января. Однако выставка не состоялась, хотя уже найдено было для нее и помещение — на Бассейной, против Эртельева переулка. У Кардовского не оказалось помощника для организации этой выставки: так некстати в начале декабря заболела тяжело старшая дочь Тиморева, и тому было не до выставки…

То, что она не состоялась, не огорчило Ефима: не очень-то он и хотел выставлять свои работы. Тут, в Питере, он почти ни в ком не нашел действительного понимания и поддержки, а ведь обращался он все к тем, кто вроде бы должен был и понять, и поддержать; так чего можно было ожидать от выставки, на которой его глинянки и картины оказались бы перед городской публикой, не знающей, что стоит за всем этим?..

Да и не до выставки было ему теперь: срочно потребовались копии рисунков к сказкам, ведь одни и те же рисунки нужны были и для журнала, и для издательства.

В феврале Ефим сдал издательнице «Медвежонка» Вере Павловне Гриневской 15 рисунков, шесть виньеток и эскиз обложки будущей книги. В этом же месяце он получил первый издательский заказ, как художник-иллюстратор.

Свои рисунки для журнала и издательства Ефим хотел показать Репину, с которым не виделся уже давненько. Он позвонил Юрию Репину и заговорил с ним о возможности побывать в Пенатах на одной из ближайших «сред». Юрий Ильич ответил, что в следующую среду сам собирается побывать там, и они договорились поехать вместе.

— Да! Ефим Васильевич! — спохватился Юрий Ильич уже в конце разговора. — Ведь я чего в Пенаты-то надумал… Туда не

сегодня-завтра должен приехать на несколько дней Шаляпин! Он будет позировать отцу для большого портрета! Так что увидите там его живьем! Должно быть, интересно будет!..

В среду они поехали в Пенаты. Гостей в этот раз было очень много, и Ефим сразу же подумал о том, что в таком многолюдстве Репину будет и не до него самого, и не до его рисунков… Однако Илья Ефимович, по традиции обходя своих гостей с рукопожатием, сам заговорил с ним, расспросил о том, каковы его дела в столице. Ефим ответил, что дела были худы, но в последнее время как будто повыправились, и, робея, заикнулся насчет того, что хотел бы показать Репину свои рисунки для журнала и издательства и последние живописные работы.

— Ну что ж… Посмотрим, посмотрим… — кивнул Репин. — Кстати, для прочтения ничего не привезли?..

— Да… прихватил тут тетрадочку… — потупился Ефим.

— Ну, вот и прочтете…

В гостиной, где все собрались, царило оживление. Еще бы, сам великий Шаляпин тут всему задавал тон! Высокий, осанистый, весь какой-то бодро-размашистый, Шаляпин был среди собравшихся самой впечатляющей фигурой. Словно бы бодрый сильный голос самой жизни влетел сюда, в эту «Комнату Венеры», в мирок чопорных идеек госпожи Нордман, и даже свет, воздух чудесно переменились здесь…

И вот в разговор общего оживления Ефиму было предложено что-нибудь прочитать для публики… Репин не забыл о нем…

Ефим с тетрадочкой в руках встал перед собравшимися в гостиной, взгляд его невольно метнулся в сторону Шаляпина. Тот смотрел на него, ожидающе улыбаясь… Мысли Ефима заметались: что прочесть?.. И вдруг будто осенило: «Сказку о крылатых людях»! Ее он написал здесь, в Петербурге, и никому еще не показывал, не читал. А тут вот, благодаря Шаляпину, была, остро ощущалась именно окрыленность, приподнятость… Да и не простой была сказочка — с намеком, сказочка-притча… Откашлявшись, Ефим начал читать:

> — «Был на море одинокий остров. Люди, которые жили на нем, построили однажды корабль. Украсили и оснастили его. Стоит корабль на голубых волнах, покачивается. Все собрались на берегу, любуются, сколь он хорош да красив.
>
> Люди слышали, что за морем есть богатая страна и нет, дескать, там тяжелого труда, только играют там все, как дети, всюду — театры и другие места общей радости.

Очень хотелось людям острова пожить в этой сказочной стране, и они решили туда уплыть…

И вот все заторопились на корабль. Но все не могли на нем поместиться, и тогда стали теснить друг друга и сталкивать в воду. Поднялись стоны-крики, послышались угрозы, проклятья…

И нашелся один человек… Стал он людей уговаривать, чтоб не торопились и не обижали друг друга. Человек этот был с доброй и чуткой душой.

На корабль попадали больше силой, хитростью да ухарством. Компания набралась пестрая. Все кричали рулевому, чтоб скорей отчаливал, и все смеялись над тем человеком, дескать, ты слишком жалостлив, истратишь силы на всяких слабых и сам ничего не получишь! А ведь жизнь дана для песни и веселья!.. Не прозевай свой счастье, смотри! Садись с нами, пока не поздно!.. Рулевой же, смеясь, говорил: «Оставьте его! Он ищет страданий, ну и пусть!..»

Когда корабль отчалил, оставшиеся люди стали упрекать того человека: «Зачем ты всякими умными словами нас удерживал?!» — Он же им сказал: «Вы могли не слушать меня. Но я вам добра желал, как и тем, которые отплыли. Ведь остались бы все равно не вы, так другие».

Люди отвернулись от него, не стали слушать. И вот все на острове зажили одной думой: как бы побыстрее построить новый корабль!.. Стали расхищать безоглядно богатства острова. Построили новый корабль. А когда он отплывал, вновь немало слез и крови пролили, спеша и оттесняя друг друга… И опять не смогли все поместиться на нем…

Ушел последний корабль… На острове леса были вырублены на постройку этих двух кораблей, новый строить было уже не из чего…

И тогда сказал тот добрый человек: «Я вам говорил, что нельзя так расхищать богатства земли, а надо умножать их и беречь!.. Что же теперь будем делать?..»

И тут все поднялись на него, зашумели: «Из-за тебя остались! Кто побойчее, те уехали!..»

Он им ответил: «Вы остались из-за тех, кто не хотел сдерживать свои страсти. Но не отчаивайтесь! Будем создавать новые средства, насколько хватит наших сил…»

Лишь одни дети поняли, что не виноват он, а

взрослые все отвернулись от него. И тогда он удалился от людей…

В одиночестве, никем не видимый, он трудился долгие дни и наконец создал себе легкие сильные крылья свободы. И прилетел он на них к людям, и научил их тому же. Все стали делать крылья, а когда сделали, поднялись в голубое небо и полетели над морем, и прилетели в ту желанную страну сказки…

Те люди, что уплыли с острова раньше, много понастроили в той стране, но почти все они занемогли, потому что не умели по привычке сдерживать себя и, как мухи на мед, набрасывались на всевозможные наслажденья. Они верили, что счастье только в этом. И вот увидели вскоре, что их что-то точит изнутри, и потом поняли, что их мучит совесть: ведь они оставили за морем, на разграбленном острове, своих соплеменников…

Но что это?! Над их великолепным городом словно бы лебеди белые летают?.. Но и не лебеди, нет… В трепете все глядели в небо… Прилетевшие опустились ниже, и тогда все увидели, что это — те последние, покинутые на острове люди…

«Да это же — наши! Наши!.. — заликовали горожане. — Как же это так?! Ах, какие они свободные и счастливые!.. Ах, мы хотим иметь такие же крылья и так же летать в голубом небе!..»

Когда прилетевшие островитяне спустились на землю, их местные соплеменники тоже попробовали полетать, взяв у них крылья… Но — горе: они уже давно отяжелели и летать не могли…

А островитяне смотрели на удивительный город, раскинувшийся перед ними. Все их удивляло в этой новой чудесной стране. Маленькие девочки, скорее похожие на сказочных принцесс, раздавали прилетевшим необыкновенные яства, подносили цветы и наряды, а те смущенно отказывались: «Мы не привыкли к такому! Покорно благодарим!..»

«Да берите! Берите!.. — слышалось со всех сторон. — Ведь на все это мы не затрачивали никаких сил, все это мы создавали, как бы играя!..»

Однако гости стеснялись. Они не могли и представить, что эти маленькие девочки — обыкновенные дочери тех, что прилетели сюда раньше, и чувствовали себя неловко среди удивительной роскоши.

А тот человек, счастливо улыбаясь, говорил им: «Не стесняйтесь! Берите! Но только знайте во всем меру!.. Смотрите, чтоб не отяжелеть здесь и нам!.. Тогда летать тоже не сможем!..»

И все крылатые люди сдерживали себя, потому что для них не могло быть большего счастья, чем свободно летать в свободном голубом небе!..»

Ефим окончил чтение и робко улыбнулся, бросив взгляд на замерших перед ним людей.

Первым заговорил Репин:

— Да… Прекрасно!.. «Потому что для них не могло быть большего счастья, чем свободно летать в свободном голубом небе…» — Он обвел своих гостей взглядом, словно бы и не видя их, покачал головой. — Ах, вы и представить не можете, какая это правда!..

— М-да… Любопытная, любопытная сказочка… Хороша притча!.. — тихо сказал Шаляпин.

Тут же послышались другие голоса одобрения, гостиная наполнилась ими, воздух ее словно бы закачался перед Ефимом и потек, как в июне — над молодой нивой…

Ефим стоял у стены, смущенно улыбаясь, тетрадь в его руках подрагивала, все не могло утихнуть волнение, с которым он читал свою сказку. К волнению примешалась еще и напряженность: сказка его принята и понята, но вон в какую задумчивость впал вдруг Репин… И поосевший голос Шаляпина… «Любопытная, любопытная сказочка… Хороша притча!..»

До Ефима не сразу дошло, о чем заговорил вдруг Репин:

— …надо так жить, друзья, чтоб душа была постоянно окрыленной, чтоб и все вокруг жили иначе!.. Надо строить новую жизнь! Ах, не так, не так еще устроена она!.. — Репин усмехнулся и хитровато глянул на Ефима, как на своего единомышленника. — Я вот тут хочу затеять одно дело у себя в Чугуеве… Задумал устроить нечто новое… Ефим Васильевич, насколько мне известно, тоже что-то подобное мечтает сделать у себя в деревне… Так вот… у меня даже и название уже определилось — Деловой двор… Этакая, знаете ли, трудовая народная академия художеств!..

С увлечением, присущим ему, Репин стал развивать перед гостями идею производственной школы-коммуны, участники которой «учатся и работают, а все прибыли делятся поровну…»

— Мне представляется, господа, этакое запорожье искусств, где ни рангов, ни дипломов! Пусть учатся всякие люди, всех возрастов и наций! Пусть воспитываются ратники труда и

красоты! — провозглашал Репин. — Ведь я по своей натуре, по воспитанию да и по живописной практике — человек мастеровой, так и мерещится мне во всем этом отнюдь не школа, а мастерская! А наша Академия — что? А так, казенный дом!..

Репину аплодировали.

— Да, господа! Все это так верно: надо, надо стремиться к новой, иной жизни! — горячо заговорил некто, похожий на цыгана, смуглый, пышновласый, с усиками над пухлыми сочными губами. — Надо искать новую жизнь и создавать ее! Такую новую жизнь, чтоб в ней душа человеческая расцветала и обретала крылья! Разве все мы не ощущаем каждодневно ужас обыденщины?! Убежать от него, от его раскаленной белой обнаженности, от песчаного шипения пустыни, ползущей за каждым из нас сквозь серость однообразных дней! Вырваться к другому свету, где голубизна и радость, где связи мира трепетны и чисты!

Меня всегда занимало: почему происходит в каждом из нас подмена? Ведь посмотрите: ребенок и жизнь. Ребенок — существо, живущее наедине с прекрасной книгой вечной жизни, где каждый знак — великий символ, неисчерпаемо глубокий… И вдруг… перед маленьким человеком прекрасный мир начинает постепенно затмеваться, расплываться… И… потом предстает все перед ним в новом свете, во всем враждебном, тревожном, противостоящем тому чистому, первоначальному… И если и возможна какая-нибудь радость, так это радость заурядного бытия, то бишь — пошлость… Это всюду вокруг, всюду — превращение в обыденность чудесного, всюду жестокая подмена…

Выстоять, преодолеть это ослепление, обрести снова зрение, достойное человека! Избавление от этой слепоты — в руках каждого! Но люди слабы… Им надо помочь!.. Каждый из нас должен трудиться для новой великой жизни!..

Ефим слушал этого размашистого темпераментного человека, согласно кивая, хотя, пожалуй, и слишком уж красиво говорил тот… Ведь все это давно живет в его собственных мечтах и планах, все это — его собственные мысли!.. Он невольно перевел взгляд на Репина, тоже согласно и с воодушевлением кивавшего говорившему, и с какой-то радостной надеждой подумал о том, что вот, может быть, и случился наконец-то тот день, который откроет для него сердце этого человека, до сих пор относившегося к нему без настоящего глубокого интереса…

— Реальность надо наполнить духовным содержанием! — говорил человек, похожий на цыгана. — Духовное — истинная мера всего! И господин Честняков совершенно прав в своей

сказке, поставив окрыленную, свободную жизнь над самой идеальной материальной жизнью! Только, духовное — самое истинное! Ведь что нам осталось, к примеру, от античности?.. Может быть, мы думаем о ее рабстве, о ее кровопролитиях, о ее полисной узости?.. Осталось духовное богатство, осталось то, из чего возникала мечта следующих поколений! А возьмите Возрождение! Разве быт этой эпохи важен для нас?.. Нет! Мысль Макиавелли, поэма Ариосто, проекты Леонардо, Альберти!.. Ренессанс остался для нас в его поисках блаженной Аркадии, в его неимоверных усилиях духа! Разве это было бесплодным?! Было сделано что-то неоценимое! Эта эпоха дала личности самостоятельность, какой не было до того! Жизнь, правда, тогда не изменилась, счастья в ней не прибыло, но она сдвинулась с места, она стала расти над собой в духовном плане! И вот все сегодняшнее, уже приоткрывшее перед нами фантастические возможности человека, вышло из мечты той далекой эпохи! Мы даже не хотим задуматься над тем, что такое мечта… Нас гипнотизирует реальность, в которой живем, мы полагаем, будто она — наипервейшее. Но это не так! Именно мечта, вечная, окрыляющая мечта, должна быть душой и воздухом всей нашей жизни!..

Ефим слушал этого человека, уже весь подавшись вперед, к нему, к его словам: да, да, именно мечта должна быть душой и воздухом всей жизни!.. Это же его, его собственная давняя мысль!..

Перед самым обедом Ефим спросил Юрия Репина:

— Кто это — вон тот, с усиками… Хорошо он говорил…

— Да это поэт Городецкий… Сергей Митрофанович…

— А… — кивнул Ефим. Он слышал о Городецком в Петербурге, даже последнюю его книгу стихов, выпущенную издательством «Грядущий день», не так давно держал в руках…

— Хотите — познакомлю вас?.. — спросил Юрий Ильич.

— Да неплохо бы… — ответил Ефим.

Возвращались в Петербург уже в позднем часу вечера. Все гости Репина ехали в одном вагоне, единой компанией. Все были возбуждены.

Ефим оказался сидящим рядом с Городецким.

— Чудесный вечер… — заговорил он, глядя в заоконную оттепельную февральскую тьму. — Вы даже не представляете, как поддержали меня сегодня своими словами… Нужны, нужны мне были такие подтверждения, такая поддержка… Сколько зуботычин от реальности-то получило мое мечтательство!.. Если

бы только знали!.. Э-э!.. — Ефим тряхнул головой. — Крестьянская наша реальность, деревня… Порой мне казалось, что она никогда и не знала, что такое мечта… Мечта для деревни — забава, пустое… Глупость… Не буду и живописать тут, как я себя в иные дни чувствовал, сидя за картинами и сказками в своем Шаблове…

Городецкий похлопал Ефима по рукаву и кивнул на папку, которую тот держал на коленях.

— Вы ведь еще и художник… У вас, должно быть, что-то есть с собой…

— Да вот хотел показать Илье Ефимовичу, а не вышло… Столько было гостей… И Шаляпин… И так разговорились… Тут у меня в основном иллюстрации к моим же сказкам…

Ефим рассказал Городецкому о своих журнальных и издательских делах, показал иллюстрации и живописные работы.

— Вы совершенно особенный художник… — сказал Городецкий. — А знаете… — Он словно бы спохватился вдруг. — Есть к вам предложение… Я сотрудничаю в издательстве «Грядущий день»… У меня есть сейчас одна вещица… Перевод со шведского, вроде сказочки, словом, близкое вам по духу, «Семеро сирот из Фростмо» — так называется… Может, вы возьметесь сделать к ней иллюстрации…

— Я вообще-то и сам искал такой работы… В упомянутом вами издательстве, кстати, работает художником мой товарищ Левицкий Владимир Николаевич, он мне обещал уже подыскать что-нибудь для иллюстрирования… — ответил Ефим.

— Ну, вот и прекрасно! — кивнул Городецкий. — Я скажу Владимиру Николаевичу насчет своего предложения, а вы завтра же зайдите в издательство, на Большую Болотную, я там буду от двенадцати до четырех, там все и решим окончательно…

20

Начало нового года для Ефима оказалось удачным. Ему даже подумалось вдруг, что Питер целый год лишь испытывал его терпение, и вот, как видно, испытательный срок кончился, и что-то сразу же сдвинулось, дела его стали налаживаться.

С конца февраля Ефим увлекся новой работой — иллюстрированием «Семерых сирот из Фростмо». Городецкий посоветовал ему для того, чтоб лучше почувствовать дух Швеции, прежде всего почитать шведских писателей. Он раздобыл для Ефима полное собрание сочинений Сельмы Лагерлёф.

Ефим зачитывался книгами Лагерлёф, находя в них много

родственного с миром собственной души. Шведская писательница в романтическом духе идеализировала деревенский уклад, и тут она была особенно близка Ефиму. Ее роман «Сага о Йесте Берлинге» он перечитал не один раз.

Читая сказку Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона по Швеции», он удивился: как совпадала его собственная сказка «Иванушко» с этой сказкой!.. Его Иванушко тоже улетал на гусях в заповедные места…

Чтение часто переносило Ефима в родное Шаблово. Порой, читая описание Сельмой Лагерлёф какого-нибудь уголка шведской природы, он с тайной радостью думал о том, что так же светло и чисто любил всегда все северное, русское, как и она — северное, шведское, и не только любил, а в мечтах поселял среди своих верхнеунженских мест новую сказочную красоту…

Я строил дивный мир с улыбкой,
Свой новый мир, чудесно-зыбкий, —
Дворцы, палаты, шалаши,
Среди селении и в глуши,
И на холмах, и средь долины —
Из камня, дерева и глины…
С сияньем месяца — на Виге,
На Сехе — солнечный венец,
А на Карпиевой кулиге —
С звездою желтою дворец.
С ним рядом — с розовой звездою,
С кометой — Долгий Наволок,
На Солюге ночной порою
Лучиться будет огонек.
На Лондушке прекрасный замок
Встал под звездою голубой…
Звон гуслей слышен несказанный,
Где раньше был лишь ветра вой…

Ефим предполагал выбраться из Питера и уехать домой до прихода лета. Однако издательские и журнальные дела задерживали его. Работа над иллюстрированием «Семерых сирот из Фростмо» оказалась далеко не простой: тут надо было войти в незнакомый мир, почувствовать дух другой страны, ее народа… Издание своих сказок и в журнале, и в издательстве тоже оказалось не таким гладким делом: и там, и там редакторы Ефима требовали от него отказа от многих слов и целых словесных оборотов, как от диалектных, слишком местных, подталкивали его к бедной и невыразительной литературной

норме… Особенно наседали на него издатели «Солнышка». Чуть ли не каждое пятое слово в сказках Ефима им было непонятно, их невозможно было ни в чем убедить. И все-таки Ефим решил не уступать.

В апреле он еще раз побывал в Пенатах. Ему хотелось поговорить с Репиным о своих целях, о своих издательских делах…

Репин, однако, был на сей раз явно не в духе, и в ответ на просьбу Ефима уделить ему несколько минут для разговора только поморщился: «Ах, я с вами уже беседовал!..»

Ефим тут же покинул Пенаты. Вечером у себя на квартире он сел за письмо к Репину, вгорячах написал его так, что мысли его рвались и путались…

21

Началось второе петербургское лето для Ефима. Выдалось оно сухим и жарким. Ефиму не терпелось поскорее выбраться из серого от застойного зноя города, уехать, сбежать к своему покинутому миру. Держали пока дела…

Среди духоты и зноя он все видел вокруг странно обнаженным, будто в ноябрьском лесу, когда во всем четко выступает неприкрытая основа, так что любой сучок или прутик — весь на виду.

Часто из окна своей комнаты, с высоты пятого этажа, смотрел Ефим на Петербург. Перед ним колыхались в городском мареве огромные кирпичные брандмауэры многоэтажных доходных домов, задние дворы, крыши, дымовые трубы… Безысходная проза огромного города, поправшего собой все живое, являла ему себя… Город казался одновременно и мертвым, и набухающим какими-то зловещими событиями, он словно бы готов был взорваться изнутри… И в этом городе ходили, росли, ширились слухи о близкой войне…

Порой Ефиму казалось, что все в этом городе предназначены в жертвы какой-то жестокой, немилосердной силе. Тут, в Питере, думал он, живут не действительной жизнью, а лишь ее отражениями. Сознание его мучилось от неотступной догадки: все, все вокруг живут в какой-то неистинной, омертвляющей все живое обстановке, в каждом спрятано и не развито зерно его подлинной, лучшей сущности… Он этого не может принять…

Каждому бы убрать, устранить эту невидимую, но вечную преграду между собой, живущим так неистинно, и собой возможным! Попытаться! Неужели это привело, бы к трагедии?..

Почему бы не к истинной радости?! Не быть мертвым в отношении к миру, а стало быть, и к самому себе — вот же самое главное, что должен понять для себя каждый как первую истину на всю жизнь!

Наконец вышел номер журнала «Солнышко» с двумя сказочками Ефима — «Чудесный яблок» и «Иванушко». Как Ефим ни сопротивлялся, язык сказок оказался основательно измененным…

После прочтения сказок (прямо в редакции журнала): Ефим долго кружил по городу. Он не мог прийти в себя: первая публикация вместо радости принесла ему лишь огорчение…

К концу дня он оказался на Васильевском острове, у морского причала. Захотелось просто выбраться из тесноты города к простору, к широкой воде. В трудные для себя дни он не один раз уже наведывался сюда: эта бесстрастно блещущая неоглядность умела успокаивать…

Море было белесо, вдали оно блистало под солнцем, словно лента серебряной, хорошо разглаженной фольги. Носясь вдоль причала, хрипло кричали чайки… Лясы, языки переливчатой грязи колыхались, приплясывая вокруг черной туши огромного судна, крепко учаленного с кормы и с носа двумя толстыми канатами. Глядя на эту грязь, Ефим подумал о том, что судно постоит, постоит и уплывет в свой час к блещущему, сияющему горизонту, и грязь от него отстанет… А вот куда ему-то от своих невеселых мыслей?! С ним всегда бывало так: если уж он что-нибудь по-настоящему переживал, то переживанию отдавался весь.

На другой день, в раннем часу, прихватив с собой журнал со своими сказками, Ефим отправился на квартиру к Чапыгину. Именно с ним он хотел бы поговорить по поводу «искалеченных» сказок, и не потому, что через Чапыгина, с его помощью опубликовал свои сказки, просто Чапыгин, как никто другой, мог понять эту беду, поскольку по-настоящему дорожил народным словом.

Ефим теперь был обеспокоен и судьбой своей книжки в издательстве «Медвежонок». Там поначалу требовали от него примерно того же, что и в «Солнышке»… Правда, затем как будто с ним согласились, но теперь Ефим уже не был уверен ни в чем…

Чапыгина он застал дома за одиноким холостяцким чаепитием. Увидев гостя, Алексей Павлович сразу понял, что с ним что-то приключилось.

— Что это с вами стряслось, Ефим Васильевич? — спросил

он.

Ефим положил перед ним на стол журнал, раскрыл его, хлопнул ладонью по развороту:

— Вот полюбуйтесь!.. Посмотрите, что сделали издатели с моими сказками… Ведь люди занимаются словом, живым словом, а вовсе не чувствуют его… Каюсь, что соблазнился возможностью напечататься!.. Все мои слова переиначили!.. Вот с первого же почти слова начинается: вместо «яблок» напечатали всюду «яблоко», Слово это у меня встречается во многих местах и в измененном виде оно мешает ритму, что я считаю важным. Но не это главное, не столько в ритме тут дело… Ведь сказки свои я пишу для простых людей, для деревенских ребятишек в основном, и тут для меня крайне важно, чтоб слова соответствовали, чтоб они были близки тем, для кого я пишу. Сказки мои и по языку, и по духу — деревенские, с особенностями моих мест! Это для меня крайне важно, а они этим пренебрегли…

Вы вот человек по основе своей — деревенский, как и я, вы должны понять мои тревоги!.. — Ефим, сцепив пальцы, заходил по комнате. — Ведь у нас на все свое слово, а тут однообразят богатую русскую словесность, собственные богатые, коренные названия заменяют общими, обедняющими. Нам же, не следующим этому произношению, рекомендуют научаться бездушному, нехудожественному языку, безликому, как шаблоннейшая бляха… И высмеивают, низводят к скудости богатство слов творящей жизни, и много слов искажается или совсем уже не слышно…

Они тормозят совершенствование языка. Ведь признаются сокращения в звуках, например, во французском языке. А родной язык, очевидно, наши ученые комитеты хуже знают… Так оно и есть! Потому что эти комитеты, исследующие язык и издающие правила, сидят как бы между двумя стульями — между своей страной и чужими, но русской страны, ее языка вполне не чувствуют, не знают.

Ефим снова подошел к раскрытому на столе журналу:

— У меня написано: «дупластая осина», а напечатали: «дуплистая»… Мое-то крепче, точнее!

Вот слово «бабушка»… Я желал бы и произносить, и печатать просто «баушка» — для краткости и музыкальности речи, так оно у нас повсеместно и произносится, звук «б» в середке выпадает.

Ефим махнул рукой:

— Я уж не упоминаю тут тех многих нежелательных форм, которые получаются от согласования со словами «яблок» и «дедушко» в искаженном виде. А ведь через это меняются и формы других слов, что мешает ритму сказки. Ведь я же не зря

именно так писал, а не как-то иначе. Каждая сказка была написана почти зараз, но потом множество раз переписывалась, перечитывалась, так что заучивалась наизусть, и таким вот образом вырабатывался склад каждой сказки. Я всегда прислушивался к звучанию своих сказок и к воображаемой деревенской публике, для которой пишу эти сказки, каждое слово проверял, чтоб не сфальшивить ни в чем. Я вовсе не желаю, чтоб моя публика думала, будто это я вот так-то написал!.. Редакция ведь не поставила в примечании, как именно у меня написано. Таким образом и меня присоединяют к комитетам, тормозящим развитие родного слова…

Чапыгин слушал Ефима, поглаживая стриженую голову, кивал, вставляя в паузах горячей, быстрой Ефимовой речи свои резковатые, коротенькие «так-так». Потом он и сам заговорил о том же: в какие баталии приходилось вступать ему самому совсем недавно, ведь его язык тоже не в ладу с нормами…

Проговорили долго. Ефим высказал в разговоре опасение насчет судьбы своей книжки, которая вот-вот должна была выйти в издательстве «Медвежонок». Чапыгин обещал, не откладывая, поговорить с Гриневской.

В июле книжка в «Медвежонке» вышла. На этот раз искажений в сказках почти не было. Внизу, на первой странице, было напечатано примечание:

> «Редакция считает долгом оговориться, что во всех трех сказках сохранен говор крестьян Костромской губернии, уроженцем которой они созданы. Редакция находит, что ознакомление детей с местными особенностями русской речи будет небесполезно, т. к. расширит запас знакомых им слов».

На оборотной стороне обложки, где издательство извещало покупателей о том, книги каких авторов, выпущенные им, имеются в продаже, Ефим к своей радости увидел два дорогих для него имени — Сельмы Лагерлёф и Алексея Чапыгина.

После выхода книги Ефима задерживало в Питере только издательство «Грядущий день». Иллюстрации к «Семерым сиротам из Фростмо» были уже одобрены и приняты, книга послана в набор. Оставалось дождаться ее выхода, уже и пробные оттиски Ефим подержал в руках.

Дни его проходили в подготовке к отъезду. Он закупал все необходимое для работы в деревне, в основном — краски, кисти, принадлежности для занятий фотографией.

Ответного письма от Репина Ефим так и не дождался, да в

общем-то и не надеялся на получение хоть какой-то записки от него.

Не единожды среди лета подмывало Ефима съездить в Пенаты, повидать Илью Ефимовича хотя бы еще раз, просто повидать, ведь как бы там ни было, но именно благодаря Репину пятнадцать лет тому назад он получил возможность избрать для себя иной путь, вне которого теперь не смог бы даже представить себя…

Наконец он совсем было собрался в Пенаты, но, связавшись по телефону с Юрием Репиным, узнал, что Илья Ефимович уехал в Швейцарию, где умерла его жена Наталья Борисовна Нордман-Северова…

Время в июле словно бы приостановилось. Тягучие, душные петербургские дни и ночи все чаще переносили Ефима в далекое Шаблово. Родная деревня нередко снилась ему по ночам, и всякий раз в таких снах он испытывал тяжелую душевную муку: Шаблово являлось ему как какое-то погибающее, разоренное место… Однажды оно приснилось ему, охваченное из края в край огнем, будто повторился для Ефима во сне тот страшный пожар… А как-то, почти в самом конце июля, приснился ему сон…

…Летний погожий день, но неяркий, с легкой мжичкой. Ефим стоит на Шаболе, окруженный целой толпой однодеревенцев. На нем все чистое, белое, холщовое.

Кто-то из толпы дергает его нетерпеливо за рукав:

— Ну, говори! Говори! Кто же ты есть?! Говори!..

— Я?.. Я Марко Бесчастный! — отвечает Ефим спокойно.

— Ха-ха-ха! — засмеялись вокруг. — Вот так ответил! Ответ — одно недоразуменье!

Ефим спокоен. Он смотрит поверх колыхливой толпы на заунженские леса, смотрит так, будто вот-вот должен увидеть там, среди дымчато-голубоватых разливов марева что-то невиданно-прекрасное…

Но его тормошат, его окликают не дают сосредоточиться настолько, чтоб увидеть:

— Ну, говори! Говори! Кто ты есть?! Чего ты для нас сделал?! Хватит морочить нам головы! Отвечай! Отвечай! Отвечай!..

Ефим с усилием, с мукой вглядывается в окружающее, такое родное и знакомое… Он должен немедленно увидеть это… Он должен показать им, этим нетерпеливым, шумным людям, что сделал он для них…

Но не всплывают над окрестными лесами прекрасные виденья, порожденные его фантазиями, мечтаниями…

Все залито ровным спокойным светом, ничто не шелохнется,

мир вокруг оцепенел, будто залитый в стекло… А люди все настойчивей и крикливей…

Почему они так нетерпеливы? Ведь он же ясно чувствует: надо только притихнуть всем, слиться с окружающей тишиной, вобрать в себя, впустить поглубже этот ровный праздничный свет природы, и тогда все явится пред ними само собой, явится созданное им за многие годы его духовной непрекращаемой работы… Или он обманулся, и все было лишь заблуждением его одинокого ума, тщетным усилием души?

— Так говори же! Говори! Отвечай нам!.. — в нетерпении дергают его со всех сторон.

И он говорит… Надежда, горечь и мука в нем сами собой складываются в стихи, и спящий Ефим, чудесно раздвоенный сном, живущий во сне какой-то непостижимой двуединой жизнью, вдруг видит чудо…

На многие десятки верст вокруг открылись перед стоящими на Шаболе лесные глухомани… И Ефим уже не говорит, он замер, как и все рядом с ним, и только слышно, как то один, то другой из однодеревенцев выражает свое изумление:

— Эвон, смотрите, смотрите, еще появилось!.. Красота-то какая!.. Ах, красота!..

— Да-а… Будто в сказке мы все…

— А вона! А вона! Смотрите! Смотрите! Диво-то!..

Появляются, появляются в разных местах по всей огромной округе, осененные сиянием диковинных разноцветных рукотворных светил, крестьянские дворцы и палаты…

Дрогнул вдруг стеклянный устоявшийся воздух, полились в нем, переплескиваясь, многоцветные лучи, зазвучали чарующие волшебные звуки…

Люди стоят, не шевелясь, смотрят, как околдованные, уже и шепота ни единого не слышно… Все смотрят на являющийся перед ними мир, а Ефим, счастлива улыбаясь, чувствуя слезы на глазах, смотрит на их по-детски удивленные лица, и нет для него большего счастья, чем вот это — видеть, как отразилось созданное им в этих лицах…

Неподалеку на том месте, где когда-то стоял дом Силы Иванова, поднялось огромное белокаменное здание с колоннами увенчанное куполом — Коллегия наук и искусств Марка Бесчастного… Все воплощалось, становилось на глазах реальным и зримым, все, о чем мечтал он… И Ефим уже плакал от охватившей его радости, смеялся и плакал. Ему хотелось обнять всех однодеревенцев, ему хотелось крикнуть им: «Вот он — мой Кордон! Он теперь ваш! Входите в него и живите в нем счастливо! Вы настрадались в долгой тяжелой дороге, теперь вы все обретете

радость и покой! Вся жизнь теперь изменится!.. Она будет как бесконечный праздник!..»

Слезы заливали его лицо, он весь содрогался в плаче, будто освобождался от какой-то великой муки, накопленной в самой глубине души многими, многими годами…

Тот счастливый плач и разбудил Ефима. Как не хотел он пробуждения, как силился остаться в прекрасном сне, но видения этого сна распались… Осталось ощущение большой тяжелой потери…

Целый день потом он ходил, почти не замечая ничего вокруг, перед ним снова и снова всплывало увиденное во сне…

Оставленное в Шаблове дело, от которого он оторвался на такое долгое время, звало, окликало его теперь почти постоянно.

Двадцать восьмого июля начались военные действия на австро-сербской границе. Газеты сообщали о том, что в Германии, уже ведется всеобщая мобилизация, а в последний день июля была объявлена всеобщая мобилизация и в России. И уже первый день августа стал для нее началом войны.

Ефим не мог дольше задерживаться в столице. Так и не дождавшись выхода «Семерых сирот из Фростмо», он поспешно выехал домой. Полтора года назад он приехал в Петербург, теперь уехал из Петрограда. Город как будто весь был другим, не только одно имя сменил он, все вдруг закружилось, понеслось неизвестно куда…

Увозимый поездом все дальше и дальше от этого города, Ефим в своих неспокойных мыслях весь уносился вперед… К какому Шаблову он вернется?.. Что его ждет впереди?.. До осуществления ли задуманного будет, когда всю жизнь уже взняло и вскружило, будто каким-нибудь неумолимым и безоглядным вихрем?..

И угадывал, выхватывал его напряженный, тревожный взгляд в убегающих за окном назад просторах: не лето надломилось там, как обычно бывает на севере с приходом августа, сменилось само время… Острый свет жил, переплескивался во всем, даже в самой бездонной синеве неба…

notes

Примечания

1

Хоречек — кочка травяная *(местное)*.

2

Воронцов В. В. — автор книги «Судьбы капитализма в России», считавшейся библией народничества той поры.

3

Скворцов П. Н. — старейший русский марксист, автор статьи в «Юридическом вестнике» и критической монографии, в которых он разбил книгу Воронцова.

4

Об Иване Линеве см.: *Короленко.* История моего современника.

5

Ольденбургская Е. М. — принцесса, состояла Председательницей Общества поощрения художеств.

6

Дягилев Сергей Павлович (1872—1929). Художественный и театральный деятель. Редактор журнала «Мир искусства», один из его создателей.

7

Имеется в виду журнал «Мир искусства», издававшийся на средства М. К. Тенишевой.

Ляга — сырое место в лесу *(местное)*.

Ондрец — небольшая двухколесная повозка *(местное)*.

10

Барошники — строители барок.

11

Новина — расчищенное под пахоту место в лесу *(местное)*.

Тюричек — берестяной ковшик *(местное)*.

Лентей — лент *(местное)*.

14

Танагра — древний город в Средней Греции. При раскопках некрополя Танагры обнаружены были многочисленные статуэтки из терракоты (4—3 века до н. э.).